И. Ильф

Е. Петров

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Илья Ильф
Евгений Петров

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ПЯТИ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
художественной литературы
Москва 1961

Илья Ильф
Евгений Петров

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ

СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ

1001 ДЕНЬ,
ИЛИ
НОВАЯ ШАХЕРЕЗАДА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
художественной литературы
Москва 1961

Под редакцией:

А. Г. ДЕМЕНТЬЕВА, В. П. КАТАЕВА,

К. М. СИМОНОВА

Вступительная статья

Д. И. ЗАСЛАВСКОГО

Примечания:

А. З. ВУЛИСА, Б. Е. ГАЛАНОВА

Оформление художника

А. ЛЕПЯТСКОГО

ИЛЬЯ ИЛЬФ и ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ.

ИЛЬФ И ПЕТРОВ

Судьба литературного содружества Ильфа и Петрова необычна. Она трогает и волнует. Они работали вместе недолго, всего десять лет, но в истории советской литературы оставили глубокий, неизгладимый след. Память о них не меркнет, и любовь читателей к их книгам не слабеет.

Широкой известностью пользуются романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». В новых исторических условиях, на материале нашей современности, Ильф и Петров не только возродили старый, классический жанр сатирического романа, но и придали ему принципиально новый характер.

Мы называем прежде всего два эти романа, потому что «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» действительно вершины творчества Ильфа и Петрова. Но романы эти возвышаются над целым литературным массивом, который составляют произведения самых различных жанров. Обозревая литературное наследие Ильфа и Петрова, не только произведения, написанные ими вместе, но и каждым в отдельности, нельзя не подивиться широте творческих возможностей писателей, литературному блеску фельетонов, очерков, комедий. Талант сатириков бил ключом. Впереди перед авторами открывалась широкая дорога. Они вынашивали множество замыслов, планов, тем. Сатира в произведениях писателей становилась все глубже. К сожалению, конец их содружества был трагичен. Жизнь Ильфа оборвалась слишком рано. А через несколько лет, тоже в расцвете таланта, погиб Петров.

Вся их недолгая совместная литературная деятельность тесно, неразрывно связана с первыми десятилетиями существования советской власти. Они не просто были современниками своей

великой эпохи, но и активными участниками социалистического строительства, борцами на переднем крае. Смех был их литературным оружием, и они не сложили это оружие до конца своих дней.

Знакомясь с наследием Ильфа и Петрова, читатель поймет, какой большой потерей для советской литературы была их преждевременная гибель.

Мы вспоминаем первые годы Великой Октябрьской социалистической революции. Они исполнены живого, революционного драматизма. Народ ведет самоотверженную борьбу против всех старых общественных сил. Героическое время рождает героические натуры.

В эти годы народ разрушает основы капитализма и закладывает фундамент социалистического строя. Буржуазия оказывает бешеное сопротивление. Борьба идет во всех областях жизни — в промышленности, в сельском хозяйстве, в культуре, в быту. Это многосторонняя борьба. Народ творит дело революции не только с великой страстью, с энтузиазмом, с романтическим подъемом, но и с бодрой энергией, со светлой надеждой.

Люди терпели тогда неимоверные лишения. Революционные годы были и голодными годами. Однако очень часто народ переносил свои страдания со смехом, с улыбками, с шутками. В этом проявилась огромная моральная сила победителей. Дело разрушения гнилых стен и заборов старого социального строя — дело приятное и веселое.

От того времени дошли до нас народные песни, частушки, прибаутки, проникнутые подлинным юмором. Смех играл серьезную роль. «Смешное убивает»,— говорят французы. Это верно. Народ бил своих врагов горячим и холодным оружием и добивал смехом.

Какую богатую пищу для сатиры и юмора дала, например, фигура нэпмана. В своеобразных условиях возникла эта особая разновидность частного собственника, приобретателя. Нэпман — тип капиталиста без капитализма. Он не имел уже сколько-нибудь глубоких корней в классовой почве. Это был сорняк, кое-где разросшийся довольно буйно, но лишенный социальной силы. Командные позиции прочно находились в руках рабочего класса. Народ был хозяином страны. А нэпман чувствовал, что он гость, чужак, пришелец, выходец с того света, и он торопился,

жадно глотал, давясь кусками, пока не прогнали, пока не уничтожили. Нэпман был отвратителен, его курбеты смешны. Он сам издевался над собой, глумился с наглостью и цинизмом.

Все это были по существу своему мелочи, детали, пыль и сор, поднятые революционным вихрем. Это вскоре стало проходить. Многое исчезло, не оставив после себя даже следов. Но в этом причудливом и порой комическом смешении старого и нового, когда нелегко было разобраться, где разрушается прошлое, где возникает будущее, были свои характерные черты.

Советская художественная литература в точности отразила эти процессы. В те годы создавались героические поэмы и эпопеи, лирические произведения, проникнутые высоким революционным пафосом, оптимистические трагедии. И вместе с тем громко звучал смех. Сатирическая и юмористическая литература расцвела, распустилась пышно и ярко, как-то сразу, словно давно дожидалась этого момента.

В журналах и газетах того времени были представлены самые разнообразные жанры комической литературы: юмористические стихи, басни, частушки, раешники. По-новому звучал смех на театральных подмостках. Веселый юмор проникал в музыку.

Всякие оттенки были в этом смехе. Иные смеялись с тоской по старому, злорадно радуясь и частным неудачам нового. В этом смехе, двусмысленном, неискреннем, не было никакой веры в будущее, сквозил гнилой скептицизм, смех переходил в глумление над всем окружающим. Но скептический смешок постепенно замирал под напором подлинной и меткой революционной сатиры. Демьян Бедный и Маяковский задавали тон сатирической литературе того времени. Они смеялись весело и зло, с глубокой верой в полное торжество нового общественного строя. Это был смех, идущий от здорового и сильного революционного чувства, смех передовой, новой силы над отжившим свое время общественным гнильем.

Маяковский и Демьян Бедный не были одиноки. В литературу пришло тогда много молодых людей, искренне примкнувших к революции и готовых посвятить ей всю свою жизнь. В «Правде» появились задорные, веселые фельетоны Михаила Кольцова. Кольцов шутил иногда добродушно, большей частью со злой остротой. Сдержанная улыбка была в фельетонах А. Зорича. Веселый смех звучал в первых сатирических опытах поэта комсомола А. Безыменского. В центральной железнодорожной газете «Гудок» начинали работать фельетонисты Валентин Ка-

таев («Старик Саббакин») и Юрий Олеша («Зубило»). Появились талантливые сатирические журналы «Крокодил», «Красный перец», «Смехач» и другие.

Именно в эти годы, когда столица с особой силой притягивала к себе талантливую молодежь из самых далеких уголков Советской страны, сюда прибыли двое молодых людей из Одессы — Илья Ильф (псевдоним Ильи Арнольдовича Файнзильберга) и Евгений Петров (псевдоним Евгения Петровича Катаева). Их фельетоны и юмористические рассказы быстро обратили на себя внимание.

Не сразу образовалось их замечательное содружество. Они были земляками, но в первые годы своей московской жизни не были даже знакомы. Ильф работал в «Гудке». Петрова его старший брат Валентин Катаев привел в журнал «Красный перец», где он стал работать выпускающим. Оба они, и Ильф и Петров, принесли в редакции неистощимые запасы смеха. Они смеялись молодо, открыто, звонко и оживляли смехом отделы газет и журналов, в которых сотрудничали. Когда в 1926 году Петров пришел в «Гудок», он так же, как Ильф, выполнял черновую, будничную работу, вел репортажи, набрасывал короткие очерки, редактировал рабкоровские заметки. Все это выходило у них легко, с литературным блеском. Фельетон большой и малой формы стал в двадцатые годы распространенным и очень ярким жанром публицистики. Ему отдавали свои таланты писатели из большой художественной литературы. Привлекала боевая действенность фельетона. Он точно разил врукопашную. Его результаты сказывались немедленно, в тот же день.

Ильф и Петров тоже писали фельетоны на конкретные темы. Но при этом охотно прибегали к художественному обобщению. Газетная работа давала обширный и богатый материал для творчества. Они знакомились с жизнью, выезжали по редакционным командировкам. Из поездок Ильф и Петров привозили записи фактов в своих блокнотах и множество новых планов. Газетные столбцы становились для них тесны. Их манила даль романа, где нашли бы для себя место многочисленные герои их фельетонов и рассказов, связанные единым замыслом и общей композицией. Валентин Катаев подсказал им сюжет романа «Двенадцать стульев». И со всем пылом молодости они принялись за работу. Неизвестно, что бы вышло у каждого из них, если бы они взя-

лись за это в отдельности. Но произошло то, что кажется нам чудом по той простой причине, что мы этого еще не объяснили и, может быть, не объясним до конца. Два разных человека слились в одну творческую личность. Ильф и Петров — два разных имени для одного автора.

Это были разные люди, разные индивидуальности, разные характеры.

Мы не знаем, кто играл первую, а кто вторую скрипку в их замечательном дуэте, да и было ли вообще такое деление. Это был и не дуэт в собственном смысле слова, потому что звучали не два голоса, а один. Их творчество неделимо. Только детальное литературно-критическое исследование могло бы решить, что в общей работе принадлежит Ильфу, а что Петрову. Потому ли они сошлись, что были совершенно одинаковы по характеру своего литературного дарования или же, наоборот, один восполнял то, чего не хватало другому? Возможно и то и другое. Во всяком случае, это был редкий и чудесный сплав двух талантов. Они не обезличились, а создали нового и оригинального писателя.

Внешнее представительство в содружестве как бы принадлежало Петрову. Это был человек широкой, открытой натуры. Он и роста был крупного, и говорил громко, и смеялся раскатисто, заразительно, весело. Он и рассказывать умел занятно и задорно. А Ильф всюду следовал за ним, высокий, худощавый, даже тощий, с узкой, впалой грудью, всегда молчаливый, сдержанный, с застенчивой улыбкой. Он редко высказывался на собраниях, на заседаниях редакции, словно предоставлял говорить за себя своему старшему товарищу. А на самом деле он был старше Петрова на шесть лет.

Ильф и Петров прежде всего обладали редким и замечательным даром подлинно веселого, умного смеха. Они не заставляли себя смеяться. Смех в литературе обладает своей техникой. Он может стать ремеслом, может иметь своих мастеров и искусников. Но если за техникой нет подлинного, живого, здорового источника веселости, нет непосредственности, нет того, что мы называем природным даром, то не выручит, не поможет никакая техника. Ремесленник обнаружит себя.

Вот в этом смысле оригинален и силен смех Ильфа и Петрова. Конечно, они превосходно владеют и мастерством комизма. Они подобны тем выдающимся комическим актерам, которые заставляют зрительный зал улыбаться и смеяться при первом же

выходе на сцену. В подлинном и большом таланте юмора есть свое особое обаяние, которого никакими искусственными мерами не создашь.

Так обаятельны в своем юморе Ильф и Петров. Они заставили весело рассмеяться всю читающую Советскую страну с первой же главы «Двенадцати стульев». Этот смех звучит и ныне, когда прошло уже свыше трех десятилетий после появления романа, когда изменилась вся социально-политическая обстановка, когда уже и читатель не тот и запросы не те.

Однако веселый смех Ильфа и Петрова в своей основе глубоко серьезен. Он служит задачам революционной борьбы со всем старым, отжившим, борьбы за новый строй, за новую, социалистическую мораль. Это глубоко осмысленный, идейный смех. Произведения Ильфа и Петрова являются образцами советской сатиры.

Сатира обладает огромной силой. У писателя-сатирика должен быть острый взгляд, позволяющий ему глубоко проникать в жизненные процессы и создавать обобщенные, типические образы. Он должен обладать метким, выразительным словом, своим собственным, оригинальным стилем.

Все это есть у нашего автора с двойным именем Ильф-Петров. У него есть, кроме того, удивительное мастерство художественной детали. Он подмечает те «мелочи», мимо которых пройдет обыкновенный наблюдатель. Ильф и Петров по такой «мелочи» создают характер персонажа.

Сатира требует направленности. Ильф и Петров, выходя на передовую линию сатирического фронта советской литературы, избрали для себя определенный участок. Они расставили свои орудия против злейших врагов социалистической революции: против мещанства, косности, обывательщины.

В самый короткий срок народ уничтожил в открытой борьбе крупнейших врагов революции — капиталистов и помещиков. Вооруженное сопротивление этих классов было сломлено. Саботаж прекращен.

Сломан был государственный аппарат, принадлежавший прежним господствующим классам. Дело это несколько более сложное, но и оно было завершено в относительно короткий срок.

У крупной буржуазии, у дворянства, у помещиков была своя, четко определенная и сугубо реакционная идеология, своя старая культура, своя мораль. Разрушение этой крепости потребовало немалых усилий, но и с этой задачей социалистическая революция справилась вполне успешно. Еще более сложным оказалось дело уничтожения деревенской буржуазии, кулачества. Социалистическая коллективизация покончила и с этим.

Когда уничтожены были крупные реакционные силы, враждебные социализму, обнаружилось со всей очевидностью, что осталась еще одна сила, на первый взгляд как будто и не столь значительная, но заключающая в себе серьезную опасность для нового общественного строя, в особенности для воспитания в коммунистическом духе нового человека, строителя коммунизма. Эта сила — мещанство, обыватели.

С нею нельзя было покончить разом, по декрету. Ее нельзя было ликвидировать, отняв у нее материальную основу существования. У нее нечего было отнимать. Мещанство аморфно. Оно не выступает прямо, не стоит стеной. Оно расползается под ногами, обволакивает, присасывается, прилипает. Его идеология и мораль расплывчаты. Мещанство не разрубишь мечом, его надо выковыривать из щелей.

Оружие мещанства — пошлость. Мещанин, обыватель умеет опошлять, принижать, выхолащивать все, к чему прикасается. Мещанство вносит пошлость в нравы, заражает пошлостью литературу, искусство. Его не всегда легко распознать. Пошляки прячутся за громкими и возвышенными словами.

Коммунисты всегда вели борьбу против мещанства, находили и изобличали его в разных политических партиях, в литературе. Особенно сильные удары наносил по мещанству А. М. Горький. Одна из первых его пьес так и называется «Мещане». Он создал художественное изображение мещанского царства в повести «Городок Окуров», писал памфлеты о мещанстве.

Октябрьская революция глубоко всколыхнула болото российского мещанства. Социалистическое строительство, индустриализация, коллективизация несли мещанству неминуемую гибель. Это разжигало ненависть мещанина к социализму.

Щедрин говорил, что нет животного более страшного, чем взбесившийся клоп. Маяковский шутливо предостерегал против мещанской «канарейки». Он предлагал свернуть ей голову, чтобы «коммунизм канарейками не был побит».

В комедиях «Клоп», «Баня» Маяковский беспощадно высмеивал мещанство. Романы Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» шли по этому же пути.

Первый роман — это широко развернутое сатирическое полотно с живыми юмористическими красками. Это обширная галерея мелких и мельчайших людишек. Связывает их общая сюжетная линия: двенадцать стульев, которые разыскивает основной герой романа Остап Бендер. Путешествие по различным городам дает ему возможность встретиться со множеством людей, разнообразных по своему характеру, но принадлежащих к одной среде. Это все мещане по духу, по характеру, бывшие чиновники, торговцы, нэпманы, люди без определенных занятий — мелкие караси-обыватели, которые на то и существуют, чтобы их живьем глотал жулик щучьей породы — Остап Бендер.

С виду это как будто даже и добродушный народ. Многие из них формально не враги социализма и советской власти. У них нет никаких политических взглядов, а у Эллочки-людоедки вообще никаких убеждений нет. Она просто двуногое млекопитающее, весь умственный багаж которого укладывается в три-четыре фразы. Однако на поверку она-то и есть та самая «канарейка», которой Маяковский советовал свернуть голову.

Эллочка-людоедка, пожалуй, один из наиболее выразительных и сильных сатирических образов в романе Ильфа и Петрова. В нем ярко представлена убогая и в то же время хищническая натура мещанства. У других это замаскировано пышными фразами, даром приспособления. Эллочка вся как на ладони. Это совсем крохотный хищный зверек, его опаснейшая черта — живучесть. Она живет и поныне. Мы встречаем ее иногда среди молодежи нашего времени, среди девушек и юношей. Они называются теперь стилягами.

Композиция романа предопределила его конец. Сюжет был исчерпан, когда Остап Бендер нашел последний стул,— тот самый, в котором были зашиты драгоценности. На суммы, вырученные от их продажи, железнодорожники выстроили превосходный клуб. Это была и последняя неудача героя романа. Ему незачем было дальше жить, и авторы покончили с ним довольно механическим способом. Как известно, Остапа Бендера зарезал его сообщник, бывший предводитель дворянства Киса Воробьянинов.

Роман «Двенадцать стульев» имел чрезвычайный успех. Его читали и перечитывали с неумолкающим веселым смехом. Ильф и Петров написали после романа несколько новых сатирических

произведений. В 1928—1930 годах они активно сотрудничали в журналах «Огонек» и «Чудак». Помимо многочисленных фельетонов и рассказов, там были опубликованы сатирическая повесть «Светлая личность», цикл новелл о городе Колоколамске и сказки Новой Шахерезады. Обитатели фантастических городов Колоколамска и Пищеслава, выдуманных Ильфом и Петровым, это как бы жители щедринского города Глупова, прямые потомки знаменитых пошехонцев. В них видны отвратительные черты мещан-стяжателей, тот нэпманский дух, который Ильф и Петров высмеивали в романе «Двенадцать стульев». В новых своих произведениях писатели в гротесковой форме продолжили сатирическую линию своего первого романа. Но найденная ими форма не удовлетворяла авторов. Как считали сами писатели, они не смогли полностью решить в этих произведениях тех творческих задач, которые перед собой ставили.

Через три года после опубликования романа «Двенадцать стульев» Ильф и Петров снова вернулись к его герою. В 1931 году вышел «Золотой теленок», в нем опять продолжаются похождения, странствия и приключения Остапа Бендера.

Зачем понадобилось авторам воскрешать зарезанного героя? Напрашивается самое простое и легкое объяснение. Сатирический образ Остапа Бендера приобрел чрезвычайную популярность. В нем была художественная оригинальность. По своей жизненности, по своему значению он вошел в тот ряд типических характеров, которые возглавляются Хлестаковым, Чичиковым и другими замечательными сатирическими образами классической русской литературы. Конечно, масштабы Чичикова и Остапа Бендера совершенно различны, но дело в том, что они стоят в одном литературном ряду. Имя Остапа Бендера тоже стало нарицательным.

Авторам жаль было расстаться со своим героем. Это можно понять. В их резервах сохранилось еще много таких материалов, которые можно было с успехом использовать в дальнейших похождениях Бендера. К тому же в первом романе смерть Остапа не была мотивирована ни логически, ни психологически. В шутливом предисловии к «Золотому теленку» Ильф и Петров рассказывают, что смертный приговор герою романа был вынесен случайно. Авторы колебались и даже пререкались о том, умертвить ли Остапа или оставить его живым. Спор был решен жре-

бием. Из сахарницы была вынута бумажка, на которой был изображен череп и две куриные косточки. Но вскоре после того, как приговор был приведен в исполнение, Ильф и Петров поняли, что совершили ошибку. Пришлось воскресить Остапа Бендера, оставив ему на память о преждевременной кончине шрам на шее.

Можно предположить, что, возобновляя историю похождений уже известного героя, Ильф и Петров решили исправить и некоторые слабые стороны первого романа. На них указывала в свое время доброжелательная критика.

В «Двенадцати стульях» обрисован почти исключительно мелкий мирок мещан, обывателей, простофиль, которых так легко и так забавно обманывает, водит за нос «великий комбинатор». Большой мир, мир революции и социалистического строительства как бы отсутствует. Предполагается, что советский читатель сам все время видит перед собой этот большой мир. С его-то высоты и осмеивается беспощадно вся человеческая мелкота, заполняющая роман.

Кроме того, уж слишком мелки все персонажи «Двенадцати стульев». Нет среди них крупных и серьезных врагов. Отсюда и некоторый налет добродушия в романе. А Остап Бендер своим остроумием, находчивостью даже внушает к себе некоторую симпатию. Он уходит со сцены неразоблаченным до конца. По-видимому, сами Ильф и Петров чувствовали некоторую неудовлетворенность как творцы интересного сатирического образа. Быть может, они сами говорили себе: мы тебя, Остап Бендер, породили, мы тебя и убьем.

Именно так и заканчивается второй роман. Остап Бендер физически не умирает. Он говорит о себе, что намерен оставить свои плутни и переквалифицироваться в управдомы. Но он терпит полное моральное банкротство. Авторы выносят ему приговор, более жестокий и более справедливый: Остап Бендер высмеян насмерть, убит своим же собственным оружием.

Во втором романе появляется тот широкий общественный фон, которого явно не хватает в первом. Авторы по сути не выходят из рамок сатирического романа. Действие развивается в малом мирке мещанских страстишек. Но время от времени мы слышим шум настоящей большой жизни, встают картины великого социалистического строительства. Символичны и полны глубокого смысла те страницы, где рассказано, как пассажиры «Антилопы», вынужденные свернуть с шоссе, прячутся в овраге и смотрят, как мчатся одна за другой машины настоящего авто-

пробега. Остап Бендер и его спутники чувствуют, что мимо них пронеслась подлинная большая жизнь, а они безнадежно отстали, осмеяны, выброшены.

В городе Черноморске нарисована, как бы мимоходом, картина большого и оживленного порта. Там кипит новая жизнь, и на этом фоне жалкими выглядят похождения миллионеров Корейко и Остапа Бендера.

Таким образом, в «Золотом теленке» показан подлинный исторический масштаб того мирка, в котором Остап Бендер считается по-своему «сильным человеком». В центре сатирического обличения все те же мелкие люди, мещане, обыватели. Однако среди них есть хищники иного калибра, чем в «Двенадцати стульях»,— более крупные противники, более опасные враги нового строя. Это жулики, расхитители общественной собственности, которые прямо или косвенно соприкасаются с уголовным миром.

Расширяются и самые объекты обличения — огонь сатиры писатели направляют в романе и против бюрократов и приспособленцев. Не случайно обобщенный образ «Геркулеса» приобрел нарицательный смысл, стал воплощением бюрократизма и чиновничьего равнодушия.

Самое же главное заключается в том, что из торжествующего героя Остап Бендер превращается в неудачника, терпящего одно поражение за другим. Великий комбинатор приобретает в конце концов свой «миллион», но теряет веру в свои эгоистические принципы. Бледнеет его остроумие, пропадает привлекательность. Он лишается своих сообщников и остается один. Авторы постепенно развенчивают его и последовательно подводят к комически-драматическому финалу.

Совершенно лишним, чужим, как бы ловко он ни приспособлялся, выглядит Остап в поезде с советскими и иностранными журналистами, который идет на строительство Восточной Магистрали (читай: Турксиб). А когда осуществляется наконец его мечта и Остап получает вожделенный миллион, он оказывается окончательно выброшенным из жизни. Тут и проявляется со всей силой основная идея романа. Она в том, что богатый частный собственник невозможен, нелеп, бессмысленен в социалистическом обществе. Так авторы морально убивают порожденного ими героя частнособственнической наживы.

«Золотой теленок» не просто продолжение «Двенадцати стульев», а дальнейшее развитие темы. Юмористические краски

во втором романе не менее ярки, чем в первом, а сатира обнаруживает более высокую ступень политической заостренности. «Золотой теленок» свидетельствует о большей идейной и художественной зрелости авторов.

Кто же он, Остап Бендер, сатирический герой, которому суждено было пережить свое время и остаться в художественной литературе, переходя от одного поколения читателей к другому? Мы не скажем, что этот литературный тип бессмертен. Но не подлежит сомнению, что он долголетен.

Можно было бы сказать, что он жулик. Однако это неполное и неточное определение.

Остап Бендер — порождение того времени, когда капитализм ликвидирован в своих основах, но социализм еще не победил окончательно. В период нэпа традиции хитроумного комбинаторства как бы обрели временную силу и не случайно именно тогда и возникла фигура Остапа Бендера. Он живет и временно расцветает только в атмосфере комбинаций, мелочных расчетов, азартной игры, надувательства.

Остап Бендер — воинствующий мещанин. Он не хочет приспособляться к социализму и мечтает о «Рио-де-Жанейро», о блеске и соблазнах большого капиталистического города. Он не хочет работать и принципиально враждебен всякому коллективу. Он самоуверен и презирает всех, кто живет честным трудом.

Основная черта в Остапе Бендере — цинизм. Он издевается над всеми высокими и благородными понятиями, никого не любит, кроме самого себя. Он уважает только деньги — «миллион», как силу, которая может дать ему полную свободу и насытить мещанский аппетит.

Но если бы Ильф и Петров наградили Остапа Бендера только этими качествами, то у них вышла бы двуногая схема авантюриста-приобретателя. Ее можно было бы заполнить юмористическими эпизодами, но сатира выглядела бы бледно и неубедительно.

Авторы придали ему еще и другие черты. От этого Остап Бендер стал живым человеком, а роман приобрел сатирическую значительность. Великий комбинатор всегда весел, энергичен, находчив, умен. Он даже привлекает к себе некоторой, если угодно, «широтой» своей натуры.

Ильф и Петров не побоялись того, что их отрицательный герой сможет внушить читателям некоторую симпатию. Незауряд-

ность его натуры заставляет читателя жалеть, что способности Остапа растрачиваются понапрасну. Глупый Остап Бендер не был бы интересен и, главное, не был бы опасен.

Ильф и Петров в сатирических романах разоблачали опасного врага, умного мещанина, способного замутить своим цинизмом чистоту новых моральных отношений. В «Золотом теленке» несравненно меньше и советских пошехонцев, которых может обвести вокруг пальца нахальный циник Остап Бендер. Караси-обыватели постепенно исчезают. Новый, социалистический быт все больше вытесняет, выкуривает мещанство из его клоповников, что символизирует в романе и конец «Вороньей слободки».

Мы видим, как увядает, блекнет и сам Остап Бендер, видим, как впервые ощущает растерянность этот самоуверенный человек, когда в вагоне поезда пытается похвастать перед советской молодежью своим миллионом. Он становится жалким, и читатель смеется над его глупостью, когда, увешанный золотыми блюдами, с набором часов, с кольцами и брошками в карманах, он переходит границу и попадает в капиталистический «рай». Последняя комбинация «великого комбинатора» бесславно провалилась. Бендер оказался в дураках...

Мы уже говорили, что сатирические романы это как бы вершины творчества Ильфа и Петрова. Они написали, кроме того, немалое число рассказов, новелл, очерков, фельетонов, пьес, киносценариев. Это словно предгорья и отроги основного литературного массива.

Они так же сверкают юмором, в них та же неистощимость веселого смеха, богатая выдумка, меткость карикатурных характеристик. И та же сатирическая направленность. Ильф и Петров ведут борьбу против неизменных своих врагов — против мещанства, пошлости, бюрократизма, равнодушия.

Следует особо отметить те фельетоны, которые, начиная с 1932 года, Ильф и Петров печатали в «Правде»: «Веселящаяся единица», «Безмятежная тумба», «Костяная нога», «Директивный бантик» и другие. Интересен и значителен самый факт участия Ильфа и Петрова в «Правде». Они пришли сюда не как писатели «со стороны», не как случайные литераторы, для которых основная жизнь — в книге, в журнале, а газета только эпизод, только визит от случая к случаю.

Ильф и Петров были радушно приняты редакцией руководя-

щего, центрального органа советской печати. Они сотрудничали в газете как писатели-журналисты, как активные члены редакционного коллектива. Это значило, что партия высоко и по заслугам оценила сатирическое творчество Ильфа и Петрова.

«Правда» была политической школой для писателей, она помогала им как фельетонистам добиваться большей идейной заостренности своих выступлений. Работа в «Правде» расширила их идейный кругозор. Ильф и Петров создали свой оригинальный тип художественно-сатирического газетного фельетона. Он отличается от фельетона Михаила Кольцова, в котором при всей художественности все же первое место принадлежит элементу публицистичности.

Для фельетониста, так сказать, «чистой воды» частный случай является основным содержанием произведения. Автор может и отойти от подлинного факта или явления, может иногда заменить настоящие имена и адреса вымышленными, но по сути он не уйдет далеко от частного случая. Даже самый талантливый фельетонист пользуется средствами и приемами художественного вымысла лишь весьма ограниченно.

Писатель в фельетоне позволяет себе несравненно большую свободу. Конкретный случай служит для него лишь отправным пунктом. Публицистическая действенность фельетона его интересует в меньшей степени. Его влечет к созданию художественного типического образа.

Конкретные явления вмещаются в поле зрения фельетониста лишь в той мере, в какой они нужны для публицистической цели. Поэтому живые люди тоже предстают в фельетоне только одной своей стороной — функциональной, служебной. От этого у них плоскостной вид. Они имеют как бы только одно измерение, словно вырезаны из картона. Мы ничего не знаем об их жизни, кроме того, что они совершили то или иное дело, хорошее или дурное.

Глаз писателя-художника воспринимает жизнь по-иному. Писатель непременно хочет заглянуть и в другие стороны явления или биографии человека. Писателю нужен человек в трех измерениях — объемный, рельефный. Только такой человек обретает подлинную жизнь, становится типическим характером. Писатель жертвует конкретностью в угоду художественной целостности. Прокуроры с живым интересом хватаются за фельетон публициста-газетчика. Им нечего делать с фельетоном писателя.

Ильф и Петров создали фельетон-новеллу, фельетон-рассказ. Некоторые их фельетоны по литературному характеру прибли-

жаются к сказкам Щедрина. Они лаконичны, пронизаны юмором, дают до предела сжатый художественно-сатирический образ высмеиваемого явления.

Фельетоны Ильфа и Петрова в большинстве своем не конкретные фельетоны, то есть не такие, в которых фигурируют определенные лица со своим адресом, с подлинными именами. Но это и не просто выдуманные или, как говорят, «высосанные из пальца» явления и лица. В основе фельетона — наблюдение над подлинными фактами. Авторы умеют подмечать характерные черты и черточки и сливать их в одном обобщенном образе, который приобретает совершенную жизненность.

Нетрудно заметить, что в фельетонах, напечатанных в «Правде», мишень для сатирического обстрела значительно крупнее, чем в «Двенадцати стульях». Ильф и Петров включаются в общую борьбу партийной печати за воспитание коммунистических черт в характере и поведении советского человека. Это борьба против опошления высоких и благородных идей. С такого рода опошлением мы встречаемся, например, в фельетоне «Веселящаяся единица». Сатирический смех приобретает в нем поистине убийственную силу. Меткость образа такова, что он врезывается надолго в память.

Известны слова В. И. Ленина о том, что талантливая сатира требует и глубокого знания жизни. Ильф и Петров непрерывно расширяли круг своих наблюдений и все глубже всматривались в процессы коренного общественного переустройства страны. Сатира их становилась целенаправленней, острее. Поэтому такое широкое общественное звучание приобрели их выступления в «Правде».

В 1935 году Ильф и Петров побывали в США. Очерки их путешествия составили книгу «Одноэтажная Америка». Заглавие книги выразительно говорит о ее содержании. Америка небоскребов многократно описана и, так сказать, давно открыта. Ильф и Петров открывают новую Америку — обширную страну небольших, провинциальных городков, поселков, одиноко стоящих ферм и бесконечных, превосходно оборудованных для дальнего путешествия автострад.

Конечно, Ильф и Петров хорошо знают, что небоскребы играют решающую роль в экономических и политических судьбах США. Небоскребы — это цитадели, храмы, центры могуще-

ственных монополий, дворцы всевластного доллара. Истина американского империализма познается на знаменитой Пятой авеню, в квартале миллиардеров, на Бродвее, где назойливая реклама кричит о богатстве американской буржуазии, и в кварталах Гарлема, где нищета вопиет о себе грязью улиц и лохмотьями жителей. Быт и нравы американских верхов и низов хорошо знакомы миру. Они и составляют пресловутый «американский образ жизни».

Ильфа и Петрова привлекала та Америка, которая всего меньше посещалась корреспондентами и туристами. Это — Америка «среднего американца», так называемого «простого американца». Это характерно для Ильфа и Петрова. Они въезжали в США как бы не с парадного подъезда, желая собственными глазами взглянуть на ту Америку, которая не кричит о себе пронзительными голосами больших буржуазных газет, а молчит и ведет «незаметную» жизнь. Это совсем не значит, что Ильф и Петров уклонялись от больших и серьезных социальных проблем. Нет, эти проблемы все время стоят перед ними, но они, верные своему сатирическому призванию, стремились разоблачить капитализм, начиная «с другого конца», пытаясь проникнуть в душу рядового американца.

Ильф и Петров проехали тысячи миль по американскому континенту. Они нигде долго не задерживались. Однако их впечатления нельзя назвать мимолетными и поверхностными.

В своих очерках они открывают разительный контраст между ушедшей далеко вперед техникой и примитивным, убогим духовным миром американского обывателя. Авторы отдают должное «сервису», удобству и комфорту домашнего быта, превосходного обслуживания туристов. Но какой же непроходимой скукой веет от этого стандартизованного американского уюта!

Наблюдения Ильфа и Петрова глубоки и серьезны. Они отмечают трудолюбие американского народа, его деловитость. Ильф и Петров встречали на своем пути немало честных тружеников. Для таких людей у авторов есть хорошие, теплые слова. Американский простой народ мог бы стать большой общественной силой в своем государстве, но на деле он бесправен. Крупная, империалистическая буржуазия монополизировала все: промышленность, власть, культуру, просвещение. Она в совершенстве овладела искусством оглупления народа.

«Одноэтажная Америка» — это во многом смешная книга, но вместе с тем и книга глубоко поучительная.

Американские впечатления дали Ильфу и Петрову материал еще для одного произведения — большого рассказа «Тоня». Он отмечен чертами, новыми в творчестве сатириков. Это рассказ о простых советских людях, вынужденных жить в капиталистическом обществе, среди чужих и чуждых им людей. Сатира соседствует в этом произведении с лирикой. Образы молодой советской женщины Тони Говорковой и ее мужа Кости, как и других членов советской колонии, написаны мягкими, акварельными красками.

Рассказ значителен по своей теме и звучанию и отличается высоким литературным мастерством. Простые советские люди, воспитанные в социалистическом обществе, не могут нормально жить в капиталистическом мире. Им не хватает воздуха чистых человеческих отношений. Они задыхаются. Им скучно, их тянет к труду, к здоровому, осмысленному существованию. Пресловутый «американский образ жизни» не может ни соблазнить, ни испортить этих хороших советских молодых людей. В рассказе нет нарочитой тенденции. Он прост, подкупает своей скромной правдивостью. А как убедительно раскрывается в нем превосходство социалистической морали над буржуазными нравами. Рассказ «Тоня» как бы знаменовал в творчестве Ильфа и Петрова пробу нового жанра. В этом произведении авторы прямо обращаются к изображению положительного героя, к раскрытию его духовного мира.

Литературное содружество Ильфа и Петрова продолжалось всего десять лет. Оно оборвалось неожиданно и в полном расцвете таланта двуединого автора. 13 апреля 1937 года Ильф умер от туберкулеза. Незавершенными остались многие планы и замыслы. О них свидетельствуют записные книжки Ильфа, наброски и эскизы задуманных произведений.

Евгений Петров осиротел. Он продолжал работу, которую они начали вместе. Памяти Ильфа он собирался посвятить большое произведение, но, к сожалению, не успел этого сделать. Сохранились его воспоминания о друге, опубликованные вместе с последним произведением Ильфа «Записные книжки», и план неосуществленной книги «Мой друг Ильф», которая обещала быть содержательной и интересной.

Произведения, написанные Евгением Петровым после смерти Ильфа, свидетельствуют о неистощимой плодовитости, о сверкающем остроумии. Их тематика становилась все более разнообразной. Оставшись один, он как бы продолжал писать за двоих. В сатирической комедии «Остров мира» осмеян либеральный па-

цифизм, вскрыты причины возникновения второй мировой войны. Он писал киносценарии, статьи, очерки, вел значительную редакторскую и организаторскую работу в «Литературной газете» и в журнале «Огонек». Им был начат большой роман о будущем.

Преждевременная смерть прервала его жизнь на фронте. Евгений Петров погиб в 1942 году, возвращаясь из осажденного Севастополя. Героической обороне этого города посвящены его последние очерки.

Произведения Ильфа и Петрова живут. Их литературные краски не поблекли от времени. Читатели нового поколения смеются так же весело и заразительно, как смеялись их первые читатели. Но, посмеявшись, они задумываются всерьез над содержанием веселой и злой сатиры Ильфа и Петрова, которая и сегодня активно помогает искоренять пережитки капитализма в нашей стране, бороться с тунеядцами, с мещанскими навыками, привычками и вкусами, содействует коммунистическому воспитанию трудящихся.

Д. Заславский

ДВОЙНАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Составить автобиографию автора «Двенадцати стульев» довольно затруднительно. Дело в том, что автор родился дважды: в 1897 году и в 1903 году. В первый раз автор родился под видом Ильи Ильфа, а во второй раз — Евгения Петрова.

Оба эти события произошли в городе Одессе.

Таким образом, уже с младенческого возраста автор начал вести двойную жизнь. В то время как одна половина автора барахталась в пеленках, другой уже было шесть лет и она лазила через забор на кладбище, чтобы рвать сирень. Такое двойное существование продолжалось до 1925 года, когда обе половины впервые встретились в Москве.

Илья Ильф родился в семье банковского служащего и в 1913 году окончил техническую школу. С тех пор он последовательно работал в чертежном бюро, на телефонной станции, на авиационном заводе и на фабрике ручных гранат. После этого был статистиком, редактором юмористического журнала «Синдетикон», в котором писал стихи под женским псевдонимом, бухгалтером и членом Президиума Одесского союза поэтов. После подведения баланса выяснилось, что перевес оказался на литературной, а не бухгалтерской деятельности, и в 1923 году И. Ильф приехал в Москву, где и нашел свою, как видно окончательную, профессию — стал литератором, работал в газетах и юмористических журналах.

Евгений Петров родился в семье преподавателя и в 1920 году окончил классическую гимназию. В том же году сделался корреспондентом Украинского телеграфного агентства. После этого в течение трех лет служил инспектором уголовного розыска. Первым его литературным произведением был протокол осмотра трупа неизвестного мужчины. В 1923 году Евг. Петров переехал в Москву, где продолжал образование и занялся журналистикой. Работал в газетах и юмористических журналах. Выпустил несколько книжечек юмористических рассказов.

После стольких приключений разрозненным частям удалось наконец встретиться. Прямым следствием этого и явился роман «Двенадцать стульев», написанный в 1927 году в Москве.

В таких случаях авторов обычно спрашивают, как это они пишут вдвоем. Интересующимся можем указать на пример певцов, которые поют дуэты и чувствуют себя при этом отлично.

После «Двенадцати стульев» нами выпущены в свет — сатирическая повесть «Светлая личность» и две серии гротескных новелл: «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» и «1001 день, или Новая Шахерезада».

Сейчас мы пишем роман под названием «Великий комбинатор» и работаем над повестью «Летучий голландец». Мы входим в недавно образовавшуюся литературную группу «Клуб чудаков».

Несмотря на такую согласованность действий, поступки авторов бывают иногда глубоко индивидуальными. Так, например, Илья Ильф женился в 1924, а Евгений Петров в 1929 году.

Илья Ильф, Евг. Петров

Сочинено 25 июля 1929 г.
Москва

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВИЧУ
КАТАЕВУ

ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ

Рисунки художника

М. ЧЕРЕМНЫХ

Часть первая

СТАРГОРОДСКИЙ ЛЕВ

Глава I

БЕЗЕНЧУК И «НИМФЫ»

В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе N люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города N была тишайшей. Весенние вечера были упоительны, грязь под луною сверкала, как антрацит, и вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальников, что это мешало ей собирать членские взносы.

Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами по роду своей службы он ведал с девяти утра до пяти вечера ежедневно с получасовым перерывом для завтрака.

По утрам, выпив из морозного, с жилкой, стакана свою порцию горячего молока, поданного Клавдией Ивановной, он выходил из полутемного домика на просторную, полную диковинного весеннего света улицу имени товарища Губернского. Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую руку за волнистыми зеленоватыми стеклами серебрились гробы похоронного бюро «Нимфа». Справа за маленькими, с обвалившейся замазкой окнами

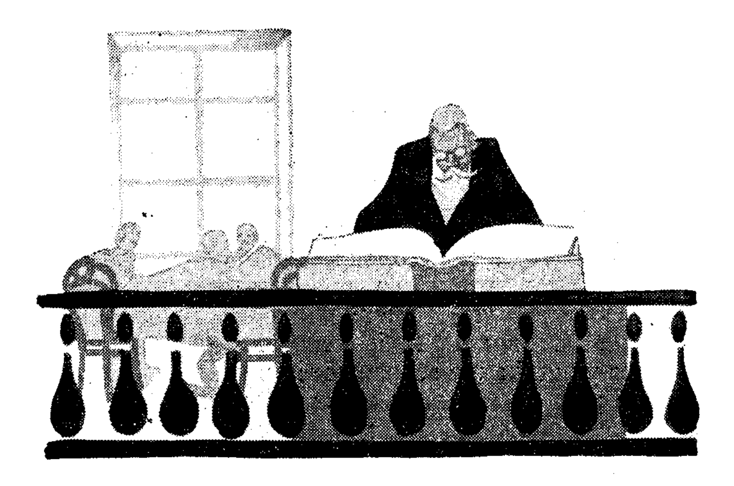
угрюмо возлежали дубовые пыльные и скучные гробы гробовых дел мастера Безенчука. Далее «Цирульный мастер Пьер и Константин» обещал своим потребителям «холю ногтей» и «ондулянсион на дому». Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской, а за нею на большом пустыре стоял палевый теленок и нежно лизал поржавевшую, прислоненную к одиноко торчащим воротам вывеску:

ПОГРЕБАЛЬНАЯ КОНТОРА
«МИЛОСТИ ПРОСИМ»

Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была небогатая. «Милости просим» лопнуло еще за три года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе N, а мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб.

Люди в городе N умирали редко, и Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в загсе, где ведал столом регистрации смертей и браков.

Стол, за которым работал Ипполит Матвеевич, походил на старую надгробную плиту. Левый угол его был уничтожен крысами. Хилые его ножки тряслись



под тяжестью пухлых папок табачного цвета с записями, из которых можно было почерпнуть все сведения о родословных жителей города N и о генеалогических древах, произросших на скудной уездной почве.

В пятницу 15 апреля 1927 года Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой. Очков он не носил. Однажды, решив, что носить пенсне негигиенично, Ипполит Матвеевич направился к оптику и купил очки без оправы, с позолоченными оглоблями. Очки с первого раза ему понравились, но жена (это было незадолго до ее смерти) нашла, что в очках он — вылитый Милюков, и он отдал очки дворнику. Дворник, хотя и не был близорук, к очкам привык и носил их с удовольствием.

— Бонжур! — пропел Ипполит Матвеевич самому себе, спуская ноги с постели. «Бонжур» указывало на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в добром расположении. Сказанное при пробуждении «гут морген» обычно значило, что печень пошаливает, что пятьдесят два года — не шутка и что погода нынче сырая.

Ипполит Матвеевич сунул сухощавые ноги в до-

военные штучные брюки, завязал их у щиколоток тесемками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами. Через пять минут на Ипполите Матвеевиче красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой, и переливчатый люстриновый пиджачок. Смахнув со своих седин оставшиеся после умывания росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами, в нерешительности потрогал рукою шероховатый подбородок, провел щеткой по коротко остриженным алюминиевым волосам и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входившей в комнату теще — Клавдии Ивановне.

— Эпполе-эт,— прогремела она,— сегодня я видела дурной сон.

Слово «сон» было произнесено с французским прононсом.

Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до ста восьмидесяти пяти сантиметров, и с такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще с некоторым пренебрежением.

Клавдия Ивановна продолжала:

— Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке.

От пушечных звуков голоса Клавдии Ивановны дрожала чугунная лампа с ядром, дробью и пыльными стеклянными цацками.

— Я очень встревожена. Боюсь, не случилось бы чего.

Последние слова были произнесены с такой силой, что каре волос на голове Ипполита Матвеевича колыхнулось в разные стороны. Он сморщил лицо и раздельно сказал:

— Ничего не будет, маман. За воду вы уже вносили?

Оказывается, что не вносили. Калоши тоже не были помыты. Ипполит Матвеевич не любил своей тещи. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет. Скупа она была до чрезвычайности, и только бедность Ипполита Матвеевича не давала развернуться этому захватывающему чувству. Голос

у нее был такой силы и густоты, что ему позавидовал бы Ричард Львиное Сердце, от крика которого, как известно, приседали кони. И кроме того,— что было самым ужасным,— Клавдия Ивановна видела сны. Она видела их всегда. Ей снились девушки в кушаках, лошади, обшитые желтым драгунским кантом, дворники, играющие на арфах, архангелы в сторожевых тулупах, прогуливающиеся по ночам с колотушками в руках, и вязальные спицы, которые сами собой прыгали по комнате, производя огорчительный звон. Пустая старуха была Клавдия Ивановна. Вдобавок ко всему под носом у нее выросли усы, и каждый ус был похож на кисточку для бритья.

Ипполит Матвеевич, слегка раздраженный, вышел из дому.

У входа в свое потасканное заведение стоял, прислонясь к дверному косяку и скрестив руки, гробовых дел мастер Безенчук. От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко-желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем.

— Почет дорогому гостю! — прокричал он скороговоркой, завидев Ипполита Матвеевича.— С добрым утром!

Ипполит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную касторовую шляпу.

— Как здоровье тещеньки, разрешите узнать?

— Мр-мр-мр,— неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше.

— Ну, дай бог здоровьичка,— с горечью сказал Безенчук,— одних убытков сколько несем, туды его в качель!

И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери.

У врат похоронного бюро «Нимфа» Ипполита Матвеевича снова попридержали.

Владельцев «Нимфы» было трое. Они враз поклонились Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о здоровье тещи.

— Здорова, здорова,— ответил Ипполит Матвеевич,— что ей делается! Сегодня золотую девушку видела, распущенную. Такое ей было видение во сне.

Три «нимфа» переглянулись и громко вздохнули.

Все эти разговоры задержали Ипполита Матвеевича в пути, и он, против обыкновения, пришел на службу тогда, когда часы, висевшие над лозунгом «Сделал свое дело — и уходи», показывали пять минут десятого.

Ипполита Матвеевича за большой рост, а особенно за усы, прозвали в учреждении Мацистом, хотя у настоящего Мациста никаких усов не было.

Вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку, Ипполит Матвеевич положил ее на стул, придал усам правильное направление (параллельно линии стола) и сел на подушечку, немного возвышаясь над тремя своими сослуживцами. Ипполит Матвеевич не боялся геморроя, он боялся протереть брюки и потому пользовался синим войлоком.

За всеми манипуляциями советского служащего застенчиво следили двое молодых людей — мужчина и девица. Мужчина в суконном на вате пиджаке был совершенно подавлен служебной обстановкой, запахом ализариновых чернил, часами, которые часто и тяжело дышали, а в особенности строгим плакатом «Сделал свое дело — и уходи». Хотя дела своего мужчина в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось. Ему казалось, что дело, по которому он пришел, настолько незначительно, что из-за него совестно беспокоить такого видного седого гражданина, каким был Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич и сам понимал, что у пришедшего дело маленькое, что оно терпит, а потому, раскрыв скоросшиватель № 2 и дернув щечкой, углубился в бумаги. Девица, в длинном жакете, обшитом блестящей черной тесьмой, пошепталась с мужчиной и, теплея от стыда, стала медленно подвигаться к Ипполиту Матвеевичу.

— Товарищ,— сказала она,— где тут...

Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и неожиданно для самого себя гаркнул:

— Сочетаться!

Ипполит Матвеевич внимательно поглядел на перильца, за которыми стояла чета.

— Рождение? Смерть?

— Сочетаться,— повторил мужчина в пиджаке и растерянно оглянулся по сторонам.

Девица прыснула. Дело было на мази. Ипполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу. Записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстые книги, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно дышал на квадратные штампы и, привстав, оттискивал их на потрепанных паспортах. Приняв от молодоженов два рубля и выдав квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал, усмехнувшись: «За совершение таинства»,— и поднялся во весь свой прекрасный рост, по привычке выкатив грудь (в свое время он нашивал корсет). Толстые желтые лучи солнца лежали на его плечах, как эполеты. Вид у него был несколько смешной, но необыкновенно торжественный. Двояковогнутые стекла пенсне лучились белым прожекторным светом. Молодые стояли, как барашки.

— Молодые люди,— заявил Ипполит Матвеевич выспренно,— позвольте вас поздравить, как говаривалось раньше, с законным браком. Очень, оч-чень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень, оч-чень приятно!

Произнесши эту тираду, Ипполит Матвеевич пожал новобрачным руки, сел и, весьма довольный собою, продолжал чтение бумаг из скоросшивателя № 2.

За соседним столом служащие хрюкнули в чернильницы.

Началось спокойное течение служебного дня. Никто не тревожил стол регистрации смертей и браков. В окно было видно, как граждане, поеживаясь от весеннего холодка, разбредались по своим домам. Ровно в полдень запел петух в кооперативе «Плуг и молот». Никто этому не удивился. Потом раздались

металлическое кряканье и клекот мотора. С улицы имени товарища Губернского выкатился плотный клуб фиолетового дыма. Клекот усилился. Из-за дыма вскоре появились контуры уисполкомовского автомобиля Гос. № 1 с крохотным радиатором и громоздким кузовом. Автомобиль, барахтаясь в грязи, пересек Старопанскую площадь и, колыхаясь, исчез в ядовитом дыму. Служащие долго еще стояли у окна, комментируя происшествие и ставя его в связь с возможным сокращением штата. Через некоторое время по деревянным мосткам осторожно прошел мастер Безенчук. Он целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто.

Служебный день подходил к концу. На соседней желтенькой с белым колокольне что есть мочи забили в колокола. Дрожали стекла. С колокольни посыпались галки, помитинговали над площадью и унеслись. Вечернее небо леденело над опустевшей площадью.

Ипполиту Матвеевичу пора было уходить. Все, что имело родиться в этот день, родилось и было записано в толстые книги. Все желающие повенчаться были повенчаны и тоже записаны в толстые книги. И не было лишь, к явному разорению гробовщиков, ни одного смертного случая. Ипполит Матвеевич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку, распушил гребенкой усы и уже было, мечтая об огнедышащем супе, собрался пойти прочь, как дверь канцелярии распахнулась, на пороге ее появился гробовых дел мастер Безенчук.

— Почет дорогому гостю,— улыбнулся Ипполит Матвеевич.— Что скажешь?

Хотя дикая рожа мастера и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего не смог.

— Ну? — спросил Ипполит Матвеевич более строго.

— «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? — смутно молвил гробовой мастер.— Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб — он одного лесу сколько требует...

— Чего? — спросил Ипполит Матвеевич.

— Да вот «Нимфа»... Их три семейства с одной торговлишки живут. Уже у них и матерьял не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я — фирма старая. Основан в тысяча девятьсот седьмом году. У меня гроб — огурчик, отборный, любительский...

— Ты что же это, с ума сошел? — кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу.— Обалдеешь ты среди гробов.

Безенчук предупредительно рванул дверь, пропустил Ипполита Матвеевича вперед, а сам увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения.

— Еще когда «Милости просим» было, тогда верно! Против ихнего глазету ни одна фирма, даже в самой Твери, выстоять не могла, туды ее в качель. А теперь, прямо скажу, лучше моего товара нет. И не ищите даже.

Ипполит Матвеевич с гневом обернулся, посмотрел секунду на Безенчука сердито и зашагал несколько быстрее. Хотя никаких неприятностей по службе с ним сегодня не произошло, но почувствовал он себя довольно гадостно.

Три владельца «Нимфы» стояли у своего заведения в тех же позах, в каких Ипполит Матвеевич оставил их утром. Казалось, что с тех пор они не сказали друг другу ни слова, но разительная перемена в лицах, таинственная удовлетворенность, томно мерцавшая в их глазах, показывала, что им известно кое-что значительное.

При виде своих коммерческих врагов Безенчук отчаянно махнул рукой, остановился и зашептал вслед Воробьянинову:

— Уступлю за тридцать два рублика.

Ипполит Матвеевич поморщился и ускорил шаг.

— Можно в кредит,— добавил Безенчук.

Трое же владельцев «Нимфы» ничего не говорили. Они молча устремились вслед за Воробьяниновым, беспрерывно снимая на ходу картузы и вежливо кланяясь.

Рассерженный вконец глупыми приставаниями гробовщиков, Ипполит Матвеевич быстрее обыкновен-

ного взбежал на крыльцо, раздраженно соскреб о ступеньку грязь и, испытывая сильнейшие приступы аппетита, вошел в сени. Навстречу ему из комнаты вышел пышущий жаром священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор. Подобрав правой рукой рясу и не обращая внимания на Ипполита Матвеевича, отец Федор пронесся к выходу.

Тут Ипполит Матвеевич заметил излишнюю чистоту, новый, режущий глаза беспорядок в расстановке немногочисленной мебели и ощутил щекотание в носу, происшедшее от сильного лекарственного запаха. В первой комнате Ипполита Матвеевича встретила соседка, агрономша Кузнецова. Она зашептала и замахала руками:

— Ей хуже, она только что исповедовалась. Не стучите сапогами.

— Я не стучу,— покорно ответил Ипполит Матвеевич.— Что же случилось?

Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты:

— Сильнейший сердечный припадок.

И, повторяя явно чужие слова, понравившиеся ей своей значительностью, добавила:

— Не исключена возможность смертельного исхода. Я сегодня весь день на ногах. Прихожу утром за мясорубкой, смотрю — дверь открыта, в кухне

никого, в этой комнате тоже, ну, я думаю, что Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей. Она давеча собиралась. Мука теперь, сами знаете, если не купишь заранее...

Мадам Кузнецова долго еще рассказывала бы про муку, про дороговизну и про то, как она нашла Клавдию Ивановну лежащей у изразцовой печки в совершенно мертвенном состоянии, но стон, раздавшийся из соседней комнаты, больно поразил слух Ипполита Матвеевича. Он быстро перекрестился слегка онемевшей рукой и прошел в комнату тещи.

Глава II

КОНЧИНА МАДАМ ПЕТУХОВОЙ

Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был в какой-то моде в каком-то году, когда дамы носили «шантеклер» и только начинали танцевать аргентинский танец «танго».

Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок.

— Клавдия Ивановна! — позвал Воробьянинов.

Теща быстро зашевелила губами, но, вместо привычных уху Ипполита Матвеевича трубных звуков, он услышал стон, тихий, тонкий и такой жалостный, что сердце его дрогнуло. Блестящая слеза неожиданно быстро выкатилась из глаза и, словно ртуть, скользнула по лицу.

— Клавдия Ивановна,— повторил Воробьянинов,— что с вами?

Но он снова не получил ответа. Старуха закрыла глаза и слегка завалилась на бок.

В комнату тихо вошла агрономша и увела его за руку, как мальчика, которого ведут мыться.

— Она заснула. Врач не велел ее беспокоить. Вы, голубчик, вот что — сходите в аптеку. Нате квитанцию и узнайте, почем пузыри для льда.

Ипполит Матвеевич во всем покорился мадам Кузнецовой, чувствуя ее неоспоримое превосходство в подобных делах.

До аптеки бежать было далеко. По-гимназически, зажав в кулаке рецепт, Ипполит Матвеевич торопливо вышел на улицу.

Было уже почти темно. На фоне иссякающей зари виднелась тщедушная фигура гробовых дел мастера Безенчука, который, прислонясь к еловым воротам, закусывал хлебом и луком. Тут же рядом сидели на корточках три «нимфа» и, облизывая ложки, ели из чугунного горшочка гречневую кашу. При виде Ипполита Матвеевича гробовщики вытянулись, как солдаты. Безенчук обидчиво пожал плечами и, протянув руку в направлении конкурентов, проворчал:

— Путаются, туды их в качель, под ногами.

Посреди Старопанской площади, у бюстика поэта Жуковского с высеченной на цоколе надписью: «Поэзия есть бог в святых мечтах земли», велись оживленные разговоры, вызванные известием о тяжелой болезни Клавдии Ивановны. Общее мнение собравшихся горожан сводилось к тому, что «все там будем» и что «бог дал, бог и взял».

Парикмахер «Пьер и Константин», охотно отзывавшийся, впрочем, на имя «Андрей Иванович», и тут не упустил случая выказать свои познания в медицинской области, почерпнутые им из московского журнала «Огонек».

— Современная наука,— говорил Андрей Иванович,— дошла до невозможного. Возьмите: скажем, у клиента прыщик на подбородке вскочил. Раньше до заражения крови доходило, а теперь в Москве, говорят,— не знаю, правда это или неправда,— на каждого клиента отдельная стерилизованная кисточка полагается.

Граждане протяжно вздохнули.

— Это ты, Андрей, малость перехватил...

— Где же это видано, чтоб на каждого человека отдельная кисточка? Выдумает же!

Бывший пролетарий умственного труда, а ныне палаточник Прусис даже разнервничался:

— Позвольте, Андрей Иванович, в Москве, по данным последней переписи, больше двух миллионов жителей? Так, значит, нужно больше двух миллионов кисточек? Довольно оригинально.

Разговор принимал горячие формы и черт знает до чего дошел бы, если б в конце Осыпной улицы не показался Ипполит Матвеевич.

— Опять в аптеку побежал. Плохи дела, значит.

— Помрет старуха. Недаром Безенчук по городу сам не свой бегает.

— А доктор что говорит?

— Что доктор! В страхкассе разве доктора? И здорового залечат!

«Пьер и Константин», давно уже порывавшийся сделать сообщение на медицинскую тему, заговорил, опасливо оглянувшись:

— Теперь вся сила в гемоглобине.

Сказав это, «Пьер и Константин» умолк.

Замолчали и горожане, каждый по-своему размышляя о таинственных силах гемоглобина.

Когда поднялась луна и ее мятный свет озарил миниатюрный бюстик Жуковского, на медной его спине можно было ясно разобрать написанное мелом краткое ругательство.

Впервые подобная надпись появилась на бюстике 15 июня 1897 года в ночь, наступившую непосредственно после открытия памятника. И как представители полиции, а впоследствии милиции ни старались, хулительная надпись аккуратно возобновлялась каждый день.

В деревянных с наружными ставнями домиках уже пели самовары. Был час ужина. Граждане не стали понапрасну терять время и разошлись. Подул ветер.

Между тем Клавдия Ивановна умирала. Она то просила пить, то говорила, что ей нужно встать и

сходить за отданными в починку парадными штиблетами Ипполита Матвеевича, то жаловалась на пыль, от которой, по ее словам, можно было задохнуться, то просила зажечь все лампы.

Ипполит Матвеевич, который уже устал волноваться, ходил по комнате. В голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли. Он думал о том, как придется брать в кассе взаимопомощи аванс, бегать за попом и отвечать на соболезнующие письма родственников. Чтобы рассеяться немного, Ипполит Матвеевич вышел на крыльцо. В зеленом свете луны стоял гробовых дел мастер Безенчук.

— Так как же прикажете, господин Воробьянинов? — спросил мастер, прижимая к груди картуз.

— Что ж, пожалуй,— угрюмо ответил Ипполит Матвеевич.

— А «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает! — заволновался Безенчук.

— Да пошел ты к черту! Надоел!

— Я ничего. Я насчет кистей и глазета. Как сделать, туды ее в качель? Первый сорт, прима? Или как?

— Без всяких кистей и глазетов. Простой деревянный гроб. Сосновый. Понял?

Безенчук приложил палец к губам, показывая этим, что он все понимает, повернулся и, балансируя картузом, но все же шатаясь, отправился восвояси. Тут только Ипполит Матвеевич заметил, что мастер смертельно пьян.

На душе Ипполита Матвеевича снова стало необыкновенно гадостно. Он не представлял себе, как будет приходить в опустевшую, замусоренную квартиру. Ему казалось, что со смертью тещи исчезнут те маленькие удобства и привычки, которые он с усилиями создал себе после революции, похитившей у него большие удобства и широкие привычки. «Жениться? — подумал Ипполит Матвеевич.— На ком? На племяннице начальника милиции, на Варваре Степановне, сестре Прусиса? Или, может быть, нанять домработницу? Куда там! Затаскает по судам. Да и накладно».

Жизнь сразу почернела в глазах Ипполита Матвеевича. Полный негодования и отвращения ко всему на свете, он снова вернулся в дом.

Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лежа на подушках, она посматривала на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и, как ему показалось, даже строго.

— Ипполит,— прошептала она явственно,— сядьте около меня. Я должна рассказать вам...

Ипполит Матвеевич с неудовольствием сел, вглядываясь в похудевшее усатое лицо тещи. Он попытался улыбнуться и сказать что-нибудь ободряющее. Но улыбка получилась дикая, а ободряющих слов совсем не нашлось. Из горла Ипполита Матвеевича вырвалось лишь неловкое пиканье.

— Ипполит,— повторила теща,— помните вы наш гостиный гарнитур?

— Какой? — спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к очень больным людям.

— Тот... Обитый английским ситцем...

— Ах, это в моем доме?

— Да, в Старгороде...

— Помню, отлично помню... Диван, дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Мебель была превосходная, гамбсовская... А почему вы вспомнили?

Но Клавдия Ивановна не смогла ответить. Лицо ее медленно стало покрываться купоросным цветом. Захватило почему-то дух и у Ипполита Матвеевича. Он отчетливо вспомнил гостиную в своем особняке, симметрично расставленную ореховую мебель с гнутыми ножками, начищенный восковой пол, старинный коричневый рояль и овальные черные рамочки с дагерротипами сановных родственников на стенах.

Тут Клавдия Ивановна деревянным, равнодушным голосом сказала:

— В сиденье стула я зашила свои брильянты.

Ипполит Матвеевич покосился на старуху.

— Какие брильянты? — спросил он машинально,

но тут же спохватился.— Разве их не отобрали тогда, во время обыска?

— Я спрятала брильянты в стул,— упрямо повторила старуха.

Ипполит Матвеевич вскочил и, посмотрев на освещенное керосиновой лампой каменное лицо Клавдии Ивановны, понял, что она не бредит.

— Ваши брильянты! — закричал он, пугаясь силы своего голоса.— В стул! Кто вас надоумил? Почему вы не дали их мне?

— Как же было дать вам брильянты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери? — спокойно и зло молвила старуха.

Ипполит Матвеевич сел и сейчас же снова встал. Сердце его с шумом рассылало потоки крови по всему телу. В голове начало гудеть.

— Но вы их вынули оттуда? Они здесь?

Старуха отрицательно покачала головой.

— Я не успела. Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать. Они остались в стуле, который стоял между терракотовой лампой и камином.

— Но ведь это же безумие! Как вы похожи на свою дочь! — закричал Ипполит Матвеевич полным голосом.

И, уже не стесняясь тем, что находится у постели умирающей, с грохотом отодвинул стул и засеменил по комнате. Старуха безучастно следила за действиями Ипполита Матвеевича.

— Но вы хотя бы представляете себе, куда эти стулья могли попасть? Или вы думаете, быть может, что они смирнехонько стоят в гостиной моего дома и ждут, покуда вы придете забрать ваши р-регалии?

Старуха ничего не ответила.

У делопроизводителя загса от злобы свалилось с носа пенсне и, мелькнув у колен золотой дужкой, грянулось об пол.

— Как? Засадить в стул брильянтов на семьдесят тысяч! В стул, на котором неизвестно кто сидит!..

Тут Клавдия Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рука ее, описав полу-

круг, пыталась ухватить Ипполита Матвеевича, но тотчас же упала на стеганое фиолетовое одеяло.

Ипполит Матвеевич, повизгивая от страха, бросился к соседке.

— Умирает, кажется!

Агрономша деловито перекрестилась и, не скрывая своего любопытства, вместе с мужем, бородатым агрономом, побежала в дом Ипполита Матвеевича. Сам Воробьянинов ошеломленно забрел в городской сад.

Покуда чета агрономов со своей прислугой прибирала в комнате покойной, Ипполит Матвеевич бродил по саду, натыкаясь на скамьи и принимая окоченевшие от ранней весенней любви парочки за кусты.

В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. Звучали цыганские хоры, грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли «танго-амапа», представлялись ему московская зима и черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов. Многое представлялось Ипполиту Матвеевичу: и оранжевые упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Канны.

Ипполит Матвеевич зашагал медленнее и вдруг споткнулся о тело гробовых дел мастера Безенчука. Мастер спал, лежа в тулупе поперек садовой дорожки. От толчка он проснулся, чихнул и живо встал.

— Не извольте беспокоиться, господин Воробьянинов,— сказал он горячо, как бы продолжая начатый давеча разговор.— Гроб — он работу любит.

— Умерла Клавдия Ивановна,— сообщил заказчик.

— Ну, царствие небесное,— согласился Безенчук.— Преставилась, значит, старушка... Старушки, они всегда преставляются... Или богу душу отдают,— это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле,— значит, преставилась. А например, которая покрупнее да похудее — та, считается, богу душу отдает...

— То есть как это считается? У кого это считается?

— У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели, не дай бог, помрете, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал».

Потрясенный этой странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:

— Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?

— Я — человек маленький. Скажут: «гигнулся Безенчук». А больше ничего не скажут,— и строго добавил: — Мне дуба дать или сыграть в ящик — невозможно: у меня комплекция мелкая... А с гробом как, господин Воробьянинов? Неужто без кистей и глазету ставить будете?

Но Ипполит Матвеевич, снова потонув в ослепительных мечтах, ничего не ответил и двинулся вперед. Безенчук последовал за ним, подсчитывая что-то на пальцах и, по обыкновению, бормоча.

Луна давно сгинула. Было по-зимнему холодно. Лужи снова затянуло ломким вафельным льдом. На улице имени товарища Губернского, куда вышли спутники, ветер дрался с вывесками. Со стороны Старопанской площади, со звуками опускаемой шторы, выехал пожарный обоз на тощих лошадях.

Пожарные, свесив парусиновые ноги с площадки, мотали головами в касках и пели нарочито противными голосами:

Нашему брандмейстеру слава,
Нашему дорогому товарищу Насосову сла-ава!..

— На свадьбе у Кольки, брандмейстерова сына, гуляли,— равнодушно сказал Безенчук и почесал под тулупом грудь.— Так неужто без глазету и без всего делать?

Как раз к этому времени Ипполит Матвеевич уже решил все. «Поеду,— решил он,— найду. А там посмотрим». И в брильянтовых мечтах даже покойница теща показалась ему милее, чем была. Он повернулся к Безенчуку:

— Черт с тобой! Делай! Глазетовый! С кистями!

Глава III

«ЗЕРЦАЛО ГРЕШНОГО»

Исповедав умирающую Клавдию Ивановну, священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков, вышел из дома Воробьянинова в полном ажиотаже и всю дорогу до своей квартиры прошел, рассеянно глядя по сторонам и смущенно улыбаясь. К концу дороги рассеянность его дошла до такой степени, что он чуть было не угодил под уисполкомовский автомобиль Гос. № 1. Выбравшись из фиолетового тумана, напущенного адской машиной, отец Востриков пришел в совершенное расстройство и, несмотря на почтенный сан и средние годы, проделал остаток пути фривольным полугалопом.

Матушка Катерина Александровна накрывала к ужину. Отец Федор в свободные от всенощной дни любил ужинать рано. Но сейчас, сняв шляпу и теплую, на ватине, рясу, батюшка быстро проскочил в спальню, к удивлению матушки, заперся там и глухим голосом стал напевать «Достойно есть».

Матушка присела на стул и боязливо зашептала:

— Новое дело затеял...

Порывистая душа отца Федора не знала покоя. Не знала она его никогда. Ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища, Федей, ни когда он был усатым семинаристом, Федор Иванычем. Перейдя из семинарии в университет и проучившись на юридическом факультете три года, Востриков в 1915 году

убоялся возможной мобилизации и снова пошел по духовной. Сперва был рукоположен в диаконы, а потом посвящен в сан священника и назначен в уездный город N. И всегда, во всех этапах духовной и гражданской карьеры, отец Федор оставался стяжателем.

Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе. Терзаемый видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было доставить ему основной и оборотный капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре заводика.

Идеи осеняли отца Федора неожиданно, и он сейчас же принимался за работу. Отец Федор начинал варить мраморное стирочное мыло; наваривал его пуды, но мыло, хотя и заключало в себе огромный процент жиров, не мылилось и вдобавок стоило втрое дороже, чем «плуг-и-молотовское». Мыло долго потом мокло и разлагалось в сенях, так что Катерина Александровна, проходя мимо него, даже всплакивала. А еще потом мыло выбрасывали в выгребную яму.

Прочитав в каком-то животноводческом журнале, что мясо кроликов нежно, как у цыпленка, что плодятся они во множестве и что разведение их может принести рачительному хозяину немалые барыши, отец Федор немедленно обзавелся полдюжиной производителей, и уже через два месяца собака Нерка, испуганная неимоверным количеством ушастых существ, заполнивших двор и дом, сбежала неизвестно куда. Проклятые обыватели города N оказались чрезвычайно консервативными и с редким единодушием не покупали востриковских кроликов. Тогда отец Федор, переговорив с попадьей, решил украсить свое меню кроликами, мясо которых превосходит по вкусу мясо цыплят. Из кроликов приготовляли жаркое, битки, пожарские котлеты; кроликов варили в супе, подавали к ужину в холодном виде и запекали в бабки. Это не привело ни к чему. Отец Федор подсчитал, что при переходе исключительно на кроличий паек

семья сможет съесть за месяц не больше сорока животных, в то время как ежемесячный приплод составляет девяносто штук, причем число это с каждым месяцем будет увеличиваться в геометрической прогрессии.

Тогда Востриковы решили давать домашние обеды. Отец Федор весь вечер писал химическим карандашом на аккуратно нарезанных листках арифметической бумаги объявления о даче вкусных домашних обедов, приготовляемых исключительно на свежем коровьем масле. Объявление начиналось словами: «Дешево и вкусно». Попадья наполнила эмалированную мисочку мучным клейстером, и отец Федор поздно вечером налепил объявления на всех телеграфных столбах и поблизости советских учреждений.

Новая затея имела большой успех. В первый же день явилось семь человек, в том числе делопроизводитель военкомата Бендин и заведующий подотделом благоустройства Козлов, тщанием которого недавно был снесен единственный в городе памятник старины — Триумфальная арка елисаветинских времен, мешавшая, по его словам, уличному движению. Всем им обед очень понравился. На другой день явилось четырнадцать человек. С кроликов не успевали сдирать шкурки. Целую неделю дело шло великолепно, и отец Федор уже подумывал об открытии небольшого скорняжного производства, без мотора, когда произошел совершенно непредвиденный случай.

Кооператив «Плуг и молот», который был заперт уже три недели по случаю переучета товаров, открылся, и работники прилавка, пыхтя от усилий, выкатили на задний двор, общий с двором отца Федора, бочку гнилой капусты, которую и свалили в выгребную яму. Привлеченные пикантным запахом, кролики сбежались к яме, и уже на другое утро среди нежных грызунов начался мор. Свирепствовал он всего только три часа, но уложил двести сорок производителей и не поддающийся учету приплод.

Ошеломленный отец Федор притих на целых два месяца и взыграл духом только теперь, возвратясь из дома Воробьянинова и запершись, к удивлению

матушки, в спальне. Все указывало на то, что отец Федор озарен новой идеей, захватившей всю его душу.

Катерина Александровна косточкой согнутого пальца постучала в дверь спальни. Ответа не было, только усилилось пение. Через минуту дверь приоткрылась, и в щели показалось лицо отца Федора, на котором играл девичий румянец.

— Дай мне, мать, ножницы поскорее,— быстро проговорил отец Федор.

— А ужин как же?

— Ладно. Потом.

Отец Федор схватил ножницы, снова заперся и подошел к стенному зеркалу в поцарапанной черной раме.

Рядом с зеркалом висела старинная народная картинка «Зерцало грешного», печатанная с медной доски и приятно раскрашенная рукой. Особенно утешило отца Федора «Зерцало грешного» после неудачи с кроликами. Лубок ясно показывал бренность всего земного. По верхнему его ряду шли четыре рисунка, подписанные славянской вязью, значительные и умиротворяющие душу: «Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет, Яфет власть имеет. Смерть всем владеет». Смерть была с косою и песочными часами с крыльями. Она была сделана как бы из протезов и ортопедических частей и стояла, широко расставив ноги, на пустой холмистой земле. Вид ее ясно говорил, что неудача с кроликами — дело пустое.

Сейчас отцу Федору больше понравилась картинка «Яфет власть имеет». Тучный богатый человек с бородою сидел в маленьком зальце на троне.

Отец Федор улыбнулся и, внимательно глядя на себя в зеркало, начал подстригать свою благообразную бороду. Волосы сыпались на пол, ножницы скрипели, и через пять минут отец Федор убедился, что подстригать бороду он совершенно не умеет. Борода его оказалась скошенной на один бок, неприличной и даже подозрительной.

Помаячив у зеркала еще немного, отец Федор обозлился, позвал жену и, протягивая ей ножницы, раздраженно сказал:

— Помоги мне хоть ты, матушка. Никак не могу вот с волосищами своими справиться.

Матушка от удивления даже руки назад отвела.

— Что же ты над собой сделал? — вымолвила она наконец.

— Ничего не сделал. Подстригаюсь. Помоги, пожалуйста. Вот здесь как будто скособочилось...

— Господи,— сказала матушка, посягая на локоны отца Федора,— неужели, Феденька, ты к обновленцам перейти собрался?

Такому направлению разговора отец Федор обрадовался.

— А почему, мать, не перейти мне к обновленцам? А обновленцы что — не люди?

— Люди, конечно люди,— согласилась матушка ядовито,— как же: по иллюзионам ходят, алименты платят...

— Ну, и я по иллюзионам буду бегать.

— Бегай, пожалуйста.

— И буду бегать.

— Добегаешься. Ты в зеркало на себя посмотри.

И действительно, из зеркала на отца Федора глянула бойкая черноглазая физиономия с небольшой дикой бородкой и нелепо длинными усами.

Стали подстригать усы, доводя их до пропорциональных размеров.

Дальнейшее еще более поразило матушку. Отец Федор заявил, что этим же вечером должен выехать по делу, и потребовал, чтобы Катерина Александровна сбегала к брату-булочнику и взяла у него на неделю пальто с барашковым воротником и коричневый утиный картуз.

— Никуда не пойду! — заявила матушка и заплакала.

Полчаса шагал отец Федор по комнате и, пугая жену изменившимся своим лицом, молол чепуху. Матушка поняла только одно: отец Федор ни с того ни с сего остригся, хочет в дурацком картузе ехать неизвестно куда, а ее бросает.

— Не бросаю,— твердил отец Федор,— не бросаю, через неделю буду назад. Ведь может же быть у человека дело. Может или не может?

— Не может,— говорила попадья.

Отцу Федору, человеку в обращении с ближними кроткому, пришлось даже постучать кулаком по столу. Хотя стучал он осторожно и неумело, так как никогда этого раньше не делал, попадья все же очень испугалась и, накинув платок, побежала к брату за штатской одеждой.

Оставшись один, отец Федор с минуту подумал, сказал: «Женщинам тоже тяжело»,— и вытянул из-под кровати сундучок, обитый жестью. Такие сундучки встречаются по большей части у красноармейцев. Оклеены они полосатыми обоями, поверх которых красуется портрет Буденного или картонка от папиросной коробки «Пляж» с тремя красавицами, лежащими на усыпанном галькой батумском берегу. Сундучок Востриковых, к неудовольствию отца Федора, также был оклеен картинками, но не было там ни Буденного, ни батумских красоток. Попадья залепила все нутро сундучка фотографиями, вырезанными из журнала «Летопись войны 1914 года». Тут было и «Взятие Перемышля», и «Раздача теплых вещей нижним чинам на позициях», и мало ли что еще там было.

Выложив на пол лежавшие сверху книги: комплект журнала «Русский паломник» за 1903 год, толстеннейшую «Историю раскола» и брошюрку «Русский в Италии», на обложке которой отпечатан был курящийся Везувий, отец Федор запустил руку на самое дно сундучка и вытащил старый, обтерханный женин капор. Зажмурившись от запаха нафталина, который внезапно ударил из сундучка, отец Федор, разрывая кружевца и прошвы, вынул из капора тяжелую полотняную колбаску. Колбаска содержала в себе двадцать золотых десяток — все, что осталось от коммерческих авантюр отца Федора.

Он привычным движением руки приподнял полу рясы и засунул колбаску в карман полосатых брюк. Потом подошел к комоду и вынул из конфетной коробки пятьдесят рублей трехрублевками и пятирублевками. В коробке оставалось еще двадцать рублей.

— На хозяйство хватит,— решил он.

Глава IV

МУЗА ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

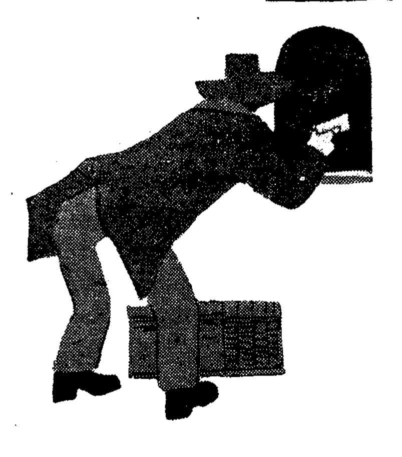
За час до прихода вечернего почтового поезда отец Федор, в коротеньком, чуть ниже колен пальто и с плетеной корзинкой, стоял в очереди у кассы и боязливо поглядывал на входные двери. Он боялся, что матушка, противно его настоянию, прибежит на вокзал провожать, и тогда палаточник Прусис, сидевший в буфете и угощавший пивом финагента, сразу его узнает. Отец Федор с удивлением и стыдом посматривал на свои открытые взорам всех мирян полосатые брюки.

Посадка в бесплацкартный поезд носила обычный скандальный характер. Пассажиры, согнувшись под тяжестью преогромных мешков, бегали от головы поезда к хвосту и от хвоста к голове. Отец Федор ошеломленно бегал со всеми. Он так же, как и все, говорил с проводниками искательным голосом, так же, как и все, боялся, что кассир дал ему «неправильный» билет, и только впущенный наконец в вагон вернулся к обычному спокойствию и даже повеселел.

Паровоз закричал полным голосом, и поезд тронулся, увозя с собой отца Федора в неизвестную даль по делу загадочному, но сулящему, как видно, большие выгоды.

Интересная штука — полоса отчуждения. Самый обыкновенный гражданин, попав в нее, чувствует в себе некоторую хлопотливость и быстро превращается либо в пассажира, либо в грузополучателя, либо просто в безбилетного забулдыгу, омрачающего жизнь и служебную деятельность кондукторских бригад и перронных контролеров.

С той минуты, когда гражданин вступает в полосу отчуждения, которую он по-дилетантски называет вокзалом или станцией, жизнь его резко меняется. Сейчас же к нему подскакивают Ермаки Тимофеевичи в белых передниках с никелированными бляхами на сердце и услужливо подхватывают багаж. С этой ми-



нуты гражданин уже не принадлежит самому себе. Он — пассажир и начинает исполнять все обязанности пассажира. Обязанности эти многосложны, но приятны.

Пассажир очень много ест. Простые смертные по ночам не едят, но пассажир ест и ночью. Ест он жареного цыпленка, который для него дорог, крутые яйца, вредные для желудка, и маслины. Когда поезд прорезает стрелку, на полках бряцают многочисленные чайники и подпрыгивают завернутые в газетные кульки цыплята, лишенные ножек, с корнем вырванных пассажирами.

Но пассажиры ничего этого не замечают. Они рассказывают анекдоты. Регулярно через каждые три минуты весь вагон надсаживается от смеха. Затем наступает тишина, и бархатный голос докладывает следующий анекдот:

— Умирает старый еврей. Тут жена стоит, дети. «А Моня здесь?» — еврей спрашивает еле-еле. «Здесь».— «А тетя Брана пришла?» — «Пришла».— «А где бабушка? Я ее не вижу».— «Вот она стоит».— «А Исак?» — «Исак тут».— «А дети?» — «Вот все дети».— «Кто же в лавке остался?!»

Сию же секунду чайники начинают бряцать, и цыплята летают на верхних полках, потревоженные громовым смехом. Но пассажиры этого не замечают. У каждого на сердце лежит заветный анекдот, который, трепыхаясь, дожидается своей очереди. Новый исполнитель, толкая локтем соседей и умоляюще крича: «А вот мне рассказывали!» — с трудом завладевает вниманием и начинает:

— Один еврей приходит домой и ложится спать рядом со своей женой. Вдруг он слышит — под кроватью кто-то скребется. Еврей опустил под кровать руку и спрашивает: «Это ты, Джек?» А Джек лизнул руку и отвечает: «Это я».

Пассажиры умирают от смеха, темная ночь закрывает поля, из паровозной трубы вылетают вертлявые искры, и тонкие семафоры в светящихся зеленых очках щепетильно проносятся мимо, глядя поверх поезда.

Интересная штука — полоса отчуждения! Во все концы страны бегут длинные тяжелые поезда дальнего следования. Всюду открыта дорога. Везде горит зеленый огонь — путь свободен. Полярный экспресс подымается к Мурманску. Согнувшись и сгорбясь на стрелке, с Курского вокзала выскакивает «Первый — К», прокладывая путь на Тифлис. Дальневосточный курьер огибает Байкал, полным ходом приближаясь к Тихому океану.

Муза дальних странствий манит человека. Уже вырвала она отца Федора из тихой уездной обители и бросила невесть в какую губернию. Уже и бывший предводитель дворянства, а ныне делопроизводитель загса Ипполит Матвеевич Воробьянинов потревожен в самом нутре своем и задумал черт знает что такое.

Носит людей по стране. Один за десять тысяч километров от места службы находит себе сияющую невесту. Другой в погоне за сокровищами бросает почтово-телеграфное отделение и, как школьник, бежит на Алдан. А третий так и сидит себе дома, любовно поглаживая созревшую грыжу и читая сочинения графа Салиаса, купленные вместо рубля за пять копеек.

На второй день после похорон, управление которыми любезно взял на себя гробовой мастер Безенчук, Ипполит Матвеевич отправился на службу и, исполняя возложенные на него обязанности, зарегистрировал собственноручно кончину Клавдии Ивановны Петуховой, пятидесяти девяти лет, домашней хозяйки, беспартийной, жительство имевшей в уездном городе N и родом происходившей из дворян Старго-

родской губернии. Затем Ипполит Матвеевич испросил себе узаконенный двухнедельный отпуск, получил сорок один рубль отпускных и, распрощавшись с сослуживцами, отправился домой. По дороге он завернул в аптеку.

Провизор Леопольд Григорьевич, которого домашние и друзья называли Липа, стоял за красным лакированным прилавком, окруженный молочными банками с ядом, и с нервностью продавал свояченице брандмейстера «крем Анго, против загара и веснушек, придает исключительную белизну коже». Свояченица брандмейстера, однако, требовала «пудру Рашель золотистого цвета, придает телу ровный, не достижимый в природе загар». Но в аптеке был только крем Анго против загара, и борьба столь противоположных продуктов парфюмерии длилась полчаса. Победил все-таки Липа, продавший свояченице брандмейстера губную помаду и клоповар — прибор, построенный по принципу самовара, но имеющий внешний вид лейки.

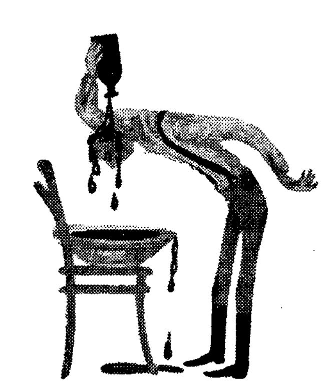
— Что вы хотели?

— Средство для волос.

— Для ращения, уничтожения, окраски?

— Какое там ращение! — сказал Ипполит Матвеевич.— Для окраски.

— Для окраски есть замечательное средство «Титаник». Получено с таможни. Контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Радикальный черный цвет. Флакон на полгода стоит три рубля двенадцать копеек. Рекомендую как хорошему знакомому.



Ипполит Матвеевич повертел в руках квадратный флакон «Титаника», со вздохом посмотрел на этикетку и выложил деньги на прилавок.

Ипполит Матвеевич возвратился домой и с омерзе-

нием стал поливать голову и усы «Титаником». По квартире распространилось зловоние.

После обеда вонь убавилась, усы обсохли, слиплись, и расчесать их можно было только с большим трудом. Радикальный черный цвет оказался с несколько зеленоватым отливом, но вторично красить уже было некогда.

Ипполит Матвеевич вынул из тещиной шкатулки найденный им накануне список драгоценностей, пересчитал все наличные деньги, запер квартиру, спрятал ключи в задний карман, сел в ускоренный № 7 и уехал в Старгород.

Глава V

ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР

В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный.

— Дядя,— весело кричал он,— дай десять копеек!

Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал:

— Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?

Зарвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал.

Молодой человек солгал: у него не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать, ни ключа, которым можно было бы квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом

апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было. В руке молодой человек держал астролябию.

«О баядерка, ти-ри-рим, ти-ри-ра!» — запел он, подходя к привозному рынку.

Тут для него нашлось много дела. Он втиснулся в шеренгу продавцов, торговавших на развале, выставил вперед астролябию и серьезным голосом стал кричать:

— Кому астролябию? Дешево продается астролябия! Для делегаций и женотделов скидка.

Неожиданное предложение долгое время не рождало спроса. Делегации домашних хозяек больше интересовались дефицитными товарами и толпились у мануфактурных палаток. Мимо продавца астролябии уже два раза прошел агент Старгуброзыска. Но так как астролябия ни в какой мере не походила на украденную вчера из канцелярии Маслоцентра пишущую машинку, агент перестал магнетизировать молодого человека глазами и ушел.

К обеду астролябия была продана слесарю за три рубля.

— Сама меряет,— сказал молодой человек, передавая астролябию покупателю,— было бы что мерять.

Освободившись от хитрого инструмента, веселый молодой человек пообедал в столовой «Уголок вкуса» и пошел осматривать город. Он прошел Советскую улицу, вышел на Красноармейскую (бывшая Большая Пушкинская), пересек Кооперативную и снова очутился на Советской. Но это была уже не та Советская, которую он прошел: в городе было две Советских улицы. Немало подивившись этому обстоятельству, молодой человек очутился на улице Ленских событий (бывшей Денисовской). Подле красивого двухэтажного особняка № 28 с вывеской

СССР. РСФСР
2-Й ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТАРГУБСТРАХА

молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах.

— А что, отец,— спросил молодой человек, затянувшись,— невесты у вас в городе есть?

Старик дворник ничуть не удивился.

— Кому и кобыла невеста,— ответил он, охотно ввязываясь в разговор.

— Больше вопросов не имею,— быстро проговорил молодой человек.

И сейчас же задал новый вопрос:

— В таком доме да без невест?

— Наших невест,— возразил дворник,— давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня: старухи живут на полном пенсионе.

— Понимаю. Это которые еще до исторического материализма родились?

— Уж это верно. Когда родились, тогда и родились.

— А в этом доме что было до исторического материализма?

— Когда было?

— Да тогда, при старом режиме.

— А, при старом режиме барин мой жил.

— Буржуй?

— Сам ты буржуй! Сказано тебе — предводитель дворянства.

— Пролетарий, значит?

— Сам ты пролетарий! Сказано тебе — предводитель.

Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно.

— Вот что, дедушка,— молвил он,— неплохо бы вина выпить.

— Ну, угости.

На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека.

— Так я у тебя переночую,— говорил новый друг.

— По мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек.

Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворницкую, снял апельсинные штиблеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра.

Звали молодого человека Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность: «Мой папа,— говорил он,— был турецко-подданный». Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег.

Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры.

Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами.

А можно было завтра же пойти в Стардеткомиссию и предложить им взять на себя распространение еще не написанной, но гениально задуманной картины: «Большевики пишут письмо Чемберлену», по популярной картине художника Репина: «Запорожцы пишут письмо султану». В случае удачи этот вариант мог бы принести рублей четыреста.

Оба варианта были задуманы Остапом во время его последнего пребывания в Москве. Вариант с многоженством родился под влиянием вычитанного в вечерней газете судебного отчета, где ясно указывалось, что некий многоженец получил всего два года без строгой изоляции. Вариант № 2 родился в голове Бендера, когда он по контрамарке обозревал выставку АХРР[1].

---

[1] АХРР — Ассоциация художников революционной России. *(Ред.)*

Однако оба проекта имели свои недостатки. Начать карьеру многоженца без дивного, серого в яблоках костюма было невозможно. К тому же нужно было иметь хотя бы десять рублей для представительства и обольщения. Можно было, конечно, жениться и в походном зеленом костюме, потому что мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных Маргарит на выданье, но это было бы, как говорил Остап: «Низкий сорт, нечистая работа». С картиной тоже не все обстояло гладко: могли встретиться чисто технические затруднения. Удобно ли будет рисовать т. Калинина в папахе и белой бурке, а т. Чичерина — голым по пояс? В случае чего можно, конечно, нарисовать всех персонажей в обычных костюмах, но это уже не то.

— Не будет того эффекта! — произнес Остап вслух.

Тут он заметил, что дворник уже давно о чем-то горячо говорит. Оказывается, дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома:

— Полицмейстер ему честь отдавал... Приходишь к нему, положим, буду говорить, на Новый год с поздравлением — трешку дает... На пасху, положим, буду говорить, еще трешку. Да, положим, в день ангела ихнего поздравляешь... Ну, вот одних поздравительных за год рублей пятнадцать и набежит... Медаль даже обещался мне представить. «Я, говорит, хочу, чтобы дворник у меня с медалью был». Так и говорил: «Ты, Тихон, считай себя уже с медалью...»

— Ну и что, дали?

— Ты погоди... «Мне, говорит, дворника без медали не нужно». В Санкт-Петербург поехал за медалью. Ну, в первый раз, буду говорить, не вышло. Господа чиновники не захотели. «Царь, говорят, в заграницу уехал, сейчас невозможно». Приказал мне барин ждать. «Ты, говорит, Тихон, жди, без медали не будешь».

— А твоего барина что, шлепнули? — неожиданно спросил Остап.

— Никто не шлепал. Сам уехал. Что ему тут было с солдатней сидеть... А теперь медали за дворницкую службу дают?

— Дают. Могу тебе выхлопотать.

Дворник с уважением посмотрел на Бендера.

— Мне без медали нельзя. У меня служба такая.

— Куда ж твой барин уехал?

— А кто его знает! Люди говорили, в Париж уехал.

— А!.. Белой акации, цветы эмиграции... Он, значит, эмигрант?

— Сам ты эмигрант... В Париж, люди говорят, уехал. А дом под старух забрали... Их хоть каждый день поздравляй — гривенника не получишь!.. Эх! Барин был!..

В этот момент над дверью задергался ржавый звонок. Дворник, кряхтя, поплелся к двери, открыл ее и в сильнейшем замешательстве отступил.

На верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов, черноусый и черноволосый. Глаза его сияли под пенсне довоенным блеском.

— Барин! — страстно замычал Тихон.— Из Парижа!

Ипполит Матвеевич, смущенный присутствием в дворницкой постороннего, голые фиолетовые ступни которого только сейчас увидел из-за края стола, смутился и хотел было бежать, но Остап Бендер живо вскочил и низко склонился перед Ипполитом Матвеевичем.

— У нас хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу.

— Здравствуй, Тихон,— вынужден был сказать Ипполит Матвеевич,— я вовсе не из Парижа. Чего тебе это взбрело в голову?

Но Остап Бендер, длинный благородный нос которого явственно чуял запах жареного, не дал дворнику и пикнуть.

— Отлично,— сказал он, кося глазом,— вы не из Парижа. Конечно, вы приехали из Кологрива навестить свою покойную бабушку.

Говоря так, он нежно обнял очумевшего дворника и выставил его за дверь прежде, чем тот понял, что случилось, а когда опомнился, то мог сообразить лишь то, что из Парижа приехал барин, что его, Тихона, выставили из дворницкой и что в левой руке его зажат бумажный рубль.

Тщательно заперев за дворником дверь, Бендер обернулся к все еще стоявшему среди комнаты Воробьянинову и сказал:

— Спокойно, все в порядке. Моя фамилия Бендер! Может, слыхали?

— Не слышал,— нервно ответил Ипполит Матвеевич.

— Ну, да откуда же в Париже может быть известно имя Остапа Бендера? Тепло теперь в Париже? Хороший город. У меня там двоюродная сестра замужем. Недавно прислала мне шелковый платок в заказном письме...

— Что за чепуха! — воскликнул Ипполит Матвеевич.— Какие платки? Я приехал не из Парижа, а из...

— Чудно, чудно! Из Моршанска.

Ипполит Матвеевич никогда еще не имел дела с таким темпераментным молодым человеком, как Бендер, и почувствовал себя плохо.

— Ну, знаете, я пойду,— сказал он.

— Куда же вы пойдете? Вам некуда торопиться. ГПУ к вам само придет.

Ипполит Матвеевич не нашелся, что ответить, расстегнул пальто с осыпавшимся бархатным воротником и сел на лавку, недружелюбно глядя на Бендера.

— Я вас не понимаю,— сказал он упавшим голосом.

— Это не страшно. Сейчас поймете. Одну минуточку.

Остап надел на голые ноги апельсинные штиблеты, прошелся по комнате и начал:

— Вы через какую границу? Польскую? Финляндскую? Румынскую? Должно быть, дорогое удоволь-

ствие. Один мой знакомый переходил недавно границу, он живет в Славуте, с нашей стороны, а родители его жены — с той стороны. По семейному делу поссорился он с женой, а она из обидчивой фамилии. Плюнула ему в рожу и удрала через границу к родителям. Этот знакомый посидел дня три один и видит — дело плохо: обеда нет, в комнате грязно, и решил помириться. Вышел ночью и пошел через границу к тестю. Тут его пограничники и взяли, пришили дело, посадили на шесть месяцев, а потом исключили из профсоюза. Теперь, говорят, жена прибежала назад, дура, а муж в допре сидит. Она ему передачу носит... А вы тоже через польскую границу переходили?

— Честное слово,— вымолвил Ипполит Матвеевич, чувствуя неожиданную зависимость от разговорчивого молодого человека, ставшего на его дороге к брильянтам,— честное слово, я подданный РСФСР. В конце концов я могу показать паспорт...

— При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт — это такой пустяк, что об этом смешно говорить... Один мой знакомый доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? Там бумага с такими, знаете, разноцветными волосками. Нужно большое знание техники. Он удачно сплавлял их на московской черной бирже; потом оказалось, что его дедушка, известный валютчик, покупал их в Киеве и совершенно разорился, потому что доллары были все-таки фальшивые. Так что вы со своим паспортом тоже можете прогадать.

Ипполит Матвеевич, рассерженный тем, что вместо энергичных поисков брильянтов он сидит в вонючей дворницкой и слушает трескотню молодого нахала о темных делах его знакомых, все же никак не решался уйти. Он чувствовал сильную робость при мысли о том, что неизвестный молодой человек разболтает по всему городу, что приехал бывший предводитель. Тогда — всему конец, а может быть, еще посадят.

— Вы все-таки никому не говорите, что меня видели,— просительно сказал Ипполит Матвеевич,— могут и впрямь подумать, что я эмигрант.

— Вот! Вот! Это конгениально! Прежде всего актив: имеется эмигрант, вернувшийся в родной город. Пассив: он боится, что его заберут в ГПУ.

— Да ведь я же вам тысячу раз говорил, что я не эмигрант.

— А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали?

— Ну, приехал из города N по делу.

— По какому делу?

— Ну, по личному делу.

— И после этого вы говорите, что вы не эмигрант?.. Один мой знакомый тоже приехал...

Тут Ипполит Матвеевич, доведенный до отчаяния историями о знакомых Бендера и видя, что его не собьешь с позиции, покорился.

— Хорошо,— сказал он,— я вам все объясню.

«В конце концов без помощника трудно,— подумал Ипполит Матвеевич,— а жулик он, кажется, большой. Такой может быть полезен».

Глава VI

БРИЛЬЯНТОВЫЙ ДЫМ

Ипполит Матвеевич снял с головы пятнистую касторовую шляпу, расчесал усы, из которых, при прикосновении гребешка, вылетела дружная стайка электрических искр, и, решительно откашлявшись, рассказал Остапу Бендеру, первому встреченному им проходимцу, все, что ему было известно о брильянтах со слов умирающей тещи.

В продолжение рассказа Остап несколько раз вскакивал и, обращаясь к железной печке, восторженно вскрикивал:

— Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся.

А уже через час оба сидели за шатким столиком и, упираясь друг в друга головами, читали длинный список драгоценностей, некогда украшавших тещины

пальцы, шею, уши, грудь и волосы. Ипполит Матвеевич, поминутно поправляя колебавшееся на носу пенсне, с ударением произносил:

— Три нитки жемчуга... Хорошо помню. Две по сорок бусин, а одна большая — в сто десять. Брильянтовый кулон... Клавдия Ивановна говорила, что четыре тысячи стоит, старинной работы...

Дальше шли кольца: не обручальные кольца, толстые, глупые и дешевые, а тонкие, легкие, с впаянными в них чистыми, умытыми брильянтами; тяжелые, ослепительные подвески, кидающие на маленькое женское ухо разноцветный огонь; браслеты в виде змей с изумрудной чешуей; фермуар, на который ушел урожай с пятисот десятин; жемчужное колье, которое было бы по плечу только знаменитой опереточной примадонне; венцом всему была сорокатысячная диадема.

Ипполит Матвеевич оглянулся. По темным углам зачумленной дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Брильянтовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату.

Взволнованный Ипполит Матвеевич очнулся только от звука голоса Остапа.

— Выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила?

— Тысяч семьдесят — семьдесят пять.

— Мгу... Теперь, значит, стоит полтораста тысяч.

— Неужели так много? — обрадованно спросил Воробьянинов.

— Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это.

— Как плюнуть?

— Слюной,— ответил Остап,— как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет.

— Как же так?

— А вот как. Сколько было стульев?

— Дюжина. Гостиный гарнитур.

— Давно, наверно, сгорел ваш гостиный гарнитур в печках.

Воробьянинов так испугался, что даже встал с места.

— Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик.

Тяжело дышавший Ипполит Матвеевич кивком головы выразил свое согласие. Тогда Остап Бендер начал вырабатывать условия.

— В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела, получаю шестьдесят процентов, а соцстрах можете за меня не платить. Это мне все равно.

Ипполит Матвеевич посерел.

— Это грабеж среди бела дня.

— А сколько же вы думали мне предложить?

— Н-н-ну, пять процентов, ну, десять, наконец. Вы поймите, ведь это же пятнадцать тысяч рублей!

— Больше вы ничего не хотите?

— Н-нет.

— А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да еще дал вам ключ от квартиры, где деньги лежат?

— В таком случае простите,— сказал Воробьянинов в нос.— У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом.

— Ага! В таком случае, простите,— возразил великолепный Остап,— у меня есть не меньше основания, как говорил Энди Таккер, предполагать, что и я один могу справиться с вашим делом.

— Мошенник! — закричал Ипполит Матвеевич, задрожав.

Остап был холоден.

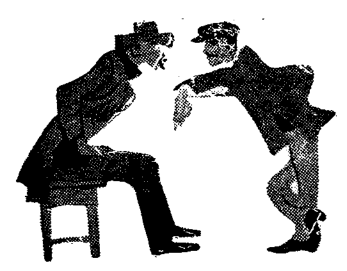
— Слушайте, господин из Парижа, а знаете ли вы, что ваши брильянты почти что у меня в кармане! И вы меня интересуете лишь постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость.

Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло.

— Двадцать процентов,— сказал он угрюмо.

— И мои харчи? — насмешливо спросил Остап.

— Двадцать пять.



— И ключ от квартиры?

— Да ведь это тридцать семь с половиной тысяч!

— К чему такая точность? Ну, так и быть — пятьдесят процентов. Половина — ваша, половина — моя.

Торг продолжался. Остап уступил еще. Он, из уважения к личности Воробьянинова, соглашался работать из сорока процентов.

— Шестьдесят тысяч! — кричал Воробьянинов.

— Вы довольно пошлый человек,— возражал Бендер,— вы любите деньги больше, чем надо.

— А вы не любите денег? — взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты.

— Не люблю.

— Зачем же вам шестьдесят тысяч?

— Из принципа!

Ипполит Матвеевич только дух перевел.

— Ну что, тронулся лед? — добивал Остап.

Воробьянинов запыхтел и покорно сказал:

— Тронулся.

— Ну, по рукам, уездный предводитель команчей! Лед тронулся! Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

После того как Ипполит Матвеевич, обидевшись на прозвище «предводителя команчей», потребовал извинения и Остап, произнося извинительную речь, назвал его фельдмаршалом, приступили к выработке диспозиции.

В полночь дворник Тихон, хватаясь руками за все попутные палисадники и надолго приникая к столбам, тащился в свой подвал. На его несчастье было новолуние.

— А! Пролетарий умственного труда! Работник метлы! — воскликнул Остап, завидя согнутого в колесо дворника.

Дворник замычал низким и страстным голосом, каким иногда среди ночной тишины вдруг горячо и хлопотливо начинает бормотать унитаз.

— Это конгениально,— сообщил Остап Ипполиту Матвеевичу,— а ваш дворник довольно-таки большой пошляк. Разве можно так напиваться на рубль?

— М-можно,— сказал дворник неожиданно.

— Послушай, Тихон,— начал Ипполит Матвеевич,— не знаешь ли ты, дружок, что с моей мебелью?

Остап осторожно поддерживал Тихона, чтобы речь могла свободно литься из его широко открытого рта. Ипполит Матвеевич в напряжении ждал. Но из дворницкого рта, в котором зубы росли не подряд, а через один, вырвался оглушительный крик:

— Бывывывали дни вессселые...

Дворницкая наполнилась громом и звоном. Дворник трудолюбиво и старательно исполнял песню, не пропуская ни единого слова. Он ревел, двигаясь по комнате, то бессознательно ныряя под стол, то ударяясь картузом о медную цилиндрическую гирю «ходиков», то становясь на одно колено. Ему было страшно весело.

Ипполит Матвеевич совсем потерялся.

— Придется отложить опрос свидетелей до утра,— сказал Остап.— Будем спать.

Дворника, тяжелого во сне, как комод, перенесли на скамью.

Воробьянинов и Остап решили лечь вдвоем на дворницкую кровать. У Остапа под пиджаком оказалась рубашка «ковбой» в черную и красную клетку. Под ковбойкой не было уже больше ничего. Зато у Ипполита Матвеевича под известным читателю лунным жилетом оказался еще один — гарусный, яркоголубой.

— Жилет прямо на продажу,— завистливо сказал Бендер,— он мне как раз подойдет. Продайте.

Ипполиту Матвеевичу неудобно было отказывать своему новому компаньону и непосредственному участнику концессии.

Он, морщась, согласился продать жилет за свою цену — восемь рублей.

— Деньги — после реализации нашего клада,— заявил Бендер, принимая от Воробьянинова теплый еще жилет.

— Нет, я так не могу,— сказал Ипполит Матвеевич, краснея.— Позвольте жилет обратно.

Деликатная натура Остапа возмутилась.

— Но ведь это же лавочничество! — закричал он.— Начинать полуторастотысячное дело и ссориться из-за восьми рублей! Учитесь жить широко!

Ипполит Матвеевич покраснел еще больше, вынул маленький блокнотик и каллиграфически записал:

25/IV-27 г.

Выдано т. Бендеру Р.— 8

Остап заглянул в книжечку.

— Ого! Если вы уже открываете мне лицевой счет, то хоть ведите его правильно. Заведите дебет, заведите кредит. В дебет не забудьте внести шестьдесят тысяч рублей, которые вы мне должны, а в кредит — жилет. Сальдо в мою пользу. Пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто два рубля. Еще можно жить.

После этого Остап заснул беззвучным детским сном. А Ипполит Матвеевич снял с себя шерстяные напульсники, баронские сапоги и, оставшись в заштопанном егерском белье, посапывая, полез под одеяло. Ему было очень неудобно. С внешней стороны, где не хватало одеяла, было холодно, а с другой стороны его жгло молодое, полное трепетных идей тело великого комбинатора.

Всем троим снились сны.

Воробьянинову привиделись сны черные: микробы, угрозыск, бархатные толстовки и гробовых дел мастер Безенчук в смокинге, но небритый.

Остап видел вулкан Фудзияму, заведующего Маслотрестом и Тараса Бульбу, продающего открытки с видами Днепростроя.

А дворнику снилось, что из конюшни ушла лошадь. Во сне он искал ее до самого утра и, не найдя, проснулся разбитый и мрачный. Долго, с удивлением, смотрел он на спящих в его постели людей. Ничего не поняв, он взял метлу и направился на улицу исполнять свои прямые обязанности: подбирать конские яблоки и кричать на богаделок.

Глава VII

СЛЕДЫ «ТИТАНИКА»

Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого, пророкотал «гут морген» и направился к умывальнику. Он умывался с наслаждением: отплевывался, причитал и тряс головой, чтобы избавиться от воды, набежавшей в уши. Вытираться было приятно, но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикальным черным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Ипполита Матвеевича потухло. Он бросился к своему карманному зеркальцу. В зеркальце отразились большой нос и зеленый, как молодая травка, левый ус. Ипполит Матвеевич поспешно передвинул зеркальце направо. Правый ус был того же омерзительного цвета. Нагнув голову, словно желая забодать зеркальце, несчастный увидел, что радикальный черный цвет еще господствовал в центре каре, но по краям был обсажен тою же травянистой каймой.

Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл глаза.

— Вы с ума сошли! — воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул сонные вежды.

— Товарищ Бендер,— умоляюще зашептала жертва «Титаника».

Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, главный руководитель работ и технический директор содрогался, хватался за спинку кровати, кричал: «Не могу!» — и снова бушевал.

— С вашей стороны это нехорошо, товарищ Бендер,— сказал Ипполит Матвеевич, с дрожью шевеля зелеными усами.

Это придало новые силы изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его смех продолжался еще минут

десять. Отдышавшись, он сразу сделался очень серьезным.

— Что вы на меня смотрите такими злыми глазами, как солдат на вошь? Вы на себя посмотрите!

— Но ведь мне аптекарь говорил, что это будет радикально черный цвет. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином... Контрабандный товар!

— Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Покажите флакон... И потом посмотрите. Вы читали это?

— Читал.

— А вот это — маленькими буквами? Тут ясно сказано, что после мытья горячей и холодной водой или мыльной пеной и керосином волосы надо отнюдь не вытнрать, а сушить на солнце или у примуса... Почему вы не сушили? Куда вы теперь пойдете с этой зеленой «липой»?

Ипполит Матвеевич был подавлен. Вошел Тихон. Увидя барина в зеленых усах, он перекрестился и попросил опохмелиться.

— Выдайте рубль герою труда,— предложил Остап,— и, пожалуйста, не записывайте на мой счет. Это ваше интимное дело с бывшим сослуживцем... Подожди, отец, не уходи, дельце есть.

Остап завел с дворником беседу о мебели, и уже через пять минут концессионеры знали все. Всю мебель в 1919 году увезли в жилотдел, за исключением одного гостиного стула, который сперва находился во владении Тихона, а потом был забран у него завхозом 2-го дома соцобеса.

— Так он что, здесь в доме?

— Здесь и стоит.

— А скажи, дружок,— замирая, спросил Воробьянинов,— когда стул был у тебя, ты его... не чинил?

— Чинить его невозможно. В старое время работа была хорошая. Еще тридцать лет такой стул может выстоять.

— Ну, иди, дружок, возьми еще рубль, да смотри не говори, что я приехал.

— Могила, гражданин Воробьянинов.

Услав дворника и прокричав: «Лед тронулся»,— Остап Бендер снова обратился к усам Ипполита Матвеевича:

— Придется красить снова. Давайте деньги — пойду в аптеку. Ваш «Титаник» ни к черту не годится, только собак красить... Вот в старое время была красочка!.. Мне один беговой профессор рассказал волнующую историю. Вы интересовались бегами? Нет? Жалко. Волнующая вещь. Так вот... Был такой знаменитый комбинатор, граф Друцкий. Он проиграл на бегах пятьсот тысяч. Король проигрыша! И вот, когда у него уже, кроме долгов, ничего не было и граф подумывал о самоубийстве, один жучок дал ему за пятьдесят рублей замечательный совет. Граф уехал и через год вернулся с орловским рысаком-трехлеткой. После этого граф не только вернул свои деньги, но даже выиграл еще тысяч триста. Его орловец «Маклер» с отличным аттестатом всегда приходил первым. На дерби он на целый корпус обошел «Мак-Магона». Гром!.. Но тут Курочкин (слышали?) замечает, что все орловцы начинают менять масть — один только «Маклер», как дуся, не меняет цвета. Скандал был неслыханный! Графу дали три года. Оказалось, что «Маклер» не орловец, а перекрашенный метис, а метисы гораздо резвее орловцев, и их к ним на версту не подпускают. Каково?.. Вот это красочка! Не то что ваши усы!..

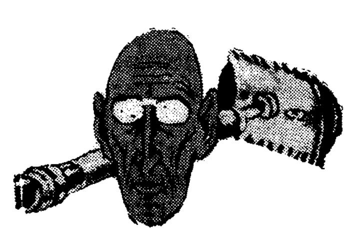
— Но аттестат? У него ведь был отличный аттестат?

— Такой же, как этикетка на вашем «Титанике». фальшивый! Давайте деньги на краску.

Остап вернулся с новой микстурой.

— «Наяда». Возможно, что лучше вашего «Титаника». Снимайте пиджак!

Начался обряд перекраски. Но «изумитель-



ный каштановый цвет, придающий волосам нежность и пушистость», смешавшись с зеленью «Титаника», неожиданно окрасил голову и усы Ипполита Матвеевича в краски солнечного спектра.

Ничего еще не евший с утра Воробьянинов злобно ругал все парфюмерные заводы как государственные, так и подпольные, находящиеся в Одессе, на Малой Арнаутской улице.

— Таких усов, должно быть, нет даже у Аристида Бриана,— бодро заметил Остап,— но жить с такими ультрафиолетовыми волосами в Советской России не рекомендуется. Придется сбрить.

— Я не могу,— скорбно ответил Ипполит Матвеевич,— это невозможно.

— Что, усы дороги вам как память?

— Не могу,— повторил Воробьянинов, понуря голову.

— Тогда вы всю жизнь сидите в дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой.

— Брейте!

Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы, они бесшумно свалились на пол. Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана пожелтевшую бритву «Жиллет», а из бумажника — запасное лезвие и стал брить почти плачущего Ипполита Матвеевича.

— Последний ножик на вас трачу. Не забудьте записать на мой дебет два рубля за бритье и стрижку.

Содрогаясь от горя, Ипполит Матвеевич все-таки спросил:

— Почему же так дорого? Везде стоит сорок копеек!

— За конспирацию, товарищ фельдмаршал,— быстро ответил Бендер.

Страдания человека, которому бреют голову безопасной бритвой, невероятны. Это Ипполит Матвеевич понял с самого начала операции.

Но конец, который бывает всему, пришел.

— Готово. Заседание продолжается! Нервных просят не смотреть! Теперь вы похожи на Боборыкина, известного автора-куплетиста.

Ипполит Матвеевич отряхнул с себя мерзкие клочья, бывшие так недавно красивыми сединами, умылся и, ощущая на всей голове сильное жжение, в сотый раз сегодня уставился в зеркало. То, что он увидел, ему неожиданно понравилось. На него смотрело искаженное страданиями, но довольно юное лицо актера без ангажемента.

— Ну, марш вперед, труба зовет! — закричал Остап.— Я — по следам в жилотдел, или, вернее в тот дом, в котором когда-то был жилотдел, а вы — к старухам!

— Я не могу,— сказал Ипполит Матвеевич,— мне очень тяжело будет войти в собственный дом.

— Ах, да!.. Волнующая история! Барон-изгнанник! Ладно. Идите в жилотдел, а здесь поработаю я. Сборный пункт — в дворницкой. Парад — алле!

Глава VIII

ГОЛУБОЙ ВОРИШКА

Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его — Александрой Яковлевной. Он называл ее Сашхен, она звала его Альхен. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич.

Он был не только завхозом, но и вообще заведующим. Прежнего за грубое обращение с воспитанницами сняли с работы и назначили капельмейстером симфонического оркестра. Альхен ничем не напоминал своего невоспитанного начальника. В порядке уп-

лотненного рабочего дня он принял на себя управление домом и с пенсионерками обращался отменно вежливо, проводя в доме важные реформы и нововведения.

Остап Бендер потянул тяжелую дубовую дверь воробьяниновского особняка и очутился в вестибюле. Здесь пахло подгоревшей кашей. Из верхних помещений неслась разноголосица, похожая на отдаленное «ура» в цепи. Никого не было, и никто не появился. Вверх двумя маршами вела дубовая лестница с лаковыми некогда ступенями. Теперь в ней торчали только кольца, а медных прутьев, прижимавших когда-то ковер к ступенькам, не было.

«Предводитель команчей жил, однако, в пошлой роскоши»,— думал Остап, поднимаясь наверх.

В первой же комнате, светлой и просторной, сидели в кружок десятка полтора седеньких старушек в платьях из наидешевейшего туальденора мышиного цвета. Напряженно вытянув шеи и глядя на стоявшего в центре цветущего мужчину, старухи пели:

Слышен звон бубенцов издалека.
Это тройки знакомый разбег...
А вдали простирался широ-о-ко
Белым саваном искристый снег!..

Предводитель хора, в серой толстовке из того же туальденора и в туальденоровых брюках, отбивал такт обеими руками и, вертясь, покрикивал:

— Дисканты, тише! Кокушкина, слабее!

Он увидел Остапа, но, не в силах удержать движения своих рук, только недоброжелательно посмотрел на вошедшего и продолжал дирижировать. Хор с усилием загремел, как сквозь подушку:

Та-та-та, та-та-та, та-та-та,
То-ро-ром, ту-ру-рум, ту-ру-рум...

— Скажите, где здесь можно видеть товарища завхоза?— вымолвил Остап, прорвавшись в первую же паузу.

— А в чем дело, товарищ?

Остап подал дирижеру руку и дружелюбно спросил:

— Песни народностей? Очень интересно. Я инспектор пожарной охраны.

Завхоз застыдился.

— Да, да,— сказал он, конфузясь,— это как раз кстати. Я даже доклад собирался писать.

— Вам нечего беспокоиться,— великодушно заявил Остап,— я сам напишу доклад. Ну, давайте смотреть помещение.

Альхен мановением руки распустил хор, и старухи удалились мелкими радостными шажками.

— Пожалуйте за мной,— пригласил завхоз.

Прежде чем пройти дальше, Остап уставился на мебель первой комнаты. В комнате стояли: стол, две садовые скамейки на железных ногах (на спинке одной из них было глубоко вырезано имя «Коля») и рыжая фисгармония.

— В этой комнате примусов не зажигают? Временные печи и тому подобное?

— Нет, нет. Здесь у нас занимаются кружки: хоровой, драматический, изобразительных искусств и музыкальный...

Дойдя до слова «музыкальный», Александр Яковлевич покраснел. Сначала запылал подбородок, потом лоб и щеки. Альхену было очень стыдно. Он давно уже продал все инструменты духовой капеллы. Слабые легкие старух все равно выдували из них только щенячий визг. Было смешно видеть эту громаду металла в таком беспомощном положении. Альхен не мог не украсть капеллу. И теперь ему было очень стыдно.

На стене, простершись от окна до окна, висел

лозунг, написанный белыми буквами на куске туальденора мышиного цвета:

«Духовой оркестр — путь к коллективному творчеству».

— Очень хорошо,— сказал Остап,— комната для кружковых занятий никакой опасности в пожарном отношении не представляет. Перейдем дальше.

Пройдя фасадные комнаты воробьяниновского особняка быстрым аллюром, Остап нигде не заметил орехового стула с гнутыми ножками, обитого светлым английским ситцем в цветочках. По стенам утюженного мрамора были наклеены приказы по дому № 2 Старсобеса. Остап читал их, время от времени энергично спрашивая: «Дымоходы прочищаются регулярно? Печи в порядке?» И, получая исчерпывающие ответы, двигался дальше.

Инспектор пожарной охраны усердно искал в доме хотя бы один уголок, представляющий опасность в пожарном отношении, но в этом отношении все было благополучно. Зато розыски были безуспешны. Остап входил в спальни. Старухи при его появлении вставали и низко кланялись. Здесь стояли койки, устланные ворсистыми, как собачья шерсть, одеялами, с одной стороны которых фабричным способом было выткано слово «Ноги». Под кроватями стояли сундучки, выдвинутые по инициативе Александра Яковлевича, любившего военную постановку дела, ровно на одну треть.

Все в доме № 2 поражало глаз своей чрезмерной скромностью: и меблировка, состоявшая исключительно из садовых скамеек, привезенных с Александровского, ныне имени Пролетарских субботников, бульвара, и базарные керосиновые лампочки, и самые одеяла с пугающим словом «Ноги». Но одно лишь в доме было сделано крепко и пышно: это были дверные пружины.

Дверные приборы были страстью Александра Яковлевича. Положив великие труды, он снабдил все без исключения двери пружинами самых разнообразных систем и фасонов. Здесь были простейшие пружины в виде железной штанги. Были духовые пружины с медными цилиндрическими насосами. Были приборы на

блоках со спускающимися увесистыми дробовыми мешочками. Были еще пружины конструкций таких сложных, что собесовский слесарь только удивленно качал головой. Все эти цилиндры, пружины и противовесы обладали могучей силой. Двери захлопывались с такою же стремительностью, как дверцы мышеловок. От работы механизмов дрожал весь дом. Старухи с печальным писком спасались от набрасывавшихся на них дверей, но убежать удавалось не всегда. Двери настигали беглянок и толкали их в спину, а сверху с глухим карканьем уже спускался противовес, пролетая мимо виска, как ядро.

Когда Бендер с завхозом проходили по дому, двери салютовали страшными ударами.

За всем этим крепостным великолепием ничего не скрывалось — стула не было. В поисках пожарной опасности инспектор попал в кухню. Там, в большом бельевом котле, варилась каша, запах которой великий комбинатор учуял еще в вестибюле. Остап покрутил носом и сказал:

— Это что, на машинном масле?

— Ей-богу, на чистом сливочном! — сказал Альхен, краснея до слез.— Мы на ферме покупаем.

Ему было очень стыдно.

— Впрочем, это пожарной опасности не представляет,— заметил Остап.

В кухне стула тоже не было. Была только табуретка, на которой сидел повар в переднике и колпаке из туальденора.

— Почему это у вас все наряды серого цвета, да и кисейка такая, что ею только окна вытирать?

Застенчивый Альхен потупился еще больше.

— Кредитов отпускают в недостаточном количестве.

Он был противен самому себе.

Остап сомнительно посмотрел на него и сказал:

— К пожарной охране, которую я в настоящий момент представляю, это не относится.

Альхен испугался.

— Против пожара,— заявил он,— у нас все меры приняты. Есть даже пеногон-огнетушитель «Эклер».

Инспектор, заглядывая по дороге в чуланчики, неохотно проследовал к огнетушителю. Красный жестяной конус, хотя и являлся единственным в доме предметом, имеющим отношение к пожарной охране, вызвал в инспекторе особое раздражение.

— На толкучке покупали?

И, не дождавшись ответа как громом пораженного Александра Яковлевича, снял «Эклер» со ржавого гвоздя, без предупреждения разбил капсулю и быстро повернул конус кверху. Но вместо ожидаемой пенной струи конус выбросил из себя тонкое шипение, напоминавшее старинную мелодию «Коль славен наш господь в Сионе».

— Конечно, на толкучке,— подтвердил Остап свое первоначальное мнение и повесил продолжавший петь огнетушитель на прежнее место.

Провожаемые шипением, они пошли дальше.

«Где он может быть? — думал Остап.— Это мне начинает не нравиться». И он решил не покидать туальденорового чертога до тех пор, пока не узнает все.

За то время, покуда инспектор и завхоз лазали по чердакам, входя во все детали противопожарной охраны и расположения дымоходов, 2-й дом Старсобеса жил обыденной своей жизнью.

Обед был готов. Запах подгоревшей каши заметно усилился и перебил все остальные кислые запахи, обитавшие в доме. В коридорах зашелестело. Старухи, неся впереди себя в обеих руках жестяные мисочки с кашей, осторожно выходили из кухни и садились обедать за общий стол, стараясь не глядеть на развешанные в столовой лозунги, сочиненные лично Александром Яковлевичем и художественно выполненные Александрой Яковлевной. Лозунги были такие:

«ПИЩА — ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ»

«ОДНО ЯЙЦО СОДЕРЖИТ СТОЛЬКО ЖЕ ЖИРОВ, СКОЛЬКО $1/2$ ФУНТА МЯСА»

«ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕЖЕВЫВАЯ ПИЩУ, ТЫ ПОМОГАЕШЬ ОБЩЕСТВУ»

И

«МЯСО — ВРЕДНО»

Все эти святые слова будили в старухах воспоминания об исчезнувших еще до революции зубах, о яйцах, пропавших приблизительно в ту же пору, о мясе, уступающем в смысле жиров яйцам, а может быть, и об обществе, которому они были лишены возможности помогать, тщательно пережевывая пищу.

Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич — двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых был тридцатидвухлетний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме собеса чем-либо ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, у них тоже были казенные постели с одеялами, на которых было написано «Ноги», облачены они были, как и старухи, в мышиный туальденор, но благодаря молодости и силе они питались лучше воспитанниц. Они крали в доме все, что не успевал украсть Альхен. Паша Эмильевич мог слопать в один присест два килограмма тюльки, что он однажды и сделал, оставив весь дом без обеда.

Не успели старухи основательно распробовать кашу, как Яковлевичи вместе с Эмильевичем, проглотив свои порции и отрыгиваясь, встали из-за стола и пошли в кухню на поиски чего-либо удобоваримого.

Обед продолжался. Старушки загомонили:

— Сейчас нажрутся, станут песни орать!

— А Паша Эмильевич сегодня утром стул из красного уголка продал. С черного хода вынес перекупщику.

— Посмотрите, пьяный сегодня придет...

В эту минуту разговор воспитанниц был прерван трубным сморканьем, заглушившим даже все продолжающееся пение огнетушителя, и коровий голос начал:

— ...бретение...

Старухи, пригнувшись и не оборачиваясь на стоявший в углу на мытом паркете громкоговоритель, продолжали есть, надеясь, что их минет чаша сия. Но громкоговоритель бодро продолжал:

— Евокрррахххх видусоб... ценное изобретение. Дорожный мастер Мурманской железной дороги товарищ Сокуцкий,— Самара, Орел, Клеопатра, Устинья, Царицын, Клементий, Ифигения, Йорк,— Со-куцкий...

Труба с хрипом втянула в себя воздух и насморочным голосом возобновила передачу:

— ...изобрел световую сигнализацию на снегоочистителях. Изобретение одобрено Доризулом,— Дарья, Онега, Раймонд...

Старушки серыми утицами поплыли в свои комнаты. Труба, подпрыгивая от собственной мощи, продолжала бушевать в пустой комнате:

— ...А теперь прослушайте новгородские частушки...

Далеко-далеко, в самом центре земли, кто-то тронул балалаечные струны, и черноземный Баттистини запел:

На стене клопы сидели
И на солнце щурились,
Фининспектора узрели —
Сразу окочурились...

В центре земли эти частушки вызвали бурную деятельность. В трубе послышался страшный рокот. Не то это были громовые аплодисменты, не то начали работать подземные вулканы.

Между тем помрачневший инспектор пожарной охраны спустился задом по чердачной лестнице и, снова очутившись в кухне, увидел пятерых граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирались ею. Ели они в молчании. Один только Паша Эмильевич по-гурмански крутил головой и, снимая с усов капустные водоросли, с трудом говорил:

— Такую капусту грешно есть помимо водки.

— Новая партия старушек? — спросил Остап.

— Это сироты,— ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.

— Дети Поволжья?

Альхен замялся.

— Тяжелое наследие царского режима?

Альхен развел руками: мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие.

— Совместное воспитание обоих полов по комплексному методу?

Застенчивый Александр Яковлевич тут же, без промедления, пригласил пожарного инспектора отобедать чем бог послал.

В этот день бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом первого сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок.

— Сашхен,— сказал Александр Яковлевич,— познакомься с товарищем из губпожара.

Остап артистически раскланялся с хозяйкой дома и объявил ей такой длиннющий и двусмысленный комплимент, что даже не смог довести его до конца. Сашхен — рослая дама, миловидность которой была несколько обезображена николаевскими полубакенбардами, тихо засмеялась и выпила с мужчинами.

— Пью за ваше коммунальное хозяйство! — воскликнул Остап.

Обед прошел весело, и только за компотом Остап вспомнил о цели своего посещения.

— Отчего,— спросил он,— в вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь?

— Как же,— заволновался Альхен,— а фисгармония?

— Знаю, знаю, вокс гуманум. Но посидеть у вас со вкусом абсолютно не на чем. Одни садовые лоханки.

— В красном уголке есть стул,— обиделся Альхен,— английский стул. Говорят, еще от старой обстановки остался.

— А я, кстати, не видел вашего красного уголка. Как он в смысле пожарной охраны? Не подкачает? Придется посмотреть.

— Милости просим.

Остап поблагодарил хозяйку за обед и тронулся.

В красном уголке примусов не разводили, временных печей не было, дымоходы были в исправности и прочищались регулярно, но стула, к непомерному удивлению Альхена, не было. Бросились искать стул. Заглядывали под кровати и под скамейки, отодвинули для чего-то фисгармонию; допытывались у старушек, которые опасливо поглядывали на Пашу Эмильевича, но стула так и не нашли. Паша Эмильевич проявил в розыске стула большое усердие. Все уже успокоились, а Паша Эмильевич все еще бродил по комнатам, заглядывал под графины, передвигал чайные жестяные кружки и бормотал:

— Где же он может быть? Сегодня он был, я видел его собственными глазами! Смешно даже.

— Грустно, девицы,— ледяным голосом сказал Остап.

— Это просто смешно! — нагло повторял Паша Эмильевич.

Но тут певший все время пеногон-огнетушитель «Эклер» взял самое верхнее фа, на что способна одна лишь народная артистка республики Нежданова, смолк на секунду и с криком выпустил первую пенную струю, залившую потолок и сбившую с головы повара туальденоровый колпак. За первой струей пеногон-огнетушитель выпустил вторую струю туальденорового цвета, повалившую несовершеннолетнего Исидора Яковлевича. После этого работа «Эклера» стала бесперебойной.

К месту происшествия ринулись Паша Эмильевич, Альхен и все уцелевшие Яковлевичи.

— Чистая работа! — сказал Остап.— Идиотская выдумка!

Старухи, оставшись с Остапом наедине, без начальства, сейчас же стали заявлять претензии:

— Брательников в доме поселил. Обжираются.

— Поросят молоком кормит, а нам кашу сует.

— Все из дому повыносил.
— Спокойно, девицы,— сказал Остап, отступая,— это к вам из инспекции труда придут. Меня сенат не уполномочил.
Старухи не слушали.
— А Пашка-то Мелентьевич, этот стул он сегодня унес и продал. Сама видела.
— Кому? — закричал Остап.
— Продал — и все. Мое одеяло продать хотел.
В коридоре шла ожесточенная борьба с огнетушителем. Наконец человеческий гений победил, и пеногон, растоптанный железными ногами Паши Эмильевича, выпустил последнюю вялую струю и затих навсегда.
Старух послали мыть пол. Инспектор пожарной охраны пригнул голову и, слегка покачивая бедрами, подошел к Паше Эмильевичу.
— Один мой знакомый,— сказал Остап веско,— тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошел в монахи — сидит в допре.
— Мне ваши беспочвенные обвинения странны,— заметил Паша Эмильевич, от которого шел сильный запах пенных струй.
— Ты кому продал стул? — спросил Остап позванивающим шепотом.
Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть даже ногами.
— Перекупщику,— ответил он.
— Адрес?
— Я его первый раз в жизни видел.
— Первый раз в жизни?
— Ей-богу.
— Набил бы я тебе рыло,— мечтательно сообщил Остап,— только Заратустра не позволяет. Ну, пошел к чертовой матери.
Паша Эмильевич искательно улыбнулся и стал отходить.
— Ну ты, жертва аборта,— высокомерно сказал Остап,— отдай концы, не отчаливай. Перекупщик что, блондин, брюнет?

Паша Эмильевич стал подробно объяснять. Остап внимательно его выслушал и окончил интервью словами:

— Это, безусловно, к пожарной охране не относится.

В коридоре к уходящему Бендеру подошел застенчивый Альхен и дал ему червонец.

— Это сто четырнадцатая статья Уголовного кодекса,— сказал Остап,— дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей.

Но деньги взял и, не попрощавшись с Александром Яковлевичем, направился к выходу. Дверь, снабженная могучим прибором, с натугой растворилась и дала Остапу под зад толчок в полторы тонны весом.

— Удар состоялся,— сказал Остап, потирая ушибленное место,— заседание продолжается!

Глава IX

ГДЕ ВАШИ ЛОКОНЫ?

В то время как Остап осматривал 2-й дом Старсобеса, Ипполит Матвеевич, выйдя из дворницкой и чувствуя холод в бритой голове, двинулся по улицам родного города.

По мостовой бежала светлая весенняя вода. Стоял непрерывный треск и цокот от падающих с крыш брильянтовых капель. Воробьи охотились за навозом. Солнце сидело на всех крышах. Золотые битюги нарочито громко гремели копытами по обнаженной мостовой и, склонив уши долу, с удовольствием прислушивались к собственному стуку. На сырых телеграфных столбах ежились мокрые объявления с расплывшимися буквами: «Обучаю игре на гитаре по цифровой системе» и «Даю уроки обществоведения для готовящихся в народную консерваторию». Взвод красноармейцев в зимних шлемах пересекал лужу, начинавшуюся у магазина Старгико и тянув-

шуюся вплоть до здания губплана, фронтон которого был увенчан гипсовыми тиграми, победами и кобрами.

Ипполит Матвеевич шел, с интересом посматривая на встречных и поперечных прохожих. Он, который прожил в России всю жизнь и революцию, видел, как ломался, перелицовывался и менялся быт. Он привык к этому, но оказалось, что привык он только в одной точке земного шара — в уездном городе N. Приехав в родной город, он увидел, что ничего не понимает. Ему было неловко и странно, как если бы он и впрямь был эмигрантом и сейчас только приехал из Парижа. В прежнее время, проезжая по городу в экипаже, он обязательно встречал знакомых или же известных ему с лица людей. Сейчас он прошел уже четыре квартала по улице Ленских событий, но знакомые не встречались. Они исчезли, а может быть, постарели так, что их нельзя было узнать, а может быть, сделались неузнаваемыми, потому что носили другую одежду, другие шляпы. Может быть, они переменили походку. Во всяком случае, их не было.

Ипполит Матвеевич шел бледный, холодный, потерянный. Он совсем забыл, что ему нужно разыскивать жилотдел. Он переходил с тротуара на тротуар и сворачивал в переулки, где распустившиеся битюги совсем уже нарочно стучали копытами. В переулках было больше зимы и кое-где попадался загнивший лед. Весь город был другого цвета. Синие дома стали зелеными, желтые — серыми, с каланчи исчезли бомбы, по ней не ходил больше пожарный, и на улицах было гораздо шумнее, чем это помнилось Ипполиту Матвеевичу.

На Большой Пушкинской Ипполита Матвеевича удивили никогда не виданные им в Старгороде рельсы и трамвайные столбы с проводами. Ипполит Матвеевич не читал газет и не знал, что к Первому мая в Старгороде собираются открыть две трамвайные линии: Вокзальную и Привозную. То Ипполиту Матвеевичу казалось, что он никогда не покидал Старгорода, то Старгород представлялся ему местом совершенно незнакомым.

В таких мыслях он дошел до улицы Маркса и Энгельса. В этом месте к нему вернулось детское ощущение, что вот сейчас из-за угла двухэтажного дома с длинным балконом обязательно должен выйти знакомый. Ипполит Матвеевич даже приостановился в ожидании. Но знакомый не вышел. Сначала из-за угла показался стекольщик с ящиком бемского стекла и буханкой замазки медного цвета. Выдвинулся из-за угла франт в замшевой кепке с кожаным желтым козырьком. За ним выбежали дети, школьники первой ступени, с книжками в ремешках.

Вдруг Ипполит Матвеевич почувствовал жар в ладонях и прохладу в животе. Прямо на него шел незнакомый гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул. Ипполит Матвеевич, которым неожиданно овладела икота, всмотрелся и сразу узнал свой стул.

Да! Это был гамбсовский стул, обитый потемневшим в революционных бурях английским ситцем в цветочках, это был ореховый стул с гнутыми ножками. Ипполит Матвеевич почувствовал себя так, как будто бы ему выпалили в ухо.

— Точить ножи, ножницы, бритвы править! — закричал вблизи баритональный бас.

И сейчас же донеслось тонкое эхо:

— Паять, пачинять!..

— Московская гайзета «Звестие», журнал «Смехач», «Красная нива»!..

Где-то наверху со звоном высадили стекло. Потрясая город, проехал грузовик Мельстроя. Засвистел милиционер. Жизнь кипела и переливалась через край. Времени терять было нечего.

Ипполит Матвеевич леопардовым скоком приблизился к возмутительному незнакомцу и молча дернул стул к себе. Незнакомец дернул стул обратно. Тогда Ипполит Матвеевич, держась левой рукой за ножку, стал с силой отрывать толстые пальцы незнакомца от стула.

— Грабят,— шепотом сказал незнакомец, еще крепче держась за стул.

— Позвольте, позвольте,— лепетал Ипполит Матвеевич, продолжая отклеивать пальцы незнакомца.

Стала собираться толпа. Человека три уже стояло поблизости, с живейшим интересом следя за развитием конфликта.

Тогда оба опасливо оглянулись и, не глядя друг на друга, но не выпуская стула из цепких рук, быстро пошли вперед, как будто бы ничего и не было.

«Что же это такое?» — отчаянно думал Ипполит Матвеевич.

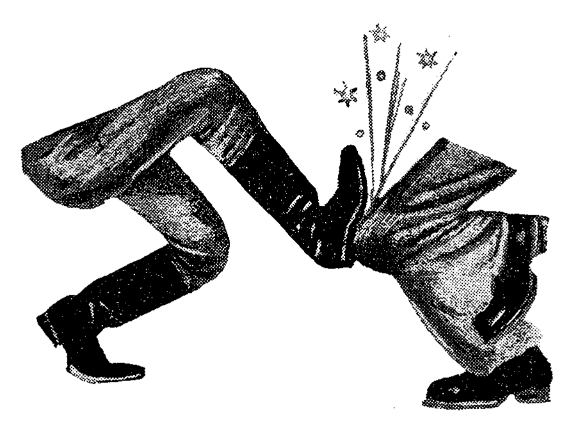
Что думал незнакомец, нельзя было понять, но походка у него была самая решительная.

Они шли все быстрее и, завидя в глухом переулке пустырь, засыпанный щебнем и строительными материалами, как по команде, повернули туда. Здесь силы Ипполита Матвеевича учетверились.

— Позвольте же! — закричал он, не стесняясь.

— Ка-ра-ул! — еле слышно воскликнул незнакомец.

И так как руки у обоих были заняты стулом, они стали пинать друг друга ногами. Сапоги незнакомца были с подковами, и Ипполиту Матвеевичу сначала пришлось довольно плохо. Но он быстро приспособился и, прыгая то направо, то налево, как будто танцевал краковяк, увертывался от ударов противника и старался поразить врага в живот. В живот ему по-



пасть не удалось, потому что мешал стул, но зато он угодил в коленную чашечку противника, после чего тот смог лягаться только левой ногой.

— О господи! — зашептал незнакомец.

И тут Ипполит Матвеевич увидел, что незнакомец, возмутительнейшим образом похитивший его стул, не кто иной, как священник церкви Фрола и Лавра — отец Федор Востриков.

Ипполит Матвеевич опешил.

— Батюшка! — воскликнул он, в удивлении снимая руки со стула.

Отец Востриков полиловел и разжал наконец пальцы. Стул, никем не поддерживаемый, свалился на битый кирпич.

— Где же ваши усы, уважаемый Ипполит Матвеевич? — с наивозможной язвительностью спросила духовная особа.

— А ваши локоны где? У вас ведь были локоны?

Невыносимое презрение слышалось в словах Ипполита Матвеевича. Он окатил отца Федора взглядом необыкновенного благородства и, взяв под мышку стул, повернулся, чтобы уйти. Но отец Федор, уже оправившийся от смущения, не дал Воробьянинову такой легкой победы. С криком: «Нет, прошу вас», он снова ухватился за стул. Была восстановлена первая позиция. Противники стояли, вцепившись в ножки, как коты или боксеры, мерили друг друга взглядами, похаживая из стороны в сторону.

Хватающая за сердце пауза длилась целую минуту.

— Так это вы, святой отец,— проскрежетал Ипполит Матвеевич,— охотитесь за моим имуществом?

С этими словами Ипполит Матвеевич лягнул святого отца ногой в бедро.

Отец Федор изловчился и злобно пнул предводителя в пах так, что тот согнулся.

— Это не ваше имущество.

— А чье же?

— Не ваше.

— А чье же?

— Не ваше, не ваше.
— А чье же, чье?
— Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
— А чье же это имущество? — возопил предводитель, погружая ногу в живот святого отца.
Преодолевая боль, святой отец твердо сказал:
— Это национализированное имущество.
— Национализированное?
— Да-с, да-с, национализированное.
Говорили они с такой необыкновенной быстротой, что слова сливались.
— Кем национализировано?
— Советской властью! Советской властью!
— Какой властью?
— Властью трудящихся.
— А-а-а!..— сказал Ипполит Матвеевич, леденея.— Властью рабочих и крестьян?
— Да-а-а-с!
— М-м-м!.. Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
— М-может быть!
Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем «может быть?» смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. Стереть слюну было нечем: руки были заняты стулом. Ипполит Матвеевич издал звук открываемой двери и изо всей мочи толкнул врага стулом. Враг упал, увлекая за собой задыхающегося Воробьянинова. Борьба продолжалась в партере.

Вдруг раздался треск, отломились сразу обе передние

ножки. Забыв друг о друге, противники принялись терзать ореховое кладохранилище. С печальным криком чайки разодрался английский ситец в цветочках. Спинка отлетела, отброшенная могучим порывом. Кладоискатели рванули рогожу вместе с медными пуговичками и, ранясь о пружины, погрузили пальцы в шерстяную набивку. Потревоженные пружины пели. Через пять минут стул был обглодан. От него остались рожки да ножки. Во все стороны катились пружины. Ветер носил гнилую шерсть по пустырю. Гнутые ножки лежали в яме. Брильянтов не было.

— Ну что, нашли? — спросил Ипполит Матвеевич задыхаясь.

Отец Федор, весь покрытый клочками шерсти, отдувался и молчал.

— Вы аферист! — крикнул Ипполит Матвеевич.— Я вам морду побью, отец Федор!

— Руки коротки,— ответил батюшка.

— Куда же вы пойдете весь в пуху?

— А вам какое дело?

— Стыдно, батюшка! Вы просто — вор!

— Я у вас ничего не украл!

— Как же вы узнали об этом? Использовали в своих интересах тайну исповеди? Очень хорошо! Очень красиво!

Ипполит Матвеевич с негодующим «пфуй» покинул пустырь и, чистя на ходу рукава пальто, направился домой. На углу улицы Ленских событий и Ерофеевского переулка Воробьянинов увидел своего компаньона. Технический директор и главный руководитель концессии стоял вполоборота, приподняв левую ногу,— ему чистили замшевый верх ботинок канареечным кремом. Ипполит Матвеевич подбежал к нему. Директор беззаботно мурлыкал «Шимми»:

Раньше это делали верблюды,
Раньше так плясали ба-та-ку-ды,
А теперь уже танцует шимми це-лый мир...

— Ну, как жилотдел? — спросил он деловито и сейчас же добавил: — Подождите, не рассказывайте, вы слишком взволнованы, прохладитесь.

Выдав чистильщику семь копеек, Остап взял Воробьянинова под руку и повлек его по улице. Все, что рассказал взволнованный Ипполит Матвеевич, Остап выслушал с большим вниманием.

— Ага! Небольшая черная бородка? Правильно! Пальто с барашковым воротником? Понимаю. Это стул из богадельни. Куплен сегодня утром за три рубля.

— Да вы погодите...

И Ипполит Матвеевич сообщил главному концессионеру обо всех подлостях отца Федора.

Остап омрачился.

— Кислое дело,— сказал он,— пещера Лейхтвейса. Таинственный соперник. Его нужно опередить, а морду ему мы всегда успеем пощупать.

Пока друзья закусывали в пивной «Стенька Разин» и Остап разузнавал, в каком доме находился раньше жилотдел и какое учреждение находится в нем теперь, день кончился.

Золотые битюги снова стали коричневыми. Брильянтовые капли холодели на лету и плюхались оземь. В пивных и ресторане «Феникс» пиво поднялось в цене: наступил вечер. На Большой Пушкинской зажглись электрические лампы, и, возвращаясь домой с первой весенней прогулки, с барабанным топаньем прошел отряд пионеров.

Тигры, победы и кобры губплана таинственно светились под входящей в город луной.

Идя домой с замолчавшим вдруг Остапом, Ипполит Матвеевич посмотрел на губплановских тигров и кобр. В его время здесь помещалась губернская земская управа, и граждане очень гордились кобрами, считая их старгородской достопримечательностью.

«Найду»,— подумал Ипполит Матвеевич, вглядываясь в гипсовую победу.

Тигры ласково размахивали хвостами, кобры радостно сокращались, и душа Ипполита Матвеевича наполнилась уверенностью.

Глава X

СЛЕСАРЬ, ПОПУГАЙ И ГАДАЛКА

Дом № 7 по Перелешинскому переулку не принадлежал к лучшим зданиям Старгорода. Два его этажа, построенные в стиле Второй империи, были украшены побитыми львиными мордами, необыкновенно похожими на лицо известного в свое время писателя Арцыбашева. Арцыбашевских ликов было ровно восемь, по числу окон, выходящих в переулок. Помещались эти львиные хари в оконных ключах.

Были на доме еще два украшения, но уже чисто коммерческого характера. С одной стороны висела лазурная вывеска:

> **ОДЕССКАЯ**
> **БУБЛИЧНАЯ АРТЕЛЬ**
> **МОСКОВСКИЕ БАРАНКИ**

На вывеске был изображен молодой человек в галстуке и коротких французских брюках. Он держал в одной вывернутой руке сказочный рог изобилия, из которого лавиной валили охряные московские баранки, выдававшиеся по нужде и за одесские бублики. При этом молодой человек сладострастно улыбался. С другой стороны упаковочная контора «Быстроупак» извещала о себе уважаемых граждан-заказчиков черной вывеской с круглыми золотыми буквами.

Несмотря на ощутительную разницу в вывесках и величине оборотного капитала, оба эти разнородные предприятия занимались одним и тем же делом: спекулировали мануфактурой всех видов — грубошерстной, тонкошерстной, хлопчатобумажной, а если попадался шелк хороших цветов и рисунков, то и шелком.

Пройдя ворота, залитые туннельным мраком и водой, и свернув направо, во двор с цементным колодцем, можно было увидеть две двери без крылец, выходящие прямо на острые камни двора. Дощечка тусклой меди с вырезанной на ней писанными буквами фамилией помещалась на правой двери:

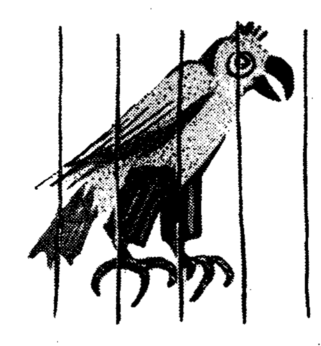
| В. М. ПОЛЕСОВ |

Левая была снабжена беленькой жестянкой:

| МОДЫ И ШЛЯПЫ |

Это тоже была одна видимость.

Внутри модной и шляпной мастерской не было ни спартри, ни отделки, ни безголовых манекенов с офицерской выправкой, ни головатых болванок для изящных дамских шляп. Вместо всей этой мишуры в трехкомнатной квартире жил непорочно белый попугай в красных подштанниках. Попугая одолевали блохи, но пожаловаться он никому не мог, потому что не говорил человеческим голосом. По целым дням попугай грыз семечки и сплевывал шелуху на ковер сквозь прутья башенной клетки. Ему не хватало только гармоники и новых свистящих калош, чтобы походить на подгулявшего кустаря-одиночку. На окнах колыхались темные коричневые занавеси с блямбами. В квартире преобладали темно-коричневые тона. Над пианино висела репродукция с картины Беклина «Остров мертвых» в раме фантази темно-зеленого полированного дуба, под стеклом. Один угол стекла давно вылетел, и обнаженная часть картины была так отделана мухами, что совершенно сливалась с рамой. Что творилось в этой части острова мертвых — узнать было уже невозможно.



В спальне на кровати сидела сама хозяйка и, опираясь локтями на восьмиугольный столик, покрытый нечистой скатертью ришелье, раскладывала карты. Перед нею сидела вдова Грицацуева в пушистой шали.

— Должна вас предупредить, девушка, что я за сеанс меньше пятидесяти копеек не беру,— сказала хозяйка.

Вдова, не знавшая преград в стремлении отыскать нового мужа, согласилась платить установленную цену.

— Только вы, пожалуйста, и будущее,— жалобно попросила она.

— Вас надо гадать на даму треф.

Вдова возразила:

— Я всегда была червонная дама.

Хозяйка равнодушно согласилась и начала комбинировать карты. Черновое определение вдовьей судьбы было дано уже через несколько минут. Вдову ждали большие и мелкие неприятности, а на сердце у нее лежал трефовый король, с которым дружила бубновая дама.

Набело гадали по руке. Линии руки вдовы Грицацуевой были чисты, мощны и безукоризненны. Линия

жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс, и если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до Страшного суда. Линия ума и искусства давали право надеяться, что вдова бросит торговлю бакалеей и подарит человечеству непревзойденные шедевры в какой угодно области искусства, науки или обществоведения. Бугры Венеры у вдовы походили на маньчжурские сопки и обнаруживали чудесные запасы любви и нежности.

Все это гадалка объяснила вдове, употребляя слова и термины, принятые в среде графологов, хиромантов и лошадиных барышников.

— Вот спасибо вам, мадамочка,— сказала вдова,— уж я теперь знаю, кто трефовый король. И бубновая дама мне тоже очень известна. А король-то марьяжный?

— Марьяжный, девушка.

Окрыленная вдова зашагала домой. А гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показав пасть пятидесятилетней женщины, и пошла в кухню. Там она повозилась с обедом, гревшимся на керосинке «Грец», по-кухарочьи вытерла руки о передник, взяла ведро с отколовшейся местами эмалью и вышла во двор за водой.

Она шла по двору, тяжело передвигаясь на плоских ступнях. Ее полуразвалившийся бюст вяло прыгал в перекрашенной кофточке. На голове рос веничек седеющих волос. Она была старухой, была грязновата, смотрела на всех подозрительно и любила сладкое. Если бы Ипполит Матвеевич увидел ее сейчас, то никогда не узнал бы Елены Боур, старой своей возлюбленной, о которой секретарь суда когда-то сказал стихами, что она «к поцелуям зовущая, вся такая воздушная». У колодца мадам Боур была приветствована соседом Виктором Михайловичем Полесовым, слесарем-интеллигентом, который набирал воду в бидон из-под бензина. У Полесова было лицо оперного дьявола, которого тщательно мазали сажей, перед тем как выпустить на сцену.

Обменявшись приветствиями, соседи заговорили о деле, занимавшем весь Старгород.

— До чего дожились,— иронически сказал Поле-

сов,— вчера весь город обегал, плашек три восьмых дюйма достать не мог. Нету. Нет! А трамвай собираются пускать.

Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, предполагающая, что творог добывается из вареников, все же посочувствовала:

— Какие теперь магазины! Теперь только очереди, а магазинов нет. И названия у этих магазинов самые ужасные. Старгико!..

— Нет, знаете, Елена Станиславовна, это еще что! У них четыре мотора «Всеобщей Электрической Компании» остались. Ну, эти кое-как пойдут, хотя кузова та-акой хлам!.. Стекла не на резинах. Я сам видел. Дребезжать все будет... Мрак! А остальные моторы — харьковская работа. Сплошной веспромцветмет. Версты не протянут. Я на них смотрел...

Слесарь раздраженно замолк. Его черное лицо блестело на солнце. Белки глаз были желтоваты. Среди кустарей с мотором, которыми изобиловал Старгород, Виктор Михайлович Полесов был самым непроворным и чаще других попадавшим впросак. Причиной этого служила его чрезмерно кипучая натура. Это был кипучий лентяй. Он постоянно пенился. В собственной его мастерской, помещавшейся во втором дворе дома № 7 по Перелешинскому переулку, застать его было невозможно. Потухший переносный горн сиротливо стоял посреди каменного сарая, по углам которого были навалены проколотые камеры, рваные протекторы «Треугольник», рыжие замки — такие огромные, что ими можно было запирать города,— мягкие баки для горючего с надписями «Indian» и «Wanderer», детская рессорная колясочка, навеки заглохшая динамка, гнилые сыромятные ремни, промасленная пакля, стертая наждачная бумага, австрийский штык и множество рваной, гнутой и давленой дряни. Заказчики не находили Виктора Михайловича. Виктор Михайлович уже где-то распоряжался. Ему было не до работы. Он не мог спокойно видеть въез-

жающего в свой или чужой двор ломовика с кладью. Полесов сейчас же выходил во двор и, сложив руки за спиной, презрительно наблюдал за действиями возчика. Наконец сердце его не выдерживало.

— Кто же так заезжает? — кричал он, ужасаясь.— Заворачивай!

Испуганный возчик заворачивал.

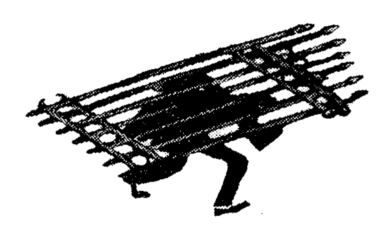
— Куда же ты заворачиваешь, морда? — страдал Виктор Михайлович, налетая на лошадь.— Надавали бы тебе в старое время пощечин, тогда бы заворачивал.

Покомандовавши так с полчаса, Полесов собирался было уже возвратиться в мастерскую, где ждал его непочиненный велосипедный насос, но тут спокойная жизнь города обычно вновь нарушалась каким-нибудь недоразумением. То на улице сцеплялись осями телеги, и Виктор Михайлович указывал, как лучше всего и быстрее их расцепить, то меняли телеграфный столб, и Полесов проверял его перпендикулярность к земле собственным, специально вынесенным из мастерской отвесом; то, наконец, проезжал пожарный обоз, и Полесов, взволнованный звуками трубы и испепеляемый огнем беспокойства, бежал за колесницами.

Однако временами Виктора Михайловича настигала стихия реального действия. На несколько дней он скрывался в мастерскую и молча работал. Дети свободно бегали по двору и кричали что хотели, ломовики описывали во дворе какие угодно кривые, телеги на улице вообще переставали сцепляться, и пожарные колесницы и катафалки в одиночестве катили на пожар — Виктор Михайлович работал. Однажды, после одного такого запоя, он вывел во двор, как барана за рога, мотоцикл, составленный из кусочков автомобилей. огнетушителей, велосипедов и пишущих машинок. Мотор в полторы силы был вандереровский, колеса давидсоновские, а другие существенные части уже давно потеряли фирму. С седла свисал на шпагатике картонный плакат «Проба». Собралась толпа. Не глядя ни на кого, Виктор Михайлович закрутил рукой педаль. Искры не было минут десять. Затем раздалось железное чавканье, прибор задрожал

и окутался грязным дымом. Виктор Михайлович кинулся в седло, и мотоцикл, забрав безумную скорость, вынес его через туннель на середину мостовой и сразу остановился, словно срезанный пулей. Виктор Михайлович собрался было уже слезть и обревизовать свою загадочную машину, но она дала вдруг задний ход и, пронеся своего создателя через тот же туннель, остановилась на месте отправления — посреди двора, ворчливо ахнула и взорвалась. Виктор Михайлович уцелел чудом и из обломков мотоцикла в следующий запойный период устроил стационарный двигатель, который был очень похож на настоящий, но не работал.

Венцом академической деятельности слесаря-интеллигента была эпопея с воротами соседнего дома № 5. Жилтоварищество этого дома заключило с Виктором Михайловичем договор, по которому Полесов обязывался привести железные ворота дома в полный порядок и выкрасить их в какой-нибудь экономический цвет, по своему усмотрению. С другой стороны, жилтоварищество обязывалось уплатить В. М. Полесову, по приеме работы специальной комиссией, двадцать один рубль семьдесят пять копеек. Гербовые марки были отнесены за счет исполнителя работы.



Виктор Михайлович утащил ворота, как Самсон. В мастерской он с энтузиазмом взялся за работу. Два дня ушло на расклепку ворот. Они были разобраны на составные части. Чугунные завитушки лежали в детской колясочке; железные штанги и копья были сложены под верстак. Еще несколько дней пошло на осмотр повреждений. А потом в городе произошла большая неприятность: на Дровяной лопнула магистральная водопроводная труба, и Виктор Михайлович остаток недели провел на месте аварии, иронически улыбаясь, крича на рабочих и поминутно заглядывая в провал.

Когда организаторский пыл Виктора Михайловича несколько утих, он снова подступил к воротам, но было поздно: дворовые дети уже играли чугунными завитушками и копьями ворот дома № 5. Увидав разгневанного слесаря, дети в испуге побросали цацки и убежали. Половины завитушек не хватало, и найти их не удалось. После этого Виктор Михайлович совершенно охладел к воротам.

А в доме № 5, раскрытом настежь, происходили ужасные события. С чердаков крали мокрое белье и однажды вечером унесли даже закипающий во дворе самовар. Виктор Михайлович лично принимал участие в погоне за вором, но вор, хотя и нес в вытянутых вперед руках кипящий самовар, из жестяной трубы которого било пламя,

бежал очень резво и, оборачиваясь назад, хулил державшегося впереди всех Виктора Михайловича нечистыми словами. Но больше всех пострадал дворник дома № 5. Он потерял еженощный заработок: ворот не было, нечего было открывать, и загулявшим жильцам не за что было отдавать свои гривенники. Сперва дворник приходил справляться, скоро ли будут собраны ворота, потом молил Христом богом, а под конец стал произносить неопределенные угрозы. Жилтоварищество посылало Виктору Михайловичу письменные напоминания. Дело пахло судом. Положение напрягалось все больше и больше.

Стоя у колодца, гадалка и слесарь-энтузиаст продолжали беседу.

— При наличии отсутствия пропитанных шпал,— кричал Виктор Михайлович на весь двор,— это будет не трамвай, а одно горе!

— Когда же все это кончится! — сказала Елена Станиславовна.— Живем как дикари.

— Конца этому нет... Да! Знаете, кого я сегодня видел? Воробьянинова.

Елена Станиславовна прислонилась к колодцу, в изумлении продолжая держать на весу полное ведро с водой.

— Прихожу я в коммунхоз продлить договор на аренду мастерской, иду по коридору. Вдруг подходят ко мне двое. Я смотрю — что-то знакомое. Как будто воробьяниновское лицо. И спрашивают: «Скажите, что здесь за учреждение раньше было в этом здании?» Я говорю, что раньше была здесь женская гимназия, а потом жилотдел. «А вам зачем?» — спрашиваю. А они говорят «спасибо» и пошли дальше. Тут я ясно увидел, что это сам Воробьянинов, только без усов. Откуда ему здесь взяться? И тот, другой, с ним был — красавец мужчина. Явно бывший офицер. И тут я подумал...

В эту минуту Виктор Михайлович заметил нечто неприятное. Прервав речь, он схватил свой бидон и быстро спрятался за мусорный ящик. Во двор медленно вошел дворник дома № 5, остановился подле колодца и стал озирать дворовые постройки. Не заметив нигде Виктора Михайловича, он загрустил.

— Витьки-слесаря опять нету? — спросил он у Елены Станиславовны.

— Ах, ничего я не знаю,— сказала гадалка,— ничего я не знаю.

И в необыкновенном волнении, выплескивая воду из ведра, торопливо ушла к себе.

Дворник погладил цементный бок колодца и пошел к мастерской. Через два шага после вывески:

Ход в слесарную мастерскую

красовалась вывеска:

Слесарная мастерская

и

починка примусов

под которой висел тяжелый замок. Дворник ударил ногой в замок и с ненавистью сказал:

— У, гангрена!

Дворник стоял у мастерской еще минуты три, наливаясь самыми ядовитыми чувствами, потом с грохотом отодрал вывеску, понес ее на середину двора, к колодцу, и, став на нее обеими ногами, начал скандалить.

— Ворюги у вас в доме номер семь живут! — вопил дворник.— Сволота всякая! Гадюка семибатюшная! Среднее образование имеет!.. Я не посмотрю на среднее образование!.. Гангрена проклятая!..

В это время семибатюшная гадюка со средним образованием сидела за мусорным ящиком на бидоне и тосковала.

С треском распахивались рамы, и из окон выглядывали веселые жильцы. С улицы во двор не спеша входили любопытные. При виде аудитории дворник разжегся еще больше.

— Слесарь-механик! — вскрикивал дворник. — Аристократ собачий!

Парламентарные выражения дворник богато перемежал нецензурными словами, которым отдавал предпочтение. Слабое женское сословие, густо облепившее подоконники, очень негодовало на дворника, но от окон не отходило.

— Харю разворочу! — неистовствовал дворник.— Образованный!

Когда скандал был в зените, явился милиционер и молча стал тащить скандалиста в район. Милиционеру помогали молодцы из «Быстроупака».

Дворник покорно обнял милиционера за шею и заплакал.

Опасность миновала.

Тогда из-за мусорного ящика выскочил истомившийся Виктор Михайлович. Аудитория зашумела.

— Хам! — закричал Виктор Михайлович вслед шествию.— Хам! Я тебе покажу! Мерзавец!

Горько рыдавший дворник ничего этого не услышал. Его несли на руках в отделение. Туда же, в качестве вещественного доказательства, потащили вывеску «Слесарная мастерская и починка примусов».

Виктор Михайлович еще долго хорохорился.

— Сукины сыны,— говорил он, обращаясь к зрителям,— возомнили о себе! Хамы!

— Будет вам, Виктор Михайлович! — крикнула из окна Елена Станиславовна.— Зайдите ко мне на минуточку.

Она поставила перед Виктором Михайловичем блюдечко компота и, расхаживая по комнате, принялась расспрашивать.

— Да говорю же вам, что это он, без усов, но он,—

по обыкновению, кричал Виктор Михайлович,— ну вот, знаю я его отлично! Воробьянинов, как вылитый!

— Тише вы, господи! Зачем он приехал, как вы думаете?

На черном лице Виктора Михайловича определилась ироническая улыбка.

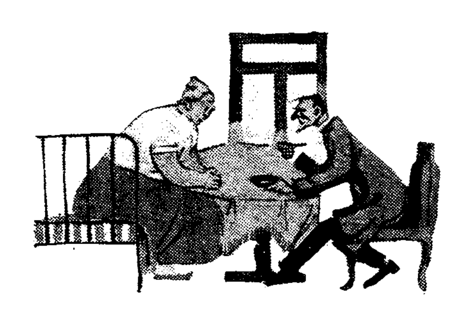
— Ну, а вы как думаете?

Он усмехнулся с еще большей иронией.

— Уж во всяком случае не договоры с большевиками подписывать.

— Вы думаете, что он подвергается опасности?

Запасы иронии, накопленные Виктором Михайловичем за десять лет революции, были неистощимы. На лице его заиграли серии улыбок различной силы и скепсиса.



— Кто в Советской России не подвергается опасности, тем более человек в таком положении, как Воробьянинов? Усы, Елена Станиславовна, даром не сбривают.

— Он послан из-за границы? — спросила Елена Станиславовна, чуть не задохнувшись.

— Безусловно,— ответил гениальный слесарь.

— С какой же целью он здесь?

— Не будьте ребенком.

— Все равно. Мне надо его видеть.

— А вы знаете, чем рискуете?

— Ах, все равно! После десяти лет разлуки я не могу не увидеться с Ипполитом Матвеевичем.

Ей и на самом деле показалось, что судьба разлучила их в ту пору, когда они любили друг друга.

— Умоляю вас, найдите его! Узнайте, где он! Вы всюду бываете! Вам будет нетрудно! Передайте, что я хочу его видеть. Слышите?

Попугай в красных подштанниках, дремавший на жердочке, испугался шумного разговора, перевернулся вниз головой и в таком виде замер.

— Елена Станиславовна,— сказал слесарь-механик, приподнимаясь и прижимая руки к груди,— я найду его и свяжусь с ним.

— Может быть, вы хотите еще компоту? — растрогалась гадалка.

Виктор Михайлович съел компот, прочел злобную лекцию о неправильном устройстве попугайской клетки и попрощался с Еленой Станиславовной, порекомендовав ей держать все в строжайшем секрете.

Глава XI

АЛФАВИТ «ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ»

На второй день компаньоны убедились, что жить в дворницкой больше неудобно. Бурчал Тихон, совершенно обалдевший после того, как увидел барина сначала черноусым, потом зеленоусым, а под конец и совсем без усов. Спать было не на чем. В дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали.

— Считаю вечер воспоминаний закрытым,— сказал Остап,— нужно переезжать в гостиницу.

Ипполит Матвеевич дрогнул.

— Этого нельзя.

— Почему-с?

— Там придется прописаться.

— Паспорт не в порядке?

— Да нет, паспорт в порядке, но в городе мою фамилию хорошо знают. Пойдут толки.

Концессионеры в раздумье помолчали.

— А фамилия Михельсон вам нравится? — неожиданно спросил великолепный Остап.

— Какой Михельсон? Сенатор?

— Нет. Член союза совторгслужащих.

— Я вас не пойму.

— Это от отсутствия технических навыков. Не будьте божьей коровой.

Бендер вынул из зеленого пиджака профсоюзную книжку и передал Ипполиту Матвеевичу.

— Конрад Карлович Михельсон, сорока восьми лет, беспартийный, холост, член союза с тысяча девятьсот двадцать первого года, в высшей степени нравственная личность, мой хороший знакомый, кажется друг детей... Но вы можете не дружить с детьми: этого от вас милиция не потребует.

Ипполит Матвеевич зарделся.

— Но удобно ли?

— По сравнению с нашей концессией это деяние, хотя и предусмотренное Уголовным кодексом, все же имеет невинный вид детской игры в крысу.

Воробьянинов все-таки запнулся.

— Вы идеалист, Конрад Карлович. Вам еще повезло, а то, вообразите, вам вдруг пришлось бы стать каким-нибудь Папа-Христозопуло или Зловуновым.

Последовало быстрое согласие, и концессионеры, не попрощавшись с Тихоном, выбрались на улицу.

Остановились они в меблированных комнатах «Сорбонна». Остап переполошил весь небольшой штат отельной прислуги. Сначала он обозревал семирублевые номера, но остался недоволен их меблировкой. Убранство пятирублевых номеров понравилось ему больше, но ковры были какие-то облезшие и возмущал запах. В трехрублевых номерах было все хорошо за исключением картин.

— Я не могу жить в одной комнате с пейзажами,— сказал Остап.

Пришлось поселиться в номере за рубль восемьдесят. Там не было пейзажей, не было ковров, а меблировка была строго выдержана: две кровати и ночной столик.

— Стиль каменного века,— заметил Остап с одоб-

рением.— А доисторические животные в матрацах не водятся?

— Смотря по сезону,— ответил лукавый коридорный,— если, например, губернский съезд какой-нибудь, то, конечно, нету, потому что пассажиров бывает много и перед ними чистка происходит большая. А в прочее время действительно случается, что и набегают. Из соседних номеров «Ливадия».

В тот же день концессионеры побывали в Старкомхозе, где получили все необходимые сведения. Оказалось, что жилотдел был расформирован в 1921 году и что обширный его архив слит с архивом Старкомхоза.

За дело взялся великий комбинатор. К вечеру компаньоны уже знали домашний адрес заведующего архивом Варфоломея Коробейникова, бывшего чиновника канцелярии градоначальства, ныне работника конторского труда.

Остап облачился в гарусный жилет, выбил о спинку кровати пиджак, вытребовал у Ипполита Матвеевича рубль двадцать копеек на представительство и отправился с визитом к архивариусу. Ипполит Матвеевич остался в «Сорбонне» и в волнении стал прохаживаться в ущелье между двумя кроватями. В этот вечер, зеленый и холодный, решалась судьба всего предприятия. Если удастся достать копии ордеров, по которым распределялась изъятая из воробьяниновского особняка мебель, дело можно считать наполовину удавшимся. Дальше предстояли трудности, конечно, невообразимые, но нить была бы уже в руках.

— Только бы ордера достать,— прошептал Ипполит Матвеевич, валясь на постель,— только бы ордера!..

Пружины разбитого матраца кусали его, как блохи. Он не чувствовал этого. Он еще неясно представлял себе, что последует вслед за получением ордеров, но был уверен, что тогда все пойдет как по маслу: «А маслом,— почему-то вертелось у него в голове,— каши не испортишь».

Между тем каша заваривалась большая. Обуянный розовой мечтою, Ипполит Матвеевич переваливался на кровати с боку на бок. Пружины под ним блеяли.

Остапу пришлось пересечь весь город. Коробейни-

ков жил на Гусище — окраине Старгорода.

Там жили преимущественно железнодорожники. Иногда над домами, по насыпи, огороженной бетонным тонкостенным забором, проходил задним ходом сопящий паровоз. Крыши домов на секунду освещались полыхающим огнем паровозной топки. Иногда катились порожние вагоны, иногда взрывались петарды. Среди халуп и временных бараков тянулись длинные кирпичные корпуса сырых еще кооперативных домов.

Остап миновал светящийся остров — железнодорожный клуб, по бумажке проверил адрес и остановился у домика архивариуса. Он крутнул звонок с выпуклыми буквами «прошу крутить».

После длительных расспросов, «к кому» да «зачем», ему открыли, и он очутился в темной, заставленной шкафами передней. В темноте кто-то дышал на Остапа, но ничего не говорил.

— Где здесь гражданин Коробейников? — спросил Бендер.

Дышащий человек взял Остапа за руку и ввел в освещенную висячей керосиновой лампой столовую. Остап увидел перед собою маленького старичка — чистюлю с необыкновенно гибкой спиной. Не было сомнений в том, что старик этот — сам гражданин Коробейников. Остап без приглашения придвинул стул и сел.

Старичок безбоязненно смотрел на самоуправца и молчал. Остап любезно начал разговор первым:

— Я к вам по делу. Вы служите в архиве Старкомхоза?

Спина старичка пришла в движение и утвердительно выгнулась.

— А раньше служили в жилотделе?

— Я всюду служил,— сказал старик весело.

— Даже в канцелярии градоначальства?

При этом Остап грациозно улыбнулся. Спина старика долго извивалась и наконец остановилась

в положении, свидетельствовавшем, что служба в градоначальстве — дело давнее и что все упомнить положительно невозможно.

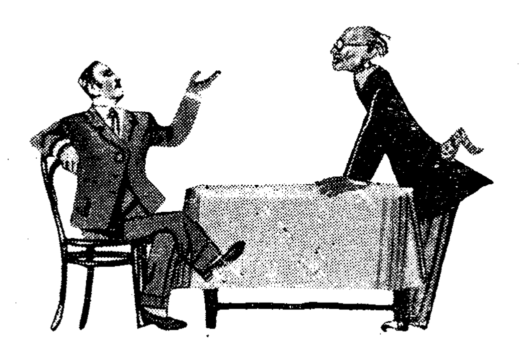
— А позвольте все-таки узнать, чем обязан? — спросил хозяин, с интересом глядя на гостя.

— Позволю, — ответил гость. — Я — Воробьянинова сын.

— Это какого же? Предводителя?

— Его.

— А он что, жив?



— Умер, гражданин Коробейников. Почил.

— Да, — без особой грусти сказал старик, — печальное событие. Но ведь, кажется, у него детей не было?

— Не было, — любезно подтвердил Остап.

— Как же?..

— Ничего. Я от морганатического брака.

— Не Елены ли Станиславовны будете сынок?

— Да. Именно.

— А она в каком здоровье?

— Маман давно в могиле.

— Так, так, ах, как грустно!

И долго еще старик глядел со слезами сочувствия на Остапа, хотя не далее как сегодня видел Елену Станиславовну на базаре, в мясном ряду.

— Все умирают, — сказал он. — А все-таки разрешите узнать, по какому делу, уважаемый, вот имени вашего не знаю...

— Вольдемар,— быстро сообщил Остап.

— Владимир Ипполитович? Очень хорошо. Так. Я вас слушаю, Владимир Ипполитович.

Старичок присел к столу, покрытому клеенкой в узорах, и заглянул в самые глаза Остапа.

Остап в отборных словах выразил свою грусть по родителям. Он очень сожалеет, что вторгся так поздно в жилище глубокоуважаемого архивариуса и причинил ему беспокойство своим визитом, но надеется, что глубокоуважаемый архивариус простит, когда узнает, какое чувство толкнуло его на это.

— Я хотел бы,— с невыразимой сыновней любовью закончил Остап,— найти что-нибудь из мебели папаши, чтобы сохранить о нем память. Не знаете ли вы, кому передана мебель из папашиного дома?

— Сложное дело,— ответил старик, подумав,— это только обеспеченному человеку под силу... А вы, простите, чем занимаетесь?

— Свободная профессия. Собственная мясохладобойня на артельных началах в Самаре.

Старик с сомнением посмотрел на зеленые доспехи молодого Воробьянинова, но возражать не стал.

«Прыткий молодой человек»,— подумал он.

Остап, который к этому времени закончил свои наблюдения над Коробейниковым, решил, что «старик — типичная сволочь».

— Так вот,— сказал Остап.

— Так вот,— сказал архивариус,— трудно, но можно...

— Потребует расходов? — помог владелец мясохладобойни.

— Небольшая сумма...

— Ближе к телу, как говорит Мопассан. Сведения будут оплачены.

— Ну что ж, семьдесят рублей положите.

— Это почему ж так много? Овес нынче дорог?

Старик мелко задребезжал, виляя позвоночником.

— Изволите шутить...

— Согласен, папаша. Деньги против ордеров. Когда к вам зайти?

— Деньги при вас?

Остап с готовностью похлопал себя по карману.

— Тогда пожалуйте хоть сейчас,— торжественно сказал Коробейников.

Он зажег свечу и повел Остапа в соседнюю комнату. Там, кроме кровати, на которой, очевидно, спал хозяин дома, стоял письменный стол, заваленный бухгалтерскими книгами, и длинный канцелярский шкаф с открытыми полками. К ребрам полок были приклеены печатные литеры: *А, Б, В* и далее, до арьергардной буквы *Я*. На полках лежали пачки ордеров, перевязанные свежей бечевкой.

— Ого! — сказал восхищенный Остап.— Полный архив на дому!

— Совершенно полный,— скромно ответил архивариус.— Я, знаете, на всякий случай... Коммунхозу он не нужен, а мне на старости лет может пригодиться... Живем мы, знаете, как на вулкане... Все может произойти... Кинутся тогда люди искать свои мебеля, а где они, мебеля? Вот они где! Здесь они! В шкафу. А кто сохранил, кто уберег? Коробейников. Вот господа спасибо и скажут старичку, помогут на старости лет... А мне много не нужно — по десяточке за ордерок подадут — и на том спасибо... А то иди попробуй, ищи ветра в поле. Без меня не найдут!

Остап восторженно смотрел на старика.

— Дивная канцелярия,— сказал он,— полная механизация. Вы прямо герой труда!

Польщенный архивариус стал вводить гостя в детали любимого дела. Он раскрыл толстые книги учета и распределения.

— Все здесь,— сказал он,— весь Старгород! Вся мебель! У кого когда взято, кому когда выдано. А вот это — алфавитная книга, зеркало жизни! Вам про чью мебель? Купца первой гильдии Ангелова? Пожа-алуйста. Смотрите на букву А. Буква А, Ак, Ам, Ан, Ангелов... Номер? Вот! *82 742*. Теперь книгу учета сюда. Страница 142. Где Ангелов? Вот Ангелов. Взято у Ангелова 18 декабря 1918 года: рояль «Беккер» № *97 012*, табурет к нему мягкий, бюро две штуки, гардеробов четыре (два красного дерева), шифоньер один и так

далее... А кому дано?.. Смотрим книгу распределения. Тот же номер *82 742*... Дано... Шифоньер — в горвоенком, гардеробов три штуки — в детский интернат «Жаворонок»... И еще один гардероб — в личное распоряжение секретаря Старпродкомгуба. А рояль куды пошел? Пошел рояль в собес, во 2-й дом. И посейчас там рояль есть...

«Что-то не видел я там такого рояля»,— подумал Остап, вспомнив застенчивое личико Альхена.

— Или, примерно, у правителя канцелярии городской управы Мурина... На букву *М*, значит, и нужно искать. Все тут. Весь город. Рояли тут, козетки всякие, трюмо, кресла, диванчики, пуфики, люстры... Сервизы даже, и то есть...

— Ну,— сказал Остап,— вам памятник нужно нерукотворный воздвигнуть. Однако ближе к делу. Например, буква *В*.

— Есть буква *В*,— охотно отозвался Коробейников.— Сейчас. Вм, Вн, Ворицкий, № *48 238* Воробьянинов, Ипполит Матвеевич, батюшка ваш, царство ему небесное, большой души был человек... Рояль «Беккер» № *54 809*, вазы китайские, маркированные — четыре, французского завода «Севр», ковров обюссонов — восемь, разных размеров, гобелен «Пастушка», гобелен «Пастух», текинских ковров — два, хоросанских ковров — один, чучело медвежье с блюдом — одно, спальный гарнитур — двенадцать мест, столовый гарнитур — шестнадцать мест, гостиный гарнитур — четырнадцать мест, ореховый, мастера Гамбса работы...

— А кому роздано? — в нетерпении спросил Остап.

— Это мы сейчас. Чучело медвежье с блюдом — во второй район милиции. Гобелен «Пастух» — в фонд художественных ценностей. Гобелен «Пастушка» — в клуб водников. Ковры обюссон, текинские и хоросан — в Наркомвнешторг. Гарнитур спальный — в союз охотников, гарнитур столовый — в Старгородское отделение Главчая. Гарнитур гостиный ореховый — по частям. Стол круглый и стул один — во 2-й дом собеса, диван с гнутой спинкой — в распоряжение жилотдела (до сих пор в передней стоит, всю обивку промаслили,

сволочи); и еще один стул — товарищу Грицацуеву, как инвалиду империалистической войны, по его заявлению и резолюции завжилотделом т. Буркина. Десять стульев в Москву, в музей мебельного мастерства, согласно циркулярного письма Наркомпроса... Вазы китайские, маркированные...

— Хвалю,— сказал Остап, ликуя,— это конгениально! Хорошо бы и на ордера посмотреть.

— Сейчас, сейчас и до ордеров доберемся. На № *48 238,* литера *В*.

Архивариус подошел к шкафу и, поднявшись на цыпочки, достал нужную пачку.

— Вот-с. Вся вашего батюшки мебель тут. Вам все ордера?

— Куда мне все... Так... воспоминания детства — гостиный гарнитур... Помню, игрывал я в гостиной на ковре хоросан, глядя на гобелен «Пастушка»... Хорошее было время, золотое детство!.. Так вот гостиным гарнитуром мы, папаша, и ограничимся.

Архивариус с любовью стал расправлять пачку зеленых корешков и принялся разыскивать там требуемые ордера. Коробейников отобрал пять штук. Один ордер на десять стульев, два — по одному стулу, один — на круглый стол и один — на гобелен «Пастушка».

— Изволите ли видеть. Все в порядке. Где что стоит — все известно. На корешках все адреса прописаны и собственноручная подпись получателя. Так что никто, в случае чего, не отопрется. Может быть, хотите генеральши Поповой гарнитур? Очень хороший. Тоже гамбсовская работа.

Но Остап, движимый любовью исключительно к родителям, схватил ордера, засунул их на самое дно бокового кармана, а от генеральшиного гарнитура отказался.

— Можно расписочку писать? — осведомился архивариус, ловко выгибаясь.

— Можно,— любезно сказал Бендер,— пишите, борец за идею.

— Так я уж напишу.

— Кройте!

Перешли в первую комнату. Коробейников каллиграфическим почерком написал расписку и, улыбаясь, передал ее гостю. Главный концессионер необыкновенно учтиво принял бумажку двумя пальцами правой руки и положил ее в тот карман, где уже лежали драгоценные ордера.

— Ну, пока,— сказал он, сощурясь,— я вас, кажется, сильно обеспокоил. Не смею больше обременять своим присутствием. Вашу руку, правитель канцелярии.

Ошеломленный архивариус вяло пожал поданную ему руку.

— Пока,— повторил Остап.

Он двинулся к выходу.

Коробейников ничего не понял. Он даже посмотрел на стол, не оставил ли гость денег там, но и на столе денег не было. Тогда архивариус очень тихо спросил:

— А деньги?

— Какие деньги? — сказал Остап, открывая дверь.— Вы, кажется, спросили про какие-то деньги?

— Да, как же! За мебель! За ордера!

— Голуба,— пропел Остап,— ей-богу, клянусь честью покойного батюшки. Рад душой, но нету, забыл взять с текущего счета.

Старик задрожал и вытянул вперед хилую свою лапку, желая задержать ночного посетителя.

— Тише, дурак,— сказал Остап грозно,— говорят тебе русским языком — завтра, значит завтра. Ну, пока! Пишите письма!..

Дверь с треском захлопнулась. Коробейников снова открыл ее и выбежал на улицу, но Остапа уже не было. Он быстро шел мимо моста.

Проезжавший через виадук локомотив осветил его своими огнями и завалил дымом.

— Лед тронулся! — закричал Остап машинисту.— Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

Машинист не расслышал, махнул рукой, колеса машины сильнее задергали стальные локти кривошипов, и паровоз умчался.

Коробейников постоял на ледяном ветерке минуты две и, мерзко сквернословя, вернулся в свой домишко. Невыносимая горечь охватила его. Он стал посреди комнаты и в ярости принялся пинать ногою стол. Подпрыгивала пепельница, сделанная на манер калоши с красной надписью «Треугольник», и стакан чокнулся с графином.

Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он мог обмануть кого угодно, но здесь его надули с такой гениальной простотой, что он долго еще стоял, колотя по толстым ножкам обеденного стола.

Коробейникова на Гусище звали Варфоломеичем. Обращались к нему только в случае крайней нужды. Варфоломеич брал в залог вещи и назначал людоедские проценты. Он занимался этим уже несколько лет и еще ни разу не попался. А теперь он прогорал на лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости.

— Шутки?! — крикнул он, вспоминая о погибших ордерах.— Теперь деньги только вперед. И как же это я так оплошал? Своими руками отдал ореховый гостиный гарнитур!.. Одному гобелену «Пастушка» цены нет! Ручная работа!..

Звонок «прошу крутить» давно уже вертела чья-то неуверенная рука, и не успел Варфоломеич вспомнить, что входная дверь осталась открытой, как в передней раздался тяжкий грохот, и голос человека, запутавшегося в лабиринте шкафов, воззвал:

— Куда здесь войти?

Варфоломеич вышел в переднюю, потянул к себе чье-то пальто (на ощупь — драп) и ввел в столовую отца Федора.

— Великодушно извините,— сказал отец Федор.

Через десять минут обоюдных недомолвок и хитростей выяснилось, что гражданин Коробейников действительно имеет кое-какие сведения о мебели Воробьянинова, а отец Федор не отказывается за эти сведения уплатить. Кроме того, к живейшему удовольствию архивариуса, посетитель оказался родным братом бывшего предводителя и страстно желал сохранить о нем память, приобретя ореховый гостиный гарнитур. С этим гарнитуром у брата Воробьянинова были связаны наиболее теплые воспоминания отрочества.

Варфоломеич запросил сто рублей. Память брата посетитель расценивал значительно ниже, рублей в тридцать. Согласились на пятидесяти.

— Деньги я бы попросил вперед,— заявил архивариус,— это мое правило.

— А это ничего, что я золотыми десятками? — заторопился отец Федор, разрывая подкладку пиджака.

— По курсу приму. По девять с половиной. Сегодняшний курс.

Востриков вытряс из колбаски пять желтяков, досыпал к ним два с полтиной серебром и пододвинул всю горку архивариусу. Варфоломеич два раза пересчитал монеты, сгреб их в руку, попросил гостя минуточку повременить и пошел за ордерами. В тайной своей канцелярии Варфоломеич не стал долго размышлять, раскрыл алфавит — зеркало жизни на букву *П*, быстро нашел требуемый номер и взял с полки пачку ордеров генеральши Поповой. Распотрошив пачку, Варфоломеич выбрал из нее один ордер, выданный тов. Брунсу, проживающему по Виноградной, 34, на двенадцать ореховых стульев фабрики Гамбса. Дивясь своей сметке и умению изворачиваться, архивариус усмехнулся и отнес ордера покупателю.

— Все в одном месте? — воскликнул покупатель.

— Один к одному. Все там стоят. Гарнитур замечательный. Пальчики оближете. Впрочем, что вам объяснять! Вы сами знаете!

Отец Федор долго восторженно тряс руку архивариуса и, ударившись несчетное количество раз о шкафы в передней, убежал в ночную темноту.

Варфоломеич долго еще подсмеивался над околпаченным покупателем. Золотые монеты он положил в ряд на столе и долго сидел, сонно глядя на пять светлых кружочков.

«И чего это их на воробьяниновскую мебель потянуло? — подумал он.— С ума посходили».

Он разделся, невнимательно помолился богу, лег в узенькую девичью постельку и озабоченно заснул.

Глава XII

ЗНОЙНАЯ ЖЕНЩИНА—МЕЧТА ПОЭТА

За ночь холод был съеден без остатка. Стало так тепло, что у ранних прохожих ныли ноги. Воробьи несли разный вздор. Даже курица, вышедшая из кухни в гостиничный двор, почувствовала прилив сил и попыталась взлететь. Небо было в мелких облачных клецках, из мусорного ящика несло запахом фиалки и супа пейзан. Ветер млел под карнизом. Коты развалились на крыше и, снисходительно сощурясь, глядели на двор, через который бежал коридорный Александр с тючком грязного белья.

В коридорах «Сорбонны» зашумели. На открытие трамвая из уездов съезжались делегаты. Из гостиничной линейки с вывеской «Сорбонна» высадилась их целая толпа.

Солнце грело в полную силу. Взлетали кверху рифленые железные шторы магазинов. Совработники, вышедшие на службу в ватных пальто, задыхались, распахивались, чувствуя тяжесть весны.

На Кооперативной улице у перегруженного грузовика Мельстроя лопнула рессора, и прибывший на место происшествия Виктор Михайлович Полесов подавал советы.

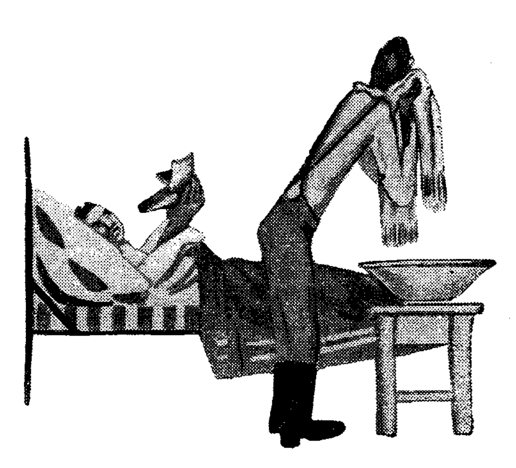
В номере, обставленном с деловой роскошью (две кровати и ночной столик), послышались конский храп и ржание: Ипполит Матвеевич весело умывался

и прочищал нос. Великий комбинатор лежал в постели, рассматривая повреждения в штиблетах.

— Кстати,— сказал он,— прошу погасить задолженность.

Ипполит Матвеевич вынырнул из полотенца и посмотрел на компаньона выпуклыми, без пенсне, глазами.

— Что вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Что вас удивило? Задолженность? Да! Вы мне должны деньги. Я вчера позабыл вам сказать, что за ордера мною уплачено, согласно ваших полномочий,



семьдесят рублей. К сему прилагаю расписку. Перебросьте сюда тридцать пять рублей. Концессионеры, надеюсь, участвуют в расходах на равных основаниях?

Ипполит Матвеевич надел пенсне, прочел записку и, томясь, отдал деньги. Но даже это не могло омрачить его радости. Богатство было в руках. Тридцатирублевая пылинка исчезла в сиянии брильянтовой горы.

Ипполит Матвеевич, лучезарно улыбаясь, вышел в коридор и стал прогуливаться. Планы новой, построенной на драгоценном фундаменте, жизни тешили его.

«А святой отец? — мысленно ехидствовал он.— Дурак дураком остался. Не видать ему стульев, как своей бороды».

Дойдя до конца коридора, Воробьянинов обернулся. Белая в трещинах дверь № 13 раскрылась, и прямо навстречу ему вышел отец Федор в синей косоворотке, подпоясанной потертым черным шнурком с пышной кисточкой. Доброе его лицо расплывалось от счастья. Он тоже вышел в коридор на прогулку. Соперники несколько раз встречались и, победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. В концах коридора оба разом поворачивались и снова сближались... В груди Ипполита Матвеевича кипел восторг. То же чувство одолевало и отца Федора. Чувство сожаления к побежденному противнику одолевало обоих. Наконец, во время пятого рейса, Ипполит Матвеевич не выдержал.

— Здравствуйте, батюшка,— сказал он с невыразимой сладостью.

Отец Федор собрал весь сарказм, положенный ему богом, и ответствовал:

— Доброе утро, Ипполит Матвеевич.

Враги разошлись. Когда пути их сошлись снова, Воробьянинов уронил:

— Не ушиб ли я вас во время последней встречи?

— Нет, отчего же, очень приятно было встретиться,— ответил ликующий отец Федор.

Их снова разнесло. Физиономия отца Федора стала возмущать Ипполита Матвеевича.

— Обедню небось уже не служите? — спросил он при следующей встрече.

— Где там служить! Прихожане по городам разбежались, сокровища ищут.

— Заметьте — свои сокровища! Свои!

— Мне неизвестно — чьи, а только ищут.

Ипполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. Через минуту оттуда вышел сын турецкого подданного — Остап Бендер, в голубом жилете, и, наступая на шнурки от своих ботинок, направился

к Вострикову. Розы на щеках отца Федора увяли и обратились в пепел.

— Покупаете старые вещи? — спросил Остап грозно.— Стулья? Потроха? Коробочки от ваксы?

— Что вам угодно? — прошептал отец Федор.

— Мне угодно продать вам старые брюки.

Священник оледенел и отодвинулся.

— Что же вы молчите, как архиерей на приеме?

Отец Федор медленно направился к своему номеру.

— Старые вещи покупаем, новые крадем! — крикнул Остап вслед.

Востриков вобрал голову и остановился у своей двери. Остап продолжал измываться:

— Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа? Берете? Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Оптом всю партию — дешевле будет. И в стульях они не лежат, искать не надо! А?!

Дверь за служителем культа закрылась.

Удовлетворенный Остап, хлопая шнурками по ковру, медленно пошел назад. Когда его массивная фигура отдалилась достаточно далеко, отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул:

— Сам ты дурак!

— Что? — крикнул Остап, бросаясь обратно, но дверь была уже заперта, и только щелкнул замок.

Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал:

— Почем опиум для народа?

За дверью молчали.

— Папаша, вы пошлый человек! — прокричал Остап.

В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость, и карандаш, упираясь, как заноза, медленно выполз из скважины. С этим трофеем Остап

возвратился в свой номер. Компаньоны еще больше развеселились.

— И враг бежит, бежит, бежит! — пропел Остап. На ребре карандаша он вырезал перочинным ножиком оскорбительное слово, выбежал в коридор и, опустив карандаш в замочную амбразуру, сейчас же вернулся.

Друзья вытащили на свет зеленые корешки ордеров и принялись их тщательно изучать.

— Ордер на гобелен «Пастушка»,— сказал Ипполит Матвеевич мечтательно.— Я купил этот гобелен у петербургского антиквара.

— К черту пастушку! — крикнул Остап, разрывая ордер в лапшу.

— Стол круглый... Как видно, от гарнитура...

— Дайте сюда столик. К чертовой матери столик! Остались два ордера: один — на десять стульев, выданный музею мебельного мастерства в Москве, другой — на один стул — т. Грицацуеву, в Старгороде, по улице Плеханова, 15.

— Готовьте деньги,— сказал Остап,— возможно, в Москву придется ехать.

— Но тут ведь тоже есть стул?

— Один шанс против десяти. Чистая математика. Да и то если гражданин Грицацуев не растапливал им буржуйку.

— Не шутите так, не нужно.

— Ничего, ничего, либер фатер Конрад Карлович Михельсон, найдем! Святое дело! Батистовые портянки будем носить, крем Марго кушать.

— Мне почему-то кажется,— заметил Ипполит Матвеевич,— что ценности должны быть именно в этом стуле.

— Ах! Вам кажется? Что вам еще кажется? Ничего? Ну, ладно. Будем работать по-марксистски. Предоставим небо птицам, а сами обратимся к стульям. Я измучен желанием поскорее увидеться с инвалидом империалистической войны, гражданином Грицацуевым, улица Плеханова, дом пятнадцать. Не отставайте, Конрад Карлович. План составим по дороге.

Проходя мимо двери отца Федора, мстительный сын турецкого подданного пнул ее ногой. Из номера послышалось слабое рычание затравленного конкурента.

— Как бы он за нами не пошел! — испугался Ипполит Матвеевич.

— После сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение невозможно. Он меня боится.

Друзья вернулись только к вечеру. Ипполит Матвеевич был озабочен. Остап сиял. На нем были новые малиновые башмаки, к каблукам которых были привинчены круглые резиновые набойки, шахматные носки в зеленую и черную клетку, кремовая кепка и полушелковый шарф румынского оттенка.

— Есть-то он есть,— сказал Ипполит Матвеевич, вспоминая визит к вдове Грицацуевой,— но как этот стул достать? Купить?

— Как же,— ответил Остап,— не говоря уже о совершенно непроизводительном расходе, это вызовет толки. Почему один стул? Почему именно этот стул?..

— Что же делать?

Остап с любовью осмотрел задники новых штиблет.

— Шик-модерн,— сказал он.— Что делать? Не волнуйтесь, председатель, беру операцию на себя. Перед этими ботиночками ни один стул не устоит.

— Нет, вы знаете,— оживился Ипполит Матвеевич,— когда вы разговаривали с госпожой Грицацуевой о наводнении, я сел на наш стул, и, честное слово, я чувствовал под собой что-то твердое. Они там, ей-богу, там... Ну вот, ей-богу ж, я чувствую.

— Не волнуйтесь, гражданин Михельсон.

— Его нужно ночью выкрасть! Ей-богу, выкрасть!

— Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный несессер с набором отмычек? Выбросьте из головы! Это типичное пижонство — грабить бедную вдову.

Ипполит Матвеевич опомнился.

— Хочется ведь скорее,— сказал он умоляюще.

— Скоро только кошки родятся,— наставительно заметил Остап.— Я женюсь на ней.

— На ком?

— На мадам Грицацуевой.

— Зачем же?

— Чтобы спокойно, без шума покопаться в стуле.

— Но ведь вы себя связываете на всю жизнь!

— Чего не сделаешь для блага концессии!

— На всю жизнь! — прошептал Ипполит Матвеевич.

Ипполит Матвеевич в крайнем удивлении взмахнул руками. Пасторское бритое лицо его ощерилось. Показались не чищенные со дня отъезда из города N голубые зубы.

— На всю жизнь! — прошептал Ипполит Матвеевич.— Это большая жертва.

— Жизнь! — сказал Остап.— Жертва! Что вы знаете о жизни и о жертвах? Вы думаете, что, если вас выселили из особняка, вы знаете жизнь? И если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука, но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто, как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает. Вы слыхали о гусаре-схимнике?

Ипполит Матвеевич не слыхал.

— Буланов! Не слыхали? Герой аристократического Петербурга? Сейчас услышите.

И Остап Бендер рассказал Ипполиту Матвеевичу историю, удивительное начало которой взволновало весь светский Петербург, а еще более удивительный конец потерялся и прошел решительно никем не замеченным в последние годы.

РАССКАЗ О ГУСАРЕ-СХИМНИКЕ*****

Блестящий гусар, граф Алексей Буланов, как правильно сообщил Бендер, был действительно героем аристократического Петербурга. Имя великолепного кавалериста и кутилы не сходило с уст чопорных

обитателей дворцов по Английской набережной и со столбцов светской хроники. Очень часто на страницах иллюстрированных журналов появлялся фотографический портрет красавца гусара — куртка, расшитая бранденбурами и отороченная зернистым каракулем, высокие прилизанные височки и короткий победительный нос.

За графом Булановым катилась слава участника многих тайных дуэлей, имевших роковой исход, явных романов с наикрасивейшими, неприступнейшими дамами света, сумасшедших выходок против уважаемых в обществе особ и прочувствованных кутежей, неизбежно кончавшихся избиением штафирок.

Граф был красив, молод, богат, счастлив в любви, счастлив в картах и в наследовании имущества. Родственники его умирали часто, и наследства их увеличивали и без того огромное состояние гусара.

Он был дерзок и смел. Он помогал абиссинскому негусу Менелику в его войне с итальянцами. Он сидел под большими абиссинскими звездами, закутавшись в белый бурнус, глядя в трехверстную карту местности. Свет факелов бросал шатающиеся тени на прилизанные височки графа. У ног его сидел новый друг, абиссинский мальчик Васька.

Разгромив войска итальянского короля, граф вернулся в Петербург вместе с абиссинцем Васькой. Петербург встретил героя цветами и шампанским. Граф Алексей снова погрузился в беспечную пучину наслаждений, как это говорится в великосветских романах. О нем продолжали говорить с удвоенным восхищением, женщины травились из-за него, мужчины завидовали. На запятках графской кареты, пролетавшей по Миллионной, неизменно стоял абиссинец, вызывая своей чернотой и тонким станом изумление прохожих.

И внезапно все кончилось. Граф Алексей Буланов исчез. Княгиня Белорусско-Балтийская, последняя пассия графа, была безутешна. Исчезновение графа наделало много шуму. Газеты были полны догадками.

Сыщики сбились с ног. Но все было тщетно. Следы графа не находились.

Когда шум уже затихал, из Аверкиевой пустыни пришло письмо, все объяснившее. Блестящий граф, герой аристократического Петербурга, Валтасар XIX века, принял схиму. Передавали ужасающие подробности. Говорили, что граф-монах носит вериги в несколько пудов, что он, привыкший к тонкой французской кухне, питается теперь только картофельной шелухой. Поднялся вихрь предположений. Говорили, что графу было видение умершей матери. Женщины плакали. У подъезда княгини Белорусско-Балтийской стояли вереницы карет. Княгиня с мужем принимали соболезнования. Рождались новые слухи. Ждали графа назад. Говорили, что это временное помешательство на религиозной почве. Утверждали, что граф бежал от долгов. Передавали, что виною всему — несчастный роман.

А на самом деле гусар пошел в монахи, чтобы постичь жизнь. Назад он не вернулся. Мало-помалу о нем забыли. Княгиня Балтийская познакомилась с итальянским певцом, а абиссинец Васька уехал на родину.

В обители граф Алексей Буланов, принявший имя Евпла, изнурял себя великими подвигами. Он действительно носил вериги, но ему показалось, что этого недостаточно для познания жизни. Тогда он изобрел для себя особую монашескую форму: клобук с отвесным козырьком, закрывающим лицо, и рясу, связывающую движения. С благословения игумена он стал носить эту форму. Но и этого показалось ему мало. Обуянный гордыней, он удалился в лесную землянку и стал жить в дубовом гробу.

Подвиг схимника Евпла наполнил удивлением обитель. Он ел только сухари, запас которых ему возобновляли раз в три месяца.

Так прошло двадцать лет. Евпл считал свою жизнь мудрой, правильной и единственно верной. Жить ему стало необыкновенно легко, и мысли его были хрустальными. Он постиг жизнь и понял, что иначе жить нельзя.

Однажды он с удивлением заметил, что на том месте, где он в продолжение двадцати лет привык находить сухари, ничего не было. Он не ел четыре дня. На пятый день пришел неизвестный ему старик в лаптях и сказал, что монахов выселили большевики и устроили в обители совхоз. Оставив немного сухарей, старик, плача, ушел. Схимник не понял старика. Светлый и тихий, он лежал в гробу и радовался познанию жизни. Старик крестьянин продолжал носить сухари.

Так прошло еще несколько никем не потревоженных лет.

Однажды только дверь землянки растворилась, и несколько человек, согнувшись, вошли в нее. Они подошли к гробу и принялись молча рассматривать старца. Это были рослые люди в сапогах со шпорами, в огромных галифе и с маузерами в деревянных полированных ящиках. Старец лежал в гробу, вытянув руки, и смотрел на пришельцев лучезарным взглядом. Длинная и легкая седая борода закрывала половину гроба. Незнакомцы зазвенели шпорами, пожали плечами и удалились, бережно прикрыв за собою дверь.

Время шло. Жизнь раскрылась перед схимником во всей своей полноте и сладости. В ночь, наступившую за тем днем, когда схимник окончательно понял, что все в его познании светло, он неожиданно проснулся. Это его удивило. Он никогда не просыпался ночью. Размышляя о том, что его разбудило, он снова заснул и сейчас же опять проснулся, чувствуя сильное жжение в спине. Постигая причину этого жжения, он старался заснуть, но не мог. Что-то мешало ему. Он не спал до утра. В следующую ночь его снова кто-то разбудил. Он проворочался до утра, тихо стеная и незаметно для самого себя почесывая руки. Днем, поднявшись, он случайно заглянул в гроб. Тогда он понял все: по углам его мрачной постели быстро перебегали вишневые клопы. Схимнику сделалось противно.

В этот же день пришел старик с сухарями. И вот подвижник, молчавший двадцать пять лет, заговорил.

Он попросил принести ему немножко керосину. Услышав речь великого молчальника, крестьянин опешил. Однако, стыдясь и пряча бутылочку, он принес керосин. Как только старик ушел, отшельник дрожащей рукой смазал все швы и пазы гроба. Впервые за три дня Евпл заснул спокойно. Его ничто не потревожило. Смазывал он керосином гроб и в следующие дни. Но через два месяца понял, что керосином вывести клопов нельзя. По ночам он быстро переворачивался и громко молился, но молитвы помогали еще меньше керосина.

Прошло полгода в невыразимых мучениях, прежде чем отшельник обратился к старику снова. Вторая просьба еще больше поразила старика. Схимник просил привезти ему из города порошок «Арагац» против клопов. Но и «Арагац» не помог. Клопы размножались необыкновенно быстро. Могучее здоровье схимника, которого не могло сломить двадцатипятилетнее постничество, заметно ухудшалось. Началась темная, отчаянная жизнь. Гроб стал казаться схимнику Евплу омерзительным и неудобным. Ночью, по совету крестьянина, он жег клопов лучиной. Клопы умирали, но не сдавались.

Было испробовано последнее средство: продукты бр. Глик — розовая жидкость с запахом отравленного персика под названием «Клопин». Но и это не помогло. Положение ухудшалось. Через два года от начала великой борьбы отшельник случайно заметил, что совершенно перестал думать о смысле жизни, потому что круглые сутки занимался травлей клопов.

Тогда он понял, что ошибся. Жизнь так же, как и двадцать пять лет назад, была темна и загадочна. Уйти от мирской тревоги не удалось. Жить телом на земле, а душой на небесах оказалось невозможным.

Тогда старец встал и проворно вышел из землянки. Он стоял среди темного зеленого леса. Была ранняя, сухая осень. У самой землянки выперлось из-под земли целое семейство белых грибов-толстобрюшек. Неведомая птаха сидела на ветке и пела соло. Послышался шум проходящего поезда. Земля задро-

жала. Жизнь была прекрасна. Старец, не оглядываясь, пошел вперед.

Сейчас он служит кучером конной базы Московского коммунального хозяйства.

Рассказав Ипполиту Матвеевичу эту в высшей степени поучительную историю, Остап почистил рукавом пиджака свои малиновые башмаки, сыграл на губах туш и удалился.

Под утро он ввалился в номер, разулся, поставил малиновую обувь на ночной столик и стал поглаживать глянцевитую кожу, с нежной страстью приговаривая:

— Мои маленькие друзья.

— Где вы были? — спросил Ипполит Матвеевич спросонья.

— У вдовы,— глухо ответил Остап.

— Ну?

Ипполит Матвеевич оперся на локоть.

— И вы женитесь на ней?

Глаза Остапа заискрились.

— Теперь я уже должен жениться, как честный человек.

Ипполит Матвеевич сконфуженно хрюкнул.

— Знойная женщина,— сказал Остап,— мечта поэта. Провинциальная непосредственность. В центре таких субтропиков давно уже нет, но на периферии, на местах — еще встречаются.

— Когда же свадьба?

— Послезавтра. Завтра нельзя: Первое мая — все закрыто.

— Как же будет с нашим делом? Вы женитесь... А нам, может быть, придется ехать в Москву.

— Ну, чего вы беспокоитесь? Заседание продолжается.

— А жена?

— Жена? Брильянтовая вдовушка? Последний вопрос! Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в Малом Совнаркоме. Прощальная сцена и цыпленок на дорогу. Поедем с комфортом. Спите. Завтра у нас свободный день.

Глава XIII

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ: ВЫ ВЗВОЛНОВАНЫ!

В утро Первого мая Виктор Михайлович Полесов, снедаемый обычной жаждой деятельности, выскочил на улицу и помчался к центру. Сперва его разнообразные таланты не могли найти себе должного применения, потому что народу было еще мало и праздничные трибуны, оберегаемые конными милиционерами, были пусты. Но часам к девяти в разных концах города замурлыкали, засопели и засвистали оркестры. Из ворот выбегали домашние хозяйки.

Колонна музработников, в мягких отложных воротничках, каким-то образом втиснулась в середину шествия железнодорожников, путаясь под ногами и всем мешая.

Грузовик, на который был надет зеленый фанерный паровоз серии «Щ», все время наскакивал на музработников сзади. При этом на тружеников гобоя и флейты из самого паровозного брюха неслись крики:

— Где ваш распорядитель? Вам разве по Красноармейской?! Не видите, влезли и создали пробку!

Тут, на горе музработников, в дело вмешался Виктор Михайлович.

— Конечно же, вам сюда, в тупик надо сворачивать! Праздника даже не могут организовать! — надрывался Полесов.— Сюда! Сюда! Удивительное безобразие!

Грузовики Старкомхоза и Мельстроя развозили детей. Самые маленькие стояли у бортов грузовика, а ростом побольше — в середине. Несовершеннолетнее воинство потряхивало бумажными флажками и веселилось до упаду.

Стучали пионерские барабаны. Допризывники выгибали груди и старались идти в ногу. Было тесно, шумно и жарко. Ежеминутно образовывались заторы и ежеминутно же рассасывались. Чтобы скоротать время в заторе, качали старичков и активистов.

Старички причитали бабьими голосами. Активисты летали молча, с серьезными лицами. В одной веселой колонне приняли продиравшегося на другую сторону Виктора Михайловича за распорядителя и стали качать его. Полесов дергал ногами, как паяц.

Понесли чучело английского министра Чемберлена, которого рабочий с анатомической мускулатурой бил картонным молотом по цилиндру. Проехали на автомобиле три комсомольца во фраках и белых перчатках. Они сконфуженно поглядывали на толпу.

— Васька! — кричали с тротуара.— Буржуй! Отдай подтяжки!

Девушки пели. В толпе служащих собеса шел Альхен с большим красным бантом на груди и задумчиво гнусил:

Но от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!..

Физкультурники по команде раздельно кричали нечто невнятное.

Все шло, ехало и маршировало к новому трамвайному депо, из которого ровно в час дня должен был выйти первый в Старгороде вагон электрического трамвая.

Никто в точности не знал, когда начали строить старгородский трамвай.

Как-то, в двадцатом году, когда начались субботники, деповцы и канатчики пошли с музыкой на Гусище и весь день копали какие-то ямы.

Нарыли очень много глубоких и больших ям.

Среди работающих бегал товарищ в инженерской фуражке, За ним ходили с разноцветными шестами десятники. В следующий субботник работали в том же месте. Две ямы, вырытые не там, где надо, пришлось снова завалить. Товарищ в инженерской фуражке налетал на десятников и требовал объяснений. Новые ямы рыли еще глубже и шире.

Потом привезли кирпич, и появились настоящие строительные рабочие. Они начали выкладывать фундамент. Затем все стихло. Товарищ в инженерской фуражке приходил еще иногда на опустевшую

постройку и долго расхаживал в обложенной кирпичом яме, бормоча:

— Хозрасчет.

Он похлопывал по фундаменту палкой и бежал домой, в город, закрывая ладонями замерзшие уши.

Фамилия инженера была Треухов.

Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали нэп, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимой дети устраивали там ледяные горки.

Треухов мечтал о большом деле. Ему нудно было служить в отделе благоустройства Старкомхоза, чинить обочины тротуаров и составлять сметы на установку афишных тумб. Но большого дела не было. Проект трамвая, снова поданный на рассмотрение, барахтался в высших губернских инстанциях, одобрялся, не одобрялся, переходил на рассмотрение в центр, но независимо от одобрения или неодобрения покрывался пылью, потому что ни в том, ни в другом случае денег не давали.

— Это варварство! — кричал Треухов на жену.— Денег нет? А переплачивать на извозопромышленников, на гужевую доставку на станцию товаров есть деньги? Старгородские извозчики дерут с живого и с мертвого! Конечно, монополия мародеров! Попробуй пешком с вещами за пять верст на вокзал пройтись!.. Трамвай окупится в шесть лет!

Его блеклые усы гневно обвисали. Курносое лицо шевелилось. Он вынимал из стола напечатанные светописью на синей бумаге чертежи и сердито показывал их жене в тысячный раз. Тут были планы станции, депо и двенадцати трамвайных линий.

— Черт с ними, с двенадцатью. Потерпят. Но три, три линии! Без них Старгород задохнется.

Треухов фыркал и шел в кухню пилить дрова.

Все хозяйственные работы по дому он выполнял сам. Он сконструировал и построил люльку для ре-

бенка и стиральную машину. Первое время сам стирал белье, объясняя жене, как нужно обращаться с машиной. По крайней мере пятая часть жалованья уходила у Треухова на выписку иностранной технической литературы.

Чтобы сводить концы с концами, он бросил курить.

Потащил он свой проект и к новому заведующему Старкомхозом Гаврилину, которого перевели в Старгород из Самарканда. Почерневший под туркестанским солнцем новый заведующий долго, но без особого внимания слушал Треухова, невнимательно пересмотрел все чертежи и под конец сказал:

— А вот в Самарканде никакого трамвая не надо. Там все на ешаках ездят. Ешак три рубля стоит — дешевка. А подымает пудов десять!.. Маленький такой ешачок, даже удивительно!

— Вот это есть Азия! — сердито сказал Треухов.— Ишак три рубля стоит, а скормить ему нужно тридцать рублей в год.

— А на трамвае вашем вы много на тридцать рублей наездите? Триста раз. Даже не каждый день в году.

— Ну, и выписывайте себе ваших ишаков! — закричал Треухов и выбежал из кабинета, ударив дверью.

С тех пор у нового заведующего вошло в привычку при встрече с Треуховым задавать ему насмешливые вопросы:

— Ну как, будем выписывать ешаков или трамвай построим?

Лицо Гаврилина было похоже на гладко обструганную репу. Глаза хитрили.

Месяца через два Гаврилин вызвал к себе инженера и серьезно сказал ему:

— У меня тут планчик наметился. Мне одно ясно, что денег нет, а трамвай не ешак — его за трешку не купишь. Тут материальную базу подводить надо. Практическое разрешение какое? Акционерное общество! А еще какое? Заем! Под проценты. Трамвай через сколько лет должен окупиться?

— Со дня пуска в эксплуатацию трех линий первой очереди — через шесть лет.

— Ну, будем считать через десять. Теперь — акционерное общество. Кто войдет? Пищетрест, Маслоцентр. Канатчикам трамвай нужен? Нужен! Мы до вокзала грузовые вагоны отправлять будем. Значит, канатчики! НКПС, может быть, даст немного. Ну, губисполком даст. Это уж обязательно. А раз начнем — Госбанк и Комбанк дадут ссуду. Вот такой мой планчик. В пятницу на президиуме губисполкома разговор будет. Если решимся — за вами остановка.

Треухов до поздней ночи взволнованно стирал белье и объяснял жене преимущества трамвайного транспорта перед гужевым.

В пятницу вопрос решился благоприятно. И начались муки. Акционерное общество сколачивали с великой натугой. НКПС то вступал, то не вступал в число акционеров. Пищетрест всячески старался вместо 15% акций получить только десять. Наконец, весь пакет акций был распределен, хотя и не обошлось без столкновений. Гаврилина за нажим вызвали в ГубКК. Впрочем, все обошлось благополучно. Оставалось начать.

— Ну, товарищ Треухов,— сказал Гаврилин,— начинай. Чувствуешь, что можешь построить? То-то. Это тебе не ешака купить.

Треухов утонул в работе. Пришла пора великого дела, о котором он мечтал долгие годы. Писались сметы, составлялся план постройки, делали заказы. Трудности возникали там, где их меньше всего ожидали. В городе не оказалось специалистов-бетонщиков, и их пришлось выписать из Ленинграда. Гаврилин торопил, но заводы обещались дать машины только через полтора года. А нужны они были самое позднее через год. Подействовала только угроза заказать машины за границей. Потом пошли неприятности помельче. То нельзя было найти фасонного железа нужных размеров, то вместо пропитанных шпал предлагали непропитанные. Наконец, дали то, что нужно, но Треухов, поехавший сам на шпалопропиточный завод, забраковал 60% шпал. В чугунных частях были раковины. Лес был сырой. Рельсы были хороши, но они стали прибывать с опозданием на месяц. Гаври-

лин часто приезжал в старом простуженном «фиате» на постройку станции. Здесь между ним и Треуховым вспыхивали перебранки.

Покуда строились и монтировались трамвайная станция и депо, старгородцы только отпускали шуточки.

В «Старгородской правде» трамвайным вопросом занялся известный всему городу фельетонист Принц Датский, писавший теперь под псевдонимом «Маховик». Не меньше трех раз в неделю Маховик разражался большим бытовым очерком о ходе постройки. Третья полоса газеты, изобиловавшая заметками под скептическими заголовками: «Мало пахнет клубом», «По слабым точкам», «Осмотры нужны, но при чем тут блеск и длинные хвосты», «Хорошо и... плохо», «Чему мы рады и чему нет», «Подкрутить вредителей просвещения» и «С бумажным морем пора покончить» — стала дарить читателей солнечными и бодрыми заголовками очерков Маховика: «Как строим, как живем», «Гигант скоро заработает», «Скромный строитель» и далее, в том же духе. Треухов с дрожью разворачивал газету и, чувствуя отвращение к братьям писателям, читал о своей особе бодрые строки:

«...Подымаюсь по стропилам. Ветер шумит в уши.

Наверху—он, этот невзрачный строитель нашей мощной трамвайной станции, этот худенький с виду, курносый человек, в затрапезной фуражке с молоточками.

Вспоминаю: «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн».

Подхожу. Ни единого ветерка. Стропила не шелохнутся.

Спрашиваю:

— Как выполняются задания?

Некрасивое лицо строителя, инженера Треухова, оживляется...

Он пожимает мне руку. Он говорит:

— Семьдесят процентов задания уже выполнено...»

Статья кончалась так:

«Он жмет мне на прощанье руку... Позади меня гудят стропила.

Рабочие снуют там и сям.

Кто может забыть этих кипений рабочей стройки, этой неказистой фигуры нашего строителя?

МАХОВИК».

Спасало Треухова только то, что на чтение газеты времени не было и иногда удавалось пропустить сочинения т. Маховика.

Один раз Треухов не выдержал и написал тщательно продуманное язвительное опровержение.

«Конечно,— писал он,—болты можно называть трансмиссией, но делают это люди, ничего не смыслящие в строительном деле. И потом я хотел бы заметить т. Маховику, что стропила гудят только тогда, когда постройка собирается развалиться. Говорить так о стропилах — все равно, что утверждать, будто бы виолончель рожает детей. Примите и проч.»

После этого неугомонный Принц на постройке перестал появляться, но бытовые очерки по-прежнему украшали третью полосу, резко выделяясь на фоне обыденных: «15 000 рублей ржавеют», «Жилищные комочки», «Материал плачет» и «Курьезы и слезы».

Строительство подходило к концу. Термитным способом сваривались рельсы, и они тянулись без зазоров от самого вокзала до боен и от привозного рынка до кладбища.

Сперва открытие трамвая хотели приурочить к девятой годовщине Октября, но вагоностроительный завод, ссылаясь на «арматуру», не сдал к сроку вагонов. Открытие пришлось отложить до Первого мая. К этому дню решительно все было готово.

Концессионеры гуляючи дошли вместе с демонстрациями до Гусища. Там собрался весь Старгород. Новое здание депо обвивали хвойные дуги, хлопали флаги, ветер бегал по лозунгам. Конный милиционер галопировал за первым мороженщиком, бог весть как попавшим в пустой, оцепленный трамвайщиками круг. Между двумя воротами депо высилась жидкая, пустая еще трибуна с микрофоном-усилителем. К трибуне подходили делегаты. Сводный оркестр коммунальников и канатчиков пробовал силу своих легких. Барабан лежал на земле.

По светлому залу депо, в котором стояли десять светло-зеленых вагонов, занумерованных от 701 до 710, шлялся московский корреспондент в волосатой кепке. На груди у него висела зеркалка, в которую он часто и озабоченно заглядывал. Корреспондент искал главного инженера, чтобы задать ему несколько вопросов на трамвайные темы. Хотя в голове кор-

респондента очерк об открытии трамвая со включением конспекта еще не произнесенных речей был уже готов, корреспондент добросовестно продолжал изыскания, находя недостаток лишь в отсутствии буфета.

В толпе пели, кричали и грызли семечки, дожидаясь пуска трамвая.

На трибуну поднялся президиум губисполкома. Принц Датский, заикаясь, обменивался фразами с собратом по перу. Ждали приезда московских кинохроникеров.

— Товарищи! — сказал Гаврилин.— Торжественный митинг по случаю открытия старгородского трамвая позвольте считать открытым.

Медные трубы задвигались, вздохнули и три раза подряд сыграли «Интернационал».

— Слово для доклада предоставляется товарищу Гаврилину! — крикнул Гаврилин.

Принц Датский — Маховик — и московский гость, не сговариваясь, записали в свои записные книжки:

«Торжественный митинг открылся докладом председателя Старкомхоза т. Гаврилина. Толпа обратилась в слух».

Оба корреспондента были людьми совершенно различными. Московский гость был холост и юн. Принц-Маховик, обремененный большой семьей, давно перевалил за четвертый десяток. Один всегда жил в Москве, другой никогда в Москве не был. Москвич любил пиво, Маховик-Датский, кроме водки, ничего в рот не брал. Но, несмотря на эту разницу в характерах, возрасте, привычках и воспитании, впечатления у обоих журналистов отливались в одни и те же затертые, подержанные, вывалянные в пыли фразы. Карандаши их зачиркали, и в книжках появилась новая запись: «В день праздника улицы Старгорода стали как будто шире...»

Гаврилин начал свою речь хорошо и просто:

— Трамвай построить,— сказал он,— это не ешака купить.

В толпе внезапно послышался громкий смех Остапа Бендера. Он оценил эту фразу. Ободренный

приемом, Гаврилин, сам не понимая почему, вдруг заговорил о международном положении. Он несколько раз пытался пустить свой доклад по трамвайным рельсам, но с ужасом замечал, что не может этого сделать. Слова сами по себе, против воли оратора, получались какие-то международные. После Чемберлена, которому Гаврилин уделил полчаса, на международную арену вышел американский сенатор Бора. Толпа обмякла. Корреспонденты враз записали: «В образных выражениях оратор обрисовал международное положение нашего Союза...» Распалившийся Гаврилин нехорошо отозвался о румынских боярах и перешел на Муссолини. И только к концу речи он поборол свою вторую международную натуру и заговорил хорошими деловыми словами:

— И я так думаю, товарищи, что этот трамвай, который сейчас выйдет из депа, благодаря кого он выпущен? Конечно, товарищи, благодаря вот вам, благодаря всех рабочих, которые действительно поработали не за страх, а, товарищи, за совесть. А еще, товарищи, благодаря честного советского специалиста, главного инженера Треухова. Ему тоже спасибо!..

Стали искать Треухова, но не нашли. Представитель Маслоцентра, которого давно уже жгло, протиснулся к перилам трибуны, взмахнул рукой и громко заговорил о международном положении. По окончании его речи оба корреспондента, прислушиваясь к жиденьким хлопкам, быстро записали: «Шумные аплодисменты, переходящие в овацию...» Потом подумали над тем, что «переходящие в овацию...» будет, пожалуй, слишком сильно. Москвич решился и овацию вычеркнул. Маховик вздохнул и оставил.

Солнце быстро катилось по наклонной плоскости. С трибуны произносились приветствия. Оркестр поминутно играл туш. Светло засинел вечер, а митинг все продолжался. И говорившие и слушавшие давно уже чувствовали, что произошло что-то неладное, что митинг затянулся, что нужно как можно скорее перейти к пуску трамвая. Но все так привыкли говорить, что не могли остановиться.

Наконец нашли Треухова. Он был испачкан и, прежде чем пойти на трибуну, долго мыл в конторе лицо и руки.

— Слово предоставляется главному инженеру, товарищу Треухову! — радостно возвестил Гаврилин.— Ну, говори, а то я совсем не то говорил,— добавил он шепотом.

Треухов хотел сказать многое. И про субботники, и про тяжелую работу, обо всем, что сделано и что можно еще сделать. А сделать можно много: можно освободить город от заразного привозного рынка, построить крытые стеклянные корпуса, можно построить постоянный мост вместо временного, ежегодно сносимого ледоходом, можно, наконец, осуществить проект постройки огромной мясохладобойни.

Треухов открыл рот и, запинаясь, заговорил:

— Товарищи! Международное положение нашего государства...

И дальше замямлил такие прописные истины, что толпа, слушавшая уже шестую международную речь, похолодела. Только окончив, Треухов понял, что и он ни слова не сказал о трамвае. «Вот обидно,— подумал он,— абсолютно мы не умеем говорить, абсолютно».

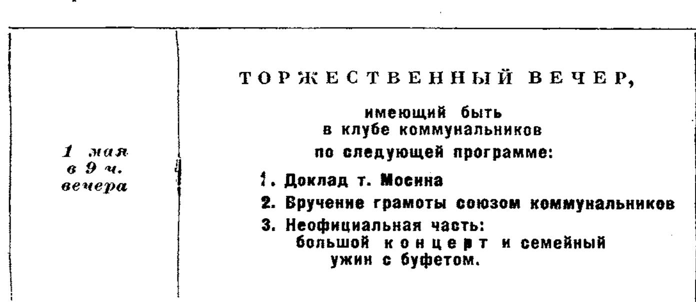
И ему вспомнилась речь французского коммуниста, которую он слышал на собрании в Москве. Француз говорил о буржуазной прессе. «Эти акробаты пера,— восклицал он,— эти виртуозы фарса, эти шакалы ротационных машин...» Первую часть речи француз произносил в тоне ля, вторую часть — в тоне до и последнюю, патетическую,— в тоне ми. Жесты его были умеренны и красивы.

«А мы только муть разводим,— решил Треухов,— лучше б совсем не говорили».

Было уже совсем темно, когда председатель губисполкома разрезал ножницами красную ленточку, запиравшую выход из депо. Рабочие и представители общественных организаций с гомоном стали рассаживаться по вагонам. Ударили тонкие звоночки, и первый вагон трамвая, которым управлял сам Треухов, выкатился из депо под оглушительные крики толпы и стоны оркестра. Освещенные вагоны казались еще

ослепительнее, чем днем. Все они плыли цугом по Гусищу; пройдя под железнодорожным мостом, они легко поднялись в город и свернули на Большую Пушкинскую. Во втором вагоне ехал оркестр и, выставив трубы из окон, играл марш Буденного.

Гаврилин, в кондукторской форменной тужурке, с сумкой через плечо, прыгая из вагона в вагон, нежно улыбался, давал некстати звонки и вручал пассажирам пригласительные билеты на



1 мая в 9 ч. вечера	**ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР,** имеющий быть в клубе коммунальников по следующей программе: 1. Доклад т. Мосина 2. Вручение грамоты союзом коммунальников 3. Неофициальная часть: большой концерт и семейный ужин с буфетом.

На площадке последнего вагона стоял неизвестно как попавший в число почетных гостей Виктор Михайлович. Он принюхивался к мотору. К крайнему удивлению Полесова, мотор выглядел отлично и, как видно, работал исправно. Стекла не дребезжали. Осмотрев их подробно, Виктор Михайлович убедился, что они все-таки на резине. Он уже сделал несколько замечаний вагоновожатому и считался среди публики знатоком трамвайного дела на Западе.

— Воздушный тормоз работает неважно,— заявил Полесов, с торжеством поглядывая на пассажиров,— не всасывает.

— Тебя не спросили,— ответил вагоновожатый,— авось засосет.

Проделав праздничный тур по городу, вагоны вернулись в депо, где их поджидала толпа. Треухова качали уже при полном блеске электрических ламп. Качнули и Гаврилина, но так как он весил пудов шесть и высоко не летал, его скоро отпустили. Качали т. Мосина, техников и рабочих. Второй раз в этот день

качали Виктора Михайловича. Теперь он уже не дергал ногами, а строго и серьезно глядя в звездное небо, взлетал и парил в ночной темноте. Спланировав в последний раз, Полесов заметил, что его держит за ногу и смеется гадким смехом не кто иной, как бывший предводитель Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Полесов вежливо высвободился, отошел немного в сторону, но из виду предводителя уже не выпускал. Заметив, что Ипполит Матвеевич вместе с молодым незнакомцем, явно бывшим офицером, уходят, Виктор Михайлович осторожно последовал за ними.

Когда все уже кончилось и Гаврилин в своем лиловеньком «фиате» поджидал отдававшего последние распоряжения Треухова, чтобы ехать с ним в клуб, к воротам депо подкатил фордовский полугрузовичок с кинохроникерами.

Первым из машины ловко выпрыгнул мужчина в двенадцатиугольных роговых очках и элегантном кожаном армяке без рукавов. Острая длинная борода росла у мужчины прямо из адамова яблока. Второй мужчина тащил киноаппарат, путаясь в длинном шарфе того стиля, который Остап Бендер обычно называл «шик-модерн». Затем из грузовичка поползли ассистенты, юпитера и девушки.

Вся группа с криками ринулась в депо.

— Внимание! — крикнул бородатый армяковладелец.— Коля! Ставь юпитера!

Треухов заалелся и двинулся к ночным посетителям.

— Это вы кино? — спросил он.— Что ж вы днем не приехали?

— А когда назначено открытие трамвая?

— Он уже открыт.

— Да, да, мы несколько задержались. Хорошая натура подвернулась. Масса работы. Закат солнца! Впрочем, мы и так справимся. Коля! Давай свет! Вертящееся колесо! Крупно! Двигающиеся ноги толпы — крупно. Люда! Милочка! Пройдитесь! Коля, начали! Начали. Пошли! Идите, идите, идите... Довольно. Спасибо. Теперь будем снимать строителя. Товарищ Треухов? Будьте добры, товарищ Треухов. Нет, не так.

В три четверти... Вот так, пооригинальней, на фоне трамвая... Коля! Начали! Говорите что-нибудь!..

— Ну, мне, право, так неудобно!..

— Великолепно!.. Хорошо!.. Еще говорите!.. Теперь вы говорите с первой пассажиркой трамвая... Люда! Войдите в рамку. Так. Дышите глубже: вы взволнованы!.. Коля! Ноги крупно!.. Начали!.. Так, так... Большое спасибо... Стоп!..

С давно дрожавшего «фиата» тяжело слез Гаврилин и пришел звать отставшего друга. Режиссер с волосатым адамовым яблоком оживился.

— Коля! Сюда! Прекрасный типаж. Рабочий! Пассажир трамвая! Дышите глубже. Вы взволнованы. Вы никогда прежде не ездили в трамвае. Начали! Дышите!

Гаврилин с ненавистью засопел.

— Прекрасно!.. Милочка! Иди сюда! Привет от комсомола!.. Дышите глубже. Вы взволнованы... Так... Прекрасно. Коля, кончили.

— А трамвай снимать не будете? — спросил Треухов застенчиво.

— Видите ли,— промычал кожаный режиссер,— условия освещения не позволяют. Придется доснять в Москве. Целую!

Кинохроника молниеносно исчезла.

— Ну, поедем, дружок, отдыхать,— сказал Гаврилин.— Ты что, закурил?

— Закурил,— сознался Треухов,— не выдержал.

На семейном вечере голодный накурившийся Треухов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все его целовали. Он хотел сказать что-то доброе своей жене, но только рассмеялся. Потом долго тряс руку Гаврилина и говорил:

— Ты чудак! Тебе надо научиться проектировать железнодорожные мосты! Это замечательная наука. И главное — абсолютно простая. Мост через Гудзон...

Через полчаса его развезло окончательно, и он произнес филиппику, направленную против буржуазной прессы:

— Эти акробаты фарса, эти гиены пера! Эти виртуозы ротационных машин! — кричал он.

Домой его отвезла жена на извозчике.

— Хочу ехать на трамвае,— говорил он жене,— ну, как ты этого не понимаешь? Раз есть трамвай,— значит, на нем нужно ехать!.. Почему? Во-первых, это выгодно...

Полесов шел следом за концессионерами, долго крепился и, выждав, когда вокруг никого не было, подошел к Воробьянинову.

— Добрый вечер, господин Ипполит Матвеевич! — сказал он почтительно.

Воробьянинову сделалось не по себе.

— Не имею чести,— пробормотал он.

Остап выдвинул правое плечо и подошел к слесарю-интеллигенту.

— Ну-ну,— сказал он,— что вы хотите сказать моему другу?

— Вам не надо беспокоиться,— зашептал Полесов, оглядываясь по сторонам.— Я от Елены Станиславовны...

— Как? Она здесь?

— Здесь. И очень хочет вас видеть.

— Зачем? — спросил Остап.— А вы кто такой?

— Я... Вы, Ипполит Матвеевич, не думайте ничего такого. Вы меня не знаете, но я вас очень хорошо помню.

— Я бы хотел зайти к Елене Станиславовне,— нерешительно сказал Воробьянинов.

— Она чрезвычайно просила вас прийти.

— Да, но откуда она узнала?..

— Я вас встретил в коридоре комхоза и долго думал: знакомое лицо. Потом вспомнил. Вы, Ипполит Матвеевич, ни о чем не волнуйтесь! Все будет совершенно тайно.

— Знакомая женщина? — спросил Остап деловито.

— М-да, старая знакомая...

— Тогда, может быть, зайдем поужинаем у старой знакомой? Я, например, безумно хочу жрать, а все закрыто.

— Пожалуй.

— Тогда идем. Ведите нас, таинственный незнакомец.

И Виктор Михайлович проходными дворами, поминутно оглядываясь, повел компаньонов к дому гадалки, в Перелешинский переулок.

Глава XIV

«СОЮЗ МЕЧА И ОРАЛА»

Когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности: могут выпасть зубы, поседеть и поредеть волосы, развиться одышка, может нагрянуть тучность, может одолеть крайняя худоба, но голос у нее не изменится. Он останется таким же, каким был у нее гимназисткой, невестой или любовницей молодого повесы.

Поэтому, когда Полесов постучал в дверь и Елена Станиславовна спросила: «Кто там?» — Воробьянинов дрогнул. Голос его любовницы был тот же, что и в девяносто девятом году, перед открытием парижской выставки. Но, войдя в комнату и сжимая веки от света, Ипполит Матвеевич увидел, что от былой красоты не осталось и следа.

— Как вы изменились! — сказал он невольно.

Старуха бросилась ему на шею.

— Спасибо,— сказала она,— я знаю, чем вы рисковали, придя ко мне. Вы тот же великодушный рыцарь. Я не спрашиваю вас, зачем вы приехали из Парижа. Видите, я не любопытна.

— Но я приехал вовсе не из Парижа,— растерянно сказал Воробьянинов.

— Мы с коллегой прибыли из Берлина,— поправил Остап, нажимая на локоть Ипполита Матвеевича,— об этом не рекомендуется говорить вслух.

— Ах, я так рада вас видеть! — возопила гадалка.— Войдите сюда, в эту комнату... А вы, Виктор

Михайлович, простите, но не зайдете ли вы через полчаса?

— О! — заметил Остап.— Первое свидание! Трудные минуты! Разрешите и мне удалиться. Вы позволите с вами, любезнейший Виктор Михайлович?

Слесарь задрожал от радости. Оба ушли в квартиру Полесова, где Остап, сидя на обломке ворот дома № 5 по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем-одиночкою с мотором фантасмагорические идеи, клонящиеся к спасению родины.

Через час они вернулись и застали стариков совершенно разомлевшими.

— А вы помните, Елена Станиславовна? — говорил Ипполит Матвеевич.

— А вы помните, Ипполит Матвеевич? — говорила Елена Станиславовна.

«Кажется, наступил психологический момент для ужина»,— подумал Остап. И, прервав Ипполита Матвеевича, вспоминавшего выборы в городскую управу, сказал:

— В Берлине есть очень странный обычай: там едят так поздно, что нельзя понять, что это — ранний ужин или поздний обед.

Елена Станиславовна встрепенулась, отвела кроличий взгляд от Воробьянинова и потащилась на кухню.

— А теперь действовать, действовать и действовать! — сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности.

Он взял Полесова за руку.

— Старуха не подкачает? Надежная женщина?

Полесов молитвенно сложил руки.

— Ваше политическое кредо?

— Всегда! — восторженно ответил Полесов.

— Вы, надеюсь, кирилловец?

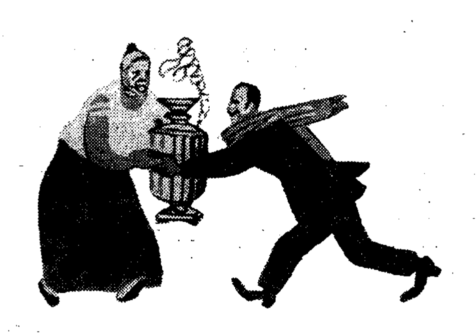
— Так точно.

Полесов вытянулся в струну.

— Россия вас не забудет! — рявкнул Остап.

Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа, но удержать его было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажом. Он прошелся по комнате, как барс.

В таком возбужденном состоянии его застала Елена Станиславовна, с трудом тащившая из кухни самовар. Остап галантно подскочил к ней, перенял на ходу самовар и поставил его на стол. Самовар свистнул. Остап решил действовать.



— Мадам, — сказал он, — мы счастливы видеть в вашем лице...

Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Пришлось начать снова. Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то «милостиво повелеть соизволил». Но это было не к месту. Поэтому он начал деловито:

— Строгий секрет! Государственная тайна!

Остап показал рукой на Воробьянинова.

— Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это — гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору.

Ипполит Матвеевич встал во весь свой прекрасный рост и растерянно посмотрел по сторонам. Он ничего не понимал, но, зная по опыту, что Остап Бендер никогда не говорит зря, молчал. В Полесове все происходящее вызвало дрожь. Он стоял, задрав подбородок к потолку, в позе человека, готовящегося пройти церемониальным маршем. Елена Станиславовна села на стул, в страхе глядя на Остапа.

— Наших в городе много? — спросил Остап напрямик.— Каково настроение?

— При наличии отсутствия...— сказал Виктор Михайлович и стал путано объяснять свои беды. Тут был и дворник дома № 5, возомнивший о себе хам, и плашки в три восьмых дюйма, и трамвай, и прочее.

— Хорошо! — грянул Остап.— Елена Станиславовна! С вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к вам?

— Кого ж можно пригласить? Максима Петровича разве с женой?

— Без жены,— поправил Остап,— без жен! Вы будете единственным приятным исключением. Еще кого?

В обсуждении, к которому деятельно примкнул и Виктор Михайлович, выяснилось, что пригласить можно того же Максима Петровича Чарушникова, бывшего гласного городской думы, а ныне чудесным образом сопричисленного к лику совработников, хозяина «Быстроупака» Дядьева, председателя «Одесской бубличной артели — «Московские баранки» Кислярского и двух молодых людей без фамилий, но вполне надежных.

— В таком случае прошу пригласить их сейчас же на маленькое совещание. Под величайшим секретом.

Заговорил Полесов:

— Я побегу к Максиму Петровичу, за Никешей и Владей, а уж вы, Елена Станиславовна, потрудитесь и сходите в «Быстроупак» и за Кислярским.

Полесов умчался. Гадалка с благоговением посмотрела на Ипполита Матвеевича и тоже ушла.

— Что это значит? — спросил Ипполит Матвеевич.

— Это значит,— ответил Остап,— что вы отсталый человек.

— Почему?

— Потому что! Простите за пошлый вопрос: сколько у вас есть денег?

— Каких денег?

— Всяких. Включая серебро и медь.

— Тридцать пять рублей.

— И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию?

Ипполит Матвеевич молчал.

— Вот что, дорогой патрон. Мне сдается, что вы меня понимаете. Вам придется побыть часок гигантом мысли и особой, приближенной к императору.

— Зачем?

— Затем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба. Я не нищий. Я хочу пировать в этот знаменательный день.

— Что же я должен делать? — простонал Ипполит Матвеевич.

— Вы должны молчать. Иногда, для важности, надувайте щеки.

— Но ведь это же... обман.

— Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст человека, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь. Молчите. И не забывайте надувать щеки.

— К чему ввязываться в такое опасное дело? Ведь могут донести.

— Об этом не беспокойтесь. На плохие шансы я не ловлю. Дело будет поведено так, что никто ничего не поймет. Давайте пить чай.

Пока концессионеры пили и ели, а попугай трещал скорлупой подсолнухов, в квартиру входили гости.

Никеша и Владя пришли вместе с Полесовым. Виктор Михайлович не решился представить молодых людей гиганту мысли. Они засели в уголке и принялись наблюдать за тем, как отец русской демократии ест

холодную телятину. Никеша и Владя были вполне созревшие недотепы. Каждому из них было лет под тридцать. Им, видно, очень нравилось, что их пригласили на заседание.

Бывший гласный городской думы Чарушников, тучный старик, долго тряс руку Ипполита Матвеевича и заглядывал ему в глаза. Под наблюдением Остапа старожилы города стали обмениваться воспоминаниями. Дав им разговориться, Остап обратился к Чарушникову:

— Вы в каком полку служили?

Чарушников запыхтел.

— Я... я, так сказать, вообще не служил, потому что, будучи облечен доверием общества, проходил по выборам.

— Вы дворянин?

— Да. Был.

— Вы, надеюсь, остались им и сейчас? Крепитесь. Потребуется ваша помощь. Полесов вам говорил? Заграница нам поможет. Остановка за общественным мнением. Полная тайна организации. Внимание!

Остап отогнал Полесова от Никеши и Влади и с неподдельной суровостью спросил:

— В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. Внимание.

Остапа несло. Дело как будто налаживалось. Представленный Еленой Станиславовной владельцу «Быстроупака», Остап отвел его в сторону, предложил ему крепиться, осведомился, в каком полку он служил, и обещал содействие заграницы и полную тайну организации. Первым чувством владельца «Быстроупака» было желание как можно скорее убежать из заговорщицкой квартиры. Он считал свою фирму слишком солидной, чтобы вступать в рискованное дело. Но, оглядев ловкую фигуру Остапа, он поколебался и стал размышлять: «А вдруг!.. Впрочем, все зависит от того, под каким соусом все это будет подано».

Дружеская беседа за чайным столом оживилась. Посвященные свято хранили тайну и разговаривали о городских новостях.

Последним пришел гражданин Кислярский, который, не будучи дворянином и никогда не служа в гвардейских полках, из краткого разговора с Остапом сразу уяснил себе положение вещей.

— Крепитесь,— сказал Остап наставительно.

Кислярский пообещал.

— Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухим к стонам родины.

Кислярский сочувственно загрустил.

— Вы знаете, кто это сидит? — спросил Остап, показывая на Ипполита Матвеевича.

— Как же,— ответил Кислярский,— это господин Воробьянинов.

— Это,— сказал Остап,— гигант мысли, отец русской демократии, особа, приближенная к императору.

«В лучшем случае, два года со строгой изоляцией,— подумал Кислярский, начиная дрожать.— Зачем я сюда пришел?»

— Тайный союз меча и орала! — зловеще прошептал Остап.

«Десять лет»,— мелькнула у Кислярского мысль.

— Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!

«Я тебе покажу, сукин сын,— подумал Остап.— Меньше, чем за сто рублей, я тебя не выпущу».

Кислярский сделался мраморным. Еще сегодня он так вкусно и спокойно обедал, ел куриные пупочки, бульон с орешками и ничего не знал о страшном «союзе меча и орала». Он остался: «длинные руки» произвели на него невыгодное впечатление.

— Граждане! — сказал Остап, открывая заседание.— Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат

и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.

Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства.

Полесов не понял своего нового друга — молодого гвардейца.

«Какие дети? — подумал он.— Почему дети?»

Ипполит Матвеевич даже и не старался ничего понять. Он давно уже махнул на все рукой и молча сидел, надувая щеки.

Елена Станиславовна пригорюнилась.

Никеша и Владя преданно глядели на голубую жилетку Остапа.

Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен.

«Красиво составлено,— решил он,— под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи — почет! Не вышло — мое дело шестнадцатое. Помогал детям — и дело с концом».

Чарушников обменялся значительным взглядом с Дядьевым и, отдавая должное конспиративной ловкости докладчика, продолжал катать по столу хлебные шарики.

Кислярский был на седьмом небе.

«Золотая голова»,— думал он. Ему казалось, что он еще никогда так сильно не любил беспризорных детей, как в этот вечер.

— Товарищи! — продолжал Остап.— Нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям. Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям и никому другому. Вы меня понимаете?

Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку.

— Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия.

Ипполит Матвеевич надулся и наклонил голову. Тут даже несмышленые Никеша с Владей и сам хлопотливый слесарь поняли тайную суть иносказаний Остапа.

— В порядке старшинства, господа,— сказал Остап,— начнем с уважаемого Максима Петровича.

Максим Петрович заерзал и дал от силы тридцать рублей.

— В лучшие времена дам больше! — заявил он.

— Лучшие времена скоро наступят,— сказал Остап,— впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится.

Восемь рублей дали Никеша с Владей.

— Мало, молодые люди.

Молодые люди зарделись.

Полесов сбегал домой и принес пятьдесят.

— Браво, гусар! — сказал Остап.— Для гусара-одиночки с мотором этого на первый раз достаточно. Что скажет купечество?

Дядьев и Кислярский долго торговались и жаловались на уравнительный. Остап был неумолим:

— В присутствии самого Ипполита Матвеевича считаю эти разговоры излишними.

Ипполит Матвеевич наклонил голову. Купцы пожертвовали в пользу деток по двести рублей.

— Всего,— возгласил Остап,— четыреста восемьдесят восемь рублей. Эх! Двенадцати рублей не хватает для ровного счета.

Елена Станиславовна, долго крепившаяся, ушла в спальню и вынесла в ридикюле искомые двенадцать рублей.

Остальная часть заседания была смята и носила менее торжественный характер. Остап начал резвиться.

Елена Станиславовна совсем размякла. Гости постепенно расходились, почтительно прощаясь с организаторами.

— О дне следующего заседания вы будете оповещены особо,— говорил Остап на прощание,— строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне... Это, кстати, в ваших личных интересах.

При этих словах Кислярскому захотелось дать еще пятьдесят рублей, но больше уже не приходить ни на какие заседания. Он еле удержал себя от этого порыва.

— Ну,— сказал Остап,— будем двигаться. Вы, Ипполит Матвеевич, я надеюсь, воспользуетесь гостеприимностью Елены Станиславовны и переночуете у нее. Кстати, нам и для конспирации полезно разделиться на время. А я пошел.

Ипполит Матвеевич отчаянно подмаргивал Остапу глазом, но тот сделал вид, что не заметил этого, и вышел на улицу.

Пройдя квартал, он вспомнил, что в кармане у него лежат пятьсот честно заработанных рублей.

— Извозчик! — крикнул он.— Вези в «Феникс»!

— Это можно,— сказал извозчик.

Он неторопливо подвез Остапа к закрытому ресторану.

— Это что? Закрыто?

— По случаю Первого мая.

— Ах, чтоб их! И денег сколько угодно, и погулять негде! Ну, тогда валяй на улицу Плеханова. Знаешь?

Остап решил поехать к своей невесте.

— А раньше как эта улица называлась? — спросил извозчик.

— Не знаю.

— Куда же ехать? И я не знаю.

Тем не менее Остап велел ехать и искать.

Часа полтора проколесили они по пустому ночному городу, опрашивая ночных сторожей и милиционеров. Один милиционер долго пыжился и наконец сообщил, что Плеханова — не иначе как бывшая Губернаторская.

— Ну, Губернаторская! Я Губернаторскую хорошо знаю. Двадцать пять лет вожу на Губернаторскую.

— Ну, и езжай!

Приехали на Губернаторскую, но она оказалась не Плеханова, а Карла Маркса.

Озлобленный Остап возобновил поиски затерянной улицы имени Плеханова. Но не нашел ее.

Рассвет бледно осветил лицо богатого страдальца, так и не сумевшего развлечься.

— Вези в «Сорбонну»! — крикнул он.— Тоже извозчик! Плеханова не знаешь!

Чертог вдовы Грицацуевой сиял. Во главе свадебного стола сидел марьяжный король — сын турецкоподданного. Он был элегантен и пьян. Гости шумели.

Молодая была уже не молода. Ей было не меньше тридцати пяти лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, нос — обухом, расписные щеки и мощный затылок. Нового мужа она обожала и очень боялась. Поэтому звала его не по имени и даже не по отчеству, которого она так никогда и не узнала, а по фамилии: товарищ Бендер.

Ипполит Матвеевич снова сидел на заветном стуле. В продолжение всего свадебного ужина он подпрыгивал на нем, чтобы почувствовать твердое. Иногда это ему удавалось. Тогда все присутствующие нравились ему, и он неистово начинал кричать «горько».

Остап все время произносил речи, спичи и тосты. Пили за народное просвещение и ирригацию Узбекистана. После этого гости стали расходиться. Иппо-

лит Матвеевич задержался в передней и шепнул Бендеру:

— Так вы не тяните. Они там.

— Вы — стяжатель,— ответил пьяный Остап,— ждите меня в гостинице. Никуда не уходите. Я могу прийти каждую минуту. Уплатите в гостинице по счету. Чтоб все было готово. Адье, фельдмаршал! Пожелайте мне спокойной ночи.

Ипполит Матвеевич пожелал и отправился в «Сорбонну» волноваться.

В пять часов утра явился Остап со стулом. Ипполита Матвеевича проняло. Остап поставил стул посредине комнаты и сел.

— Как это вам удалось? — выговорил наконец Воробьянинов.

— Очень просто, по-семейному. Вдовица спит и видит сон. Жаль было будить. «На заре ты ее не буди». Увы! Пришлось оставить любимой записку: «Выезжаю с докладом в Новохоперск. К обеду не жди. Твой Суслик». А стул я захватил в столовой. Трамвая в эти утренние часы нет — отдыхал на стуле по пути.

Ипполит Матвеевич с урчанием кинулся к стулу.

— Тихо,— сказал Остап,— нужно действовать без шума.

Он вынул из кармана плоскогубцы, и работа закипела.

— Вы дверь заперли? — спросил Остап.

Отталкивая нетерпеливого Воробьянинова, Остап аккуратно вскрыл стул, стараясь не повредить английского ситца в цветочках.

— Такого материала теперь нет, надо его сохранить. Товарный голод, ничего не поделаешь.

Все это довело Ипполита Матвеевича до крайнего раздражения.

— Готово,— сказал Остап тихо.

Он приподнял покровы и обеими руками стал шарить между пружинами. На лбу у него обозначилась венозная ижица.

— Ну? — повторял Ипполит Матвеевич на разные лады:— Ну? Ну?

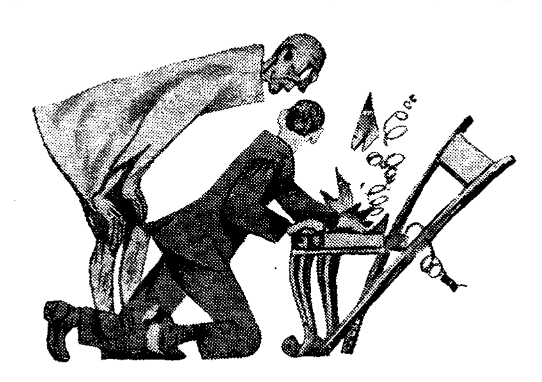
— Ну и ну,— отвечал Остап раздраженно,— один шанс против одиннадцати. И этот шанс...

Он хорошенько порылся в стуле и закончил:

— И этот шанс пока не наш.

Он поднялся во весь рост и принялся чистить коленки. Ипполит Матвеевич кинулся к стулу.

Брильянтов не было. У Ипполита Матвеевича обвисли руки. Но Остап был по-прежнему бодр.



— Теперь наши шансы увеличились.

Он походил по комнате.

— Ничего! Этот стул обошелся вдове больше, чем нам.

Остап вынул из бокового кармана золотую брошь со стекляшками, дутый золотой браслет, полдюжины золоченых ложечек и чайное ситечко.

Ипполит Матвеевич в горе даже не сообразил, что стал соучастником обыкновенной кражи.

— Пошлая вещь,— заметил Остап,— но согласитесь, что я не мог покинуть любимую женщину, не оставив о ней никакого воспоминания. Однако времени терять не следует. Это еще только начало. Конец в Москве. А мебельный музей — это вам не вдова; там потруднее будет!

Компаньоны запихнули обломки стула под кровать и, подсчитав деньги (их вместе с пожертвованиями в пользу детей оказалось пятьсот тридцать пять рублей), выехали на вокзал к московскому поезду.

Ехать пришлось через весь город на извозчике.

На Кооперативной они увидели Полесова, бежавшего по тротуару, как пугливая антилопа. За ним гнался дворник дома № 5 по Перелешинскому переулку. Заворачивая за угол, концессионеры успели заметить, что дворник настиг Виктора Михайловича и принялся его дубасить. Полесов кричал «караул!» и «хам!»

До отхода поезда сидели в уборной, опасаясь встречи с любимой женщиной.

Поезд уносил друзей в шумный центр. Друзья приникли к окну.

Вагоны проносились над Гусищем.

Внезапно Остап заревел и схватил Воробьянинова за бицепс.

— Смотрите, смотрите! — крикнул он.— Скорее! Альхен, с-сукин сын!..

Ипполит Матвеевич посмотрел вниз. Под насыпью дюжий усатый молодец тащил тачку, груженную рыжей фисгармонией и пятью оконными рамами. Тачку подталкивал стыдливого вида гражданин в мышиной толстовочке.

Солнце пробилось сквозь тучи. Сияли кресты церквей.

Остап, хохоча, высунулся из окна и гаркнул:

— Пашка! На толкучку едешь?

Паша Эмильевич поднял голову, но увидел только буфера последнего вагона и еще сильнее заработал ногами.

— Видели? — радостно спросил Остап.— Красота! Вот работают люди!

Остап похлопал загрустившего Воробьянинова по спине.

— Ничего, папаша! Не унывайте! Заседание продолжается. Завтра вечером мы в Москве!

Часть вторая

В МОСКВЕ

Глава XV

СРЕДИ ОКЕАНА СТУЛЬЕВ

Статистика знает все.

Точно учтено количество пахотной земли в СССР с подразделением на чернозем, суглинок и лёсс. Все граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги, так хорошо известные Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову — книги загсов. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водки, с примерным указанием потребляемой закуски. Известно, сколько в стране охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, девушек, маяков и швейных машинок.

Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли, глядит на нас со статистических таблиц!

Кто он, розовощекий индивид, сидящий с салфеткой на груди за столиком и с аппетитом уничтожающий дымящуюся снедь? Вокруг него лежат стада миниатюрных быков. Жирные свиньи сбились в угол таблицы. В специальном статистическом бассейне плещутся бесчисленные осетры, налимы и рыба чехонь. На плечах, руках и голове индивида сидят куры. В перистых облаках летают домашние гуси, утки и индейки. Под столом прячутся два кролика. На горизонте

возвышаются пирамиды и вавилоны из печеного хлеба. Небольшая крепость из варенья омывается молочной рекой. Огурец, величиною в пизанскую башню, стоит на горизонте. За крепостными валами из соли и перцу пополуротно маршируют вина, водки и наливки. В арьергарде жалкой кучкой плетутся безалкогольные напитки: нестроевые нарзаны, лимонады и сифоны в проволочных сетках.

Кто же этот розовощекий индивид — обжора, пьянчуга и сластун? Гаргантюа, король дипсодов? Силач Фосс? Легендарный солдат Яшка Красная Рубашка? Лукулл?

Это не Лукулл. Это — Иван Иванович Сидоров или Сидор Сидорович Иванов; средний гражданин, съедающий в среднем за свою жизнь всю изображенную на таблице снедь. Это — нормальный потребитель калорий и витаминов, тихий сорокалетний холостяк, служащий в госмагазине галантереи и трикотажа.

От статистики не скроешься никуда. Она имеет точные сведения не только о количестве зубных врачей, колбасных, шприцев, дворников, кинорежиссеров, проституток, соломенных крыш, вдов, извозчиков и колоколов, но знает даже, сколько в стране статистиков.

И одного она не знает.

Не знает она, сколько в СССР стульев.

Стульев очень много. Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных республик в сто сорок три миллиона человек. Если отбросить девяносто миллионов крестьян, предпочитающих стульям лавки, полати, завалинки, а на Востоке — истертые ковры и паласы, то все же остается пятьдесят миллионов человек, в домашнем обиходе которых стулья являются предметами первой необходимости. Если же принять во внимание возможные просчеты в исчислениях и привычку некоторых граждан Союза сидеть между двух стульев, то, сократив на всякий случай общее число вдвое, найдем, что стульев в стране должно быть не менее двадцати шести с половиной миллионов. Для верности откажемся еще от шести с половиной миллионов. Оставшиеся двадцать миллионов будут числом минимальным.

Среди этого океана стульев, сделанных из ореха, дуба, ясеня, палисандра, красного дерева и карельской березы, среди стульев еловых и сосновых герои романа должны найти ореховый гамбсовский стул с гнутыми ножками, таящий в своем обитом английским ситцем брюхе сокровища мадам Петуховой.

Концессионеры лежали на верхних полках и еще спали, когда поезд осторожно перешел Оку и, усилив ход, стал приближаться к Москве.

Глава XVI

ОБЩЕЖИТИЕ ИМЕНИ МОНАХА БЕРТОЛЬДА ШВАРЦА

Ипполит Матвеевич и Остап, напирая друг на друга, стояли у открытого окна жесткого вагона и внимательно смотрели на коров, медленно сходивших с насыпи, на хвою, на дощатые дачные платформы.

Все дорожные анекдоты были уже рассказаны. «Старгородская правда» от вторника прочитана до объявлений и покрыта масляными пятнами. Все цыплята, яйца и маслины съедены.

Оставался самый томительный участок пути — последний час перед Москвой.

Из реденьких лесочков и рощ подскакивали к насыпи веселенькие дачки. Были среди них деревянные дворцы, блещущие стеклом веранд и свежевыкрашенными железными крышами. Были и простые деревянные срубы с крохотными квадратными оконцами, настоящие капканы для дачников.

В то время как пассажиры с видом знатоков рассматривали горизонт и, перевирая сохранившиеся в памяти воспоминания о битве при Калке, рассказывали друг другу прошлое и настоящее Москвы, Ипполит Матвеевич упорно старался представить себе музей мебели. Музей представлялся ему в виде многоверстного коридора, по стенам которого шпалерами

стояли стулья. Воробьянинов видел себя быстро идущим между ними.

— Как еще будет с музеем мебели, неизвестно. Обойдется? — встревоженно говорил он.

— Вам, предводитель, пора уже лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременной истерики. Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча.

Поезд прыгал на стрелках. Глядя на него, семафоры разевали рты. Пути учащались. Чувствовалось приближение огромного железнодорожного узла. Трава исчезла, ее заменил шлак. Свистали маневровые паровозы. Стрелочники трубили. Внезапно грохот усилился. Поезд вкатился в коридор между порожними составами и, щелкая, как турникет, стал пересчитывать вагоны.

Пути вздваивались.

Поезд выскочил из коридора. Ударило солнце. Низко, по самой земле, разбегались стрелочные фонари, похожие на топорики. Валил дым. Паровоз, отдуваясь, выпустил белоснежные бакенбарды. На поворотном кругу стоял крик. Деповцы загоняли паровоз в стойло.

От резкого торможения хрустнули поездные суставы. Все завизжало, и Ипполиту Матвеевичу показалось, что он попал в царство зубной боли. Поезд причалил к асфальтовому перрону.

Это была Москва. Это был Рязанский — самый свежий и новый из всех московских вокзалов.

Ни на одном из восьми остальных вокзалов Москвы нет таких обширных и высоких помещений, как на Рязанском. Весь Ярославский вокзал, с его псевдорусскими гребешками и геральдическими курочками, легко может поместиться в большом буфете-ресторане Рязанского вокзала.

Московские вокзалы — ворота города. Ежедневно они впускают и выпускают тридцать тысяч пассажиров. Через Александровский вокзал входит в Москву иностранец на каучуковых подошвах, в костюме для гольфа (шаровары и толстые шерстяные чулки наружу). С Курского — попадает в Москву кавказец в

коричневой бараньей шапке с вентиляционными дырочками и рослый волгарь в пеньковой бороде. С Октябрьского — выскакивает полуответственный работник с портфелем из дивной свиной кожи. Он приехал из Ленинграда по делам увязки, согласования и конкретного охвата. Представители Киева и Одессы проникают в столицу через Брянский вокзал. Уже на станции Тихонова пустынь киевляне начинают презрительно улыбаться. Им великолепно известно, что Крещатик — наилучшая улица на земле. Одесситы тащат с собой корзины и плоские коробки с копченой скумбрией. Им тоже известна лучшая улица на земле. Но это, конечно, не Крещатик, это улица Лассаля, бывшая Дерибасовская. Из Саратова, Аткарска, Тамбова, Ртищева и Козлова в Москву приезжают с Павелецкого вокзала. Самое незначительное число людей прибывает в Москву через Савеловский. Это — башмачники из Талдома, жители города Дмитрова, рабочие Яхромской мануфактуры или унылый дачник, живущий зимой и летом на станции Хлебниково. Ехать здесь в Москву недолго. Самое большое расстояние по этой линии — сто тридцать верст. С Ярославского вокзала попадают в столицу люди, приехавшие из Владивостока, Хабаровска, Читы, из городов дальних и больших.

Самые диковинные пассажиры, однако, на Рязанском вокзале. Это узбеки в белых кисейных чалмах и цветочных халатах, краснобородые таджики, туркмены, хивинцы и бухарцы, над республиками которых сияет вечное солнце.

Концессионеры с трудом пробились к выходу и очутились на Каланчевской площади. Справа от них высились геральдические курочки Ярославского вокзала. Прямо против них тускло поблескивал Октябрьский вокзал, выкрашенный масляной краской в два цвета. Часы на нем показывали пять минут одиннадцатого. На часах Ярославского вокзала было ровно десять. А посмотрев на темно-синий, украшенный знаками Зодиака циферблат Рязанского вокзала, путешественники заметили, что часы показывали без пяти десять.

— Очень удобно для свиданий! — сказал Остап.— Всегда есть десять минут форы.

Извозчик издал губами поцелуйный звук. Проехали под мостом, и перед путниками развернулась величественная панорама столичного города.

— Куда мы, однако, едем? — спросил Ипполит Матвеевич.

— К хорошим людям,— ответил Остап,— в Москве их масса. И все мои знакомые.

— И мы у них остановимся?

— Это общежитие. Если не у одного, то у другого место всегда найдется.

В Охотном ряду было смятение. Врассыпную, с лотками на головах, как гуси, бежали беспатентные лоточники. За ними лениво трусил милиционер. Беспризорные сидели возле асфальтового чана и с наслаждением вдыхали запах кипящей смолы.

Выехали на Арбатскую площадь, проехали по Пречистенскому бульвару и, свернув направо, остановились на Сивцевом Вражке.

— Что это за дом? — спросил Ипполит Матвеевич.

Остап посмотрел на розовый домик с мезонином и ответил:

— Общежитие студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца.

— Неужели монаха?

— Ну, пошутил, пошутил. Имени Семашко.

Как и полагается рядовому студенческому общежитию в Москве, дом студентов-химиков давно уже был заселен людьми, имеющими к химии довольно отдаленное отношение. Студенты расползлись. Часть из них окончила курс и разъехалась по назначениям, часть была исключена за академическую неуспешность. Именно эта часть, год от году возрастая, образовала в розовом домике нечто среднее между жилтовариществом и феодальным поселком. Тщетно пытались ряды новых студентов ворваться в общежитие. Экс-химики были необыкновенно изобретательны и отражали все атаки. На домик махнули рукой. Он стал считаться диким и исчез со всех планов МУНИ. Его как будто бы и не было. А между тем он был и в нем жили люди.

Концессионеры поднялись по лестнице на второй этаж и свернули в совершенно темный коридор.

— Свет и воздух,— сказал Остап.

Внезапно в темноте, у самого локтя Ипполита Матвеевича, кто-то засопел.

— Не пугайтесь,— заметил Остап,— это не в коридоре. Это за стеной. Фанера, как известно из физики,— лучший проводник звука. Осторожнее! Держитесь за меня! Тут где-то должен быть несгораемый шкаф.

Крик, который сейчас же издал Воробьянинов, ударившись грудью об острый железный угол, показал, что шкаф действительно где-то тут.

— Что, больно? — осведомился Остап.— Это еще ничего. Это — физические мучения. Зато сколько здесь было моральных мучений — жутко вспомнить. Тут вот рядом стоял скелет, собственность студента Иванопуло. Он купил его на Сухаревке, а держать в комнате боялся. Так что посетители сперва ударялись о кассу, а потом на них падал скелет. Беременные женщины были очень недовольны.

По лестнице, шедшей винтом, компаньоны поднялись в мезонин. Большая комната мезонина была разрезана фанерными перегородками на длинные ломти, в два аршина ширины каждый. Комнаты были похожи на пеналы, с тем только отличием, что, кроме карандашей и ручек, здесь были люди и примусы.

— Ты дома, Коля? — тихо спросил Остап, остановившись у центральной двери.

В ответ на это во всех пяти пеналах завозились и загалдели.

— Дома,— ответили за дверью.

— Опять к этому дураку гости спозаранку пришли! — зашептал женский голос из крайнего пенала слева.

— Да дайте же человеку поспать! — буркнул пенал № 2.

В третьем пенале радостно зашипели:

— К Кольке из милиции пришли. За вчерашнее стекло.

В пятом пенале молчали. Там ржал примус и целовались.

Остап толкнул ногою дверь. Все фанерное сооружение затряслось, и концессионеры проникли в Колькину щель. Картина, представившаяся взору Остапа, при внешней своей невинности, была ужасна. В комнате из мебели был только матрац в красную полоску, лежавший на четырех кирпичах. Но не это обеспокоило Остапа. Колькина мебель была ему известна давно. Не удивил его и сам Колька, сидящий на матраце с ногами. Но рядом сидело такое небесное создание, что

Остап сразу омрачился. Такие девушки никогда не бывают деловыми знакомыми — для этого у них слишком голубые глаза и чистая шея. Это любовницы или, еще хуже, это жены — и жены любимые. И действительно, Коля называл создание Лизой, говорил ей «ты» и показывал ей рожки.

Ипполит Матвеевич снял свою касторовую шляпу. Остап вызвал Колю в коридор. Там они долго шептались.

— Прекрасное утро, сударыня,— сказал Ипполит Матвеевич.

Голубоглазая сударыня засмеялась и без всякой видимой связи с замечанием Ипполита Матвеевича заговорила о том, какие дураки живут в соседнем пенале.

— Они нарочно заводят примус, чтобы не было слышно, как они целуются. Но вы поймите, это же глупо. Мы все слышим. Вот они действительно ничего уже не слышат из-за своего примуса. Хотите, я вам сейчас покажу? Слушайте!

И Колина жена, постигшая все тайны примуса, громко сказала:

— Зверевы дураки!

За стеной слышалось адское пение примуса и звуки поцелуев.

— Видите? Они ничего не слышат. Зверевы дураки, болваны и психопаты. Видите!..

— Да,— сказал Ипполит Матвеевич.

— А мы примуса не держим. Зачем? Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей поженились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну вот мы и ходим. Я очень люблю мясо. А там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Коле...

В это время вернулся Коля с Остапом.

— Ну что ж, раз у тебя решительно нельзя остановиться, мы пойдем к Пантелею.

— Верно, ребята! — закричал Коля.— Идите к Иванопуло. Это свой парень.

— Приходите к нам в гости,— сказала Колина жена,— мы с мужем будем очень рады.

— Опять в гости зовут! — возмутились в крайнем пенале слева.— Мало им гостей!

— А вы — дураки, болваны и психопаты, не ваше дело! — сказала Колина жена, не повышая голоса.

— Ты слышишь, Иван Андреевич,— заволновались в крайнем пенале,— твою жену оскорбляют, а ты молчишь.

Подали свой голос невидимые комментаторы и из других пеналов. Словесная перепалка разрасталась. Компаньоны ушли вниз, к Иванопуло.

Студента не было дома. Ипполит Матвеевич зажег спичку. На дверях висела записка: «Буду не раньше 9 ч. Пантелей».

— Не беда,— сказал Остап,— я знаю, где ключ.

Он пошарил под несгораемой кассой, достал ключ и открыл дверь.

Комната студента Иванопуло была точно такого же размера, как и Колина, но зато угловая. Одна стена ее была каменная, чем студент очень гордился. Ипполит Матвеевич с огорчением заметил, что у студента не было даже матраца.

— Отлично устроимся,— сказал Остап,— прилич-

ная кубатура для Москвы. Если мы уляжемся все втроем на полу, то даже останется немного места. А Пантелей — сукин сын! Куда он девал матрац, интересно знать?

Окно выходило в переулок. Там ходил милиционер. Напротив, в домике, построенном на манер готической башни, помещалось посольство крохотной державы. За железной решеткой играли в теннис. Летал белый мячик. Слышались короткие возгласы.

— Аут,— сказал Остап,— класс игры невысокий. Однако давайте отдыхать.

Концессионеры разостлали на полу газеты. Ипполит Матвеевич вынул подушку-думку, которую возил с собой.

Остап повалился на телеграммы и заснул. Ипполит Матвеевич спал уже давно.

Глава XVII

УВАЖАЙТЕ МАТРАЦЫ, ГРАЖДАНЕ!

— Лиза, пойдем обедать!

— Мне не хочется. Я вчера уже обедала.

— Я тебя не понимаю.

— Не пойду я есть фальшивого зайца.

— Ну, и глупо!

— Я не могу питаться вегетарианскими сосисками.

— Сегодня будешь есть шарлотку.

— Мне что-то не хочется.

— Говори тише. Все слышно.

И молодые супруги перешли на драматический шепот.

Через две минуты Коля понял в первый раз за три месяца супружеской жизни, что любимая женщина любит морковные, картофельные и гороховые сосиски гораздо меньше, чем он.

— Значит, ты предпочитаешь собачину диетическому питанию? — закричал Коля, в горячности не учтя подслушивающих соседей.

— Да говори тише! — громко закричала Лиза.— И потом ты ко мне плохо относишься. Да! Я люблю мясо! Иногда. Что же тут дурного?

Коля изумленно замолчал. Этот поворот был для него неожиданным. Мясо пробило бы в Колином бюджете огромную, незаполнимую брешь. Прогуливаясь вдоль матраца, на котором, свернувшись в узелок, сидела раскрасневшаяся Лиза, молодой супруг производил отчаянные вычисления.

Копирование на кальку в чертежном бюро «Техносила» давало Коле Калачову даже в самые удачные месяцы никак не больше сорока рублей. За квартиру Коля не платил. В диком поселке не было управдома, и квартирная плата была там понятием абстрактным. Десять рублей уходило на обучение Лизы кройке и шитью на курсах с правами строительного техникума. Обед на двоих (одно первое — борщ монастырский и одно второе — фальшивый заяц или настоящая лапша), съедаемый честно пополам в вегетарианской столовой «Не укради», вырывал из бюджета супругов тринадцать рублей в месяц. Остальные деньги расплывались неизвестно куда. Это больше всего смущало Колю. «Куда идут деньги?» — задумывался он, вытягивая рейсфедером на небесного цвета кальке длинную и тонкую линию. При таких условиях перейти на мясоедение значило гибель. Поэтому Коля пылко заговорил:

— Подумай только, пожирать трупы убитых животных! Людоедство под маской культуры! Все болезни происходят от мяса.

— Конечно,— с застенчивой иронией сказала Лиза,— например, ангина.

— Да, да, и ангина! А что ты думаешь? Организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции.

— Как это глупо!

— Не это глупо. Глуп тот, кто стремится набить свой желудок, не заботясь о количестве витаминов.

Коля вдруг замолчал. Все больше и больше заслоняя фон из пресных и вялых лапшевников, каши и кар-

тофельной чепухи, перед Колиным внутренним оком предстала обширная свиная котлета. Она, как видно, только что соскочила со сковороды. Она еще шипела, булькала и выпускала пряный дым. Кость из котлеты торчала, как дуэльный пистолет.

— Ведь ты пойми,— закричал Коля,— какая-нибудь свиная котлета отнимает у человека неделю жизни!

— Пусть отнимает! — сказала Лиза.— Фальшивый заяц отнимает полгода. Вчера, когда мы съели морковное жаркое, я почувствовала, что умираю. Только я не хотела тебе говорить.

— Почему же ты не хотела говорить?

— У меня не было сил. Я боялась заплакать.

— А теперь ты не боишься?

— Теперь мне уже все равно.

Лиза всплакнула.

— Лев Толстой,— сказал Коля дрожащим голосом,— тоже не ел мяса.

— Да-а,— ответила Лиза, икая от слез,— граф ел спаржу.

— Спаржа не мясо.

— А когда он писал «Войну и мир», он ел мясо! Ел, ел, ел! И когда «Анну Каренину» писал — лопал, лопал, лопал!

— Да замолчи!

— Лопал! Лопал! Лопал!

— А когда «Крейцерову сонату» писал, тогда тоже лопал? — ядовито спросил Коля.

— «Крейцерова соната» маленькая. Попробовал бы он написать «Войну и мир», сидя на вегетарианских сосисках!

— Что ты наконец прицепилась ко мне со своим Толстым?

— Я к тебе прицепилась с Толстым? Я? Я к вам прицепилась с Толстым?

Коля тоже перешел на «вы». В пеналах громко ликовали. Лиза поспешно с затылка на лоб натягивала голубую вязаную шапочку.

— Куда ты идешь?

— Оставь меня в покое. Иду по делу.

И Лиза убежала.

«Куда она могла пойти?» — подумал Коля. Он прислушался.

— Много воли дано вашей сестре при советской власти,— сказали в крайнем слева пенале.

— Утопится! — решили в третьем пенале.

Пятый пенал развел примус и занялся обыденными поцелуями.

Лиза взволнованно бежала по улицам.

Был тот час воскресного дня, когда счастливцы везут по Арбату с рынка матрацы.

Молодожены и советские середняки — главные покупатели пружинных матрацев. Они везут их стоймя и обнимают обеими руками. Да как им не обнимать голубую, в лоснящихся цветочках, основу своего счастья!

Граждане! Уважайте пружинный матрац в голубых цветочках! Это — семейный очаг, альфа и омега меблировки, общее и целое домашнего уюта, любовная база, отец примуса! Как сладко спать под демократический звон его пружин! Какие чудесные сны видит человек, засыпающий на его голубой дерюге! Каким уважением пользуется каждый матрацевладелец!

Человек, лишенный матраца, жалок. Он не существует. Он не платит налогов, не имеет жены, знакомые не дают ему взаймы денег «до среды», шоферы такси посылают ему вдогонку оскорбительные слова, девушки смеются над ним: они не любят идеалистов.

Человек, лишенный матраца, большей частью пишет стихи:

Под мягкий звон часов Буре приятно отдыхать в качалке.
Снежинки вьются на дворе, и, как мечты, летают галки.

Творит он за высокой конторкой телеграфа, задерживая деловых матрацевладельцев, пришедших отправлять телеграммы.

Матрац ломает жизнь человеческую. В его обивке и пружинах таится некая сила, притягательная и до сих

пор не исследованная. На призывный звон его пружин стекаются люди и вещи. Приходит финагент и девушки. Они хотят дружить с матрацевладельцами. Финагент делает это в целях фискальных, преследующих государственную пользу, а девушки — бескорыстно, повинуясь законам природы.

Начинается цветение молодости. Финагент, собравши налог, как пчела собирает весеннюю взятку, с радостным гулом улетает в свой участковый улей. А отхлынувших девушек заменяет жена и примус «Ювель № 1».

Матрац ненасытен. Он требует жертвоприношений. По ночам он издает звон падающего мяча. Ему нужна этажерка. Ему нужен стол на глупых тумбах. Лязгая пружинами, он требует занавесей, портьер и кухонной посуды. Он толкает человека и говорит ему:

— Пойди! Купи рубель и скалку!

— Мне стыдно за тебя, человек, у тебя до сих пор нет ковра!

— Работай! Я скоро принесу тебе детей! Тебе нужны деньги на пеленки и колясочку.

Матрац все помнит и все делает по-своему.

Даже поэт не может избежать общей участи. Вот он везет с рынка матрац, с ужасом прижимаясь к его мягкому брюху.

— Я сломлю твое упорство, поэт! — говорит матрац.— Тебе уже не надо будет бегать на телеграф писать стихи. Да и вообще стоит ли их писать? Служи! И сальдо будет всегда в твою пользу. Подумай о жене и детях.

— У меня нет жены! — кричит поэт, отшатываясь от пружинного учителя.

— Она будет. И я не поручусь, что это будет самая красивая девушка на земле. Я не знаю даже, будет ли она добра. Приготовься ко всему. У тебя родятся дети.

— Я не люблю детей!

— Ты полюбишь их!

— Вы пугаете меня, гражданин матрац!

— Молчи, дурак! Ты не знаешь всего! Ты еще возьмешь в Мосдреве кредит на мебель.

— Я убью тебя, матрац!

— Щенок! Если ты осмелишься это сделать, соседи донесут на тебя в домоуправление.

Так каждое воскресенье, под радостный звон матрацев, циркулируют по Москве счастливцы.

Но не этим одним, конечно, замечательно московское воскресенье. Воскресенье — музейный день.

Есть в Москве особая категория людей. Она ничего не понимает в живописи, не интересуется архитектурой и не любит памятников старины. Эта категория посещает музеи исключительно потому, что они расположены в прекрасных зданиях. Эти люди бродят по ослепительным залам, завистливо рассматривают расписные потолки, трогают руками то, что трогать воспрещено, и беспрерывно бормочут:

— Эх! Люди жили!

Им не важно, что стены расписаны французом Пюви де Шаванном. Им важно узнать, сколько это стоило бывшему владельцу особняка. Они поднимаются по лестнице с мраморными изваяниями на площадках и представляют себе, сколько лакеев стояло здесь, сколько жалованья и чаевых получал каждый лакей. На камине стоит фарфор, но они, не обращая на него внимания, решают, что камин — штука невыгодная: слишком много уходит дров. В столовой, обшитой дубовой панелью, они не смотрят на замечательную резьбу. Их мучит одна мысль: что ел здесь бывший хозяин-купец и сколько бы это стоило при теперешней дороговизне?

В любом музее можно найти таких людей. В то время как экскурсии бодро маршируют от одного шедевра к другому, такой человек стоит посреди зала и, не глядя ни на что, мычит тоскуя:

— Эх! Люди жили!

Лиза бежала по улице, проглатывая слезы. Мысли подгоняли ее. Она думала о своей счастливой и бедной жизни.

«Вот, если бы был еще стол и два стула, было бы совсем хорошо. И примус в конце концов нужно завести. Нужно как-то устроиться».

Она пошла медленнее, потому что внезапно вспомнила о ссоре с Колей. Кроме того, ей очень хотелось есть. Ненависть к мужу разгорелась в ней внезапно.

— Это просто безобразие! — сказала она вслух.

Есть захотелось еще сильней.

— Хорошо же, хорошо. Я сама знаю, что мне делать.

И Лиза, краснея, купила у торговки бутерброд с вареной колбасой. Как она ни была голодна, есть на улице показалось неудобным. Как-никак, а она все-таки была матрацевладелицей и тонко разбиралась в жизни. Она оглянулась и вошла в подъезд двухэтажного особняка. Там, испытывая большое наслаждение, она принялась за бутерброд. Колбаса была обольстительна. Большая экскурсия вошла в подъезд. Проходя мимо стоявшей у стены Лизы, экскурсанты посматривали на нее.

«Пусть видят!» — решила озлобленная Лиза.

Глава XVIII

МУЗЕЙ МЕБЕЛИ

Лиза вытерла платочком рот и смахнула с кофточки крошки. Ей стало веселее. Она стояла перед вывеской:

МУЗЕЙ МЕБЕЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Возвращаться домой было неудобно. Идти было не к кому. В карманчике лежало двадцать копеек. И Лиза решила начать самостоятельную жизнь с посещения музея. Проверив наличность, Лиза пошла в вестибюль.

Там она сразу наткнулась на человека в подержанной бороде, который, упершись тягостным взглядом в малахитовую колонну, цедил сквозь усы:

— Богато жили люди!

Лиза с уважением посмотрела на колонну и прошла наверх.

В маленьких квадратных комнатах, с такими низкими потолками, что каждый входящий туда человек казался гигантом, Лиза бродила минут десять.

Это были комнаты, обставленные павловским ампиром, красным деревом и карельской березой — мебелью строгой, чудесной и воинственной. Два квадратных шкафа, стеклянные дверцы которых были крест-накрест пересечены копьями, стояли против письменного стола. Стол был безбрежен. Сесть за него было все равно что сесть за Театральную площадь, причем Большой театр с колоннадой и четверкой бронзовых коняг, волокущих Аполлона на премьеру «Красного мака», показался бы на столе чернильным прибором. Так по крайней мере чудилось Лизе, воспитываемой на морковке как некий кролик. По углам стояли кресла с высокими спинками, верхушки которых были загнуты на манер бараньих рогов. Солнце лежало на персиковой обивке кресел.

В такое кресло хотелось сейчас же сесть, но сидеть на нем воспрещалось.

Лиза мысленно сопоставила, как выглядело бы кресло бесценного павловского ампира рядом с ее матрацем в красную полоску. Выходило — ничего себе. Она прочла на стене табличку с научным и идеологическим обоснованием павловского ампира и, огорчаясь тому, что у нее с Колей нет комнаты в этом дворце, вышла в неожиданный коридор.

По левую руку от самого пола шли низенькие полукруглые окна. Сквозь них, под ногами, Лиза увидела огромный белый двухсветный зал с колоннами. В зале тоже стояла мебель и блуждали посетители. Лиза остановилась. Никогда еще она не видела зала у себя под ногами.

Дивясь и млея, она долго смотрела вниз. Вдруг она заметила, что там от кресел к бюро переходят ее сегодняшние знакомые — Бендер и его спутник, бритоголовый представительный старик.

— Вот хорошо! — сказала Лиза.— Будет не так скучно.

Она очень обрадовалась, побежала вниз и сразу же заблудилась. Она попала в красную гостиную, в которой стояло предметов сорок. Это была ореховая мебель на гнутых ножках. Из гостиной не было выхода. Пришлось бежать назад через круглую комнату с верхним светом, меблированную, казалось, только цветочными подушками.

Она бежала мимо парчовых кресел итальянского Возрождения, мимо голландских шкафов, мимо большой готической кровати с балдахином на черных витых колоннах. Человек на этой постели казался бы не больше ореха.

Наконец Лиза услышала гул экскурсантов, невнимательно слушавших руководителя, обличавшего империалистические замыслы Екатерины II в связи с любовью покойной императрицы к мебели стиля Луи-Сез.

Это и был большой двухсветный зал с колоннами. Лиза прошла в противоположный его конец, где знакомый ей товарищ Бендер жарко беседовал со своим бритоголовым спутником.

Подходя, Лиза услышала звучный голос:

— Мебель в стиле шик-модерн. Но это, кажется, не то, что нам нужно.

— Да, но здесь, очевидно, есть еще и другие залы. Нам необходимо систематически все осмотреть.

— Здравствуйте,— сказала Лиза.

Оба повернулись и сразу сморщились.

— Здравствуйте, товарищ Бендер. Хорошо, что я вас нашла. А то одной скучно. Давайте смотреть все вместе.

Концессионеры переглянулись. Ипполит Матвеевич приосанился, хотя ему было неприятно, что Лиза может их задержать в важном деле поисков брильянтовой мебели.

— Мы — типичные провинциалы,— сказал Бендер нетерпеливо,— но как попали сюда вы, москвичка?

— Совершенно случайно. Я поссорилась с Колей.

— Вот как? — заметил Ипполит Матвеевич.

— Ну, покинем этот зал,— сказал Остап.

— А я его еще не смотрела. Он такой красивенький.

— Начинается! — шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу. И, обращаясь к Лизе, добавил: — Смотреть здесь совершенно нечего. Упадочный стиль. Эпоха Керенского.

— Тут где-то, мне говорили, есть мебель мастера Гамбса,— сообщил Ипполит Матвеевич,— туда, пожалуй, отправимся.

Лиза согласилась и, взяв Воробьянинова под руку (он казался ей удивительно милым представителем науки), направилась к выходу. Несмотря на всю серьезность положения и наступивший решительный момент в поисках сокровищ, Бендер, идя позади парочки, игриво смеялся. Его смешил предводитель команчей в роли кавалера.

Лиза сильно стесняла концессионеров. В то время как они одним взглядом определяли, что в комнате нужной мебели нет, и невольно влеклись в следующую, Лиза подолгу застревала в каждом отделе. Она прочитывала вслух все печатные критики на мебель, отпускала острые замечания насчет посетителей и подолгу застаивалась у каждого экспоната. Невольно и совершенно незаметно для себя она приспосабливала виденную мебель к своей комнате и потребностям. Готическая кровать ей совсем не понравилась. Кровать была слишком велика. Если бы даже Коле удалось чудом получить комнату в три квадратных сажени, то и тогда средневековое ложе не поместилось бы в комнате. Однако Лиза долго обхаживала кровать, обмеривала шажками ее подлинную площадь. Лизе было очень весело. Она не замечала кислых физиономий своих спутников, рыцарские характеры которых не позволяли им сломя голову броситься в комнату мастера Гамбса.

— Потерпим,— шепнул Остап,— мебель не уйдет; а вы, предводитель, не жмите девочку. Я ревную.

Воробьянинов самодовольно улыбнулся.

Залы тянулись медленно. Им не было конца. Мебель александровской эпохи была представлена много-

численными комплектами. Сравнительно небольшие ее размеры привели Лизу в восторг.

— Смотрите, смотрите! — доверчиво кричала она, хватая Воробьянинова за рукав.— Видите это бюро? Оно чудно подошло бы к нашей комнате. Правда?

— Прелестная мебель! — гневно сказал Остап.— Упадочная только.

— А здесь я уже была,— сказала Лиза, входя в красную гостиную,— здесь, я думаю, останавливаться не стоит.

К ее удивлению, равнодушные к мебели спутники замерли у двери, как часовые.

— Что же вы стали? Пойдемте. Я уже устала.

— Подождите,— сказал Ипполит Матвеевич, освобождаясь от ее руки,— одну минуточку.

Большая комната была перегружена мебелью. Гамбсовские стулья расположились вдоль стены и вокруг стола. Диван в углу тоже окружали стулья. Их гнутые ножки и удобные спинки были захватывающе знакомы Ипполиту Матвеевичу. Остап испытующе смотрел на него. Ипполит Матвеевич стал красным.

— Вы устали, барышня,— сказал он Лизе,— присядьте-ка сюда и отдохните, а мы с ним походим немного. Это, кажется, интересный зал.

Лизу усадили.

Концессионеры отошли к окну.

— Они? — спросил Остап.

— Как будто они. Нужно более тщательно осмотреть.

— Все стулья тут?

— Сейчас я посчитаю. Подождите, подождите...

Воробьянинов стал переводить глаза со стула на стул.

— Позвольте, — сказал он наконец, — двадцать стульев. Этого не может быть. Их ведь должно быть всего десять.

— А вы присмотритесь хорошо. Может быть, это не те стулья.

Они стали ходить между стульями.

— Ну? — торопил Остап.

— Спинка как будто не такая, как у моих.

— Значит, не те?

— Не те.

— Напрасно я с вами связался, кажется.

Ипполит Матвеевич был совершенно подавлен.

— Ладно,— сказал Остап,— заседание продолжается. Стул — не иголка. Найдется. Дайте ордера сюда. Придется вступить в неприятный контакт с администрацией музея. Садитесь рядом с девочкой и сидите. Я сейчас приду.

— Чего это вы такой грустный? — говорила Лиза.— Вы устали?

Ипполит Матвеевич отделывался молчанием.

— У вас голова болит?

— Да, немножко. Заботы, знаете ли. Отсутствие женской ласки сказывается на жизненном укладе.

Лиза сперва удивилась, а потом, посмотрев на своего бритоголового собеседника, и на самом деле его пожалела. Глаза у Воробьянинова были страдальческие. Пенсне не скрывало резко обозначавшихся мешочков. Быстрый переход от спокойной жизни делопроизводителя уездного загса к неудобному и хлопотливому быту охотника за брильянтами и авантюриста даром не дался. Ипполит Матвеевич сильно похудел, и у него стала побаливать печень. Под суровым надзором Бендера Ипполит Матвеевич терял свою физиономию и быстро растворялся в могучем интеллекте сына турецко-подданного. Теперь, когда он на минуту остался вдвоем с очаровательной гражданкой Калачовой, ему захотелось рассказать ей обо всех горестях и волнениях, но он не посмел этого сделать.

— Да,— сказал он, нежно глядя на собеседницу,— такие дела. Как же вы поживаете, Елизавета...

— Петровна. А вас как зовут?

Обменялись именами-отчествами.

«Сказка любви дорогой»,— подумал Ипполит Матвеевич, вглядываясь в простенькое лицо Лизы. Так страстно, так неотвратимо захотелось старому предводителю женской ласки, отсутствие которой тяжело сказывается на жизненном укладе, что он немедленно взял Лизину лапку в свои морщинистые руки и горячо

заговорил о Париже. Ему захотелось быть богатым, расточительным и неотразимым. Ему хотелось увлекать и под шум оркестров пить редереры с красоткой из дамского оркестра в отдельном кабинете. О чем было говорить с этой девочкой, которая, безусловно, ничего не знает ни о редерерах, ни о дамских оркестрах и которая по своей природе даже не может постичь всей прелести этого жанра. А быть увлекательным так хотелось! И Ипполит Матвеевич обольщал Лизу рассказами о Париже.

— Вы научный работник? — спросила Лиза.

— Да, некоторым образом,— ответил Ипполит Матвеевич, чувствуя, что со времени знакомства с Бендером он вновь приобрел не свойственное ему в последние годы нахальство.

— А сколько вам лет, простите за нескромность?

— К науке, которую я в настоящий момент представляю, это не имеет отношения.

Этим быстрым и метким ответом Лиза была покорена.

— Но все-таки? Тридцать? Сорок? Пятьдесят?

— Почти. Тридцать восемь.

— Ого! Вы выглядите значительно моложе.

Ипполит Матвеевич почувствовал себя счастливым.

— Когда вы доставите мне счастье увидеться с вами снова? — спросил Ипполит Матвеевич в нос.

Лизе стало очень стыдно. Она заерзала в кресле и затосковала.

— Куда это товарищ Бендер запропастился? — сказала она тоненьким голосом.

— Так когда же? — спросил Воробьянинов нетерпеливо.— Когда и где мы увидимся?

— Ну, я не знаю. Когда хотите.

— Сегодня можно?

— Сегодня?

— Умоляю вас.

— Ну, хорошо. Пусть сегодня. Заходите к нам.

— Нет, давайте встретимся на воздухе. Теперь такие погоды замечательные. Знаете стихи: «Это май-баловник, это май-чародей веет свежим своим опахалом».

— Это Жарова стихи?

— М-м... Кажется. Так сегодня? Где же?

— Какой вы странный! Где хотите. Хотите — у несгораемого шкафа? Знаете? Когда стемнеет...

Едва Ипполит Матвеевич успел поцеловать Лизе руку, что он сделал весьма торжественно, в три разделения, как вернулся Остап. Остап был очень деловит.

— Простите, мадемуазель,— сказал он быстро,— но мы с приятелем не сможем вас проводить. Открылось небольшое, но очень важное дельце. Нам надо срочно отправиться в одно место.

У Ипполита Матвеевича захватило дыханье.

— До свиданья, Елизавета Петровна,— сказал он поспешно,— простите, простите, простите, но мы страшно спешим.

И компаньоны убежали, оставив удивленную Лизу в комнате, обильно обставленной гамбсовской мебелью.

— Если бы не я,— сказал Остап, когда они спускались по лестнице,— ни черта бы не вышло. Молитесь на меня! Молитесь, молитесь, не бойтесь, голова не отвалится! Слушайте! Ваша мебель музейного значения не имеет. Ей место не в музее, а в казарме штрафного батальона. Вы удовлетворены этой ситуацией?

— Что за издевательство! — воскликнул Воробьянинов, начавший было освобождаться из-под ига могучего интеллекта сына турецко-подданного.

— Молчание,— холодно сказал Остап,— вы не знаете, что происходит. Если мы сейчас не захватим нашу мебель — кончено. Никогда нам ее не видать. Только что я имел в конторе тяжелый разговорчик с заведующим этой исторической свалкой.

— Ну, и что же? — закричал Ипполит Матвеевич.— Что же сказал вам заведующий?

— Сказал все, что надо. Не волнуйтесь. «Скажите,— спросил я его,— чем объяснить, что направленная вам по ордеру мебель из Старгорода не имеется в наличности?» Спросил я это, конечно, любезно, в товарищеском порядке. «Какая это мебель? — спрашивает он.— У меня в музее таких фактов не наблюдается». Я ему сразу ордера подсунул. Он полез в

книги. Искал полчаса и наконец возвращается. Ну, как вы себе представляете? Где эта мебель?

— Пропала? — пискнул Воробьянинов.

— Представьте себе, нет. Представьте себе, что в таком кавардаке она уцелела. Как я вам уже говорил, музейной ценности она не имеет. Ее свалили в склад, и только вчера, заметьте себе, вчера, через семь лет (она лежала на складе семь лет!), она была отправлена в аукцион на продажу. Аукцион Главнауки. И, если ее не купили вчера или сегодня утром, она наша! Вы удовлетворены?

— Скорее! — закричал Ипполит Матвеевич.

— Извозчик! — завопил Остап.

Они сели не торгуясь.

— Молитесь на меня, молитесь! Не бойтесь, гофмаршал! Вино, женщины и карты нам обеспечены. Тогда рассчитаемся и за голубой жилет.

В пассаж на Петровке, где помещается аукционный зал, концессионеры вбежали бодрые, как жеребцы.

В первой же комнате аукциона они увидели то, что так долго искали. Все десять стульев Ипполита Матвеевича стояли вдоль стенки на своих гнутых ножках. Даже обивка на них не потемнела, не выгорела, не попортилась. Стулья были свежие и чистые, как будто только что вышли из-под надзора рачительной Клавдии Ивановны.

— Они? — спросил Остап.

— Боже, боже,— твердил Ипполит Матвеевич,— они, они. Они самые. На этот раз сомнений никаких.

— На всякий случай проверим,— сказал Остап, стараясь быть спокойным.

Он подошел к продавцу:

— Скажите, эти стулья, кажется, из мебельного музея?

— Эти? Эти — да.

— А они продаются?

— Продаются.

— Какая цена?

— Цены еще нет. Они у нас идут с аукциона.

— Ага. Сегодня?

— Нет. Сегодня торг уже кончился. Завтра с пяти часов.

— А сейчас они не продаются?

— Нет. Завтра, с пяти часов.

Так, сразу же, уйти от стульев было невозможно.

— Разрешите,— пролепетал Ипполит Матвеевич,— осмотреть. Можно?

Концессионеры долго рассматривали стулья, садились на них, смотрели для приличия и другие вещи. Воробьянинов сопел и все время подталкивал Остапа локтем.

— Молитесь на меня! — шептал Остап.— Молитесь, предводитель.

Ипполит Матвеевич был готов не только молиться на Остапа, но даже целовать подметки его малиновых штиблет.

— Завтра,— говорил он,— завтра, завтра, завтра.

Ему хотелось петь.

Глава XIX

БАЛЛОТИРОВКА ПО-ЕВРОПЕЙСКИ

В то время как друзья вели культурно-просветительный образ жизни, посещали музеи и делали авансы девушкам, в Старгороде, на улице Плеханова, двойная вдова Грицацуева, женщина толстая и слабая, совещалась и конспирировала со своими соседками. Все скопом рассматривали оставленную Бендером записку и даже разглядывали ее на свет. Но водяных знаков на ней не было, а если бы они и были, то и тогда таинственные каракули великолепного Остапа не стали бы более ясными.

Прошло три дня. Горизонт оставался чистым. Ни Бендер, ни чайное ситечко, ни дутый браслетик, ни стул не возвращались. Все эти одушевленные и неодушевленные предметы пропали самым загадочным образом.

Тогда вдова приняла радикальные меры. Она пошла в контору «Старгородской правды», и там ей живо состряпали объявление:

УМОЛЯЮ

лиц, знающих местопребывание.

Ушел из дому т. Бендер, лет 25—30. Одет в зеленый костюм, желтые ботинки и голубой жилет. Брюнет.

Указавш. прошу сообщ. за приличн. вознагражд. Ул. Плеханова, 15, Грицацуевой.

— Это ваш сын? — участливо осведомились в конторе.

— Муж он мне! — ответила страдалица, закрывая лицо платком.

— Ах, муж!

— Законный. А что?

— Да ничего. Вы бы в милицию все-таки обратились.

Вдова испугалась. Милиции она страшилась. Провожаемая странными взглядами, вдова ушла.

Троекратно прозвучал призыв со страниц «Старгородской правды», Но молчала великая страна. Не нашлось лиц, знающих местопребывание брюнета в желтых ботинках. Никто не являлся за приличным вознаграждением. Соседки судачили.

Чело вдовы омрачалось с каждым днем все больше. И странное дело: муж мелькнул, как ракета, утащив с собой в черное небо хороший стул и семейное ситечко, а вдова все любила его. Кто может понять сердце женщины, особенно вдовой?

К трамваю в Старгороде уже привыкли и садились в него безбоязненно. Кондуктора кричали свежими голосами: «Местов нет», и все шло так, будто трамвай заведен в городе еще при Владимире Красное Солнышко. Инвалиды всех групп, женщины с детьми и Виктор Михайлович Полесов садились в вагоны с передней площадки. На крик: «Получите билеты!» — Полесов важно говорил: «Годовой», —

и оставался рядом с вагоновожатым. Годового билета у него не было и не могло быть.

Пребывание Воробьянинова и великого комбинатора оставило в городе глубокий след.

Заговорщики тщательно хранили доверенную им тайну. Молчал даже Виктор Михайлович, которого так и подмывало выложить волнующие его секреты первому встречному. Однако, вспоминая могучие плечи Остапа, Полесов крепился. Душу он отводил только в разговорах с гадалкой.

— А как вы думаете, Елена Станиславовна,— говорил он,— чем объяснить отсутствие наших руководителей?

Елену Станиславовну это тоже весьма интересовало, но она не имела никаких сведений.

— А не думаете ли вы, Елена Станиславовна,— продолжал неугомонный слесарь,— что они выполняют сейчас особое задание?

Гадалка была убеждена, что это именно так. Того же мнения придерживался, видно, и попугай в красных подштанниках. Он смотрел на Полесова своим круглым разумным глазом, как бы говоря: «Дай семечек, и я тебе сейчас все расскажу. Виктор, ты будешь губернатором. Тебе будут подчинены все слесаря. А дворник дома № 5 так и останется дворником, возомнившим о себе хамом».

— А не думаете ли вы, Елена Станиславовна, что нам нужно продолжать работу? Как-никак, нельзя сидеть сложа руки!

Гадалка согласилась и заметила:

— А ведь Ипполит Матвеевич герой!

— Герой, Елена Станиславовна! Ясно. А этот боевой офицер с ним? Деловой человек! Как хотите, Елена Станиславовна, а дело так стоять не может. Решительно не может.

И Полесов начал действовать. Он делал регулярные визиты всем членам тайного общества «Меча и орала», особенно допекая осторожного владельца «Одесской бубличной артели — «Московские баранки», гражданина Кислярского. При виде Полесова Кислярский чернел. А слова о необходимости действо-

вать доводили боязливого бараночника до умоисступления.

К концу недели все собрались у Елены Станиславовны в комнате с попугаем. Полесов кипел.

— Ты, Виктор, не болбочи,— говорил ему рассудительный Дядьев,— чего ты целыми днями по городу носишься?

— Надо действовать! — кричал Полесов.

— Действовать надо, а вот кричать совершенно не надо. Я, господа, вот как себе все это представляю. Раз Ипполит Матвеевич сказал — дело святое. И, надо полагать, ждать нам осталось недолго. Как все это будет происходить, нам и знать не надо: на то военные люди есть. А мы часть гражданская — представители городской интеллигенции и купечества. Нам что важно? Быть готовыми. Есть у нас что-нибудь? Центр у нас есть? Нету. Кто станет во главе города? Никого нет. А это, господа, самое главное. Англичане, господа, с большевиками, кажется, больше церемониться не будут. Это нам первый признак. Все переменится, господа, и очень быстро. Уверяю вас.

— Ну, в этом мы и не сомневаемся,— сказал Чарушников, надуваясь.

— И прекрасно, что не сомневаетесь. Как ваше мнение, господин Кислярский? И ваше, молодые люди?

Никеша и Владя всем своим видом выразили уверенность в быстрой перемене. А Кислярский, понявший со слов главы торговой фирмы «Быстроупак», что ему не придется принимать непосредственного участия в вооруженных столкновениях, обрадованно поддакнул.

— Что же нам сейчас делать? — нетерпеливо спросил Виктор Михайлович.

— Погодите,— сказал Дядьев,— берите пример со спутника господина Воробьянинова. Какая ловкость! Какая осторожность! Вы заметили, как он быстро перевел дело на помощь беспризорным? Так нужно действовать и нам. Мы только помогаем детям. Итак, господа, наметим кандидатуры!

— Ипполита Матвеевича Воробьянинова мы предлагаем в предводители дворянства! — воскликнули молодые люди Никеша и Владя.

Чарушников снисходительно закашлялся.

— Куда там! Он не меньше чем министром будет. А то и выше подымай — в диктаторы!

— Да что вы, господа,— сказал Дядьев,— предводитель — дело десятое! О губернаторе нам надо думать, а не о предводителе. Давайте начнем с губернатора. Я думаю...

— Господина Дядьева! — восторженно закричал Полесов.— Кому же еще взять бразды над всей губернией?

— Я очень польщен доверием...— начал Дядьев. Но тут выступил внезапно покрасневший Чарушников.

— Этот вопрос, господа,— сказал он с надсадой в голосе,— следовало бы провентилировать.

На Дядьева он старался не смотреть.

Владелец «Быстроупака» гордо рассматривал свои сапоги, на которые налипли деревянные стружки.

— Я не возражаю,— вымолвил он,— давайте пробаллотируем. Закрытым голосованием или открытым?

— Нам по-советскому не надо,— обиженно сказал Чарушников,— давайте голосовать по-честному, по-европейски — закрыто.

Голосовали бумажками. За Дядьева было подано четыре записки. За Чарушникова — две. Кто-то воздержался. По лицу Кислярского было видно, что это он. Ему не хотелось портить отношений с будущим губернатором, кто бы он ни был.

Когда трепещущий Полесов огласил результаты честной европейской баллотировки, в комнате воцарилось тягостное молчание. На Чарушникова старались не смотреть. Неудачливый кандидат в губернаторы сидел как оплеванный.

Елене Станиславовне было очень его жалко. Это она голосовала за него.

Другой голос Чарушников, искушенный в избирательных делах, подал за себя сам. Добрая Елена Станиславовна тут же сказала:

— А городским головой я предлагаю выбрать все-таки мосье Чарушникова.

— Почему же — все-таки? — проговорил великодушный губернатор.— Не все-таки, а именно его и никого другого. Общественная деятельность господина Чарушникова нам хорошо известна.

— Просим, просим! — закричали все.

— Так считать избрание утвержденным?

Оплеванный Чарушников ожил и даже запротестовал:

— Нет, нет, господа, я прошу пробаллотировать. Городского голову даже скорее нужно баллотировать, чем губернатора. Если уж, господа, вы хотите оказать мне доверие, то, пожалуйста, очень прошу вас, пробаллотируйте!

В пустую сахарницу посыпались бумажки.

— Шесть голосов — за,— сказал Полесов,— и один воздержался.

— Поздравляю вас, господин голова! — сказал Кислярский, по лицу которого было видно, что воздержался он и на этот раз.— Поздравляю вас!

Чарушников расцвел.

— Остается освежиться, ваше превосходительство,— сказал он Дядьеву.— Слетай-ка, Полесов, в «Октябрь». Деньги есть?

Полесов сделал рукой таинственный жест и убежал. Выборы на время прервали и продолжали их уже за ужином.

Попечителем учебного округа наметили бывшего директора дворянской гимназии, ныне букиниста, Распопова. Его очень хвалили. Только Владя, выпивший три рюмки водки, вдруг запротестовал:

— Его нельзя выбирать. Он мне на выпускном экзамене двойку по логике поставил.

На Владю набросились.

— В такой решительный час,— закричали ему,— нельзя помышлять о собственном благе! Подумайте об отечестве.

Владю так быстро сагитировали, что даже он сам голосовал за своего мучителя. Распопов был избран всеми голосами при одном воздержавшемся.

Кислярскому предложили пост председателя биржевого комитета. Он против этого не возражал, но при голосовании на всякий случай воздержался.

Перебирая знакомых и родственников, выбрали: полицмейстера, заведующего пробирной палатой, акцизного, податного и фабричного инспектора; заполнили вакансии окружного прокурора, председателя, секретаря и членов суда; наметили председателей земской и купеческой управы, попечительства о детях и, наконец, мещанской управы. Елену Станиславовну выбрали попечительницей обществ «Капля молока» и «Белый цветок». Никешу и Владю назначили, за их молодостью, чиновниками для особых поручений при губернаторе.

— Паз-звольте! — воскликнул вдруг Чарушников.— Губернатору целых два чиновника! А мне?

— Городскому голове,— мягко сказал губернатор,— чиновников для особых поручений не полагается по штату.

— Ну, тогда секретаря.

Дядьев согласился. Оживилась и Елена Станиславовна.

— Нельзя ли, — сказала она, робея,— тут у меня есть один молодой человек, очень милый и воспитанный мальчик. Сын мадам Черкесовой... Очень, очень милый, очень способный... Он безработный сейчас. На бирже труда состоит. У него есть даже билет. Его обещали на днях устроить в союз... Не сможете ли вы взять его к себе? Мать будет очень благодарна.

— Пожалуй, можно будет,— милостиво сказал Чарушников,— как вы смотрите на это, господа? Ладно. В общем, я думаю, удастся.

— Что ж,— заметил Дядьев,— кажется, в общих чертах... все? Все как будто?

— А я? — раздался вдруг тонкий, волнующийся голос.

Все обернулись. В углу, возле попугая, стоял вконец расстроенный Полесов. У Виктора Михайловича на черных веках закипали слезы. Всем стало очень совестно. Гости вспомнили вдруг, что пьют

водку Полесова и что он вообще один из главных организаторов старгородского отделения «Меча и орала».

Елена Станиславовна схватилась за виски и испуганно вскрикнула.

— Виктор Михайлович! — застонали все.— Голубчик! Милый! Ну, как вам не стыдно? Ну, чего вы стали в углу? Идите сюда сейчас же!

Полесов приблизился. Он страдал. Он не ждал от товарищей по мечу и оралу такой черствости.

Елена Станиславовна не вытерпела.

— Господа,— сказала она,— это ужасно! Как вы могли забыть дорогого всем нам Виктора Михайловича?

Она поднялась и поцеловала слесаря-аристократа в закопченный лоб.

— Неужели же, господа, Виктор Михайлович не сможет быть достойным попечителем учебного округа или полицмейстером?

— А, Виктор Михайлович? — спросил губернатор.— Хотите быть попечителем?

— Ну, конечно же, он будет прекрасным, гуманным попечителем! — поддержал городской голова, глотая грибок и морщась.

— А Распо-опов? — обидчиво протянул Виктор Михайлович.— Вы же уже назначили Распопова?

— Да, в самом деле, куда девать Распопова?

— В брандмейстеры, что ли?..

— В брандмейстеры? — заволновался вдруг Виктор Михайлович.

Перед ним мгновенно возникли пожарные колесницы, блеск огней, звуки труб и барабанная дробь. Засверкали топоры, закачались факелы, земля разверзлась, и вороные драконы понесли его на пожар городского театра.

— Брандмейстером? Я хочу быть брандмейстером!

— Ну, вот и отлично! Поздравляю вас. Отныне вы брандмейстер.

— За процветание пожарной дружины! — иронически сказал председатель биржевого комитета.

На Кислярского набросились все:

— Вы всегда были левым! Знаем вас!
— Господа, какой же я левый?
— Знаем, знаем!..
— Левый!
— Все евреи левые.
— Но, ей-богу, господа, этих шуток я не понимаю.
— Левый, левый, не скрывайте!
— Ночью спит и видит во сне Милюкова!
— Кадет! Кадет!
— Кадеты Финляндию продали,— замычал вдруг Чарушников,— у японцев деньги брали! Армяшек разводили.

Кислярский не вынес потока неосновательных обвинений. Бледный, поблескивая глазками, председатель биржевого комитета ухватился за спинку стула и звенящим голосом сказал:

— Я всегда был октябристом и останусь им.

Стали разбираться в том, кто какой партии сочувствует.

— Прежде всего, господа, демократия,— сказал Чарушников,— наше городское самоуправление должно быть демократичным. Но без кадетишек. Они нам довольно нагадили в семнадцатом году!

— Надеюсь,— ядовито заинтересовался губернатор,— среди нас нет так называемых социал-демократов?

Левее октябристов, которых на заседании представлял Кислярский, не было никого. Чарушников объявил себя «центром». На крайнем правом фланге стоял брандмейстер. Он был настолько правым, что даже не знал, к какой партии принадлежит.

Заговорили о войне.

— Не сегодня-завтра,— сказал Дядьев.
— Будет война, будет.
— Советую запастись кое-чем, пока не поздно.
— Вы думаете? — встревожился Кислярский.
— А вы как полагаете? Вы думаете, что во время войны можно будет что-нибудь достать? Сейчас же мука с рынка долой! Серебряные монетки — как сквозь землю, бумажечки пойдут всякие, почтовые

марки, имеющие хождение наравне, и всякая такая штука.

— Война — дело решенное.

— Вы как знаете,— сказал Дядьев,— а я все свободные средства бросаю на закупку предметов первой необходимости.

— А ваши дела с мануфактурой?

— Мануфактура сама собой, а мука и сахар своим порядком. Так что советую и вам. Советую настоятельно.

Полесов усмехнулся.

— Как же большевики будут воевать? Чем? Чем они будут воевать? Старыми винтовками? А воздушный флот? Мне один видный коммунист говорил, что у них — ну, как вы думаете, сколько аэропланов?

— Штук двести!

— Двести? Не двести, а тридцать два! А у Франции восемьдесят тысяч боевых самолетов.

— Да-а... Довели большевики до ручки.

Разошлись за полночь.

Губернатор пошел провожать городского голову. Оба шли преувеличенно ровно.

— Губернатор! — говорил Чарушников.— Какой же ты губернатор, когда ты не генерал?

— Я штатским генералом буду, а тебе завидно? Когда захочу, посажу тебя в тюремный замок. Насидишься у меня.

— Меня нельзя посадить. Я баллотированный, облеченный доверием.

— За баллотированного двух небаллотированных дают.

— Па-апрашу со мной не острить! — закричал вдруг Чарушников на всю улицу.

— Что же ты, дурак, кричишь? — спросил губернатор.— Хочешь в милиции ночевать?

— Мне нельзя в милиции ночевать,— ответил городской голова,— я советский служащий...

Сияла звезда. Ночь была волшебна. На Второй Советской продолжался спор губернатора с городским головой.

Глава XX

ОТ СЕВИЛЬИ ДО ГРЕНАДЫ

Позвольте, а где же отец Федор? Где стриженый священник церкви Фрола и Лавра? Он, кажется, собирался пойти на Виноградную улицу, в дом № 34, к гражданину Брунсу? Где же этот кладоискатель в образе ангела и заклятый враг Ипполита Матвеевича Воробьянинова, дежурящего ныне в темном коридоре у несгораемого шкафа?

Исчез отец Федор. Завертела его нелегкая. Говорят, что видели его на станции Попасная, Донецких дорог. Бежал он по перрону с чайником кипятку...

Взалкал отец Федор. Захотелось ему богатства. Понесло его по России за гарнитуром генеральши Поповой, в котором, надо признаться, ни черта нет.

Едет отец по России. Только письма жене пишет.

ПИСЬМО ОТЦА ФЕДОРА,

писанное им в Харькове, на вокзале, своей жене в уездный город N

Голубушка моя, Катерина Александровна!

Весьма перед тобою виноват. Бросил тебя, бедную, одну в такое время.

Должен тебе все рассказать. Ты меня поймешь и, можно надеяться, согласишься.

Ни в какие живоцерковцы я, конечно, не пошел и идти не думал, и боже меня от этого упаси.

Теперь читай внимательно. Мы скоро заживем иначе. Помнишь, я тебе говорил про свечной заводик. Будет он у нас, и еще кое-что, может быть, будет. И не придется уже тебе самой обеды варить да еще столовников держать. В Самару поедем и наймем прислугу.

Тут дело такое, но ты его держи в большом секрете, никому, даже Марье Ивановне, не говори. Я ищу клад. Помнишь покойную Клавдию Ивановну

Петухову, воробьяниновскую тещу? Перед смертью Клавдия Ивановна открылась мне, что в ее доме, в Старгороде, в одном из гостиных стульев (их всего двенадцать) запрятаны ее брильянты.

Ты, Катенька, не подумай, что я вор какой-нибудь. Эти брильянты она завещала мне и велела их стеречь от Ипполита Матвеевича, ее давнишнего мучителя.

Вот почему я тебя, бедную, бросил так неожиданно.

Ты уж меня не виновать.

Приехал я в Старгород, и представь себе — этот старый женолюб тоже там очутился. Узнал как-то. Видно, старуху перед смертью пытал. Ужасный человек! И с ним ездит какой-то уголовный преступник,— нанял себе бандита. Они на меня прямо набросились, сжить со свету хотели. Да я не такой, мне пальца в рот не клади, не дался.

Сперва я попал на ложный путь. Один стул только нашел в воробьяниновском доме (там ныне богоугодное заведение); несу я мою мебель к себе в номера «Сорбонна», и вдруг из-за угла с рыканьем человек на меня лезет, как лев, набросился и схватился за стул. Чуть до драки не дошло. Осрамить меня хотели. Потом я пригляделся, смотрю — Воробьянинов. Побрился, представь себе, и голову оголил, аферист, позорится на старости лет.

Разломали мы стул — ничего там нету. Это потом я понял, что на ложный путь попал. А в то время очень огорчался.

Стало мне обидно, и я этому развратнику всю правду в лицо выложил.

«Какой, говорю, срам на старости лет, какая, говорю, дикость в России теперь настала: чтобы предводитель дворянства на священнослужителя, аки лев, бросался и за беспартийность упрекал! Вы, говорю, низкий человек, мучитель Клавдии Ивановны и охотник за чужим добром, которое теперь государственное, а не его».

Стыдно ему стало, и он ушел от меня прочь, в публичный дом, должно быть.

А я пошел к себе в номера «Сорбонна» и стал обдумывать дальнейший план. И сообразил я то, что дураку этому бритому никогда бы в голову не пришло: я решил найти человека, который распределял реквизированную мебель. Представь себе, Катенька, недаром я на юридическом факультете обучался — пошло на пользу. Нашел я этого человека. На другой же день нашел. Варфоломеич — очень порядочный старичок. Живет себе со старухой бабушкой, тяжелым трудом хлеб добывает. Он мне все документы

дал. Пришлось, правда, вознаградить за такую услугу. Остался без денег (но об этом после). Оказалось, что все двенадцать гостиных стульев из воробьяниновского дома попали к инженеру Брунсу, на Виноградную улицу, дом № 34. Заметь, что все стулья попали к одному человеку, чего я никак не ожидал (боялся, что стулья попадут в разные места). Я очень этому обрадовался. Тут как раз в «Сорбонне» я снова встретился с мерзавцем Воробьяниновым. Я хорошенько отчитал его и его друга, бандита, не пожалел. Я очень боялся, что они проведают мой секрет, и затаился в гостинице до тех пор, покуда они не съехали.

Брунс, оказывается, из Старгорода выехал в 1923 году в Харьков, куда его назначили служить. От дворника я выведал, что он увез с собою всю мебель и очень ее сохраняет. Человек он, говорят, степенный.

Сижу теперь в Харькове на вокзале и пишу вот по какому случаю. Во-первых, очень тебя люблю и вспоминаю, а во-вторых, Брунса здесь уже нет. Но ты не огорчайся. Брунс служит теперь в Ростове, в «Новоросцементе», как я узнал. Денег у меня на дорогу в

обрез. Выезжаю через час товаро-пассажирским. А ты, моя добрая, зайди, пожалуйста, к зятю, возьми у него пятьдесят рублей (он мне должен и обещался отдать) и вышли в Ростов: главный почтамт, до востребования, Федору Иоанновичу Вострикову. Перевод, в видах экономии, пошли почтой. Будет стоить тридцать копеек.

Что у нас слышно в городе? Что нового?

Приходила ли к тебе Кондратьевна? Отцу Кириллу скажи, что скоро вернусь: мол, к умирающей тетке в Воронеж поехал. Экономь средства. Обедает ли еще Евстигнеев? Кланяйся ему от меня. Скажи, что к тетке уехал.

Как погода? Здесь, в Харькове, совсем лето. Город шумный — центр Украинской республики. После провинции кажется, будто за границу попал.

Сделай:

1) мою летнюю рясу в чистку отдай (лучше 3 р. за чистку отдать, чем на новую тратиться), 2) здоровье береги, 3) когда Гуленьке будешь писать, упомяни невзначай, что я к тетке уехал в Воронеж.

Кланяйся всем от меня. Скажи, что скоро приеду. Нежно целую, обнимаю и благословляю.

Твой муж *Федя*.

Нотабене: где-то теперь рыщет Воробьянинов?

Любовь сушит человека. Бык мычит от страсти. Петух не находит себе места. Предводитель дворянства теряет аппетит.

Бросив Остапа и студента Иванопуло в трактире, Ипполит Матвеевич пробрался в розовый домик и занял позицию у несгораемой кассы. Он слышал шум отходящих в Кастилию поездов и плеск отплывающих пароходов.

Гаснут дальней Альпухары
Золотистые края.

Сердце шаталось, как маятник. В ушах тикало.

На призывный звон гитары
Выйди, милая моя.

Тревога носилась по коридору. Ничто не могло растопить холод несгораемого шкафа.

От Севильи до Гренады
В тихом сумраке ночей...

В пеналах стонали граммофоны. Раздавался пчелиный гул примусов.

Раздаются серенады,
Раздается звон мечей...

Словом, Ипполит Матвеевич был влюблен до крайности в Лизу Калачову.

Многие люди проходили по коридору мимо Ипполита Матвеевича, но от них пахло табаком, или водкой, или аптекой, или суточными щами. Во мраке коридора людей можно было различать только по запаху или тяжести шагов. Лиза не проходила. В этом Ипполит Матвеевич был уверен. Она не курила, не пила водки и не носила сапог, подбитых железными дольками. Йодом или головизной пахнуть от нее не могло. От нее мог произойти только нежнейший запах рисовой кашицы или вкусно изготовленного сена, которым госпожа Нордман-Северова так долго кормила знаменитого художника Илью Репина.

Но вот послышались легкие, неуверенные шаги. Кто-то шел по коридору, натыкаясь на его эластичные стены и сладко бормоча.

— Это вы, Елизавета Петровна? — спросил Ипполит Матвеевич зефирным голоском.

В ответ пробасили:

— Скажите, пожалуйста, где здесь живут Пфеферкорны? Тут в темноте ни черта не разберешь.

Ипполит Матвеевич испуганно замолчал. Искатель Пфеферкорнов недоуменно подождал ответа и, не дождавшись его, пополз дальше.

Только к девяти часам пришла Лиза. Они вышли на улицу, под карамельно-зеленое вечернее небо.

— Где же мы будем гулять? — спросила Лиза.

Ипполит Матвеевич поглядел на ее белое светящееся лицо и, вместо того чтобы прямо сказать: «Я здесь, Инезилья, стою под окном»,— начал длинно

и нудно говорить о том, что давно не был в Москве и что Париж не в пример лучше Белокаменной, которая, как ни крути, остается бессистемно распланированной большой деревней.

— Помню я Москву, Елизавета Петровна, не такой. Сейчас во всем скаредность чувствуется. А мы в свое время денег не жалели. «В жизни живем мы только раз» — есть такая песенка.

Прошли через весь Пречистенский бульвар и вышли на набережную, к храму Христа-спасителя.

За Москворецким мостом тянулись черно-бурые лисьи хвосты. Электрические станции Могэса дымили, как эскадра. Трамваи перекатывались через мосты. По реке шли лодки. Грустно повествовала гармоника.

Ухватившись за руку Ипполита Матвеевича, Лиза рассказала ему обо всех своих огорчениях. Про ссору с мужем, про трудную жизнь среди подслушивающих соседей — бывших химиков — и об однообразии вегетарианского стола.

Ипполит Матвеевич слушал и соображал. Демоны просыпались в нем. Мнился ему замечательный ужин. Он пришел к заключению, что такую девушку нужно чем-нибудь оглушить.

— Пойдемте в театр,— предложил Ипполит Матвеевич.

— Лучше в кино,— сказала Лиза,— в кино дешевле.

— О! При чем тут деньги! Такая ночь, и вдруг какие-то деньги.

Совершенно разошедшиеся демоны, не торгуясь, посадили парочку на извозчика и повезли в кино «Арс». Ипполит Матвеевич был великолепен. Он взял самые дорогие билеты. Впрочем, до конца сеанса не дотерпели. Лиза привыкла сидеть на дешевых местах, вблизи, и плохо видела из дорогого тридцать четвертого ряда.

В кармане Ипполита Матвеевича лежала половина суммы, полученной концессионерами от старгородских заговорщиков. Это были большие деньги для отвыкшего от роскоши Воробьянинова. Теперь, взволно-

ванный возможностью легкой любви, он собирался ослепить Лизу широтою размаха. Для этого он считал себя великолепно подготовленным. Он с гордостью вспомнил, как легко покорил когда-то сердце прекрасной Елены Боур. Привычка тратить деньги легко и помпезно была ему присуща. Воспитанностью и умением вести разговор с любой дамой он славился в Старгороде. Ему показалось смешным затратить весь свой старорежимный лоск на покорение маленькой советской девочки, которая ничего еще толком не видела и не знала.

После недолгих уговоров Ипполит Матвеевич повез Лизу в «Прагу», образцовую столовую МСПО — «лучшее место в Москве»,— как говорил ему Бендер.

«Прага» поразила Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков. Лизе это было простительно: она никогда еще не посещала больших образцово-показательных ресторанов. Но зеркальный зал совсем неожиданно поразил и Ипполита Матвеевича. Он отстал, забыл ресторанный уклад. Теперь ему было положительно стыдно за свои баронские сапоги с квадратными носами, штучные довоенные брюки и лунный жилет, осыпанный серебряной звездой.

Оба смутились и замерли на виду у всей довольно разношерстной публики.

— Пройдемте туда, в угол,— предложил Воробьянинов, хотя у самой эстрады, где оркестр выпиливал дежурное попурри из «Баядерки», были свободные столики.

Чувствуя, что на нее все смотрят, Лиза быстро согласилась. За нею смущенно последовал светский лев и покоритель женщин Воробьянинов. Потертые брюки светского льва свисали с худого зада мешочком. Покоритель женщин сгорбился и, чтобы преодолеть смущение, стал протирать пенсне.

Никто не подошел к столу. Этого Ипполит Матвеевич не ожидал. И он, вместо того чтобы галантно беседовать со своей дамой, молчал, томился, несмело стучал пепельницей по столу и бесконечно откашливался. Лиза с любопытством смотрела по сторонам, молчание становилось неестественным. Но Ипполит

Матвеевич не мог вымолвить ни слова. Он забыл, что именно он всегда говорил в таких случаях.

— Будьте добры! — взывал он к пролетавшим мимо работникам нарпита.

— Сию минуточку-с! — кричали официанты на ходу.

Наконец карточка была принесена. Ипполит Матвеевич с чувством облегчения углубился в нее.

— Однако,— пробормотал он,— телячьи котлеты — два двадцать пять, филе — два двадцать пять, водка — пять рублей.

— За пять рублей большой графин-с,— сообщил официант, нетерпеливо оглядываясь.

«Что со мной? — ужасался Ипполит Матвеевич.— Я становлюсь смешон».

— Вот, пожалуйста,— сказал он Лизе с запоздалой вежливостью,— не угодно ли выбрать? Что будете есть?

Лизе было совестно. Она видела, как гордо смотрел официант на ее спутника, и понимала, что он делает что-то не то.

— Я совсем не хочу есть,— сказала она дрогнувшим голосом.— Или вот что... Скажите, товарищ, нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского?

Официант стал топтаться, как конь.

— Вегетарианского не держим-с. Разве омлет с ветчиной?

— Тогда вот что,— сказал Ипполит Матвеевич, решившись,— дайте нам сосисок. Вы ведь будете есть сосиски, Елизавета Петровна?

— Буду.

— Так вот. Сосиски. Вот эти, по рублю двадцать пять. И бутылку водки.

— В графинчике будет.

— Тогда — большой графин.

Работник нарпита посмотрел на беззащитную Лизу прозрачными глазами.

— Водку чем будете закусывать? Икры свежей? Семги? Расстегайчиков?

В Ипполите Матвеевиче продолжал бушевать делопроизводитель загса.

— Не надо,— с неприятной грубостью сказал он.— Почем у вас огурцы соленые? Ну, хорошо, дайте два.

Официант убежал, и за столиком снова водворилось молчание. Первой заговорила Лиза:

— Я здесь никогда не была. Здесь очень мило.

— Да-а,— протянул Ипполит Матвеевич, высчитывая стоимость заказанного.

«Ничего,— думал он,— выпью водки — разойдусь. А то, в самом деле, неловко как-то».

Но когда выпил водки и закусил огурцом, то не разошелся, а помрачнел еще больше. Лиза не пила. Натянутость не исчезла. А тут еще к столику подошел человек и, ласкательно глядя на Лизу, предложил купить цветы.

Ипполит Матвеевич притворился, что не замечает усатого цветочника, но тот не уходил. Говорить при нем любезности было совершенно невозможно.

На время выручила концертная программа. На эстраду вышел сдобный мужчина в визитке и лаковых туфлях.

— Ну, вот мы снова увиделись с вами,— развязно сказал он в публику.— Следующим номером нашей консертной пррогрраммы выступит мировая исполнительница русских народных песен, хорошо известная в Марьиной Роще, Варвара Ивановна Годлевская. Варвара Ивановна! Пожалуйте!

Ипполит Матвеевич пил водку и молчал. Так как Лиза не пила и все время порывалась уйти домой, надо было спешить, чтобы выпить весь графин.

Когда на сцену вышел куплетист в рубчатой бархатной толстовке, сменивший певицу, известную в Марьиной Роще, и запел:

Хóдите,
Вы всюду бродите,
Как будто ваш аппендицит
От хождения будет сыт,
Хóдите,
Та-ра-ра-ра,—

Ипполит Матвеевич уже порядочно захмелел и, вместе со всеми посетителями образцовой столовой, которых он еще полчаса тому назад считал грубиянами

и скаредными советскими бандитами, захлопал в такт ладошами и стал подпевать:

Хóдите,
Та-ра-ра-ра...

Он часто вскакивал и, не извинившись, уходил в уборную. Соседние столики его уже называли дядей и приваживали к себе на бокал пива. Но он не шел. Он стал вдруг гордым и подозрительным. Лиза решительно встала из-за стола:

— Я пойду. А вы оставайтесь. Я сама дойду.

— Нет, зачем же? Как дворянин, не могу допустить! Сеньор! Счет! Ха-мы!..

На счет Ипполит Матвеевич смотрел долго, раскачиваясь на стуле.

— Девять рублей двадцать копеек? — бормотал он.— Может быть, вам еще дать ключ от квартиры, где деньги лежат?

Кончилось тем, что Ипполита Матвеевича свели вниз, бережно держа под руки. Лиза не могла убежать, потому что номерок от гардероба был у великосветского льва.

В первом же переулке Ипполит Матвеевич навалился на Лизу плечом и стал хватать ее руками. Лиза молча отдиралась.

— Слушайте! — говорила она.— Слушайте! Слушайте!

— Поедем в номера! — убеждал Воробьянинов.

Лиза с силой высвободилась и, не примериваясь, ударила покорителя женщин кулачком в нос. Сейчас же свалилось пенсне с золотой дужкой и, попав под квадратный носок баронских сапог, с хрустом раскрошилось.

Ночной зефир
Струит эфир...

Лиза, захлебываясь слезами, побежала по Серебряному переулку к себе домой.

Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.

Ослепленный Ипполит Матвеевич мелко затрусил в противоположную сторону, крича:

— Держи вора!

Потом он долго плакал и, еще плача, купил у старушки все ее баранки вместе с корзиной. Он вышел на

Смоленский рынок, пустой и темный, и долго расхаживал там взад и вперед, разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена. При этом он немузыкально кричал:

Хóдите,
Вы всюду бродите,
Та-ра-ра-ра...

Затем Ипполит Матвеевич подружился с лихачом, раскрыл ему всю душу и сбивчиво рассказал про брильянты.

— Веселый барин! — воскликнул извозчик.

Ипполит Матвеевич действительно развеселился. Как видно, его веселье носило несколько предосудительный характер, потому что часам к одиннадцати утра он проснулся в отделении милиции. Из двухсот

рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждений и утех, при нем оставалось только двенадцать.

Ему казалось, что он умирает. Болел позвоночник, ныла печень, а на голову, он чувствовал, ему надели свинцовый котелок. Но ужаснее всего было то, что он решительно не помнил, где и как он мог истратить такие большие деньги. По дороге домой пришлось зайти к оптику и вставить в оправу пенсне новые стекла.

Остап долго, с удивлением, рассматривал измочаленную фигуру Ипполита Матвеевича, но ничего не сказал. Он был холоден и готов к борьбе.

Глава XXI

ЭКЗЕКУЦИЯ

Аукционный торг открывался в пять часов. Доступ граждан для обозрения вещей начинался с четырех. Друзья явились в три и целый час рассматривали машиностроительную выставку, помещавшуюся тут же рядом.

— Похоже на то,— сказал Остап,— что уже завтра мы сможем, при наличии доброй воли, купить этот паровозик. Жалко, что цена не проставлена. Приятно все-таки иметь собственный паровоз.

Ипполит Матвеевич маялся. Только стулья могли его утешить.

От них он отошел лишь в ту минуту, когда на кафедру взобрался аукционист в клетчатых брюках «столетье» и бороде, ниспадавшей на толстовку русского коверкота.

Концессионеры заняли места в четвертом ряду справа. Ипполит Матвеевич начал сильно волноваться. Ему казалось, что стулья будут продаваться сейчас же. Но они стояли сорок третьим номером, и в продажу поступала сначала обычная аукционная гиль и дичь: разрозненные гербовые сервизы, соусник, серебряный подстаканник, пейзаж художника Петунина,

бисерный ридикюль, совершенно новая горелка от примуса, бюстик Наполеона, полотняные бюстгальтеры, гобелен «Охотник, стреляющий диких уток» и прочая галиматья.

Приходилось терпеть и ждать. Ждать было очень трудно: все стулья налицо; цель была близка, ее можно было достать рукой.

«А большой бы здесь начался переполох,— подумал Остап, оглядывая аукционную публику,— если бы они узнали, какой огурчик будет сегодня продаваться под видом этих стульев».

— Фигура, изображающая правосудие! — провозгласил аукционист.— Бронзовая. В полном порядке. Пять рублей. Кто больше? Шесть с полтиной, справа, в конце — семь. Восемь рублей в первом ряду, прямо. Второй раз, восемь рублей, прямо. Третий раз, в первом ряду, прямо.

К гражданину из первого ряда сейчас же понеслась девица с квитанцией для получения денег.

Стучал молоточек аукциониста. Продавались пепельницы из дворца, стекло баккара, пудреница фарфоровая.

Время тянулось мучительно.

— Бронзовый бюстик Александра Третьего. Может служить пресс-папье. Больше, кажется, ни на что не годен. Идет с предложенной цены бюстик Александра Третьего.

В публике засмеялись.

— Купите, предводитель,— съязвил Остап,— вы, кажется, любите.

Ипполит Матвеевич не отводил глаз от стульев и молчал.

— Нет желающих? Снимается с торга бронзовый бюстик Александра Третьего. Фигура, изображающая правосудие. Кажется, парная к только что купленной. Василий, покажите публике «Правосудие». Пять рублей. Кто больше?

В первом ряду прямо послышалось сопенье. Как видно, гражданину хотелось иметь «Правосудие» в полном составе.

— Пять рублей — бронзовое «Правосудие»!

— Шесть! — четко сказал гражданин.

— Шесть рублей прямо. Семь. Девять рублей, в конце справа.

— Девять с полтиной,— тихо сказал любитель «Правосудия», поднимая руку.

— С полтиной, прямо. Второй раз, с полтиной, прямо. Третий раз, с полтиной.

Молоточек опустился. На гражданина из первого ряда налетела барышня.

Он уплатил и поплелся в другую комнату получать свою бронзу.

— Десять стульев из дворца! — сказал вдруг аукционист.

— Почему из дворца? — тихо ахнул Ипполит Матвеевич.

Остап рассердился:

— Да идите вы к черту! Слушайте и не рыпайтесь!

— Десять стульев из дворца. Ореховые. Эпохи Александра Второго. В полном порядке. Работы мебельной мастерской Гамбса. Василий, подайте один стул под рефлектор.

Василий так грубо потащил стул, что Ипполит Матвеевич привскочил.

— Да сядьте вы, идиот проклятый, навязался на мою голову! — зашипел Остап.— Сядьте, я вам говорю!

У Ипполита Матвеевича заходила нижняя челюсть. Остап сделал стойку. Глаза его посветлели.

— Десять стульев ореховых. Восемьдесят рублей.

Зал оживился. Продавалась вещь, нужная в хозяйстве. Одна за другой выскакивали руки. Остап был спокоен.

— Чего же вы не торгуетесь? — набросился на него Воробьянинов.

— Пошел вон,— ответил Остап, стиснув зубы.

— Сто двадцать рублей, позади. Сто тридцать пять, там же. Сто сорок.

Остап спокойно повернулся спиной к кафедре и с усмешкой стал рассматривать своих конкурентов.

Был разгар аукциона. Свободных мест уже не было. Как раз позади Остапа дама, переговорив с мужем, польстилась на стулья («Чудные полукресла!

Дивная работа! Саня! Из дворца же!») и подняла руку.

— Сто сорок пять, в пятом ряду справа. Раз.

Зал потух. Слишком дорого.

— Сто сорок пять. Два.

Остап равнодушно рассматривал лепной карниз. Ипполит Матвеевич сидел, опустив голову, и вздрагивал.

— Сто сорок пять. Три.

Но, прежде чем черный лакированный молоточек ударился о фанерную кафедру, Остап повернулся, выбросил вверх руку и негромко сказал:

— Двести.

Все головы повернулись в сторону концессионеров. Фуражки, кепки, картузы и шляпы пришли в движение. Аукционист поднял скучающее лицо и посмотрел на Остапа.

— Двести, раз,— сказал он,— двести, в четвертом ряду справа, два. Нет больше желающих торговаться? Двести рублей, гарнитур ореховый дворцовый из десяти предметов. Двести рублей — три, в четвертом ряду справа.

Рука с молоточком повисла над кафедрой.

— Мама! — сказал Ипполит Матвеевич громко.

Остап, розовый и спокойный, улыбался. Молоточек упал, издавая небесный звук.

— Продано,— сказал аукционист.— Барышня! В четвертом ряду справа.

— Ну, председатель, эффектно? — спросил Остап.— Что бы, интересно знать, вы делали без технического руководителя?

Ипполит Матвеевич счастливо ухнул. К ним рысью приближалась барышня.

— Вы купили стулья?

— Мы! — воскликнул долго сдерживавшийся Ипполит Матвеевич.— Мы, мы. Когда их можно будет взять?

— А когда хотите. Хоть сейчас!

Мотив «Хóдите, вы всюду брóдите» бешено запрыгал в голове Ипполита Матвеевича. «Наши стулья, наши, наши, наши!» Об этом кричал весь его орга-

низм. «Наши!» — кричала печень. «Наши!» — подтверждала слепая кишка.

Он так обрадовался, что у него в самых неожиданных местах объявились пульсы. Все это вибрировало, раскачивалось и трещало под напором неслыханного счастья. Стал виден поезд, приближающийся к Сен-Готарду. На открытой площадке последнего вагона стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов в белых брюках и курил сигару. Эдельвейсы тихо падали на его голову, снова украшенную блестящей алюминиевой сединой. Он катил в Эдем.

— А почему же двести тридцать, а не двести? — услышал Ипполит Матвеевич.

Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию.

— Включается пятнадцать процентов комиссионного сбора,— ответила барышня.

— Ну, что же делать! Берите!

Остап вытащил бумажник, отсчитал двести рублей и повернулся к главному директору предприятия:

— Гоните тридцать рублей, дражайший, да поживее: не видите — дамочка ждет. Ну?

Ипполит Матвеевич не сделал ни малейшей попытки достать деньги.

— Ну? Что же вы на меня смотрите, как солдат на вошь? Обалдели от счастья?

— У меня нет денег,— пробормотал наконец Ипполит Матвеевич.

— У кого нет? — спросил Остап очень тихо.

— У меня.

— А двести рублей?!

— Я... м-м-м... п-потерял.

Остап посмотрел на Воробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зелень щек и раздувшиеся мешки под глазами.

— Дайте деньги! — прошептал он с ненавистью.— Старая сволочь!

— Так вы будете платить? — спросила барышня.

— Одну минуточку,— сказал Остап, чарующе улыбаясь,— маленькая заминка.

Была еще маленькая надежда. Можно было уговорить подождать с деньгами.

Тут очнувшийся Ипполит Матвеевич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор.

— Позвольте! — завопил он.— Почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе! Надо предупреждать. Я отказываюсь платить эти тридцать рублей.

— Хорошо,— сказала барышня кротко,— я сейчас все устрою.

Взяв квитанцию, она унеслась к аукционисту и сказала ему несколько слов. Аукционист сейчас же поднялся. Борода его сверкала под светом сильных электрических ламп.

— По правилам аукционного торга,— звонко заявил он,— лицо, отказывающееся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется.

Изумленные друзья сидели недвижимо.

— Папрашу вас! — сказал аукционист.

Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно.

— Па-апра-ашу вас!

Аукционист пел голосом, не допускающим возражений.

Смех в зале усилился.

И они ушли. Мало кто уходил из аукционного зала с таким горьким чувством. Первым шел Воробьянинов. Согнув прямые костистые плечи, в укоротившемся пиджачке и глупых баронских сапогах, он шел, как журавль, чувствуя за собой теплый, дружественный взгляд великого комбинатора.

Концессионеры остановились в комнате, соседней с аукционным залом. Теперь они могли смотреть на торжище только через стеклянную дверь. Путь туда был уже прегражден. Остап дружественно молчал.

— Возмутительные порядки,— трусливо забормотал Ипполит Матвеевич,— форменное безобразие! В милицию на них нужно жаловаться.

Остап молчал.

— Нет, действительно это ч-черт знает что такое! — продолжал горячиться Воробьянинов.— Дерут

с трудящихся втридорога. Ей-богу!.. За какие-то подержанные десять стульев двести тридцать рублей. С ума сойти.

— Да,— деревянно сказал Остап.

— Правда? — переспросил Воробьянинов.— С ума сойти можно!

— Можно.

Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок.

— Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!

Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука.

Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой.

— Ну, теперь пошел вон!

Остап повернулся спиной к директору предприятия и стал смотреть в аукционный зал. Через минуту он оглянулся.

Ипполит Матвеевич все еще стоял позади, сложив руки по швам.

— Ах, вы еще здесь, душа общества? Пошел! Ну?

— Това-арищ Бендер,— взмолился Воробьянинов.— Товарищ Бендер!

— Иди! Иди! И к Иванопуло не приходи! Выгоню!

— Това-арищ Бендер!

Остап больше не оборачивался. В зале произошло нечто, так сильно заинтересовавшее Бендера, что он приотворил дверь и стал прислушиваться.

— Все пропало! — пробормотал он.

— Что пропало?— угодливо спросил Воробьянинов.

— Стулья отдельно продают, вот что. Может быть, желаете приобрести? Пожалуйста. Я вас не держу. Только сомневаюсь, чтобы вас пустили. Да и денег у вас, кажется, не густо.

В это время в аукционном зале происходило сле-

дующее: аукционист, почувствовавший, что выколотить из публики двести рублей сразу не удастся (слишком крупная сумма для мелюзги, оставшейся в зале), решил получить эти двести рублей по кускам. Стулья снова поступили в торг, но уже по частям.

— Четыре стула из дворца. Ореховые. Мягкие. Работы Гамбса. Тридцать рублей. Кто больше?

К Остапу быстро вернулись его решительность и хладнокровие.

— Ну, вы, дамский любимец, стойте здесь и никуда не выходите. Я через пять минут приду. А вы тут смотрите кто и что. Чтоб ни один стул не ушел.

В голове Бендера сразу созрел план, единственно возможный при таких тяжелых условиях, в которых они очутились.

Он выбежал на Петровку, направился к ближайшему асфальтовому чану и вступил в деловой разговор с беспризорными.

Он, как и обещал, вернулся к Ипполиту Матвеевичу через пять минут. Беспризорные стояли наготове у входа в аукцион.

— Продают, продают,— зашептал Ипполит Матвеевич,— четыре и два уже продали.

— Это вы удружили,— сказал Остап,— радуйтесь. В руках все было, понимаете — в руках. Можете вы это понять?

В зале раздавался скрипучий голос, дарованный природой одним только аукционистам, крупье и стекольщикам:

— С полтиной, налево. Три. Еще один стул из дворца. Ореховый. В полной исправности. С полтиной, прямо. Раз — с полтиной, прямо.

Три стула были проданы поодиночке. Аукционист объявил к продаже последний стул. Злость душила Остапа. Он снова набросился на Воробьянинова. Оскорбительные замечания его были полны горечи. Кто знает, до чего дошел бы Остап в своих сатирических упражнениях, если бы его не прервал быстро подошедший мужчина в костюме лодзинских коричневых цветов. Он размахивал пухлыми руками, наклонялся, прыгал и отскакивал, словно играл в теннис.

— А скажите,— поспешно спросил он Остапа,— здесь в самом деле аукцион? Да? Аукцион? И здесь в самом деле продаются вещи? Замечательно!

Незнакомец отпрыгнул, и лицо его озарилось множеством улыбок.

— Вот здесь действительно продают вещи? И в самом деле можно дешево купить? Высокий класс! Очень, очень! Ах!..

Незнакомец, виляя толстенькими бедрами, пронесся в зал мимо ошеломленных концессионеров и так быстро купил последний стул, что Воробьянинов только крякнул. Незнакомец с квитанцией в руках подбежал к прилавку выдачи.

— А скажите, стул можно сейчас взять? Замечательно!.. Ах!.. Ах!..

Беспрерывно блея и все время находясь в движении, незнакомец погрузил стул на извозчика и укатил. По его следам бежал беспризорный.

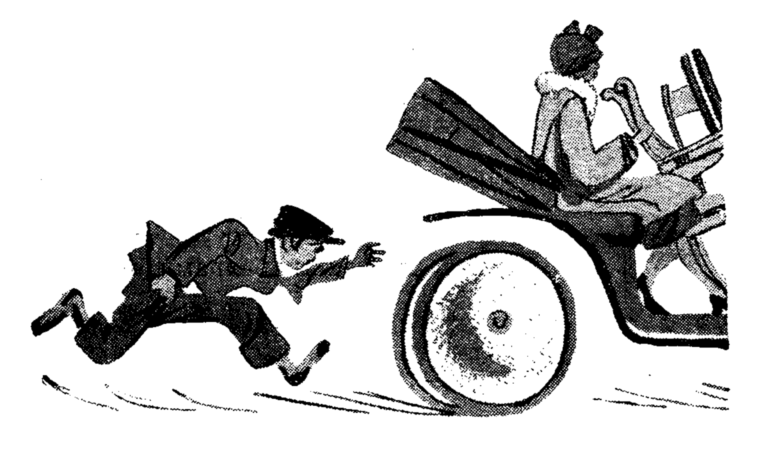
Мало-помалу разошлись и разъехались все новые собственники стульев. За ними мчались несовершеннолетние агенты Остапа. Ушел и он сам. Ипполит Матвеевич боязливо следовал позади. Сегодняшний день казался ему сном. Все произошло быстро и совсем не так, как ожидалось.

На Сивцевом Вражке рояли, мандолины и гармоники праздновали весну. Окна были распахнуты. Цветники в глиняных горшочках заполняли подоконники. Толстый человек, с раскрытой волосатой грудью, в подтяжках, стоял у окна и страстно пел. Вдоль стены медленно пробирался кот. В продуктовых палатках пылали керосиновые лампочки.

У розового домика прогуливался Коля. Увидев Остапа, шедшего впереди, он вежливо с ним раскланялся и подошел к Воробьянинову. Ипполит Матвеевич сердечно его приветствовал. Коля, однако, не стал терять времени.

— Добрый вечер,— решительно сказал он и, не в силах сдержаться, ударил Ипполита Матвеевича в ухо.

Одновременно с этим Коля произнес довольно пошлую, по мнению наблюдавшего за этой сценой Остапа, фразу:



— Так будет со всеми,— сказал Коля детским голосом,— кто покусится...

На что именно покусится, Коля не договорил. Он поднялся на носках и, закрыв глаза, хлопнул Воробьянинова по щеке.

Ипполит Матвеевич приподнял локоть, но не посмел даже пикнуть.

— Правильно,— приговаривал Остап,— а теперь по шее. Два раза. Так. Ничего не поделаешь. Иногда яйцам приходится учить зарвавшуюся курицу... Еще разок... Так. Не стесняйтесь. По голове больше не бейте. Это самое слабое его место.

Если бы старгородские заговорщики видели гиганта мысли и отца русской демократии в эту критическую для него минуту, то, надо думать, тайный союз «Меча и орала» прекратил бы свое существование.

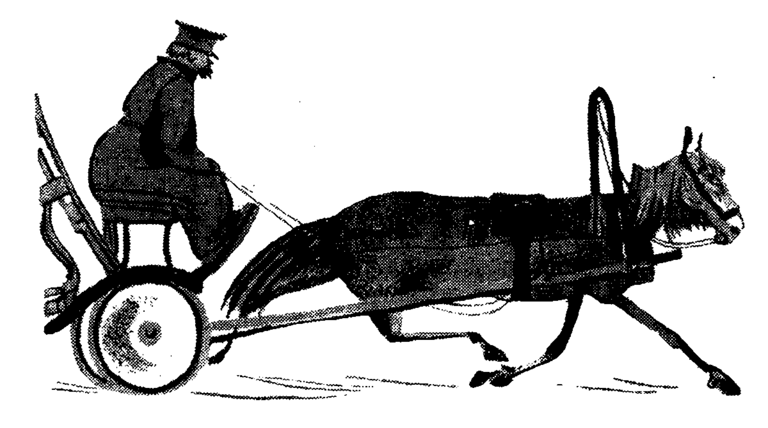
— Ну, кажется, хватит,— сказал Коля, пряча руку в карман.

— Еще один разик,— умолял Остап.

— Ну его к черту! Будет знать другой раз!

Коля ушел. Остап поднялся к Иванопуло и посмотрел вниз. Ипполит Матвеевич стоял наискось от дома, прислонясь к чугунной посольской ограде.

— Гражданин Михельсон! — крикнул Остап.— Конрад Карлович! Войдите в помещение! Я разрешаю!



В комнату Ипполит Матвеевич вошел уже слегка оживший.

— Неслыханная наглость! — сказал он гневно.— Я еле сдержал себя.

— Ай-яй-яй,— посочувствовал Остап,— какая теперь молодежь пошла! Ужасная молодежь! Преследует чужих жен! Растрачивает чужие деньги... Полная упадочность! А скажите, когда бьют по голове, в самом деле больно?

— Я его вызову на дуэль!

— Чудно! Могу вам отрекомендовать моего хорошего знакомого. Знает дуэльный кодекс наизусть и обладает двумя вениками, вполне пригодными для борьбы не на жизнь, а на смерть. В секунданты можно взять Иванопуло и соседа справа. Он — бывший почетный гражданин города Кологрива и до сих пор кичится этим титулом. А можно устроить дуэль на мясорубках — это элегантнее. Каждое ранение безусловно смертельно. Пораженный противник механически превращается в котлету. Вас это устраивает, предводитель?

В это время с улицы донесся свист, и Остап отправился получать агентурные сведения от беспризорных.

Беспризорные отлично справились с возложенным на них поручением. Четыре стула попали в театр Ко-

лумба. Беспризорный подробно рассказал, как эти стулья везли на тачке, как их выгрузили и втащили в здание через артистический ход. Местоположение театра Остапу было хорошо известно.

Два стула увезла на извозчике, как сказал другой юный следопыт, «шикарная чмара». Мальчишка, как видно, большими способностями не отличался. Переулок, в который привезли стулья,— Варсонофьевский,— он знал, помнил даже, что номер квартиры семнадцатый, но номер дома никак не мог вспомнить.

— Очень шибко бежал,— сказал беспризорный,— из головы выскочило.

— Не получишь денег,— заявил наниматель.

— Дя-адя!.. Да я тебе покажу.

— Хорошо! Оставайся. Пойдем вместе.

Блеющий гражданин жил, оказывается, на Садовой-Спасской. Точный адрес его Остап записал в блокнот.

Восьмой стул поехал в Дом народов. Мальчишка, преследовавший этот стул, оказался пронырой. Преодолевая заграждения в виде комендатуры и многочисленных курьеров, он проник в дом и убедился, что стул был куплен завхозом редакции «Станка».

Двух мальчишек еще не было. Они прибежали почти одновременно, запыхавшиеся и утомленные.

— Казарменный переулок, у Чистых Прудов.

— Номер?

— Девять. И квартира девять. Там татары рядом живут. Во дворе. Я ему и стул донес. Пешком шли.

Последний гонец принес печальные вести. Сперва все было хорошо, но потом все стало плохо. Покупатель вошел со стулом в товарный двор Октябрьского вокзала, и пролезть за ним было никак нельзя — у ворот стояли стрелки ОВО НКПС.

— Наверно, уехал,— закончил беспризорный свой доклад.

Это очень встревожило Остапа. Наградив беспризорных по-царски,— рубль на гонца, не считая вестника с Варсонофьевского переулка, забывшего номер дома (ему было велено явиться на другой день по-

раньше),— технический директор вернулся домой и, не отвечая на расспросы осрамившегося председателя правления, принялся комбинировать.

— Ничего еще не потеряно. Адреса есть, а для того, чтобы добыть стулья, существует много старых, испытанных приемов: 1) простое знакомство, 2) любовная интрига, 3) знакомство со взломом, 4) обмен и 5) деньги. Последнее — самое верное. Но денег мало.

Остап иронически посмотрел на Ипполита Матвеевича. К великому комбинатору вернулись обычная свежесть мысли и душевное равновесие. Деньги, конечно, можно будет достать. В запасе имелись: картина «Большевики пишут письмо Чемберлену», чайное ситечко и полная возможность продолжать карьеру многоженца.

Беспокоил только десятый стул. След, конечно, был, но какой след! — расплывчатый и туманный.

— Ну, что ж,— сказал Остап громко.— На такие шансы ловить можно. Играю девять против одного. Заседание продолжается! Слышите? Вы! Присяжный заседатель!

Глава XXII

ЛЮДОЕДКА ЭЛЛОЧКА

Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет двенадцать тысяч слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет триста слов.

Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.

Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка:

1. Хамите.

2. Хо-хо! (Выражает, в зависимости от обстоятельств: иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.)

3. Знаменито.

4. Мрачный. (По отношению ко всему. Например: «мрачный Петя пришел», «мрачная погода», «мрачный случай», «мрачный кот» и т. д.)

5. Мрак.

6. Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой: «жуткая встреча».)

7. Парниша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения.)

8. Не учите меня жить.

9. Как ребенка. («Я бью его, как ребенка»,— при игре в карты. «Я его срезала, как ребенка»,— как видно, в разговоре с ответственным съемщиком.)

10. Кр-р-расота!

11. Толстый и красивый. (Употребляется как характеристика неодушевленных и одушевленных предметов.)

12. Поедем на извозчике. (Говорится мужу.)

13. Поедем в таксо. (Знакомым мужского пола.)

14. У вас вся спина белая. (Шутка.)

15. Подумаешь.

16. Уля. (Ласкательное окончание имен. Например: Мишуля, Зинуля.)

17. Ого! (Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.)

Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов.

Если рассмотреть фотографии Эллочки Щукиной, висящие над постелью ее мужа, инженера Эрнеста Павловича Щукина (одна — анфас, другая — в профиль), то не трудно заметить лоб приятной высоты и выпуклости, большие влажные глаза, милейший в Московской губернии носик и подбородок с маленьким, нарисованным тушью пятнышком.

Рост Эллочки льстил мужчинам. Она была маленькая, и даже самые плюгавые мужчины рядом с нею выглядели большими и могучими мужами.

Что же касается особых примет, то их не было. Эллочка и не нуждалась в них. Она была красива.

Двести рублей, которые ежемесячно получал ее муж на заводе «Электролюстра», для Эллочки были оскорблением. Они никак не могли помочь той грандиозной борьбе, которую Эллочка вела уже четыре года, с тех пор как заняла общественное положение домашней хозяйки, жены Щукина. Борьба велась с полным напряжением сил. Она поглощала все ресурсы. Эрнест Павлович брал на дом вечернюю работу, отказался от прислуги, разводил примус, выносил мусор и даже жарил котлеты.

Но все было бесплодно. Опасный враг уже разрушал хозяйство с каждым годом все больше. Эллочка четыре года тому назад заметила, что у нее есть соперница за океаном. Несчастье посетило Эллочку в тот радостный вечер, когда она примеряла очень миленькую крепдешиновую кофточку. В этом наряде она казалась почти богиней.

— Хо-хо! — воскликнула она, сведя к этому людоедскому крику поразительно сложные чувства, захватившие ее.

Упрощенно чувства эти можно было бы выразить в следующей фразе: «Увидев меня такой, мужчины взволнуются. Они задрожат. Они пойдут за мной на край света, заикаясь от любви. Но я буду холодна. Разве они стоят меня? Я самая красивая. Такой элегантной кофточки нет ни у кого на земном шаре».

Но слов было всего тридцать, и Эллочка выбрала из них наиболее выразительное — «хо-хо».

В такой великий час к ней пришла Фима Сóбак. Она принесла с собой морозное дыхание января и французский журнал мод. На первой странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там были меха и перья, шелк и жемчуг, необыкновенная легкость покроя и умопомрачительная прическа. Это решило все.

— Ого! — сказала Эллочка сама себе.

Это значило: «Или я, или она».

Утро другого дня застало Эллочку в парикмахерской. Здесь она потеряла прекрасную черную косу и перекрасила волосы в рыжий цвет. Затем удалось подняться еще на одну ступеньку той лестницы, которая приближала Эллочку к сияющему раю, где прогуливаются дочки миллиардеров, не годящиеся домашней хозяйке Щукиной даже в подметки. По рабкредиту была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего туалета.

Мистер Щукин, давно лелеявший мечту о покупке новой чертежной доски, несколько приуныл.

Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар. Потом гордой американке были нанесены три удара подряд. Эллочка приобрела у домашнего скорняка Фимочки Со́бак шиншилловый палантин (русский заяц, умерщвленный в Тульской губернии), завела себе голубиную шляпу из аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский жакет. Миллиардерша покачнулась, но ее, как видно, спас любвеобильный папа Вандербильд.

Очередной номер журнала мод заключал в себе портреты проклятой соперницы в четырех видах: 1) в чернобурых лисах, 2) с брильянтовой звездой во лбу, 3) в авиационном костюме (высокие сапожки, тончайшая зеленая куртка и перчатки, раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней величины) и 4) в бальном туалете (каскады драгоценностей и немножко шелку).

Эллочка произвела мобилизацию. Папа-Щукин взял ссуду в кассе взаимопомощи. Больше тридцати рублей ему не дали. Новое мощное усилие в корне подрезало хозяйство. Приходилось бороться во всех областях жизни. Недавно были получены фотографии мисс в ее новом замке во Флориде. Пришлось и Эллочке обзавестись новой мебелью. Она купила на аукционе два мягких стула. (Удачная покупка! Никак нельзя было пропустить!) Не спросясь мужа, Эллочка взяла деньги из обеденных сумм. До пятнадцатого осталось десять дней и четыре рубля.

Эллочка с шиком провезла стулья по Варсонофьевскому переулку. Мужа дома не было. Впрочем, он скоро явился, таща с собой портфель-сундук.

— Мрачный муж пришел,— отчетливо сказала Эллочка.

Все слова произносились ею отчетливо и выскакивали бойко, как горошины.

— Здравствуй, Еленочка, а это что такое? Откуда стулья?

— Хо-хо!

— Нет, в самом деле?

— Кр-расота!

— Да. Стулья хорошие.

— Зна-ме-ни-тые!

— Подарил кто-нибудь?

— Ого?

— Как?! Неужели ты купила? На какие же средства? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе тысячу раз говорил...

— Эрнестуля! Хамишь!

— Ну, как же так можно делать?! Ведь нам же есть нечего будет!

— Подумаешь!

— Но ведь это возмутительно! Ты живешь не по средствам!

— Шутите!

— Да, да. Вы живете не по средствам...

— Не учите меня жить!

— Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю двести рублей...

— Мрак!

— Взяток не беру, денег не краду и подделывать их не умею...

— Жуть!

Эрнест Павлович замолчал.

— Вот что,— сказал он наконец,— так жить нельзя.

— Хо-хо,— сказала Эллочка, садясь на новый стул.

— Нам надо разойтись.

— Подумаешь!

— Мы не сходимся характерами. Я...

— Ты толстый и красивый парниша.

— Сколько раз я просил не называть меня парнишей!

— Шутите!

— И откуда у тебя этот идиотский жаргон!

— Не учите меня жить!

— О, черт! — крикнул инженер.

— Хамите, Эрнестуля.

— Давай разойдемся мирно.

— Ого!

— Ты мне ничего не докажешь! Этот спор...

— Я побью тебя, как ребенка.

— Нет, это совершенно невыносимо. Твои доводы не могут меня удержать от того шага, который я вынужден сделать. Я сейчас же иду за ломовиком.

— Шутите!

— Мебель мы делим поровну.

— Жуть!

— Ты будешь получать сто рублей в месяц. Даже сто двадцать. Комната останется у тебя. Живи, как тебе хочется, а я так не могу...

— Знаменито,— сказала Эллочка презрительно.

— А я перееду к Ивану Алексеевичу.

— Ого!

— Он уехал на дачу и оставил мне на лето всю свою квартиру. Ключ у меня... Только мебели нет.

— Кр-расота!

Эрнест Павлович через пять минут вернулся с дворником.

— Ну, гардероб я не возьму, он тебе нужнее, а вот письменный стол, уж будь так добра... И один этот стул возьмите, дворник. Я возьму один из этих двух стульев. Я думаю, что имею на это право?!

Эрнест Павлович связал свои вещи в большой узел, завернул сапоги в газету и повернулся к дверям.

— У тебя вся спина белая,— сказала Эллочка граммофонным голосом.

— До свидания, Елена.

Он ждал, что жена хоть в этом случае воздержится от обычных, металлических словечек. Эллочка также почувствовала всю важность минуты. Она напряглась и стала искать подходящие для разлуки слова. Они быстро нашлись:

— Поедешь в таксо́? Кр-расота!

Инженер лавиной скатился по лестнице.

Вечер Эллочка провела с Фимой Со́бак. Они обсуждали необычайно важное событие, грозившее опрокинуть мировую экономику.

— Кажется, будут носить длинное и широкое,— говорила Фима, по-куриному окуная голову в плечи.

— Мрак.

И Эллочка с уважением посмотрела на Фиму Со́бак. Мадмуазель Со́бак слыла культурной девушкой: в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово: гомосексуализм. Фима Со́бак, несомненно, была культурной девушкой.

Оживленная беседа затянулась далеко за полночь.

В десять часов утра великий комбинатор вошел в Варсонофьевский переулок. Впереди бежал давешний беспризорный мальчик. Он указал дом.

— Не врешь?

— Что вы, дядя... Вот сюда, в парадное.

Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль.

— Прибавить надо,— сказал мальчик по-извозчичьи.

— От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный.

Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение.

— Ого? — спросили из-за двери.

— По делу,— ответил Остап.

Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, переделанный из толстовки Эрнеста Павловича и отороченный загадочным мехом.

Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад.

— Прекрасный мех! — воскликнул он.

— Шутите! — сказала Эллочка нежно.— Это мексиканский тушкан.

— Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я знаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд!

Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна.

Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал когда-либо о мехах. После этого заговорили о шелке, и Остап обещал подарить очаровательной хозяйке несколько сот шелковых коконов, якобы привезенных ему председателем ЦИК Узбекистана.

— Вы — парниша что надо,— заметила Эллочка после первых минут знакомства.

— Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины?

— Хо-хо!

— Но я к вам по одному деликатному делу.

— Шутите!

— Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление.

— Хамите!

— Помилуйте! Хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно.

— Жуть!

Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающем, однако, в некоторых случаях чудесные

плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянистее и короче. Он заметил, что второго стула в комнате не было. Пришлось нащупывать след. Перемежая свои расспросы цветистой восточной лестью, Остап узнал о событиях, происшедших вчера в Эллочкиной жизни.

«Новое дело,— подумал он,— стулья расползаются, как тараканы».

— Милая девушка,— неожиданно сказал Остап,— продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, а я вам дам семь рублей.

— Хамите, парниша,— лукаво сказала Эллочка.

— Хо-хо,— втолковывал Остап.

«С ней нужно действовать иначе,— решил он,— предложим обмен».

— Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду — разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно.

Эллочка насторожилась.

— Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь.

— Должно быть, знаменито,— заинтересовалась Эллочка.

— Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся. Вы мне — стул, а я вам — ситечко. Хотите?

И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко.

Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. Неожиданно осветился темный угол комнаты. На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из-под консервов на людоеда Мумбо-Юмбо. В таких случаях людоед кричит полным голосом, Эллочка же тихо застонала:

— Хо-хо!

Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и, узнав у очаровательной женщины адрес мужа, галантно раскланялся.

Глава XXIII

АВЕССАЛОМ ВЛАДИМИРОВИЧ ИЗНУРЕНКОВ

Для концессионеров началась страдная пора. Остап утверждал, что стулья нужно ковать, пока они горячи. Ипполит Матвеевич был амнистирован, хотя время от времени Остап допрашивал его:

— И какого черта я с вами связался? Зачем вы мне, собственно говоря? Поехали бы себе домой, в загс. Там вас покойники ждут, новорожденные. Не мучьте младенцев. Поезжайте!

Но в душе великий комбинатор привязался к одичавшему предводителю. «Без него не так смешно жить»,— думал Остап. И он весело поглядывал на Воробьянинова, у которого на голове уже пророс серебряный газончик.

В плане работ инициативе Ипполита Матвеевича было отведено порядочное место. Как только тихий Иванопуло уходил, Бендер вдалбливал в голову компаньона кратчайшие пути к отысканию сокровищ:

— Действовать смело. Никого не расспрашивать. Побольше цинизма. Людям это нравится. Через третьих лиц ничего не предпринимать. Дураков больше нет. Никто для вас не станет таскать брильянты из чужого кармана. Но и без уголовщины. Кодекс мы должны чтить.

И тем не менее розыски шли без особенного блеска. Мешали Уголовный кодекс и огромное количество буржуазных предрассудков, сохранившихся у обитателей столицы. Они, например, терпеть не могли ночных визитов через форточку. Приходилось работать только легально.

В комнате студента Иванопуло в день посещения Остапом Эллочки Щукиной появилась мебель. Это был стул, обмененный на чайное ситечко,— третий по счету трофей экспедиции. Давно уже прошло то время, когда охота за брильянтами вызывала в компаньонах мощные эмоции, когда они рвали стулья когтями и грызли их пружины.

— Даже если в стульях ничего нет,— говорил Остап,— считайте, что мы заработали десять тысяч по крайней мере. Каждый вскрытый стул прибавляет нам шансы. Что из того, что в дамочкином стуле ничего нет? Из-за этого не надо его ломать. Пусть Иванопуло помеблируется. Нам самим приятнее.

В тот же день концессионеры выпорхнули из розового домика и разошлись в разные стороны. Ипполиту Матвеевичу был поручен блеющий незнакомец с Садовой-Спасской, дано двадцать пять рублей на расходы, велено в пивные не заходить и без стула не возвращаться. На себя великий комбинатор взял Эллочкиного мужа.

Ипполит Матвеевич пересек город на автобусе № 6. Трясясь на кожаной скамеечке и взлетая под самый лаковый потолок кареты, он думал о том, как узнать фамилию блеющего гражданина, под каким предлогом к нему войти, что сказать первой фразой и как приступить к самой сути.

Высадившись у Красных ворот, он нашел по записанному Остапом адресу нужный дом и принялся ходить вокруг да около. Войти он не решался. Это была старая, грязная московская гостиница, превращенная в жилтоварищество, укомплектованное, судя по обшарпанному фасаду, злостными неплательщиками.

Ипполит Матвеевич долго стоял против подъезда, подходил к нему, затвердил наизусть рукописное объявление с угрозами по адресу нерадивых жильцов и, ничего не надумав, поднялся на второй этаж. В коридор выходили отдельные комнаты. Медленно, словно бы он подходил к классной доске, чтобы доказать не выученную им теорему, Ипполит Матвеевич приблизился к комнате № 41. На дверях висела на одной кнопке, головой вниз, визитная карточка:

Авессалом Владимирович
Изнуренков

В полном затмении, Ипполит Матвеевич забыл постучать, открыл дверь, сделал три лунатических шага и очутился посреди комнаты.

— Простите,— сказал он придушенным голосом,— могу я видеть товарища Изнуренкова?

Авессалом Владимирович не отвечал. Воробьянинов поднял голову и только теперь увидел, что в комнате никого нет.

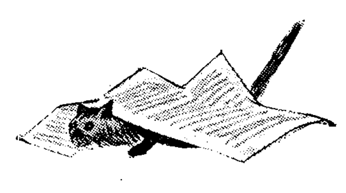
По внешнему ее виду никак нельзя было определить наклонностей ее хозяина. Ясно было лишь то, что он холост и прислуги у него нет. На подоконнике лежала бумажка с колбасными шкурками. Тахта у стены была завалена газетами. На маленькой полочке стояло несколько пыльных книг. Со стен глядели цветные фотографии котов, котиков и кошечек. Посредине комнаты, рядом с грязными, повалившимися набок ботинками, стоял ореховый стул. На всех предметах меблировки, а в том числе и на стуле из старгородского особняка болтались малиновые сургучные печати. Но Ипполит Матвеевич не обратил на это внимания. Он сразу же забыл об Уголовном кодексе, о наставлениях Остапа и подскочил к стулу.

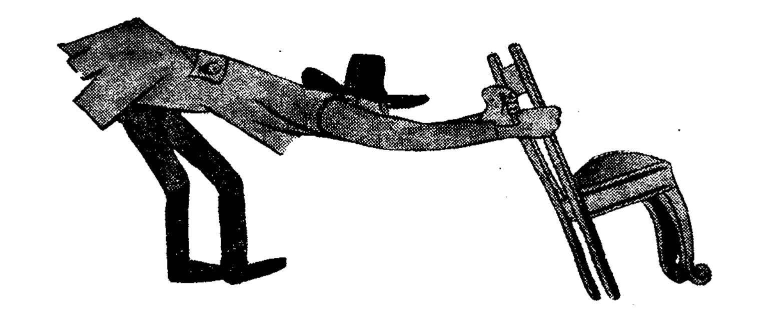
В это время газеты на тахте зашевелились. Ипполит Матвеевич испугался. Газеты поползли и свалились на пол. Из-под них вышел спокойный котик. Он равнодушно посмотрел на Ипполита Матвеевича и стал умываться, захватывая лапкой ухо, щечку и ус.

— Фу! — сказал Ипполит Матвеевич.

И потащил стул к двери. Дверь раскрылась сама. На пороге появился хозяин комнаты — блеющий незнакомец. Он был в пальто, из-под которого виднелись лиловые кальсоны. В руке он держал брюки.

Об Авессаломе Владимировиче Изнуренкове можно было сказать, что другого такого человека нет во всей республике. Республика ценила его по заслугам. Он приносил ей большую пользу. И за всем тем он оставался неизвестным, хотя в своем искусстве он был таким же мастером, как Шаляпин — в пении, Горький — в литературе, Капабланка — в шахматах, Мель-





ников — в беге на коньках и самый носатый, самый коричневый ассириец, занимающий лучшее место на углу Тверской и Камергерского,— в чистке сапог желтым кремом.

Шаляпин пел. Горький писал большой роман. Капабланка готовился к матчу с Алехиным. Мельников рвал рекорды. Ассириец доводил штиблеты граждан до солнечного блеска. Авессалом Изнуренков — острил.

Он никогда не острил бесцельно, ради красного словца. Он делал это по заданиям юмористических журналов. На своих плечах он выносил ответственнейшие кампании, снабжал темами для рисунков и фельетонов большинство московских сатирических журналов.

Великие люди острят два раза в жизни. Эти остроты увеличивают их славу и попадают в историю. Изнуренков выпускал не меньше шестидесяти первоклассных острот в месяц, которые с улыбкой повторялись всеми, и все же оставался в неизвестности. Если остротой Изнуренкова подписывался рисунок, то слава доставалась художнику. Имя художника помещали над рисунком. Имени Изнуренкова не было.

— Это ужасно! — кричал он.— Невозможно подписаться. Под чем я подпишусь? Под двумя строчками?

И он продолжал жарко бороться с врагами общества: плохими кооператорами, растратчиками, Чемберленом, бюрократами. Он уязвлял своими остротами подхалимов, управдомов, частников, завов, хулига-

нов, граждан, не желавших снижать цены, и хозяйственников, отлынивающих от режима экономии.

После выхода журналов в свет остроты произносились с цирковой арены, перепечатывались вечерними газетами без указания источника и преподносились публике с эстрады «авторами-куплетистами».

Изнуренков умудрялся острить в тех областях, где, казалось, уже ничего смешного нельзя было сказать. Из такой чахлой пустыни, как вздутые накидки на себестоимость, Изнуренков умудрялся выжать около сотни шедевров юмора. Гейне опустил бы руки, если бы ему предложили сказать что-нибудь смешное и вместе с тем общественно полезное по поводу неправильной тарификации грузов малой скорости; Марк Твен убежал бы от такой темы. Но Изнуренков оставался на своем посту.

Он бегал по редакционным комнатам, натыкаясь на урны для окурков и блея. Через десять минут тема была обработана, обдуман рисунок и приделан заголовок.

Увидев в своей комнате человека, уносящего опечатанный стул, Авессалом Владимирович взмахнул только что выглаженными у портного брюками, подпрыгнул и заклекотал:

— Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же наконец закон! Хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели!.. Я пожалуюсь прокурору!.. Я уплачу наконец!

Ипполит Матвеевич стоял на месте, а Изнуренков сбросил пальто и, не отходя от двери, натянул брюки на свои полные, как у Чичикова, ноги. Изнуренков был толстоват, но лицо имел худое.

Воробьянинов не сомневался, что его сейчас схватят и потащат в милицию. Поэтому он был крайне удивлен, когда хозяин комнаты, справившись со своим туалетом, неожиданно успокоился.

— Поймите же,— заговорил хозяин примирительным тоном,— ведь я не могу на это согласиться.

Ипполит Матвеевич на месте Изнуренкова тоже в конце концов не мог бы согласиться, чтобы у него

среди бела дня крали стулья. Но он не знал, что сказать, и поэтому молчал.

— Это не я виноват. Виноват сам Музпред. Да, я сознаюсь. Я не платил за прокатное пианино восемь месяцев, но ведь я его не продал, хотя сделать это имел полную возможность. Я поступил честно, а они по-жульнически. Забрали инструмент, да еще подали в суд и описали мебель. У меня ничего нельзя описать. Эта мебель — орудие производства. И стул — тоже орудие производства!

Ипполит Матвеевич начал кое-что соображать.

— Отпустите стул! — завизжал вдруг Авессалом Владимирович. — Слышите? Вы! Бюрократ!

Ипполит Матвеевич покорно отпустил стул и пролепетал:

— Простите, недоразумение, служба такая.

Тут Изнуренков страшно развеселился. Он забегал по комнате и запел: «А поутру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда». Он не знал, что делать со своими руками. Они у него летали. Он начал завязывать галстук и, не довязав, бросил. Потом схватил газету и, ничего в ней не прочитав, кинул на пол.

— Так вы не возьмете сегодня мебель?.. Хорошо!.. Ах! Ах!

Ипполит Матвеевич, пользуясь благоприятно сложившимися обстоятельствами, двинулся к двери.

— Подождите! — крикнул вдруг Изнуренков. — Вы когда-нибудь видели такого кота? Скажите, он в самом деле пушист до чрезвычайности?

Котик очутился в дрожащих руках Ипполита Матвеевича.

— Высокий класс!.. — бормотал Авессалом Владимирович, не зная, что делать с излишком своей энергии. — Ах!.. Ах!..

Он кинулся к окну, всплеснул руками и стал часто и мелко кланяться двум девушкам, глядевшим на него из окна противоположного дома. Он топтался на месте и расточал томные ахи:

— Девушки из предместий! Лучший плод!.. Высокий класс!.. Ах!.. «А поутру она вновь улыбалась перед окошком своим, как всегда...»

— Так я пойду, гражданин,— глупо сказал директор концессии.

— Подождите, подождите! — заволновался вдруг Изнуренков.— Одну минуточку!.. Ах!.. А котик? Правда, он пушист до чрезвычайности?.. Подождите!.. Я сейчас!..

Он смущенно порылся во всех карманах, убежал, вернулся, ахнул, выглянул из окна, снова убежал и снова вернулся.

— Простите, душечка,— сказал он Воробьянинову, который в продолжение всех этих манипуляций стоял, сложив руки по-солдатски.

С этими словами он дал предводителю полтинник.

— Нет, нет, не отказывайтесь, пожалуйста. Всякий труд должен быть оплачен.

— Премного благодарен,— сказал Ипполит Матвеевич, удивляясь своей изворотливости.

— Спасибо, дорогой, спасибо, душечка!..

Идя по коридору, Ипполит Матвеевич слышал доносившиеся из комнаты Изнуренкова блеяние, визг, пение и страстные крики.

На улице Воробьянинов вспомнил про Остапа и задрожал от страха.

Эрнест Павлович Щукин бродил по пустой квартире, любезно уступленной ему на лето приятелем, и решал вопрос: принять ванну или не принимать.

Трехкомнатная квартира помещалась под самой крышей девятиэтажного дома. В ней, кроме письменного стола и воробьяниновского стула, было только трюмо. Солнце отражалось в зеркале и резало глаза. Инженер прилег на письменный стол, но сейчас же вскочил. Все было раскалено.

«Пойду умоюсь»,— решил он.

Он разделся, остыл, посмотрел на себя в зеркало и пошел в ванную комнату. Прохлада охватила его. Он влез в ванну, облил себя водой из голубой эмалированной кружки и щедро намылился. Он весь покрылся хлопьями пены и стал похож на елочного деда.

— Хорошо! — сказал Эрнест Павлович.

Все было хорошо. Стало прохладно. Жены не бы-

ло. Впереди была полная свобода. Инженер присел и отвернул кран, чтобы смыть мыло. Кран захлебнулся и стал медленно говорить что-то неразборчивое. Вода не шла. Эрнест Павлович засунул скользкий мизинец в отверстие крана. Пролилась тонкая струйка, но больше не было ничего. Эрнест Павлович поморщился, вышел из ванны, поочередно поднимая ноги, и пошел к кухонному крану. Но там тоже ничего не удалось выдоить.

Эрнест Павлович зашлепал в комнаты и остановился перед зеркалом. Пена щипала глаза, спина чесалась, мыльные хлопья падали на паркет. Прислушавшись, не идет ли в ванной вода, Эрнест Павлович решил позвать дворника.

«Пусть хоть он воды принесет,— решил инженер, протирая глаза и медленно закипая,— а то черт знает что такое».

Он выглянул в окно. На самом дне дворовой шахты играли дети.

— Дворник! — закричал Эрнест Павлович.— Дворник!

Никто не отозвался.

Тогда Эрнест Павлович вспомнил, что дворник живет в парадном, под лестницей. Он вступил на холодные плитки и, придерживая дверь рукой, свесился вниз. На площадке была только одна квартира, и Эрнест Павлович не боялся, что его могут увидеть в странном наряде из мыльных хлопьев.

— Дворник! — крикнул он вниз.

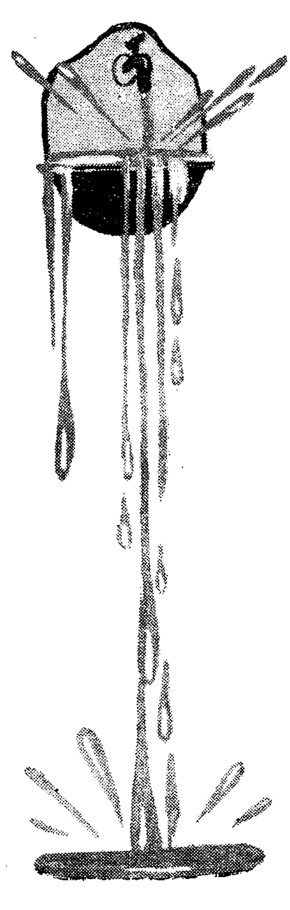
Слово грянуло и с шумом покатилось по ступенькам.

— Гу-гу! — ответила лестница.

— Дворник! Дворник!

— Гум-гум! Гум-гум!

Тут нетерпеливо перебиравший босыми ногами инженер поскользнулся и, чтобы сохранить равновесие, выпустил из руки дверь. Дверь прищелкнула медным язычком американского замка и затворилась. Стена задрожала. Эрнест Павлович, не поняв еще непоправимости случившегося, потянул дверную ручку. Дверь не подалась.



Инженер ошеломленно подергал ее еще несколько раз и прислушался с бьющимся сердцем. Была сумеречная церковная тишина. Сквозь разноцветные стекла высоченного окна еле пробивался свет.

«Положение»,— подумал Эрнест Павлович.

— Вот сволочь! — сказал он двери.

Внизу, как петарды, стали ухать и взрываться человеческие голоса. Потом, как громкоговоритель, залаяла комнатная собачка.

По лестнице толкали вверх детскую колясочку.

Эрнест Павлович трусливо заходил по площадке.

— С ума можно сойти!

Ему показалось, что все это слишком дико, чтобы могло случиться на самом деле. Он снова подошел к двери и прислушался. Он услышал какие-то новые звуки. Сначала ему показалось, что в квартире кто-то ходит.

«Может быть, кто-нибудь пришел с черного хода?» — подумал он, хотя знал, что дверь черного хода закрыта и в квартиру никто не может войти.

Однообразный шум продолжался. Инженер задержал дыхание. Тогда он разобрал, что шум этот производит плещущая вода. Она, очевидно, бежала изо всех кранов квартиры. Эрнест Павлович чуть не заревел.

Положение было ужасное. В Москве, в центре города, на площадке девятого этажа стоял взрослый усатый человек с высшим образованием, абсолютно

голый и покрытый шевелящейся еще мыльной пеной. Идти ему было некуда. Он скорее согласился бы сесть в тюрьму, чем показаться в таком виде. Оставалось одно — пропадать. Пена лопалась и жгла спину. На руках и на лице она уже застыла, стала похожа на паршу и стягивала кожу, как бритвенный камень.

Так прошло полчаса. Инженер терся об известковые стены, стонал и несколько раз безуспешно пытался выломать дверь. Он стал грязным и страшным.

Щукин решил спуститься вниз, к дворнику, чего бы это ему ни стоило.

«Нету другого выхода, нету. Только спрятаться у дворника!»

Задыхаясь и прикрывшись рукой так, как это делают мужчины, входя в воду, Эрнест Павлович медленно стал красться вдоль перил. Он очутился на площадке между восьмым и девятым этажами.

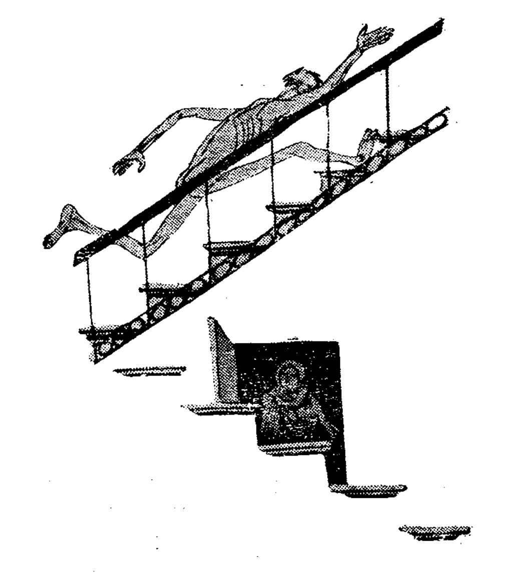
Его фигура осветилась разноцветными ромбами и квадратами окна. Он стал похож на арлекина, подслушивающего разговор Коломбины с Паяцем. Он уже повернул в новый пролет лестницы, как вдруг дверной замок нижней квартиры выпалил и из квартиры вышла барышня с балетным чемоданчиком. Не успела барышня сделать шагу, как Эрнест Павлович очутился уже на своей площадке. Он почти оглох от страшных ударов сердца.

Только через полчаса инженер оправился и смог предпринять новую вылазку. На этот раз он твердо решил стремительно кинуться вниз и, не обращая внимания ни на что, добежать до заветной дворницкой.

Так он и сделал. Неслышно прыгая через четыре ступеньки и подвывая, член бюро секции инженеров и техников поскакал вниз. На площадке шестого этажа он на секунду остановился. Это его погубило. Снизу кто-то поднимался.

— Несносный мальчишка! — послышался женский голос, многократно усиленный лестничным репродуктором.— Сколько раз я ему говорила!..

Эрнест Павлович, повинуясь уже не разуму, а инстинкту, как преследуемый собаками кот, взлетел на девятый этаж.



Очутившись на своей, загаженной мокрыми следами, площадке, он беззвучно заплакал, дергая себя за волосы и конвульсивно раскачиваясь. Кипящие слезы врезались в мыльную корку и прожгли в ней две волнистые борозды.

— Господи! — сказал инженер.— Боже мой! Боже мой!

Жизни не было. А между тем он явственно услышал шум пробежавшего по улице грузовика. Значит, где-то жили!

Он еще несколько раз побуждал себя спуститься вниз, но не смог — нервы сдали. Он попал в склеп.

— Наследили за собой, как свиньи! — услышал он старушечий голос с нижней площадки.

Инженер подбежал к стене и несколько раз боднул ее головой. Самым разумным было бы, конечно, кричать до тех пор, пока кто-нибудь не придет, и потом сдаться пришедшему в плен. Но Эрнест Павлович совершенно потерял способность соображать и, тяжело дыша, вертелся на площадке.

Выхода не было.

Глава XXIV

КЛУБ АВТОМОБИЛИСТОВ

В редакции большой ежедневной газеты «Станок», помещавшейся на втором этаже Дома народов, спешно пекли материал к сдаче в набор.

Выбирались из загона (материал, набранный, но не вошедший в прошлый номер) заметки и статьи, подсчитывалось число занимаемых ими строк, и начиналась ежедневная торговля из-за места.

Всего газета на своих четырех страницах (полосах) могла вместить четыре тысячи четыреста строк. Сюда должно было войти все: телеграммы, статьи, хроника, письма рабкоров, объявления, один стихотворный фельетон и два в прозе, карикатуры, фотографии, специальные отделы: театр, спорт, шахматы, передовая и подпередовая, извещения советских, партийных и профессиональных организаций, печатающийся с продолжением роман, художественные очерки столичной жизни, мелочи под названием «Крупинки», научно-популярные статьи, радио и различный случайный материал. Всего по отделам набиралось материалу тысяч на десять строк. Поэтому распределение места на полосах обычно сопровождалось драматическими сценами.

Первым к секретарю редакции прибежал заведующий шахматным отделом маэстро Судейкин. Он задал вежливый, но полный горечи вопрос:

— Как? Сегодня не будет шахмат?

— Не вмещаются,— ответил секретарь.— Подвал большой. Триста строк.

— Но ведь сегодня же суббота. Читатель ждет воскресного отдела. У меня ответы на задачи, у меня прелестный этюд Неунывако, у меня, наконец...

— Хорошо. Сколько вы хотите?

— Не меньше ста пятидесяти.

— Хорошо. Раз есть ответы на задачи, дадим шестьдесят строк.

Маэстро пытался было вымолить еще строк тридцать, хотя бы на этюд Неунывако (замечательная

индийская партия Тартаковер — Боголюбов лежала у него уже больше месяца), но его оттеснили.

Пришел репортер Персицкий.

— Нужно давать впечатления с пленума? — спросил он очень тихо.

— Конечно! — закричал секретарь.— Ведь позавчера говорили.

— Пленум есть,— сказал Персицкий еще тише,— и две зарисовки, но они не дают мне места.

— Как не дают? С кем вы говорили? Что они, посходили с ума?

Секретарь побежал ругаться. За ним, интригуя на ходу, следовал Персицкий, а еще позади бежал сотрудник из отдела объявлений.

— У нас секаровская жидкость! — кричал он грустным голосом.

За ними плелся завхоз, таща с собой купленный для редактора на аукционе мягкий стул.

— Жидкость во вторник. Сегодня публикуем наши приложения!

— Много вы будете иметь с ваших бесплатных объявлений, а за жидкость уже получены деньги.

— Хорошо, в ночной редакции выясним. Сдайте объявление Паше. Она сейчас как раз едет в ночную.

Секретарь сел читать передовую. Его сейчас же оторвали от этого увлекательного занятия. Пришел художник.

— Ага,— сказал секретарь,— очень хорошо. Есть тема для карикатуры, в связи с последними телеграммами из Германии.

— Я думаю так,— проговорил художник: — Стальной Шлем и общее положение Германии...

— Хорошо. Так вы как-нибудь скомбинируйте, а потом мне покажите.

Художник пошел в свой отдел. Он взял квадратик ватманской бумаги и набросал карандашом худого пса. На псиную голову он надел германскую каску с пикой. А затем принялся делать надписи. На туловище животного он написал печатными буквами слово «Германия», на витом хвосте — «Данцигский коридор», на челюсти — «Мечты о реванше», на ошейни-

ке — «План Дауэса» и на высунутом языке — «Штреземан». Перед собакой художник поставил Пуанкаре, державшего в руке кусок мяса. На мясе художник тоже замыслил сделать надпись, но кусок был мал, и надпись не помещалась. Человек, менее сообразительный, чем газетный карикатурист, растерялся бы, но художник, не задумываясь, пририсовал к мясу подобие привязанного к шейке бутылки рецепта и уже на нем написал крохотными буквами: «Французские предложения о гарантиях безопасности». Чтобы Пуанкаре не смешали с каким-либо другим государственным деятелем, художник на животе его написал: «Пуанкаре». Набросок был готов.

На столах художественного отдела лежали иностранные журналы, большие ножницы, баночки с тушью и белилами. На полу валялись обрезки фотографий: чье-то плечо, чьи-то ноги и кусочки пейзажа.

Человек пять художников скребли фотографии бритвенными ножичками «Жиллет», подсветляя их; придавали снимкам резкость, подкрашивая их тушью и белилами, и ставили на обороте подпись и размер: $3^3/_4$ квадрата, 2 колонки и так далее — указания, потребные для цинкографии.

В комнате редактора сидела иностранная делегация. Редакционный переводчик смотрел в лицо говорящего иностранца и, обращаясь к редактору, говорил:

— Товарищ Арно желает узнать...

Шел разговор о структуре советской газеты. Пока переводчик объяснял редактору, что желал бы узнать товарищ Арно, сам Арно, в бархатных велосипедных брюках, и все остальные иностранцы с любопытством смотрели на красную ручку с пером № 86, которая была прислонена к углу комнаты. Перо почти касалось потолка, а ручка в своей широкой части была толщиною в туловище среднего человека. Этой ручкой можно было бы писать: перо было самое настоящее, хотя превосходило по величине большую щуку.

— Ого-го! — смеялись иностранцы. — Колоссаль!

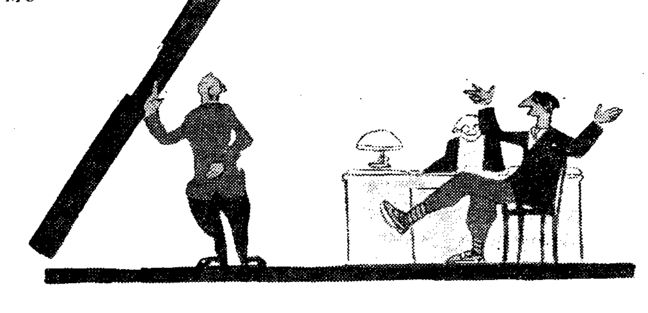
Это перо было поднесено редакции съездом рабкоров.

Редактор, сидя на воробьяниновском стуле, улыбался и, быстро кивая головой то на ручку, то на гостей, весело объяснял.

Крик в секретариате продолжался. Персицкий принес статью Семашко, и секретарь срочно вычеркивал из макета третьей полосы шахматный отдел. Маэстро Судейкин уже не боролся за прелестный этюд Неунывако. Он тщился сохранить хотя бы решения задач. После борьбы, более напряженной, чем борьба его с Ласкером на сен-себастианском турнире, маэстро отвоевал себе местечко за счет «Суда и быта».

Семашко послали в набор. Секретарь снова углубился в передовую. Прочесть ее секретарь решил во что бы то ни стало, из чисто спортивного интереса.

Когда он дошел до ме-



ста: «...Однако содержание последнего пакта таково, что если Лига наций зарегистрирует его, то придется признать, что...», к нему подошел «Суд и быт», волосатый мужчина. Секретарь продолжал читать, нароч-

но не глядя в сторону «Суда и быта» и делая в передовой ненужные пометки.

«Суд и быт» зашел с другой стороны и сказал обидчиво:

— Я не понимаю.

— Ну-ну,— забормотал секретарь, стараясь оттянуть время,— в чем дело?

— Дело в том, что в среду «Суда и быта» не было, в пятницу «Суда и быта» не было, в четверг поместили из загона только алиментное дело, а в субботу снимают процесс, о котором давно пишут во всех газетах, и только мы...

— Где пишут? — закричал секретарь.— Я не читал.

— Завтра всюду появится, а мы опять опоздаем.

— А когда вам поручили чубаровское дело, вы что писали? Строки от вас нельзя было получить. Я знаю. Вы писали о чубаровцах в вечорку.

— Откуда вы это знаете?

— Знаю. Мне говорили.

— В таком случае я знаю, кто вам говорил. Вам говорил Персицкий, тот Персицкий, который на глазах у всей Москвы пользуется аппаратом редакции, чтобы давать материал в Ленинград.

— Паша! — сказал секретарь тихо.— Позовите Персицкого.

«Суд и быт» индифферентно сидел на подоконнике. Позади него виднелся сад, в котором возились птицы и городошники. Тяжбу разбирали долго. Секретарь прекратил ее ловким приемом: выкинул шахматы и вместо них поставил «Суд и быт». Персицкому было сделано предупреждение.

Наступило самое горячее редакционное время — пять часов.

Над разогревшимися пишущими машинками курился дымок. Сотрудники диктовали противными от спешки голосами. Старшая машинистка кричала на негодяев, незаметно подкидывавших свои материалы вне очереди.

По коридору ходил редакционный поэт. Он ухаживал за машинисткой, скромные бедра которой развя-

зывали его поэтические чувства. Он уводил ее в конец коридора и у окна говорил слова любви, на которые девушка отвечала:

— У меня сегодня сверхурочная работа, и я очень занята.

Это значило, что она любит другого.

Поэт путался под ногами и ко всем знакомым обращался с поразительно однообразной просьбой:

— Дайте десять копеек на трамвай!

За этой суммой он забрел в отдел рабкоров. Потолкавшись среди столов, за которыми работали «читчики», и потрогав руками кипы корреспонденций, поэт возобновил свои попытки. Читчики, самые суровые в редакции люди (их сделала такими необходимость прочитывать в день по сто писем, вычерченных руками, знакомыми больше с топором, малярной кистью или тачкой, нежели с письмом), молчали.

Поэт побывал в экспедиции и в конце концов перекочевал в контору. Но там он не только не получил десяти копеек, а даже подвергся нападению со стороны комсомольца Авдотьева: поэту было предложено вступить в кружок автомобилистов. Влюбленную душу поэта заволокло парами бензина. Он сделал два шага в сторону и, взяв третью скорость, скрылся с глаз.

Авдотьев нисколько не был обескуражен. Он верил в торжество автомобильной идеи. В секретариате он повел борьбу тихой сапой. Это и помешало секретарю докончить чтение передовой статьи.

— Слушай, Александр Иосифович. Ты подожди, дело серьезное,— сказал Авдотьев, садясь на секретарский стол.— У нас образовался автомобильный клуб. Редакция не даст нам взаймы рублей пятьсот на восемь месяцев?

— Можешь не сомневаться.

— Что? Ты думаешь — мертвое дело?

— Не думаю, а знаю. Сколько же у вас в кружке членов?

— Уже очень много.

Кружок пока что состоял только из одного организатора, но Авдотьев об этом не распространялся.

— За пятьсот рублей мы покупаем на «кладбище» машину. Егоров уже высмотрел. Ремонт, он говорит, будет стоить не больше пятисот. Всего тысяча. Вот я и думаю набрать двадцать человек, по полсотни на каждого. Зато будет замечательно. Научимся управлять машиной. Егоров будет шефом. И через три месяца — к августу — мы все умеем управлять, есть машина, и каждый по очереди едет, куда ему угодно.

— А пятьсот рублей на покупку?

— Даст касса взаимопомощи под проценты. Выплатим. Так что ж, записывать тебя?

Но секретарь был уже лысоват, много работал, находился во власти семьи и квартиры, любил полежать после обеда на диване и почитать перед сном «Правду». Он подумал и отказался.

— Ты,— сказал Авдотьев,— старик!

Авдотьев подходил к каждому столу и повторял свои зажигательные речи. В стариках, которыми он считал всех сотрудников старше двадцати лет, его слова вызывали сомнительный эффект. Они кисло отбрехивались, напирая на то, что они уже друзья детей и регулярно платят по двадцати копеек в год на благое дело помощи бедным крошкам. Они, собственно говоря, согласились бы вступить в новый клуб, но...

— Что «но»? — кричал Авдотьев.— Вот если бы автомобиль был сегодня? Да? Если бы вам положить на стол синий шестицилиндровый «паккард» за пятнадцать копеек в год, а бензин и смазочные материалы за счет правительства?!

— Иди, иди! — говорили старички.— Сейчас последний посыл, мешаешь работать!

Автомобильная идея гасла и начинала чадить. Наконец нашелся пионер нового предприятия. Персицкий с грохотом отскочил от телефона, выслушал Авдотьева и сказал:

— Ты не так подходишь, дай лист. Начнем сначала.

И Персицкий вместе с Авдотьевым начали новый обход.

— Ты, старый матрац,— говорил Персицкий голубоглазому юноше,— на это даже денег не нужно давать. У тебя есть заем двадцать седьмого года? На сколько? На пятьдесят? Тем лучше. Ты даешь эти облигации в наш клуб. Из облигаций составляется капитал. К августу мы сможем реализовать все облигации и купить автомобиль.

— А если моя облигация выиграет? — защищался юноша.

— А сколько ты хочешь выиграть?

— Пятьдесят тысяч.

— На эти пятьдесят тысяч будут куплены автомобили. И если я выиграю — тоже. И если Авдотьев — тоже. Словом, чья бы облигация ни выиграла, деньги идут на машины. Теперь ты понял? Чудак! На собственной машине поедешь по Военно-Грузинской дороге! Горы! Дурак!.. А позади тебя на собственных машинах «Суд и быт» катит, хроника, отдел происшествий и эта дамочка, знаешь, которая дает кино... Ну? Ну? Ухаживать будешь!..

Каждый держатель облигации в глубине души не верит в возможность выигрыша. Зато он очень ревниво относится к облигациям своих соседей и знакомых. Он пуще огня боится того, что выиграют они, а он, всегдашний неудачник, снова останется на бобах. Поэтому надежды на выигрыш соседа по редакции неотвратимо толкали держателей облигаций в лоно нового клуба. Смущало только опасение, что ни одна облигация не выиграет. Но это почему-то казалось маловероятным, и, кроме того, автомобильный клуб ничего не терял: одна машина с «кладбища» была гарантирована на составленный из облигаций капитал.

Двадцать человек набралось за пять минут. Когда дело было увенчано, пришел секретарь, прослышавший о заманчивых перспективах автомобильного клуба.

— А что, ребятки,— сказал он,— не записаться ли также и мне?

— Запишись, старик, отчего же,— ответил Авдотьев,— только не к нам. У нас уже, к сожалению,

полный комплект, и прием новых членов прекращен до тысяча девятьсот двадцать девятого года. А запишись ты лучше в друзья детей. Дешево и спокойно. Двадцать копеек в год, и ехать никуда не нужно.

Секретарь помялся, вспомнил, что он и впрямь уже староват, вздохнул и пошел дочитывать увлекательную передовую.

— Скажите, товарищ,— остановил его в коридоре красавец с черкесским лицом,— где здесь редакция газеты «Станок»?

Это был великий комбинатор.

Глава XXV

РАЗГОВОР С ГОЛЫМ ИНЖЕНЕРОМ

Появлению Остапа Бендера в редакции предшествовал ряд немаловажных событий.

Не застав Эрнеста Павловича днем (квартира была заперта, и хозяин, вероятно, был на службе), великий комбинатор решил зайти к нему попозже, а пока что расхаживал по городу. Томясь жаждой деятельности, он переходил улицы, останавливался на площадях, делал глазки милиционеру, подсаживал дам в автобусы и вообще имел такой вид, будто бы вся Москва с ее памятниками, трамваями, моссельпромщицами, церковками, вокзалами и афишными тумбами собралась к нему на раут. Он ходил среди гостей, мило беседовал с ними и для каждого находил теплое словечко. Прием такого огромного количества посетителей несколько утомил великого комбинатора. К тому же был уже шестой час, и надо было отправляться к инженеру Щукину.

Но судьба судила так, что, прежде чем свидеться с Эрнестом Павловичем, Остапу пришлось задержаться часа на два для подписания небольшого протокола.

На Театральной площади великий комбинатор попал под лошадь. Совершенно неожиданно на него налетело робкое животное белого цвета и толкнуло его костистой грудью. Бендер упал, обливаясь пòтом. Было очень жарко. Белая лошадь громко просила извинения. Остап живо поднялся. Его могучее тело не получило никакого повреждения. Тем больше было причин и возможностей для скандала.

Гостеприимного и любезного хозяина Москвы нельзя было узнать. Он вразвалку подошел к смущенному старику извозчику и треснул его кулаком по ватной спине. Старичок терпеливо перенес наказание. Прибежал милиционер.

— Требую протокола! — с пафосом закричал Остап.

В его голосе послышались металлические нотки человека, оскорбленного в самых святых своих чувствах. И, стоя у стены Малого театра, на том самом месте, где впоследствии был сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому, Остап подписал протокол и дал небольшое интервью набежавшему Персицкому. Персицкий не брезговал черной работой. Он аккуратно записал в блокнот фамилию и имя потерпевшего и помчался далее.

Остап горделиво двинулся в путь. Все еще переживая нападение белой лошади и чувствуя запоздалое сожаление, что не успел дать извозчику и по шее, Остап, шагая через две ступеньки, поднялся до седьмого этажа щукинского дома. Здесь на голову ему упала тяжелая капля. Он посмотрел вверх. Прямо в глаза ему хлынул с верхней площадки небольшой водопадик грязной воды.

«За такие штуки надо морду бить»,— решил Остап.

Он бросился наверх. У двери щукинской квартиры, спиной к нему, сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь.

Вокруг голого была вода, вылившаяся в щель квартирной двери.

— О-о-о,— стонал голый,— о-о-о...

— Скажите, это вы здесь льете воду? — спросил Остап раздраженно.— Что это за место для купанья? Вы с ума сошли!

Голый посмотрел на Остапа и всхлипнул.

— Слушайте, гражданин, вместо того чтобы плакать, вы, может быть, пошли бы в баню? Посмотрите, на что вы похожи! Прямо какой-то пикадор!

— Ключ,— замычал инженер.

— Что ключ? — спросил Остап.

— От кв-в-варти-ыры.

— Где деньги лежат?

Голый человек икал с поразительной быстротой.

Ничто не могло смутить Остапа. Он начинал соображать. И когда наконец сообразил, чуть не свалился за перила от хохота, бороться с которым было бы все равно бесполезно.

— Так вы не можете войти в квартиру? Но это же так просто!

Стараясь не запачкаться о голого, Остап подошел к двери, сунул в щель американского замка длинный желтый ноготь большого пальца и осторожно стал поворачивать его справа налево и сверху вниз.

Дверь бесшумно отворилась, и голый с радостным воем вбежал в затопленную квартиру.

Шумели краны. Вода в столовой образовала водоворот. В спальне она стояла спокойным прудом, по которому тихо, лебединым ходом, плыли ночные туфли. Сонной рыбьей стайкой сбились в угол окурки.

Воробьяниновский стул стоял в столовой, где было наиболее сильное течение воды. Белые бурунчики образовались у всех его четырех ножек. Стул слегка подрагивал и, казалось, собирался немедленно уплыть от своего преследователя. Остап сел на него и поджал ноги. Пришедший в себя Эрнест Павлович, с криками «пардон! пардон!», закрыл краны, умылся и предстал перед Бендером голый до пояса и в закатанных до колен мокрых брюках.

— Вы меня просто спасли! — возбужденно кричал он.— Извините, не могу подать вам руки, я весь мокрый. Вы знаете, я чуть с ума не сошел.

— К тому, видно, и шло.

— Я очутился в ужасном положении.

И Эрнест Павлович, переживая вновь страшное происшествие, то омрачаясь, то нервно смеясь, рассказал великому комбинатору подробности постигшего его несчастья.

— Если бы не вы, я бы погиб,— закончил инженер.

— Да,— сказал Остап,— со мной тоже был такой случай. Даже похуже немного.

Инженера настолько сейчас интересовало все, что касалось подобных историй, что он даже бросил ведро, которым собирал воду, и стал напряженно слушать.

— Совсем так, как с вами,— начал Бендер,— только было это зимой, и не в Москве, а в Миргороде, в один из веселеньких промежутков между Махно и Тютюником в девятнадцатом году. Жил я в семействе одном. Хохлы отчаянные! Типичные собственники: одноэтажный домик и много разного барахла. Надо вам заметить, что насчет канализации и прочих удобств в Миргороде есть только выгребные ямы. Ну, и выскочил я однажды ночью в одном белье прямо на снег: простуды я не боялся — дело минутное. Выскочил и машинально захлопнул за собой дверь. Мороз — градусов двадцать. Я стучу — не открывают. На месте нельзя стоять: замерзнешь! Стучу и бегаю, стучу и бегаю — не открывают. И, главное, в доме ни одна сатана не спит. Ночь страшная. Собаки воют. Стреляют где-то. А я бегаю по сугробам в летних кальсонах. Целый час стучал. Чуть не подох. И почему, вы думаете, они не открывали? Имущество прятали, зашивали керенки в подушку. Думали, что с обыском. Я их чуть не поубивал потом.

Инженеру все это было очень близко.

— Да,— сказал Остап,— так это вы инженер Щукин?

— Я. Только уж вы, пожалуйста, никому не говорите. Неудобно, право.

— О, пожалуйста! Антр-ну, тет-а-тет. В четыре глаза, как говорят французы. А я к вам по делу, товарищ Щукин.

— Чрезвычайно буду рад вам служить.

— Гран мерси. Дело пустяковое. Ваша супруга просила меня к вам зайти и взять у вас этот стул. Она говорила, что он ей нужен для пары. А вам она собирается прислать кресло.

— Да пожалуйста! — воскликнул Эрнест Павлович. — Я очень рад. И зачем вам утруждать себя? Я могу сам принести. Сегодня же.

— Нет, зачем же! Для меня это — сущие пустяки. Живу я недалеко, для меня это нетрудно.

Инженер засуетился и проводил великого комбинатора до самой двери, переступить которую он страшился, хотя ключ был уже предусмотрительно положен в карман мокрых штанов.

Бывшему студенту Иванопуло был подарен еще один стул. Обшивка его была, правда, немного повреждена, но все же это был прекрасный стул и к тому же точь-в-точь, как первый.

Остапа не тревожила неудача с этим стулом, четвертым по счету. Он знал все штучки судьбы.

В стройную систему его умозаключений темной громадой врезывался только стул, уплывший в глубину товарного двора Октябрьского вокзала. Мысли об этом стуле были неприятны и навевали тягостное сомнение.

Великий комбинатор находился в положении рулеточного игрока, ставящего исключительно на номера, одного из той породы людей, которые желают выиграть сразу в тридцать шесть раз больше своей ставки. Положение было даже хуже: концессионеры играли в такую рулетку, где зеро приходилось на одиннадцать номеров из двенадцати. Да и самый двенадцатый номер вышел из поля зрения, находился черт знает где и, возможно, хранил в себе чудесный выигрыш.

Цепь этих горестных размышлений была прервана приходом главного директора. Уже один его вид возбудил в Остапе нехорошие чувства.

— Ого! — сказал технический руководитель. — Я вижу, что вы делаете успехи. Только не шутите со мной. Зачем вы оставили стул за дверью? Чтобы позабавиться надо мной?

— Товарищ Бендер, — пробормотал предводитель.

— Ах, зачем вы играете на моих нервах! Несите его сюда скорее, несите! Вы видите, что новый стул, на котором я сижу, увеличил ценность вашего приобретения во много раз.

Остап склонил голову набок и сощурил глаза.

— Не мучьте дитю, — забасил он наконец, — где стул? Почему вы его не принесли?

Сбивчивый доклад Ипполита Матвеевича прерывался криками с места, ироническими аплодисментами и каверзными вопросами. Воробьянинов закончил свой доклад под единодушный смех аудитории.

— А мои инструкции? — спросил Остап грозно. — Сколько раз я вам говорил, что красть грешно! Еще тогда, когда вы в Старгороде хотели обокрасть мою жену, мадам Грицацуеву, еще тогда я понял, что у вас мелкоуголовный характер. Самое большое, к чему смогут привести вас эти способности, — это шесть месяцев без строгой изоляции. Для гиганта мысли и отца русской демократии масштаб как будто небольшой, и вот результаты. Стул, который был у вас в руках, выскользнул. Мало того, вы испортили легкое место! Попробуйте нанести туда второй визит. Вам этот Авессалом голову оторвет. Счастье ваше, что вам помог идиотский случай, не то сидели бы вы за решеткой и напрасно ждали бы от меня передачи. Я вам передачу носить не буду, имейте это в виду. Что мне Гекуба? Вы мне в конце концов не мать, не сестра и не любовница.

Ипполит Матвеевич, сознававший все свое ничтожество, стоял понурясь.

— Вот что, дорогуша, я вижу полную бесцельность нашей совместной работы. Во всяком случае, работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из сорока процентов представляется мне абсурдным. Воленс-неволенс, но я должен поставить новые условия.

Ипполит Матвеевич задышал. До этих пор он старался не дышать.

— Да, мой старый друг, вы больны организационным бессилием и бледной немочью. Соответственно этому уменьшаются ваши паи. Честно, хотите — двадцать процентов?

Ипполит Матвеевич решительно замотал головой.

— Почему же вы не хотите? Вам мало?

— М-мало.

— Но ведь это же тридцать тысяч рублей! Сколько же вы хотите?

— Согласен на сорок.

— Грабеж среди бела дня! — сказал Остап, подражая интонациям предводителя во время исторического торга в дворницкой.— Вам мало тридцати тысяч? Вам нужен еще ключ от квартиры?!

— Это вам нужен ключ от квартиры,— пролепетал Ипполит Матвеевич.

— Берите двадцать, пока не поздно, а то я могу раздумать. Пользуйтесь тем, что у меня хорошее настроение.

Воробьянинов давно уже потерял тот самодовольный вид, с которым некогда начинал поиски брильянтов.

Лед, который тронулся еще в дворницкой, лед, гремевший, трескавшийся и ударявшийся о гранит набережной, давно уже измельчал и стаял. Льда уже не было. Была широко разлившаяся вода, которая небрежно несла на себе Ипполита Матвеевича, швыряя его из стороны в сторону, то ударяя его о бревно, то сталкивая его со стульями, то унося от этих стульев. Невыразимую боязнь чувствовал Ипполит Матвеевич. Все пугало его. По реке плыли мусор, нефтяные остатки, пробитые курятники, дохлая рыба, чья-то ужасная шляпа. Может быть, это была шляпа отца Федора, утиный картузик, сорванный с него ветром в Ростове? Кто знает! Конца пути не было видно. К берегу не прибивало, а плыть против течения бывший предводитель дворянства не имел ни сил, ни желания.

Его несло в открытое море приключений.

Глава XXVI

ДВА ВИЗИТА

Подобно распеленутому малютке, который, не останавливаясь ни на секунду, разжимает и сжимает восковые кулачки, двигает ножонками, вертит головой, величиной в крупное антоновское яблоко, одетое в чепчик, и выдувает изо рта пузыри, Авессалом Изнуренков находился в состоянии вечного беспокойства. Он двигал полными ножками, вертел выбритым подбородочком, издавал ахи и производил волосатыми руками такие жесты, будто делал гимнастику на резинках.

Он вел очень хлопотливую жизнь, всюду появлялся и что-то предлагал, несясь по улице, как испуганная курица, быстро говорил вслух, словно высчитывал страховку каменного, крытого железом строения. Сущность его жизни и деятельности заключалась в том, что он органически не мог заняться каким-нибудь делом, предметом или мыслью больше чем на минуту.

Если острота не нравилась и не вызывала мгновенного смеха, Изнуренков не убеждал редактора, как другие, что острота хороша и требует для полной оценки лишь небольшого размышления, он сейчас же предлагал новую остроту.

— Что плохо, то плохо,— говорил он,— кончено.

В магазинах Авессалом Владимирович производил такой сумбур, так быстро появлялся и исчезал на глазах пораженных приказчиков, так экспансивно покупал коробку шоколада, что кассирша ожидала получить с него по крайней мере рублей тридцать. Но Изнуренков, пританцовывая у кассы и хватаясь за галстук, как будто его душили, бросал на стеклянную дощечку измятую трехрублевку и, благодарно блея, убегал.

Если бы этот человек мог остановить себя хоть бы на два часа, произошли бы самые неожиданные события.

Может быть, Изнуренков присел бы к столу и написал прекрасную повесть, а может быть, и заявление в кассу взаимопомощи о выдаче безвозвратной ссуды, или новый пункт к закону о пользовании жилплоща-

дью, или книгу «Уменье хорошо одеваться и вести себя в обществе».

Но сделать этого он не мог. Бешено работающие ноги уносили его, из двигающихся рук карандаш вылетал, как стрела, мысли прыгали.

Изнуренков бегал по комнате, и печати на мебели тряслись, как серьги у танцующей цыганки. На стуле сидела смешливая девушка из предместья.

— Ах, ах,— вскрикивал Авессалом Владимирович,— божественно! «Царица голосом и взором свой пышный оживляет пир...» Ах, ах! Высокий класс!.. Вы — королева Марго.

Ничего этого не понимавшая королева из предместья с уважением смеялась.

— Ну, ешьте шоколад, ну, я вас прошу!.. Ах, ах!.. Очаровательно!

Он поминутно целовал королеве руки, восторгался ее скромным туалетом, совал ей кота и заискивающе спрашивал:

— Правда, он похож на попугая? Лев! Лев! Настоящий лев! Скажите, он действительно пушист до чрезвычайности?.. А хвост! Хвост! Скажите, это действительно большой хвост? Ах!

Потом кот полетел в угол, и Авессалом Владимирович, прижав руки к пухлой молочной груди, стал с кем-то раскланиваться в окошко. Вдруг в его бедовой голове щелкнул какой-то клапан, и он начал вызывающе острить по поводу физических и душевных качеств своей гостьи:

— Скажите, а эта брошка действительно из стекла? Ах! Ах! Какой блеск!.. Вы меня ослепили, честное слово!.. А скажите, Париж действительно большой город? Там действительно Эйфелева башня?.. Ах! Ах!.. Какие руки!.. Какой нос!.. Ах!

Он не обнимал девушку. Ему было достаточно говорить ей комплименты. И он говорил без умолку. Поток их был прерван неожиданным появлением Остапа.

Великий комбинатор вертел в руках клочок бумаги и сурово допрашивал:

— Изнуренков здесь живет? Это вы и есть?

Авессалом Владимирович тревожно вглядывался в каменное лицо посетителя. В его глазах он старался прочесть, какие именно претензии будут сейчас предъявлены: штраф ли это за разбитое при разговоре в трамвае стекло, повестка ли в нарсуд за неплатеж квартирных денег, или прием подписки на журнал для слепых.

— Что же это, товарищ,— жестко сказал Бендер,— это совсем не дело — прогонять казенного курьера.

— Какого курьера? — ужаснулся Изнуренков.

— Сами знаете какого. Сейчас мебель буду вывозить. Попрошу вас, гражданка, очистить стул,— строго проговорил Остап.

Гражданка, над которой только что читали стихи самых лирических поэтов, поднялась с места.

— Нет! Сидите! — закричал Изнуренков, закрывая стул своим телом.— Они не имеют права.

— Насчет прав молчали бы, гражданин. Сознательным надо быть. Освободите мебель! Закон надо соблюдать!

С этими словами Остап схватил стул и потряс им в воздухе.

— Вывожу мебель! — решительно заявил Бендер.

— Нет, не вывозите!

— Как же не вывожу,— усмехнулся Остап, выходя со стулом в коридор,— когда именно вывожу.

Авессалом поцеловал у королевы руку и, наклонив голову, побежал за строгим судьей. Тот уже спускался по лестнице.

— А я вам говорю, что не имеете права. По закону мебель может стоять две недели, а она стояла только три дня! Может быть, я уплачу!

Изнуренков вился вокруг Остапа, как пчела. Таким манером оба очутились на улице. Авессалом Владимирович бежал за стулом до самого угла. Здесь он увидел воробьев, прыгавших вокруг навозной кучи. Он посмотрел на них просветленными глазами, забормотал, всплеснул руками и, заливаясь смехом, произнес:

— Высокий класс! Ах! Ах!.. Какой поворот темы!

Увлеченный разработкой темы, Изнуренков весело повернул назад и, подскакивая, побежал домой. О стуле он вспомнил только дома, застав девушку из предместья стоящей посреди комнаты.

Остап отвез стул на извозчике.

— Учитесь,— сказал он Ипполиту Матвеевичу,— стул взят голыми руками. Даром. Вы понимаете?

После вскрытия стула Ипполит Матвеевич загрустил.

— Шансы все увеличиваются,— сказал Остап,— а денег ни копейки. Скажите, а покойная ваша теща не любила шутить?

— А что такое?

— Может быть, никаких брильянтов нет?

Ипполит Матвеевич так замахал руками, что на нем поднялся пиджачок.

— В таком случае все прекрасно. Будем надеяться, что достояние Иванопуло увеличится еще только на один стул.

— О вас, товарищ Бендер, сегодня в газетах писали,— заискивающе сказал Ипполит Матвеевич.

Остап нахмурился.

Он не любил, когда пресса поднимала вой вокруг его имени.

— Что вы мелете? В какой газете?

Ипполит Матвеевич с торжеством развернул «Станок».

— Вот здесь. В отделе «Что случилось за день».

Остап несколько успокоился, потому что боялся заметок только в разоблачительных отделах: «Наши шпильки» и «Злоупотребителей — под суд».

Действительно, в отделе «Что случилось за день» нонпарелью было напечатано:

ПОПАЛ ПОД ЛОШАДЬ

Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гр. О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом.

— Это извозчик отделался легким испугом, а не я,— ворчливо заметил О. Бендер.— Идиоты! Пишут, пишут — и сами не знают, что пишут. Ах! Это — «Станок». Очень, очень приятно. Вы знаете, Воробьянинов, что эту заметку, может быть, писали, сидя на нашем стуле? Забавная история!

Великий комбинатор задумался.

Повод для визита в редакцию был найден.

Осведомившись у секретаря о том, что все комнаты справа и слева во всю длину коридора заняты редакцией. Остап напустил на себя простецкий вид и предпринял обход редакционных помещений: ему нужно было узнать, в какой комнате находится стул.

Он влез в местком, где уже шло заседание молодых автомобилистов, и так как сразу увидел, что стула там нет, перекочевал в соседнее помещение. В конторе он делал вид, что ожидает резолюции; в отделе рабкоров узнавал, где здесь согласно объявлению продается макулатура; в секретариате выспрашивал условия подписки, а в комнате фельетонистов спросил, где принимают объявления об утере документов.

Таким образом он добрался до комнаты редактора, который, сидя на концессионном стуле, трубил в телефонную трубку.

Остапу нужно было время, чтобы внимательно изучить местность.

— Тут, товарищ редактор, на меня помещена форменная клевета,— сказал Бендер.

— Какая клевета? — спросил редактор.

Остап долго разворачивал экземпляр «Станка». Оглянувшись на дверь, он увидел на ней американский замок. Если вырезать кусочек стекла в двери, то легко можно было бы просунуть руку и открыть замок изнутри.

Редактор прочел указанную Остапом заметку.

— В чем же вы, товарищ, видите клевету?

— Как же! А вот это:

Пострадавший отделался легким испугом.

— Не понимаю.

Остап ласково смотрел на редактора и на стул.

— Стану я пугаться какого-то там извозчика! Опозорили перед всем миром — опровержение нужно.

— Вот что, гражданин,— сказал редактор,— никто вас не позорил, и по таким пустяковым вопросам мы опровержений не даем.

— Ну, все равно, я так этого дела не оставлю,— говорил Остап, покидая кабинет.

Он уже увидел все, что ему было нужно.

Глава XXVII

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ДОПРОВСКАЯ КОРЗИНКА

Старгородское отделение эфемерного «Меча и орала» вместе с молодцами из «Быстроупака» выстроилось в длиннейшую очередь у мучного лабаза «Хлебопродукта».

Прохожие останавливались.

— Куда очередь стоит? — спрашивали граждане.

В нудной очереди, стоящей у магазина, всегда есть один человек, словоохотливость которого тем больше, чем дальше он стоит от магазинных дверей. А дальше всех стоял Полесов.

— Дожили,— говорил брандмейстер,— скоро все на жмых перейдем. В девятнадцатом году и то лучше было. Муки в городе на четыре дня.

Граждане недоверчиво подкручивали усы, вступали с Полесовым в спор и ссылались на «Старгородскую правду».

Доказав Полесову, как дважды два — четыре, что муки в городе сколько угодно и что нечего устраивать панику, граждане бежали домой, брали все наличные деньги и присоединялись к мучной очереди.

Молодцы из «Быстроупака», закупив всю муку в лабазе, перешли на бакалею и образовали чайно-сахарную очередь.

В три дня Старгород был охвачен продовольственным и товарным кризисом. Представители кооперации и госторговли предложили, до прибытия находящегося в пути продовольствия, ограничить отпуск товаров в одни руки по фунту сахара и по пять фунтов муки.

На другой день было изобретено противоядие.

Первым в очереди за сахаром стоял Альхен. За ним — его жена Сашхен, Паша Эмильевич, четыре Яковлевича и все пятнадцать призреваемых старушек в туальденоровых нарядах. Выкачав из магазина Старгико полпуда сахару, Альхен увел свою очередь в другой кооператив, кляня по дороге Пашу Эмильевича, который успел слопать отпущенный на его долю фунт сахарного песку. Паша сыпал сахар горкой на ладонь и отправлял в свою широкую пасть. Альхен хлопотал целый день. Во избежание усушки и раструски он изъял Пашу Эмильевича из очереди и приспособил его для перетаскивания скупленного на привозной рынок. Там Альхен застенчиво перепродавал в частные лавочки добытые сахар, муку, чай и маркизет.

Полесов стоял в очередях главным образом из принципа. Денег у него не было, и купить он все равно ничего не мог. Он кочевал из очереди в очередь, прислушивался к разговорам, делал едкие замечания, многозначительно задирал брови и пророчествовал. Следствием его недомолвок было то, что город наполнили слухи о приезде какой-то с Мечи и Урала подпольной организации.

Губернатор Дядьев заработал в один день десять тысяч. Сколько заработал председатель биржевого комитета Кислярский, не знала даже его жена.

Мысль о том, что он принадлежит к тайному обществу, не давала Кислярскому покоя. Шедшие по городу слухи испугали его вконец. Проведя бессонную ночь, председатель биржевого комитета решил, что только чистосердечное признание может сократить ему срок пребывания в тюрьме.

— Слушай, Генриетта,— сказал он жене,— пора уже переносить мануфактуру к шурину.

— А что, разве придут? — спросила Генриетта Кислярская.

— Могут прийти. Раз в стране нет свободы торговли, то должен же я когда-нибудь сесть?

— Так что, уже приготовить белье? Несчастная моя жизнь! Вечно носить передачу. И почему ты не пойдешь в советские служащие? Ведь шурин состоит членом профсоюза, и — ничего! А этому обязательно нужно быть красным купцом!

Генриетта не знала, что судьба возвела ее мужа в председатели биржевого комитета. Поэтому она была спокойна.

— Может быть, я не приду ночевать,— сказал Кислярский,— тогда ты завтра приходи с передачей. Только, пожалуйста, не приноси вареников. Что мне за удовольствие есть холодные вареники?

— Может быть, возьмешь с собой примус?

— Так тебе и разрешат держать в камере примус! Дай мне мою корзинку.

У Кислярского была специальная допровская корзина. Сделанная по особому заказу, она была вполне универсальна. В развернутом виде она представляла кровать, в полуразвернутом — столик; кроме того, она заменяла шкаф: в ней были полочки, крючки и ящики. Жена положила в универсальную корзину холодный ужин и свежее белье.

— Можешь меня не провожать,— сказал опытный муж.— Если придет Рубенс за деньгами, скажи, что денег нет. До свиданья! Рубенс может подождать.

И Кислярский степенно вышел на улицу, держа за ручку допровскую корзинку.

— Куда вы, гражданин Кислярский? — окликнул Полесов.

Он стоял у телеграфного столба и криками подбадривал рабочего связи, который, цепляясь железными когтями за столб, подбирался к изоляторам.

— Иду сознаваться,— ответил Кислярский.

— В чем?

— В мече и орале.

Виктор Михайлович лишился языка. А Кислярский, выставив вперед свой яйцевидный животик, опоясанный широким дачным поясом с накладным карманчиком для часов, неторопливо пошел в губпрокуратуру.

Виктор Михайлович захлопал крыльями и улетел к Дядьеву.

— Кислярский — провокатор! — закричал брандмейстер.— Только что пошел доносить. Его еще видно.

— Как? И корзинка при нем? — ужаснулся старгородский губернатор.

— При нем.

Дядьев поцеловал жену, крикнул, что если придет Рубенс, денег ему не давать, и стремглав выбежал на улицу. Виктор Михайлович завертелся, застонал, словно курица, снесшая яйцо, и побежал к Владе с Никешей.

Между тем гражданин Кислярский, медленно прогуливаясь, приближался к губпрокуратуре. По дороге он встретил Рубенса и долго с ним говорил.

— А как же деньги? — спросил Рубенс.

— За деньгами придете к жене.

— А почему вы с корзинкой? — подозрительно осведомился Рубенс.

— Иду в баню.

— Ну, желаю вам легкого пара.

Потом Кислярский зашел в кондитерскую ССПО, бывшую «Бонбон де Варсови», выкушал стакан кофе и съел слоеный пирожок. Пора было идти каяться. Председатель биржевого комитета вступил в приемную губпрокуратуры. Там было пусто. Кислярский подошел к двери, на которой было написано: «Губернский прокурор», и вежливо постучал.

— Можно! — ответил хорошо знакомый Кислярскому голос.

Кислярский вошел и в изумлении остановился. Его

яйцевидный животик сразу же опал и сморщился, как финик. То, что он увидел, было полной для него неожиданностью.

Письменный стол, за которым сидел прокурор, окружали члены могучей организации «Меча и орала». Судя по их жестам и плаксивым голосам, они сознавались во всем.

— Вот он,— воскликнул Дядьев,— самый главный октябрист!

— Во-первых,— сказал Кислярский, ставя на пол допровскую корзинку и приближаясь к столу,— во-первых, я не октябрист, затем я всегда сочувствовал советской власти, а в-третьих, главный это не я, а товарищ Чарушников, адрес которого...

— Красноармейская! — закричал Дядьев.

— Номер три! — хором сообщили Владя и Никеша.

— Во двор и налево,— добавил Виктор Михайлович,— я могу показать.

Через двадцать минут привезли Чарушникова, который прежде всего заявил, что никого из присутствующих в кабинете никогда в жизни не видел. Вслед за этим, не сделав никакого перерыва, Чарушников донес на Елену Станиславовну.

Только в камере, переменив белье и растянувшись на допровской корзинке, председатель биржевого комитета почувствовал себя легко и спокойно.

Мадам Грицацуева-Бендер за время кризиса успела запастись пищевыми продуктами и товарами для своей лавчонки по меньшей мере на четыре месяца. Успокоившись, она снова загрустила о молодом супруге, томящемся на заседаниях Малого Совнаркома. Визит к гадалке не внес успокоения.

Елена Станиславовна, встревоженная исчезновением всего старгородского ареопага, метала карты с возмутительной небрежностью. Карты возвещали то конец мира, то прибавку к жалованью, то свидание с мужем в казенном доме и в присутствии недоброжелателя — пикового короля.

Да и самое гадание кончилось как-то странно. Пришли агенты — пиковые короли — и увели прорицательницу в казенный дом, к прокурору.

Оставшись наедине с попугаем, вдовица в смятении собралась было уходить, как вдруг попугай ударил клювом в клетку и первый раз в жизни заговорил человечьим голосом.

— Дожились! — сказал он сардонически, накрыл голову крылом и выдернул из-под мышки перышко.

Мадам Грицацуева-Бендер в страхе кинулась к дверям.

Вдогонку ей полилась горячая, сбивчивая речь. Древняя птица была так поражена визитом агентов и уводом хозяйки в казенный дом, что начала выкрикивать все знакомые ей слова. Наибольшее место в ее репертуаре занимал Виктор Михайлович Полесов.

— При наличии отсутствия,— раздраженно сказала птица.

И, повернувшись на жердочке вниз головой, подмигнула глазом застывшей у двери вдове, как бы говоря: «Ну, как вам это понравится, вдовица?»

— Мать моя! — простонала Грицацуева.

— В каком полку служили? — спросил попугай голосом Бендера.— Кр-р-р-рах... Европа нам поможет.

После бегства вдовы попугай оправил на себе манишку и сказал те слова, которые у него безуспешно пытались вырвать люди в течение тридцати лет:

— Попка дурак!

Вдова бежала по улице и голосила. А дома ее ждал вертлявый старичок.

Это был Варфоломеич.

— По объявлению,— сказал Варфоломеич,— два часа жду, барышня.

Тяжелое копыто предчувствия ударило Грицацуеву в сердце.

— Ох! — запела вдова.— Истомилась душенька!

— От вас, кажется, ушел гражданин Бендер? Вы объявление давали?

Вдова упала на мешки с мукой.

— Какие у вас организмы слабые,— сладко сказал Варфоломеич.— Я бы хотел спервоначалу насчет вознаграждения уяснить себе...

— Ох!.. Все берите! Ничего мне теперь не жалко! — причитала чувствительная вдова.

— Так вот-с. Мне известно пребывание сыночка вашего О. Бендера. Какое вознаграждение будет?

— Все берите! — повторила вдова.

— Двадцать рублей,— сухо сказал Варфоломеич.

Вдова поднялась с мешков. Она была замарана мукой. Запорошенные ресницы усиленно моргали.

— Сколько? — переспросила она.

— Пятнадцать рублей,— спустил цену Варфоломеич.

Он чуял, что и три рубля вырвать у несчастной женщины будет трудно.

Попирая ногами кули, вдова наступала на старичка, призывала в свидетели небесную силу и с ее помощью добилась твердой цены.

— Ну что ж, бог с вами, пусть пять рублей будет. Только деньги попрошу вперед. У меня такое правило.

Варфоломеич достал из записной книжечки две газетных вырезки и, не выпуская их из рук, стал читать:

— Вот извольте посмотреть по порядку. Вы писали, значит: «Умоляю... ушел из дому товарищ Бендер... зеленый костюм, желтые ботинки, голубой жилет...» Правильно ведь? Это «Старгородская правда», значит. А вот что пишут про сыночка вашего в столичных газетах. Вот... «Попал под лошадь...» Да вы не убивайтесь, мадамочка, дальше слушайте... «Попал под лошадь...» Да жив, жив! Говорю вам, жив. Нешто б я за покойника деньги брал бы? Так вот: «Попал под лошадь. Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика № 8974 гражданин О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом...» Так вот, эти документики я вам предоставляю, а вы мне денежки вперед. У меня уж такое правило.

Вдова с плачем отдала деньги. Муж, ее милый муж в желтых ботинках лежал на далекой московской

земле, и огнедышащая извозчичья лошадь била копытом по его голубой гарусной груди.

Чуткая душа Варфоломеича удовлетворилась приличным вознаграждением. Он ушел, объяснив вдове, что дополнительные следы ее мужа безусловно найдутся в редакции газеты «Станок», где, уж конечно, все на свете известно.

ПИСЬМО ОТЦА ФЕДОРА,

писанное в Ростове, в водогрейне «Млечный Путь», жене своей в уездный город N

Милая моя Катя! Новое огорчение постигло меня, но об этом после. Деньги получил вполне своевременно, за что тебя сердечно благодарю. По приезде в Ростов сейчас же побежал по адресу. «Новоросцемент» — весьма большое учреждение, никто там инженера Брунса и не знал. Я уже было совсем отчаялся, но меня надоумили. Идите, говорят, в личный стол. Пошел. «Да,— сказали мне,— служил у нас такой, ответственную работу исполнял, только, говорят, в прошлом году он от нас ушел. Переманили его в Баку, на службу в Азнефть, по делу техники безопасности».

Ну, голубушка моя, не так кратко мое путешествие, как мы думали. Ты пишешь, что деньги на исходе. Ничего не поделаешь, Катерина Александровна. Конца ждать недолго. Вооружись терпением и, помолясь богу, продай мой диагоналевый студенческий мундир. И не такие еще придется нести расходы. Будь готова ко всему.

Дороговизна в Ростове ужасная. За номер в гостинице уплатил 2 р. 25 к. До Баку денег хватит. Оттуда, в случае удачи, телеграфирую.

Погоды здесь жаркие. Пальто ношу на руке. В номере боюсь оставить — того и гляди, украдут. Народ здесь бедовый.

Не нравится мне город Ростов. По количеству народонаселения и по своему географическому положению он значительно уступает Харькову. Но ничего,

матушка, бог даст, и в Москву вместе съездим. Посмотришь тогда — совсем западноевропейский город. А потом заживем в Самаре, возле своего заводика.

Не приехал ли назад Воробьянинов? Где-то он теперь рыщет? Столуется ли еще Евстигнеев? Как моя ряса после чистки? Во всех знакомых поддерживай уверенность, будто я нахожусь у одра тетеньки. Гуленьке напиши то же.

Да! Совсем было позабыл рассказать тебе про страшный случай, происшедший со мной сегодня.

Любуясь тихим Доном, стоял я у моста и возмечтал о нашем будущем достатке. Тут поднялся ветер и унес в реку картузик брата твоего, булочника. Только я его и видел. Пришлось пойти на новый расход: купить английский кепи за 2 р. 50 к. Брату твоему, булочнику, ничего о случившемся не рассказывай. Убеди его, что я в Воронеже.

Плохо вот с бельем приходится. Вечером стираю, а если не высохнет, утром надеваю влажное. При теперешней жаре это даже приятно.

Целую тебя и обнимаю.

Твой вечно муж *Федя.*

Глава XXVIII

КУРОЧКА И ТИХООКЕАНСКИЙ ПЕТУШОК

Репортер Персицкий деятельно готовился к двухсотлетнему юбилею великого математика Исаака Ньютона.

В разгар работы вошел Степа из «Науки и жизни». За ним плелась тучная гражданка.

— Слушайте, Персицкий,— сказал Степа,— к вам вот гражданка по делу пришла. Идите сюда, гражданка, этот товарищ вам объяснит.

Степа, посмеиваясь, убежал.

— Ну? — спросил Персицкий.— Что скажете?

Мадам Грицацуева (это была она) возвела на репортера томные глаза и молча протянула ему бумажку.

— Так,— сказал Персицкий,— ...попал под лошадь... отделался легким испугом... В чем же дело?

— Адрес,— просительно молвила вдова,— нельзя ли адрес узнать?

— Чей адрес?

— О. Бендера.

— Откуда же я знаю?

— А вот товарищ говорил, что вы знаете.

— Ничего я не знаю. Обратитесь в адресный стол.

— А может, вы вспомните, товарищ? В желтых ботинках.

— Я сам в желтых ботинках. В Москве еще двести тысяч человек в желтых ботинках ходят. Может быть, вам нужно узнать их адреса? Тогда пожалуйста. Я брошу всякую работу и займусь этим делом. Через полгода вы будете знать все. Я занят, гражданка.

Но вдова, которая почувствовала к Персицкому большое уважение, шла за ним по коридору и, стуча накрахмаленной нижней юбкой, повторяла свои просьбы.

«Сволочь Степа,— подумал Персицкий.— Ну, ничего, я на него напущу изобретателя вечного движения, он у меня попрыгает».

— Ну что я могу сделать? — раздраженно спросил Персицкий, останавливаясь перед вдовой.— Откуда я могу знать адрес гражданина О. Бендера? Что я — лошадь, которая на него наехала? Или извозчик, которого он на моих глазах ударил по спине?..

Вдова отвечала смутным рокотом, в котором можно было разобрать только «товарищ» и «очень вас».

Занятия в Доме народов уже кончились. Канцелярии и коридоры опустели. Где-то только дошлепывала страницу пищущая машинка.

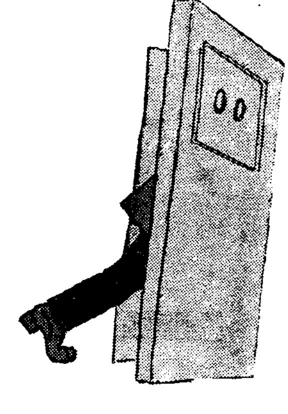
— Пардон, мадам, вы видите, что я занят!

С этими словами Персицкий скрылся в уборной. Погуляв там десять минут, он весело вышел. Грицацуева терпеливо трясла юбками на углу двух коридо-

ров. При приближении Персицкого она снова заговорила.

Репортер осатанел.

— Вот что, тетка,— сказал он,— так и быть, я вам скажу, где ваш О. Бендер. Идите прямо по коридору, потом поверните направо и идите опять прямо. Там будет дверь. Спросите Черепенникова. Он должен знать.



И Персицкий, довольный своей выдумкой, так быстро исчез, что дополнительных сведений крахмальная вдовушка получить не успела.

Расправив юбки, мадам Грицацуева пошла по коридору.

Коридоры Дома народов были так длинны и узки, что идущие по ним невольно ускоряли ход. По любому прохожему можно было узнать, сколько он прошел. Если он шел чуть убыстренным шагом, это значило, что поход его только начат. Прошедшие два или три коридора развивали среднюю рысь. А иногда можно было увидеть человека, бегущего во весь дух: он находился в стадии пятого коридора. Гражданин же, отмахавший восемь коридоров, легко мог соперничать в быстроте с птицей, беговой лошадью и чемпионом мира — бегуном Нурми.

Повернув направо, мадам Грицацуева побежала. Трещал паркет.

Навстречу ей быстро шел брюнет в голубом жилете и малиновых башмаках. По лицу Остапа было видно, что посещение Дома народов в столь поздний час вызвано чрезвычайными делами концессии. Очевидно, в планы технического руководителя не входила встреча с любимой.

При виде вдовушки Бендер повернулся и, не оглядываясь, пошел вдоль стены назад.

— Товарищ Бендер,— закричала вдова в восторге,— куда же вы?

Великий комбинатор усилил ход. Наддала и вдова.

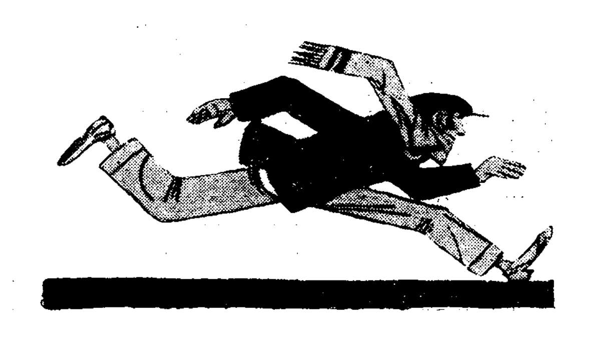
— Подождите, что я скажу,— просила она.

Но слова не долетали до слуха Остапа. В его ушах уже пел и свистал ветер. Он мчался четвертым коридором, проскакивал пролеты внутренних железных лестниц. Своей любимой он оставил только эхо, которое долго повторяли ей лестничные шумы.

— Ну, спасибо,— бурчал Остап, сидя на пятом этаже, —нашла время для рандеву. Кто прислал сюда эту знойную дамочку? Пора уже ликвидировать московское отделение концессии, а то еще, чего доброго, ко мне приедет гусар-одиночка с мотором.

В это время мадам Грицацуева, отделенная от Остапа тремя этажами, тысячью дверей и дюжиной коридоров, вытерла подолом нижней юбки разгоряченное лицо и начала поиски. Сперва она хотела поскорей найти мужа и объясниться с ним. В коридорах зажглись несветлые лампы. Все лампы, все коридоры и все двери были одинаковы. Вдове стало страшно. Ей захотелось уйти.

Подчиняясь коридорной прогрессии, она неслась со все усиливающейся быстротой. Через полчаса уже невозможно было остановиться. Двери президиумов, секретариатов, месткомов, орготделов и редакций с грохотом пролетали по обе стороны ее громоздкого тела. На ходу железными своими юбками она опрокидывала урны для окурков. С кастрюльным шумом урны катились по ее следам. В углах коридоров образовывались



вихри и водовороты. Хлопали растворившиеся форточки. Указующие персты, намалеванные трафаретом на стенах, втыкались в бедную путницу.

Наконец Грицацуева попала на площадку внутренней лестницы. Там было темно, но вдова преодолела страх, сбежала вниз и дернула стеклянную дверь. Дверь была заперта. Вдова бросилась назад. Но дверь, через которую она только что прошла, была тоже закрыта чьей-то заботливой рукой.

В Москве любят запирать двери.

Тысячи парадных подъездов заколочены изнутри досками, и сотни тысяч граждан пробираются в свои квартиры черным ходом. Давно прошел восемнадцатый год, давно уже стало смутным понятие — «налет на квартиру», сгинула подомовая охрана, организованная жильцами в целях безопасности, разрешается проблема уличного движения, строятся огромные электростанции, делаются величайшие научные открытия, но нет человека, который посвятил бы свою жизнь разрешению проблемы закрытых дверей.

Кто тот человек, который разрешит загадку кинематографов, театров и цирков?

Три тысячи человек должны за десять минут войти в цирк через одни-единственные, открытые только в одной своей половине двери. Остальные десять дверей,

специально приспособленных для пропуска больших толп народа,— закрыты. Кто знает, почему они закрыты? Возможно, что лет двадцать назад из цирковой конюшни украли ученого ослика, и с тех пор дирекция в страхе замуровывает удобные входы и выходы. А может быть, когда-то сквозняком прохватило знаменитого короля воздуха, и закрытые двери есть только отголосок учиненного королем скандала.

В театрах и кино публику выпускают небольшими партиями, якобы во избежание затора. Избежать заторов очень легко — стоит только открыть имеющиеся в изобилии выходы. Но вместо того администрация действует, применяя силу. Капельдинеры, сцепившись руками, образуют живой барьер и таким образом держат публику в осаде не меньше получаса. А двери, заветные двери, закрытые еще при Павле Первом, закрыты и поныне.

Пятнадцать тысяч любителей футбола, возбужденные молодецкой игрой сборной Москвы, принуждены продираться к трамваю сквозь щель такую узкую, что один легко вооруженный воин мог бы задержать здесь сорок тысяч варваров, подкрепленных двумя осадными башнями.

Спортивный стадион не имеет крыши, но ворот есть несколько. Открыта только калиточка. Выйти можно, только проломив ворота. После каждого большого соревнования их ломают. Но в заботах об исполнении святой традиции их каждый раз аккуратно восстанавливают и плотно запирают.

Если уже нет никакой возможности привесить дверь (это бывает тогда, когда ее не к чему привесить), пускаются в ход скрытые двери всех видов:

1. Барьеры.
2. Рогатки.
3. Перевернутые скамейки.
4. Заградительные надписи.
5. Веревки.

Барьеры в большом ходу в учреждениях.

Ими преграждается доступ к нужному сотруднику. Посетитель, как тигр, ходит вдоль барьера, стараясь знаками обратить на себя внимание. Это удается не

всегда. А может быть, посетитель принес полезное изобретение! А может быть, и просто хочет уплатить подоходный налог! Но барьер помешал — осталось неизвестным изобретение, и налог остался неуплаченным.

Рогатка применяется на улице.

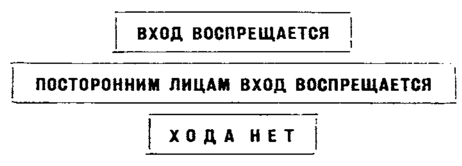
Ставят ее весною на шумной магистрали якобы для ограждения производящегося ремонта тротуара. И мгновенно шумная улица делается пустынной. Прохожие просачиваются в нужные им места по другим улицам. Им ежедневно приходится делать лишний километр, но легкокрылая надежда их не покидает. Лето проходит. Вянет лист. А рогатка все стоит. Ремонт не сделан. И улица пустынна.

Перевернутыми садовыми скамейками преграждают входы в московские скверы, которые по возмутительной небрежности строителей не снабжены крепкими воротами.

О заградительных надписях можно было бы написать целую книгу, но это в планы авторов сейчас не входит.

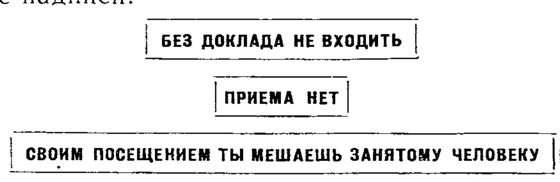
Надписи эти бывают двух родов: прямые и косвенные.

К прямым можно отнести:



Такие надписи иной раз вывешиваются на дверях учреждений, особенно усиленно посещаемых публикой.

Косвенные надписи наиболее губительны. Они не запрещают входа, но редкий смельчак рискнет все-таки воспользоваться своим правом. Вот они, эти позорные надписи:



Там, где нельзя поставить барьера или рогатки, перевернуть скамейки или вывесить заградительную надпись,— там протягиваются веревки. Протягиваются они по вдохновению, в самых неожиданных местах. Если они протянуты на высоте человеческой груди, дело ограничивается легким испугом и несколько нервным смехом. Протянутая же на высоте лодыжки веревка может искалечить человека.

К черту двери! К черту очереди у театральных подъездов! Разрешите войти без доклада! Умоляем снять рогатку, поставленную нерадивым управдомом у своей развороченной панели! Вон перевернутые скамейки! Поставьте их на место! В сквере приятно сидеть именно ночью. Воздух чист, и в голову лезут умные мысли!

Мадам Грицацуева, сидя на лестнице у запертой стеклянной двери в самой середине Дома народов, думала о своей вдовьей судьбе, изредка вздремывала и ждала утра.

Из освещенного коридора через стеклянную дверь на вдову лился желтый свет электрических плафонов. Пепельное утро проникало сквозь окна лестничной клетки.

Был тихий час, когда утро еще молодо и чисто. В этот час Грицацуева услышала шаги в коридоре. Вдова живо поднялась и припала к стеклу. В конце коридора сверкнул голубой жилет. Малиновые башмаки были запорошены штукатуркой. Ветреный сын турецко-подданного, стряхивая с пиджака пылинку, приближался к стеклянной двери.

— Суслик! — позвала вдова.— Су-у-услик!

Она дышала на стекло с невыразимой нежностью. Стекло затуманилось, пошло радужными пятнами. В тумане и радугах сияли голубые и малиновые призраки.

Остап не слышал кукования вдовы. Он почесывал спину и озабоченно крутил головой. Еще секунда — и он пропал бы за поворотом.

Со стоном «товарищ Бендер!» бедная супруга забарабанила по стеклу. Великий комбинатор обернулся.

— А,— сказал он, видя, что отделен от вдовы закрытой дверью,— вы тоже здесь?

— Здесь, здесь,— твердила вдова радостно.

— Обними же меня, моя радость, мы так долго не виделись,— пригласил технический директор.

Вдова засуетилась. Она подскакивала за дверью, как чижик в клетке. Притихшие за ночь юбки опять загремели. Остап раскрыл объятия.

— Что же ты не идешь, моя курочка? Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании Малого Совнаркома.

Вдова была лишена фантазии.

— Суслик,— сказала она в пятый раз.— Откройте мне дверь, товарищ Бендер.

— Тише, девушка! Женщину украшает скромность. К чему эти прыжки?

Вдова мучилась.

— Ну, чего вы терзаетесь? — спрашивал Остап.— Кто вам мешает жить?

— Сам уехал, а сам спрашивает!

И вдова заплакала.

— Утрите ваши глазки, гражданка. Каждая ваша слезинка — это молекула в космосе.

— А я ждала, ждала, торговлю закрыла. За вами поехала, товарищ Бендер...

— Ну, и как вам теперь живется на лестнице? Не дует?

Вдова стала медленно закипать, как большой монастырский самовар.

— Изменщик! — выговорила она, вздрогнув.

У Остапа было еще немного свободного времени. Он защелкал пальцами и, ритмично покачиваясь, тихо пропел:

Частица черта в нас
Заключена подчас!
И сила женских чар
Родит в груди пожар...

— Чтоб тебе лопнуть! — пожелала вдова по окончании танца.— Браслет украл, мужнин подарок. А стул зачем забрал?

— Вы, кажется, переходите на личности? — заметил Остап холодно.

— Украл, украл! — твердила вдова.

— Вот что, девушка: зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал.

— А ситечко кто взял?

— Ах, ситечко! Из вашего неликвидного фонда? И это вы считаете кражей? В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны.

— Унес,— куковала вдова.

— Значит, если молодой, здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей, по слабости здоровья, кухонную принадлежность, то, значит, он вор? Так вас прикажете понимать?

— Вор, вор!

— В таком случае нам придется расстаться. Я согласен на развод.

Вдова кинулась на дверь. Стекла задрожали.

Остап понял, что пора уходить.

— Обниматься некогда,— сказал он,— прощай, любимая! Мы разошлись, как в море корабли.

— Караул!! — завопила вдова.

Но Остап уже был в конце коридора. Он встал на подоконник, тяжело спрыгнул на влажную после ночного дождя землю и скрылся в блистающих физкультурных садах.

На крики вдовы набрел проснувшийся сторож. Он выпустил узницу, пригрозив штрафом.

Глава XXIX

АВТОР «ГАВРИЛИАДЫ»

Когда мадам Грицацуева покидала негостеприимный стан канцелярий, к Дому народов уже стекались служащие самых скромных рангов: курьеры, входящие и исходящие барышни, сменные телефонистки, юные помощники счетоводов и бронеподростки.

Среди них двигался Никифор Ляпис, очень молодой человек с бараньей прической и нескромным взглядом.

Невежды, упрямцы и первичные посетители входили в Дом народов с главного подъезда. Никифор Ляпис проник в здание через амбулаторию. В Доме народов он был своим человеком и знал кратчайшие пути к оазисам, где брызжут светлые ключи гонорара под широколиственной сенью ведомственных журналов.

Прежде всего Никифор Ляпис пошел в буфет. Никелированная касса сыграла матчиш и выбросила три чека. Никифор съел варенец, вскрыв запечатанный бумагой стакан, и кремовое пирожное, похожее на клумбочку. Все это он запил чаем. Потом Ляпис неторопливо стал обходить свои владения.

Первый визит он сделал в редакцию ежемесячного охотничьего журнала «Герасим и Муму». Товарища Наперникова еще не было, и Никифор Ляпис двинулся в «Гигроскопический вестник», еженедельный рупор, посредством которого работники фармации общались с внешним миром.

— Доброе утро,— сказал Никифор.— Написал замечательные стихи.

— О чем? — спросил начальник литстранички.— На какую тему? Ведь вы же знаете, Трубецкой, что у нас журнал...

Начальник для более тонкого определения сущности «Гигроскопического вестника» пошевелил пальцами.

Трубецкой-Ляпис посмотрел на свои брюки из белой рогожи, отклонил корпус назад и певуче сказал:

— «Баллада о гангрене».

— Это интересно,— заметила гигроскопическая персона.— Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики.

Ляпис немедленно задекламировал:

Страдал Гаврила от гангрены,
Гаврила от гангрены слег...

Дальше тем же молодецким четырехстопным ямбом рассказывалось о Гавриле, который по темноте своей не пошел вовремя в аптеку и погиб из-за того, что не смазал ранку йодом.

— Вы делаете успехи, Трубецкой,— одобрил редактор,— но хотелось бы еще больше... Вы понимаете?

Он задвигал пальцами, но страшную балладу взял, обещав уплатить во вторник.

В журнале «Будни морзиста» Ляписа встретили гостеприимно.

— Хорошо, что вы пришли, Трубецкой. Нам как раз нужны стихи. Только — быт, быт, быт. Никакой лирики. Слышите, Трубецкой? Что-нибудь из жизни потельработников и вместе с тем, вы понимаете?..

— Вчера я именно задумался над бытом потельработников. И у меня вылилась такая поэма. Называется: «Последнее письмо». Вот...

Служил Гаврила почтальоном,
Гаврила письма разносил...

История о Гавриле была заключена в семьдесят две строки. В конце стихотворения письмоносец Гаврила, сраженный пулей фашиста, все же доставляет письмо по адресу.

— Где же происходило дело? — спросили Ляписа.

Вопрос был законный. В СССР нет фашистов, за границей нет Гаврил, членов союза работников связи.

— В чем дело? — сказал Ляпис.— Дело происходит, конечно, у нас, а фашист переодетый.

— Знаете, Трубецкой, напишите лучше нам о радиостанции.

— А почему вы не хотите почтальона?

— Пусть полежит. Мы его берем условно.

Погрустневший Никифор Ляпис-Трубецкой пошел снова в «Герасим и Муму». Наперников уже сидел за своей конторкой. На стене висел сильно увеличенный портрет Тургенева, в пенсне, болотных сапогах и с двустволкой наперевес. Рядом с Наперниковым стоял конкурент Ляписа — стихотворец из пригорода.

Началась старая песня о Гавриле, но уже с охотничьим уклоном. Творение шло под названием: «Молитва браконьера».

Гаврила ждал в засаде зайца,
Гаврила зайца подстрелил...

— Очень хорошо! — сказал добрый Наперников.— Вы, Трубецкой, в этом стихотворении превзошли самого Энтиха. Только нужно кое-что исправить. Первое — выкиньте с корнем «молитву».

— И зайца,— сказал конкурент.

— Почему же зайца? — удивился Наперников.

— Потому что не сезон.

— Слышите, Трубецкой, измените и зайца.

Поэма в преображенном виде носила название: «Урок браконьеру», а зайцы были заменены бекасами. Потом оказалось, что бекасов летом тоже не стреляют. В окончательной форме стихи читались:

Гаврила ждал в засаде птицу.
Гаврила птицу подстрелил...
и т. д.

После завтрака в столовой Ляпис снова принялся за работу. Белые брюки мелькали в темноте коридоров. Он входил в редакции и продавал многоликого Гаврилу.

В «Кооперативную флейту» Гаврила был сдан под названием «Эолова флейта».

Служил Гаврила за прилавком.
Гаврила флейтой торговал...

Простаки из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму «На опушке». Начиналась она так:

Гаврила шел кудрявым лесом,
Бамбук Гаврила порубал...

Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции «Работника булки». Поэма носила длинное и грустное название: «О хлебе, качестве продукции и о любимой». Поэма посвящалась загадочной Хине Члек. Начало было попрежнему эпическим:

Служил Гаврила хлебопеком,
Гаврила булку испекал...

Посвящение, после деликатной борьбы, выкинули.

Самое печальное было то, что Ляпису денег нигде не дали. Одни обещали дать во вторник, другие — в

четверг или пятницу — через две недели. Пришлось идти занимать деньги в стан врагов — туда, где Ляписа никогда не печатали.

Ляпис спустился с пятого этажа на второй и вошел в секретариат «Станка». На его несчастье, он сразу же столкнулся с работягой Персицким.

— А! — воскликнул Персицкий.— Ляпсус!

— Слушайте,—сказал Никифор Ляпис, понижая голос,— дайте три рубля. Мне «Герасим и Муму» должен кучу денег.

— Полтинник я вам дам. Подождите. Я сейчас приду.

И Персицкий вернулся, приведя с собой десяток сотрудников «Станка».

Завязался общий разговор.

— Ну, как торговали? — спрашивал Персицкий.

— Написал замечательные стихи!

— Про Гаврилу? Что-нибудь крестьянское? «Пахал Гаврила спозаранку, Гаврила плуг свой обожал»?

— Что Гаврила! Ведь это же халтура! — защищался Ляпис.— Я написал о Кавказе.

— А вы были на Кавказе?

— Через две недели поеду.

— А вы не боитесь, Ляпсус? Там же шакалы!

— Очень меня это пугает! Они же на Кавказе не ядовитые!

После этого ответа все насторожились.

— Скажите, Ляпсус,— спросил Персицкий,— какие, по-вашему, шакалы?

— Да знаю я, отстаньте!

— Ну, скажите, если знаете!

— Ну, такие... В форме змеи.

— Да, да, вы правы, как всегда. По-вашему, ведь седло дикой козы подается к столу вместе со стременами.

— Никогда я этого не говорил! — закричал Трубецкой.

— Вы не говорили. Вы писали. Мне Наперников говорил, что вы пытались всучить ему такие стишата в «Герасим и Муму», якобы из быта охотников. Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении «Кантон» пеньюар — это бальное платье? Почему?!

— Вы — мещанин,— сказал Ляпис хвастливо.

— Почему в стихотворении «Скачка на приз Буденного» жокей у вас затягивает на лошади супонь и после этого садится на облучок? Вы видели когда-нибудь супонь?

— Видел.

— Ну, скажите, какая она!

— Оставьте меня в покое. Вы псих!

— А облучок видели? На скачках были?

— Не обязательно всюду быть! — кричал Ляпис.— Пушкин писал турецкие стихи и никогда не был в Турции.

— О да, Эрзерум ведь находится в Тульской губернии.

Ляпис не понял сарказма. Он горячо продолжал:

— Пушкин писал по материалам. Он прочел историю Пугачевского бунта, а потом написал. А мне про скачки все рассказал Энтих.

После этой виртуозной защиты Персицкий потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Зрители последовали за ними. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой.

— Вы писали этот очерк в «Капитанском мостике»?

— Я писал.

— Это, кажется, ваш первый опыт в прозе? Поздравляю вас! «Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом...» Ну, удружили же вы «Капитанскому мостику»! «Мостик» теперь долго вас не забудет, Ляпис!

— В чем дело?

— Дело в том, что... Вы знаете, что такое домкрат?

— Ну, конечно, знаю, оставьте меня в покое...

— Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами.

— Такой... Падает, одним словом.

— Домкрат падает. Заметьте все! Домкрат стремительно падает! Подождите, Ляпсус, я вам сейчас принесу полтинник. Не пускайте его!

Но и на этот раз полтинник выдан не был. Персицкий притащил из справочного бюро двадцать первый том Брокгауза, от Домиций до Евреинова. Между Домицием, крепостью в великом герцогстве Мекленбург-Шверинском, и Доммелем, рекой в Бельгии и Нидерландах, было найдено искомое слово.

— Слушайте! «Домкрат (нем. Daumkraft) — одна из машин для поднятия значительных тяжестей. Обыкновенный простой Д., употребляемый для поднятия экипажей и т. п., состоит из подвижной зубчатой полосы, которую захватывает шестерня, вращаемая помощью рукоятки...» И так далее. И далее: «Джон Диксон в 1879 г. установил на место обелиск, известный под названием «Иглы Клеопатры», при помощи четырех рабочих, действовавших четырьмя гидравлическими Д.». И этот прибор, по-вашему, обладает способностью стремительно падать? Значит, Брокгауз с Эфроном обманывали человечество в течение пятидесяти лет? Почему вы халтурите, вместо того чтобы учиться? Ответьте!

— Мне нужны деньги.

— Но у вас же их никогда нет. Вы ведь вечно рыщете за полтинником.

— Я купил мебель и вышел из бюджета.

— И много вы купили мебели? Вам за вашу халтуру платят столько, сколько она стоит,— грош!

— Хороший грош! Я такой стул купил на аукционе...

— В форме змеи?

— Нет. Из дворца. Но меня постигло несчастье. Вчера я вернулся ночью домой...

— От Хины Члек? — закричали присутствующие в один голос.

— Хина!.. С Хиной я сколько времени уже не живу. Возвращался я с диспута Маяковского. Прихожу. Окно открыто. Я сразу почувствовал, что что-то случилось.

— Ай-яй-яй! — сказал Персицкий, закрывая лицо руками.— Я чувствую, товарищи, что у Ляпсуса украли его лучший шедевр «Гаврила дворником служил, Гаврила в дворники нанялся».

— Дайте мне договорить. Удивительное хулиганство! Ко мне в комнату залезли какие-то негодяи и распороли всю обшивку стула. Может быть, кто-нибудь займет пятерку на ремонт?

— Для ремонта сочините нового Гаврилу. Я вам даже начало могу сказать. Подождите, подождите...

Сейчас... Вот: «Гаврила стул купил на рынке, был у Гаврилы стул плохой». Скорее запишите. Это можно с прибылью продать в «Голос комода»... Эх, Трубецкой, Трубецкой!.. Да, кстати, Ляпсус, почему вы Трубецкой? Почему вам не взять псевдоним еще получше? Например, Долгорукий! Никифор Долгорукий! Или Никифор Валуа? Или еще лучше: гражданин Никифор Сумароков-Эльстон? Если у вас случится хорошая кормушка, сразу три стишка в «Гермуму», то выход из положения у вас блестящий. Один бред подписывается Сумароковым, другая макулатура — Эльстоном, а третья — Юсуповым... Эх вы, халтурщик!..

Глава XXX

В ТЕАТРЕ КОЛУМБА

Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок.

В комнате Иванопуло было так жарко, что высохшие воробьяниновские стулья потрескивали, как дрова в камине. Великий комбинатор отдыхал, подложив под голову голубой жилет.

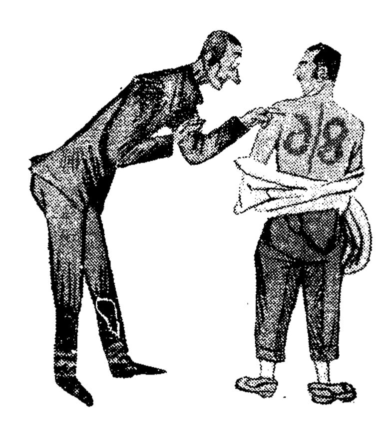
Ипполит Матвеевич смотрел в окно. Там, по кривым переулкам, мимо крошечных московских садов, проносилась гербовая карета. В черном ее лаке попеременно отражались кланяющиеся прохожие: кавалергард с медной головой, городские дамы и пухлые белые облачка. Громя мостовую подковами, лошади понесли карету мимо Ипполита Матвеевича. Он отвернулся с разочарованием.

Карета несла на себе герб МКХ, предназначалась для перевозки мусора, и ее дощатые стенки ничего не отражали.

На козлах сидел бравый старик с пушистой седой бородой. Если бы Ипполит Матвеевич знал, что кучер не кто иной, как граф Алексей Буланов, знамени-

тый гусар-схимник, он, вероятно, окликнул бы старика, чтобы поговорить с ним о прелестных прошедших временах.

Граф Алексей Буланов был сильно озабочен. Нахлестывая лошадей, он грустно размышлял о бюрократизме, разъедающем ассенизационный подотдел, из-за которого графу вот уже полгода как не выдавали положенного по гендоговору спецфартука.



— Послушайте,— сказал вдруг великий комбинатор,— как вас звали в детстве?

— А зачем вам?

— Да так! Не знаю, как вас называть. Воробьяниновым звать вас надоело, а Ипполитом Матвеевичем — слишком кисло. Как же вас звали? Ипа?

— Киса,— ответил Ипполит Матвеевич, усмехаясь.

— Конгениально. Так, вот что, Киса,— посмотрите, пожалуйста, что у меня на спине. Болит между лопатками.

Остап стянул через голову рубашку «ковбой». Перед Кисой Воробьяниновым открылась обширная спина захолустного Антиноя, спина очаровательной формы, но несколько грязноватая.

— Ого,— сказал Ипполит Матвеевич,— краснота какая-то.

Между лопатками великого комбинатора лиловели и переливались нефтяной радугой синяки странных очертаний.

— Честное слово, цифра восемь! — воскликнул Воробьянинов.— Первый раз вижу такой синяк.

— А другой цифры нет? — спокойно спросил Остап.

— Как будто бы буква Р.

— Вопросов больше не имею. Все понятно. Проклятая ручка! Видите, Киса, как я страдаю, каким опасностям подвергаюсь из-за ваших стульев. Эти арифметические знаки нанесены мне большой самопадающей ручкой с пером номер восемьдесят шесть. Нужно вам заметить, что проклятая ручка упала на мою спину в ту самую минуту, когда я погрузил руки во внутренность редакторского стула. А вы, ничего-то вы толком не умеете. Изнуренковский стул кто изгадил так, что мне потом пришлось за вас отдуваться? Об аукционе я уж и не говорю. Нашли время для кобеляжа! В вашем возрасте кобелировать просто вредно! Берегите свое здоровье!.. То ли дело я! За мною — стул вдовицы. За мною — два щукинских. Изнуренковский стул в конечном итоге сделал я! В редакцию и к Ляпису я ходил! И только один-единственный стул вы довели до победного конца, да и то при помощи нашего священного врага — архиепископа.

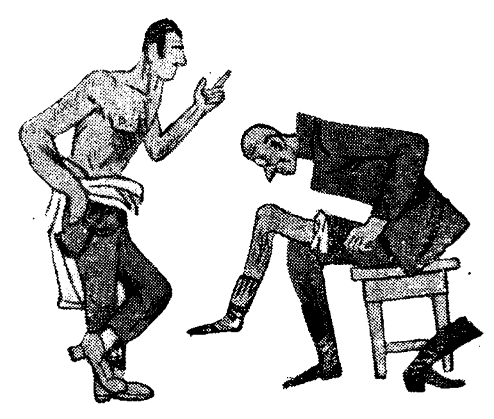
Неслышно ступая по комнате босыми ногами, технический директор вразумлял покорного Кису.

Стул, исчезнувший в товарном дворе Октябрьского вокзала, по-прежнему оставался темным пятном на сверкающем плане концессионных работ. Четыре стула в театре Колумба представляли верную добычу. Но театр уезжал в поездку по Волге с тиражным пароходом «Скрябин» и сегодня показывал премьеру «Женитьбы» последним спектаклем сезона. Нужно было решить — оставаться ли в Москве для розысков пропавшего в просторах Каланчевской площади стула или выехать вместе с труппой в гастрольное турне. Остап склонялся к последнему.

— А то, может быть, разделимся? — спросил Остап.— Я поеду с театром, а вы оставайтесь и проследите за стулом в товарном дворе.

Но Киса так трусливо моргал седыми ресницами, что Остап не стал продолжать.

— Из двух зайцев,— сказал он,— выбирают того, который пожирнее. Поедем вместе. Но расходы будут велики. Нужны будут деньги. У меня осталось шестьдесят рублей. У вас сколько? Ах, я забыл! В ваши годы девичья любовь так дорого стоит! Постановляю: сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак. Если стулья еще на месте и их не продали за долги соцстраху, завтра же мы



выезжаем. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Приближается финита-ля-комедия, Воробьянинов! Не дышите, мой старый друг! Равнение на рампу! О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний! Сколько интриг! Сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета! Одним словом, заседание продолжается!

Из экономии шли в театр пешком. Еще было совсем светло, но фонари уже сияли лимонным светом. На глазах у всех погибала весна. Пыль гнала ее с площадей, жаркий ветерок оттеснял ее в переулок. Там старушки приголубливали красавицу и пили с ней чай во двориках, за круглыми столами. Но жизнь весны кончилась — в люди ее не пускали. А ей так хотелось

к памятнику Пушкина, где уже прогуливались молодые люди в пестреньких кепках, брюках-дудочках, галстуках «собачья радость» и ботиночках «джимми».

Девушки, осыпанные лиловой пудрой, циркулировали между храмом МСПО и кооперативом «Коммунар» (между б. Филипповым и б. Елисеевым). Девушки внятно ругались. В этот час прохожие замедляли шаги, но не только потому, что Тверская становилась тесна. Московские лошади были не лучше старгородских: они так же нарочно постукивали копытами по торцам мостовой. Велосипедисты бесшумно летели со стадиона «Юных пионеров», с первого большого междугородного матча. Мороженщик катил свой зеленый сундук, полный майского грома, боязливо косясь на милиционера; но милиционер, скованный светящимся семафором, которым регулировал уличное движение, был неопасен.

Во всей этой сутолоке двигались два друга. Соблазны возникали на каждом шагу. В крохотных обжорочках на виду у всей улицы жарили шашлыки карские, кавказские и филейные. Горячий и пронзительный дым восходил к светленькому небу. Из пивных, ресторанчиков и кино «Великий немой» неслась струнная музыка. У трамвайной остановки горячился громкоговоритель.

Нужно было торопиться. Друзья вступили в гулкий вестибюль театра Колумба.

Воробьянинов бросился к кассе и прочел расценку на места.

— Все-таки,— сказал он,— очень дорого. Шестнадцатый ряд — три рубля.

— Как я не люблю,— заметил Остап,— этих мещан, провинциальных простофиль! Куда вы полезли? Разве вы не видите, что это касса?

— Ну а куда же? Ведь без билета не пустят!

— Киса, вы пошляк. В каждом благоустроенном театре есть два окошечка. В окошечко кассы обращаются только влюбленные и богатые наследники. Остальные граждане (их, как можете заметить, подавляющее большинство) обращаются непосредственно в окошечко администратора.

И действительно, перед окошечком кассы стояло человек пять скромно одетых людей. Возможно, это были богатые наследники или влюбленные. Зато у окошечка администратора господствовало оживление. Там стояла цветная очередь. Молодые люди, в фасонных пиджаках и брюках того покроя, который провинциалу может только присниться, уверенно размахивали записочками от знакомых им режиссеров, артистов, редакций, театрального костюмера, начальника района милиции и прочих, тесно связанных с театром лиц, как-то: членов ассоциации теа- и кинокритиков, общества «Слезы бедных матерей», школьного совета «мастерской циркового эксперимента» и какого-то «Фортинбраса при Умслопогасе». Человек восемь стояли с записками от Эспера Эклеровича.

Остап врезался в очередь, растолкал фортинбрасовцев и, крича: «Мне только справку, вы не видите, что я даже калош не снял»,— пробился к окошечку и заглянул внутрь.

Администратор трудился, как грузчик. Светлый брильянтовый пот орошал его жирное лицо. Телефон тревожил его поминутно и звонил с упорством трамвайного вагона, пробирающегося через Смоленский рынок.

— Скорее,— крикнул он Остапу,— вашу бумажку!

— Два места,— сказал Остап тихо,— в партере.

— Кому?

— Мне!

— А кто вы такой, чтоб я давал вам места?

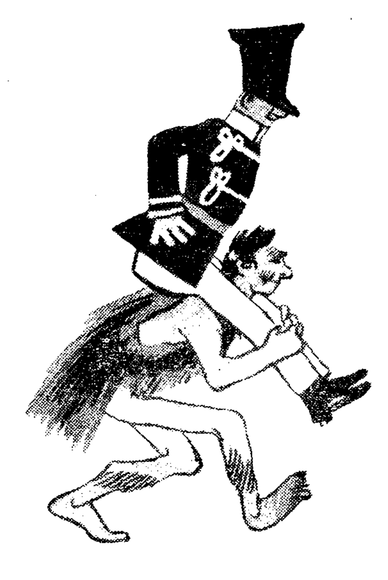
— А я все-таки думаю, что вы меня знаете.

— Не узнаю.

Но взгляд незнакомца был так чист, так ясен, что рука администратора сама отвела Остапу два места в одиннадцатом ряду.

— Ходят всякие,— сказал администратор, пожимая плечами,— кто их знает, кто они такие! Может быть, он из Наркомпроса? Кажется, я его видел в Наркомпросе. Где я его видел?

И, машинально выдавая пропуска счастливым теа- и кинокритикам, притихший Яков Менелаевич



продолжал вспоминать, где он видел эти чистые глаза.

Когда все пропуска были выданы и в фойе уменьшили свет, Яков Менелаевич вспомнил: эти чистые глаза, этот уверенный взгляд он видел в Таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу.

Из одиннадцатого ряда, где сидели концессионеры, послышался смех. Остапу понравилось музыкальное вступление, исполненное оркестрантами на бутылках, кружках Эсмарха, саксофонах и больших полковых барабанах. Свистнула флейта, и занавес, навевая прохладу, расступился.

К удивлению Воробьянинова, привыкшего к классической интерпретации «Женитьбы», Подколесина на сцене не было. Порыскав глазами, Ипполит Матвеевич увидел свисающие с потолка фанерные прямоугольники, выкрашенные в основные цвета солнечного спектра. Ни дверей, ни синих кисейных окон не было. Под разноцветными прямоугольниками танцевали дамочки в больших, вырезанных из черного картона шляпах. Бутылочные стоны вызвали на сцену Подколесина, который врезался в толпу верхом на Степане. Подколесин был наряжен в камергерский мундир. Разогнав дамочек словами, которые в пьесе не значились, Подколесин возопил:

— Степа-ан!

Одновременно с этим он прыгнул в сторону и замер в трудной позе. Кружки Эсмарха загремели.

— Степа-а-ан!! — повторил Подколесин, делая новый прыжок.

Но так как Степан, стоящий тут же и одетый в барсову шкуру, не откликался, Подколесин трагически спросил:

— Что же ты молчишь, как Лига наций?

— Очевидно, я Чемберлена испужался,— ответил Степан, почесывая шкуру.

Чувствовалось, что Степан оттеснит Подколесина и станет главным персонажем осовремененной пьесы.

— Ну что, шьет портной сюртук?

Прыжок. Удар по кружкам Эсмарха. Степан с усилием сделал стойку на руках и в таком положении ответил:

— Шьет!

Оркестр сыграл попурри из «Чио-Чио-Сан». Все это время Степан стоял на руках. Лицо его залилось краской.

— А что,— спросил Подколесин,— не спрашивал ли портной, на что, мол, барину такое хорошее сукно?

Степан, который к тому времени сидел уже в оркестре и обнимал дирижера, ответил:

— Нет, не спрашивал. Разве он депутат английского парламента?

— А не спрашивал ли портной, не хочет ли, мол, барин жениться?

— Портной спрашивал, не хочет ли, мол, барин платить алименты.

После этого свет погас, и публика затопала ногами. Топала она до тех пор, покуда со сцены не послышался голос Подколесина:

— Граждане! Не волнуйтесь! Свет потушили нарочно, по ходу действия. Этого требует вещественное оформление.

Публика покорилась. Свет так и не зажигался до конца акта. В полной темноте гремели барабаны. С фонарями прошел отряд военных в форме гостиничных швейцаров. Потом, как видно — на верблюде, приехал Кочкарев. Судить обо всем этом можно было из следующего диалога:

— Фу, как ты меня испугал! А еще на верблюде приехал!

— Ах, ты заметил, несмотря на темноту?! А я хотел преподнести тебе сладкое вер-*блюдо!*

В антракте концессионеры прочли афишу:

ЖЕНИТЬБА

Текст — Н. В. Гоголя
Стихи — М. Шершеляфамова
Литмонтаж — И. Антиохийского
Музыкальное сопровождение — Х. Иванова
Автор спектакля — Ник. Сестрин
Вещественное оформление — *Симбиевич-Синдиевич*

Свет — *Платон Плащук.* Звуковое оформление — *Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина* и *Залкинда.* Грим—мастерской *Крулт.* Парики — *Фома Кочура.* Мебель — древесных мастерских *Фортинбраса* при Умслопогасе им. Валтасара. Инструктор акробатики — *Жоржетта Тираспольских.* Гидравлический пресс — под управлением монтера *Мечникова.*

Афиша набрана, сверстана и отпечатана
в школе ФЗУ КРУЛТ

— Вам нравится? — робко спросил Ипполит Матвеевич.

— А вам?

— Очень интересно, только Степан какой-то странный.

— А мне не понравилось,—сказал Остап,—в особенности то, что мебель у них каких-то мастерских Вогопаса. Не приспособили ли они наши стулья на новый лад?

Эти опасения оказались напрасными. В начале же второго акта все четыре стула были вынесены на сцену неграми в цилиндрах.

Сцена сватовства вызвала наибольший интерес зрительного зала. В ту минуту, когда на протянутой через весь зал проволоке начала спускаться Агафья Тихоновна, страшный оркестр Х. Иванова произвел такой шум, что от него одного Агафья Тихоновна дол-

жна была бы упасть в публику. Однако Агафья держалась на сцене прекрасно. Она была в трико телесного цвета и мужском котелке. Балансируя зеленым зонтиком с надписью: «Я хочу Подколесина», она переступала по проволоке, и снизу всем были видны ее грязные подошвы. С проволоки она спрыгнула прямо на стул. Одновременно с этим все негры, Подколесин, Кочкарев в балетных пачках и сваха в костюме вагоновожатого сделали обратное сальто. Затем все отдыхали пять минут, для сокрытия чего был снова погашен свет.

Женихи были очень смешны, в особенности — Яичница. Вместо него выносили большую яичницу на сковороде. На моряке была мачта с парусом.

Напрасно купец Стариков кричал, что его душат патент и уравнительный. Он не понравился Агафье Тихоновне. Она вышла замуж за Степана. Оба принялись уписывать яичницу, которую подал им обратившийся в лакея Подколесин. Кочкарев с Феклой спели куплеты про Чемберлена и про алименты, которые британский министр взимает с Германии. На кружках Эсмарха сыграли отходную. И занавес, навевая прохладу, захлопнулся.

— Я доволен спектаклем,— сказал Остап,— стулья в целости. Но нам медлить нечего. Если Агафья Тихоновна будет ежедневно на них гукаться, то они недолго проживут.

Молодые люди в фасонных пиджаках, толкаясь и смеясь, вникали в тонкости вещественного и звукового оформления.

— Ну,— сказал Остап,— вам, Кисочка, надо бай-бай. Завтра с утра нужно за билетами становиться. Театр в семь вечера выезжает ускоренным в Нижний. Так что вы берите два жестких места для сиденья до Нижнего, Курской дороги. Не беда — посидим. Всего одна ночь.

На другой день весь театр Колумба сидел в буфете Курского вокзала. Симбиевич-Синдиевич, приняв меры к тому, чтобы вещественное оформление пошло

этим же поездом, закусывал за столиком. Вымочив в пиве усы, он тревожно спрашивал монтера:

— Что, гидравлический пресс не сломают в дороге?

— Беда с этим прессом,— отвечал Мечников,— работает он у нас пять минут, а возить его целое лето придется.

— А с «прожектором времен» тебе легче было, из пьесы «Порошок идеологии»?

— Конечно, легче. Прожектор хоть и больше был, но зато не такой ломкий.

За соседним столиком сидела Агафья Тихоновна, молоденькая девушка с ногами твердыми и блестящими, как кегли. Вокруг нее хлопотало звуковое оформление — Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд.

— Вы вчера мне не в ногу подавали,— жаловалась Агафья Тихоновна,— я так и свалиться могу.

Звуковое оформление загалдело:

— Что ж делать! Две кружки лопнули!

— Разве теперь достанешь заграничную кружку Эсмарха? — кричал Галкин.

— Зайдите в Госмедторг. Не то что кружки Эсмарха, термометра купить нельзя! — поддержал Палкин.

— А вы разве и на термометрах играете? — ужаснулась девушка.

— На термометрах мы не играем,— заметил Залкинд,— но из-за этих проклятых кружек прямо-таки заболеваешь — приходится мерить температуру.

Автор спектакля и главный режиссер Ник. Сестрин прогуливался с женою по перрону. Подколесин с Кочкаревым хлопнули по три рюмки и наперебой ухаживали за Жоржеттой Тираспольских.

Концессионеры, пришедшие за два часа до отхода поезда, совершили уже пятый рейс вокруг сквера, разбитого перед вокзалом.

Голова у Ипполита Матвеевича кружилась. Погоня за стульями входила в решающую стадию. Удлиненные тени лежали на раскаленной мостовой. Пыль садилась на мокрые, потные лица. Подкатывали пролетки. Пахло бензином. Наемные машины высаживали пассажиров. Навстречу им выбегали Ермаки Тимо-

феевичи, уносили чемоданы, и овальные бляхи их сияли на солнце. Муза дальних странствий хватала людей за горло.

— Ну, пойдем и мы,— сказал Остап.

Ипполит Матвеевич покорно согласился. Тут он столкнулся лицом к лицу с гробовых дел мастером Безенчуком.

— Безенчук! — сказал он в крайнем удивлении.— Ты как сюда попал?

Безенчук снял шапку и радостно остолбенел.

— Господин Воробьянинов! — закричал он.— Почет дорогому гостю!

— Ну, как дела?

— Плохи дела,— ответил гробовых дел мастер.

— Что же так?

— Клиента ищу. Не идет клиент.

— «Нимфа» перебивает?

— Куды ей! Она меня разве перебьет? Случаев нет. После вашей тещеньки один только «Пьер и Константин» перекинулся.

— Да что ты говоришь? Неужели умер?

— Перекинулся, Ипполит Матвеевич. На посту своем перекинулся. Брил аптекаря нашего Леопольда и перекинулся. Люди говорили — разрыв внутренности произошел, а я так думаю, что покойник от этого аптекаря лекарством надышался и не выдержал.

— Ай-яй-яй,— бормотал Ипполит Матвеевич,— ай-яй-яй! Ну, что ж, значит, ты его и похоронил?

— Я и похоронил. Кому же другому? Разве «Нимфа», туды ее в качель, кисть дает?

— Одолел, значит?

— Одолел. Только били меня потом. Чуть сердце у меня не выбили. Милиция отняла. Два дня лежал, спиртом лечился.

— Растирался?

— Нам растираться не к чему.

— А сюда тебя зачем принесло?

— Товар привез.

— Какой же товар?

— Свой товар. Проводник знакомый помог провезти задаром в почтовом вагоне. По знакомству.

Ипполит Матвеевич только сейчас заметил, что поодаль Безенчука на земле стоял штабель гробов. Иные были с кистями, иные — так. Один из них Ипполит Матвеевич быстро опознал. Это был большой дубовый и пыльный гроб с безенчуковской витрины.

— Восемь штук,— сказал Безенчук самодовольно,— один к одному. Как огурчики.

— А кому тут твой товар нужен? Тут своих мастеров довольно.

— А гриб?

— Какой гриб?

— Эпидемия. Мне Прусис сказал, что в Москве гриб свирепствует, что хоронить людей не в чем. Весь материал перевели. Вот я и решил дела поправить.

Остап, прослушавший весь этот разговор с любопытством, вмешался:

— Слушай, ты, папаша, это в Париже грипп свирепствует.

— В Париже?

— Ну да. Поезжай в Париж. Там подмолотишь! Правда, будут некоторые затруднения с визой, но ты, папаша, не грусти. Если Бриан тебя полюбит, ты заживешь недурно: устроишься лейб-гробовщиком при парижском муниципалитете. А здесь и своих гробовщиков хватит.

Безенчук дико огляделся. Действительно, на площади, несмотря на уверения Прусиса, трупы не валялись, люди бодро держались на ногах, и некоторые из них даже смеялись.

Поезд давно уже унес и концессионеров, и театр Колумба, и прочую публику, а Безенчук все еще ошалело стоял над своими гробами. В наступившей темноте его глаза горели желтым неугасимым огнем.

Часть третья

СОКРОВИЩЕ МАДАМ ПЕТУХОВОЙ

Глава XXXI

ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ НА ВОЛГЕ

Влево от пассажирских дебаркадеров Волжского государственного речного пароходства, под надписью: «Чаль за кольца, решетку береги, стены не касайся», стоял великий комбинатор со своим другом и ближайшим помощником Кисой Воробьяниновым.

Над пристанями хлопали флаги. Дым, курчавый как цветная капуста, валил из пароходных труб. Шла погрузка парохода «Антон Рубинштейн», стоявшего у дебаркадера № 2. Грузчики вонзали железные когти в тюки хлопка, на пристани выстроились в каре чугунные горшки, лежали мокросоленые кожи, бунты проволоки, ящики с листовым стеклом, клубки сноповязального шпагата, жернова, двухцветные костистые сельскохозяйственные машины, деревянные вилы, обшитые дерюгой корзинки с молодой черешней и сельдяные бочки. «Скрябина» не было. Это очень беспокоило Ипполита Матвеевича.

— Что вы переживаете? — спросил Остап.— Вообразите, что «Скрябин» здесь. Ну, как вы на него попадете? Если бы у нас даже были деньги на покупку билета, то и тогда бы ничего не вышло. Пароход этот пассажиров не берет.

Остап еще в поезде успел побеседовать с завгидропрессом, монтером Мечниковым, и узнал от него все.

Пароход «Скрябин», заарендованный Наркомфином, должен был совершать рейс от Нижнего до Царицына, останавливаясь у каждой пристани и производя тираж выигрышного займа. Для этого из Москвы выехало целое учреждение: тиражная комиссия, канцелярия, духовой оркестр, кинооператор, корреспонденты центральных газет и театр Колумба. Театру предстояло в пути показывать пьесы, в которых популяризовалась идея госзаймов. До Сталинграда театр поступал на полное довольствие тиражной комиссии, а затем собирался, на свой страх и риск, совершить большую гастрольную поездку по Кавказу и Крыму с «Женитьбой».

«Скрябин» опоздал. Обещали, что он придет из затона, где делались последние приготовления, только к вечеру. Поэтому весь аппарат, прибывший из Москвы, в ожидании погрузки устроил бивак на пристани.

Нежные создания с чемоданчиками и портпледами сидели на бунтах проволоки, сторожа свои ундервуды, и с опасением поглядывали на крючников. На жернове примостился гражданин с фиолетовой эспаньолкой. На коленях у него лежала стопка эмалированных дощечек. На верхней из них любопытный мог бы прочесть:

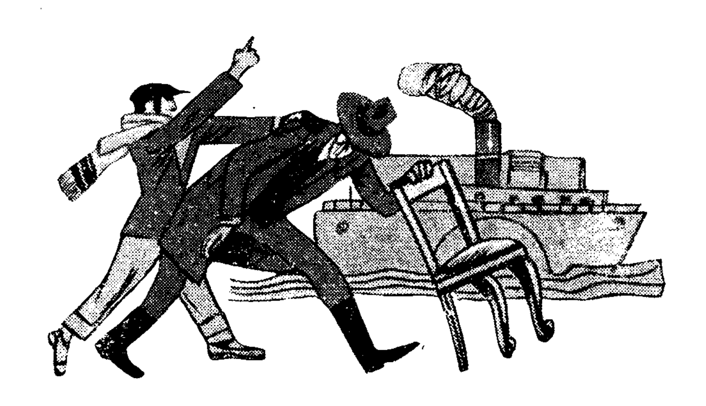
ОТДЕЛ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ

Письменные столы на тумбах и другие столы, более скромные, стояли друг на друге. У запечатанного несгораемого шкафа прогуливался часовой. Представитель «Станка» Персицкий смотрел в цейсовский бинокль с восьмикратным увеличением на территорию ярмарки.

Разворачиваясь против течения, подходил пароход «Скрябин». На бортах своих он нес фанерные щиты с радужными изображениями гигантских облигаций. Пароход заревел, подражая крику мамонта, а может быть, и другого животного, заменявшего в доисторические времена пароходную сирену.

Финансово-театральный бивак оживился. По городским спускам бежали тиражные служащие. В облаке пыли катился к пароходу толстенький Платон Пла-

щук. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд выбежали из трактира «Плот». Над несгораемой кассой уже трудились крючники. Инструктор акробатики Жоржетта Тираспольских гимнастическим шагом взбежала по сходням. Симбиевич-Синдиевич, в заботах о вещественном оформлении, простирал руки то к кремлевским высотам, то к капитану, стоявшему на мостике.



ке. Кинооператор пронес свой аппарат высоко над головами толпы и еще на ходу требовал отвода четырехместной каюты для устройства в ней лаборатории.

В общей свалке Ипполит Матвеевич пробрался к стульям и, будучи вне себя, поволок было один стул в сторонку.

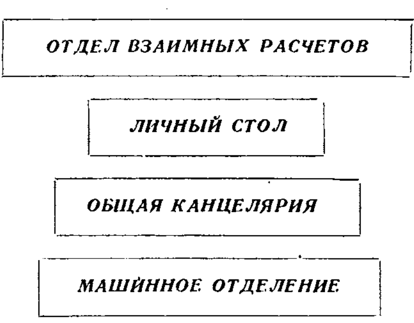
— Бросьте стул! — завопил Бендер.— Вы что, с ума спятили? Один стул возьмем, а остальные пропадут для нас навсегда. Подумали бы лучше о том, как попасть на пароход.

По дебаркадеру прошли музыканты, опоясанные медными трубами. Они с отвращением смотрели на саксофоны, флексотоны, пивные бутылки и кружки Эсмарха, которыми было вооружено звуковое оформление.

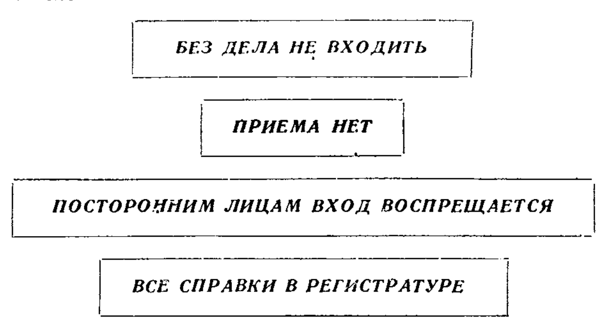
Тиражные колеса были привезены на фордовском фургончике. Это была сложная конструкция, составленная из шести вращающихся цилиндров, сверкающая медью и стеклом. Установка ее на нижней палубе заняла много времени.

Топот и перебранка продолжались до позднего вечера.

В тиражном зале устраивали эстраду, приколачивали к стенам плакаты и лозунги, расставляли деревянные скамьи для посетителей и сращивали электропровода с тиражными колесами. Письменные столы разместили на корме, а из каюты машинисток вперемежку со смехом слышалось цоканье пишущих машинок. Бледный человек с фиолетовой эспаньолкой ходил по всему пароходу и навешивал на соответствующие двери свои эмалированные таблицы:



К большим табличкам человек с эспаньолкой присобачивал таблички поменьше:



Салон первого класса был оборудован под выставку денежных знаков и бон. Это вызвало взрыв негодования у Галкина, Палкина, Малкина, Чалкина и Залкинда.

— Где же мы будем обедать? — волновались они.— А если дождь?

— Ой,— сказал Ник. Сестрин своему помощнику,— не могу!.. Как ты думаешь, Сережа, мы не сможем обойтись без звукового оформления?

— Что вы, Николай Константинович! Артисты к ритму привыкли.

Тут поднялся новый галдеж. Пятерка пронюхала, что все четыре стула автор спектакля утащил в свою каюту.

— Так, так,— говорила пятерка с иронией,— а мы должны будем репетировать, сидя на койках, а на четырех стульях будет сидеть Николай Константинович со своей женой Густой, которая никакого отношения к нашему коллективу не имеет. Может, мы тоже хотим иметь в поездке своих жен!

С берега на тиражный пароход зло смотрел великий комбинатор.

Новый взрыв кликов достиг ушей концессионеров.

— Почему же вы мне раньше не сказали?! — кричал член комиссии.

— Откуда я мог знать, что он заболеет.

— Это черт знает что! Тогда поезжайте в рабис и требуйте, чтобы нам экстренно командировали художника.

— Куда же я поеду? Сейчас шесть часов. Рабис давно закрыт. Да и пароход через полчаса уходит.

— Тогда сами будете рисовать. Раз вы взяли на себя ответственность за украшение парохода, извольте отдуваться как хотите.

Остап уже бежал по сходням, расталкивая локтями крючников, барышень и просто любопытных. При входе его задержали:

— Пропуск!

— Товарищ! — заорал Бендер.— Вы! Вы! Толстенький! Которому художник нужен!

Через пять минут великий комбинатор сидел в белой каюте толстенького заведующего хозяйством плавучего тиража и договаривался об условиях работы.

— Значит, товарищ,— говорил толстячок,— нам от вас потребуется следующее: исполнение художествен-

ных плакатов, надписей и окончание транспаранта. Наш художник начал его делать и заболел. Мы его оставили здесь в больнице. Ну, конечно, общее наблюдение за художественной частью. Можете вы это взять на себя? Причем предупреждаю — работы много.

— Да, я могу взять это на себя. Мне приходилось выполнять такую работу.

— И вы можете сейчас же ехать с нами?

— Это будет трудновато, но я постараюсь.

Большая и тяжелая гора свалилась с плеч заведующего хозяйством. Испытывая детскую легкость, толстяк смотрел на нового художника лучезарным взглядом.

— Ваши условия? — спросил Остап дерзко.— Имейте в виду, я не похоронная контора.

— Условия сдельные. По расценкам рабиса.

Остап поморщился, что стоило ему большого труда.

— Но, кроме того, еще бесплатный стол,— поспешно добавил толстунчик,— и отдельная каюта.

— Ну, ладно,— сказал Остап со вздохом,— соглашаюсь. Но со мною еще мальчик, ассистент.

— Насчет мальчика вот не знаю. На мальчика кредита не отпущено. На свой счет — пожалуйста. Пусть живет в вашей каюте.

— Ну, пускай по-вашему. Мальчишка у меня шустрый. Привык к спартанской обстановке.

Остап получил пропуск на себя и на шустрого мальчика, положил в карман ключ от каюты и вышел на горячую палубу. Он чувствовал немалое удовлетворение при прикосновении к ключу. Это было первый раз в его бурной жизни. Ключ и квартира были. Не было только денег. Но они находились тут же, рядом, в стульях. Великий комбинатор, заложив руки в карманы, гулял вдоль борта, не замечая оставшегося на берегу Воробьянинова.

Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча, а потом даже осмелился попискивать. Но Бендер был глух. Повернувшись спиною к председателю концессии, он внимательно следил за процедурой опускания гидравлического пресса в трюм.

Делались последние приготовления к отвалу. Агафья Тихоновна, она же Мура, постукивая ножками, бегала из своей каюты на корму, смотрела в воду, громко делилась своими восторгами с виртуозом-балалаечником и всем этим вносила смущение в ряды почтенных деятелей тиражного предприятия.

Пароход дал второй гудок. От страшных звуков сдвинулись облака. Солнце побагровело и свалилось за горизонт. В верхнем городе зажглись лампы и фонари. С рынка в Почаевском овраге донеслись хрипы граммофонов, состязавшихся перед последними покупателями. Оглушенный и одинокий, Ипполит Матвеевич что-то кричал, но его не было слышно. Лязг лебедки губил все остальные звуки.

Остап Бендер любил эффекты. Только перед третьим гудком, когда Ипполит Матвеевич уже не сомневался в том, что брошен на произвол судьбы, Остап заметил его:

— Что же вы стоите, как засватанный? Я думал, что вы уже давно на пароходе. Сейчас сходни снимают! Бегите скорей! Пропустите этого гражданина! Вот пропуск.

Ипполит Матвеевич, почти плача, взбежал на пароход.

— Вот это ваш мальчик? — спросил завхоз подозрительно.

— Мальчик,— сказал Остап,— разве плох? Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!

Толстяк угрюмо отошел.

— Ну, Киса,— заметил Остап,— придется с утра сесть за работу. Надеюсь, что вы сможете разводить краски. А потом вот что: я — художник, окончил ВХУТЕМАС, а вы — мой помощник. Если вы думаете, что это не так, то скорее бегите назад, на берег.

Черно-зеленая пена вырвалась из-под кормы. Пароход дрогнул, всплеснули медные тарелки, флейты, корнеты, тромбоны и басы затрубили чудный марш, и город, поворачиваясь и балансируя, перекочевал на левый берег. Продолжая дрожать, пароход стал по течению и быстро побежал в темноту. Позади качались

звезды, лампы и портовые разноцветные знаки. Через минуту пароход отошел настолько, что городские огни стали казаться застывшим на месте ракетным порошком.

Еще слышался ропот работающих ундервудов, а природа и Волга брали свое. Нега охватила всех плывущих на пароходе «Скрябин». Члены тиражной комиссии томно прихлебывали чай. На первом заседании месткома, происходившем на носу, царила нежность. Так шумно дышал теплый вечер, так мягко полоскалась у бортов водичка, так быстро пролетали по бокам парохода темные очертания берегов, что председатель месткома, человек вполне положительный, открывши рот для произнесения речи об условиях труда в необычной обстановке, неожиданно для всех и для самого себя запел:

Пароход по Волге плавал,
Волга-матушка река...

А остальные суровые участники заседания пророкотали припев:

Сире-энь цвяте-от...

Резолюция по докладу председателя месткома так и не была написана. Раздавались звуки пианино. Заведующий музыкальным сопровождением Х. Иванов извлекал из инструмента самые лирические ноты. Виртуоз-балалаечник плелся за Мурочкой и, не находя собственных слов для выражения любви, бормотал слова романса:

— Не уходи! Твои лобзанья жгучи, я лаской страстною еще не утомлен. В ущельях гор не просыпались тучи, звездой жемчужною не гаснул небосклон...

Симбиевич-Синдиевич, уцепившись за поручни, созерцал небесную бездну. По сравнению с ней вещественное оформление «Женитьбы» казалось ему возмутительным свинством. Он с гадливостью посмотрел на свои руки, принимавшие ярое участие в вещественном оформлении классической комедии.

В момент наивысшего томления расположившиеся на корме Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд

ударили в свои аптекарские и пивные принадлежности. Они репетировали. Мираж рассеялся сразу. Агафья Тихоновна зевнула и, не обращая внимания на виртуоза-вздыхателя, пошла спать. В душах месткомовцев снова зазвучал гендоговор, и они взялись за резолюцию. Симбиевич-Синдиевич после зрелого размышления пришел к тому выводу, что оформление «Женитьбы» не так уж плохо. Раздраженный голос из темноты звал Жоржетту Тираспольских на совещание к режиссеру. В деревнях лаяли собаки. Стало свежо.

В каюте первого класса Остап, лежа на кожаном диване и задумчиво глядя на пробочный пояс, обтянутый зеленой парусиной, допрашивал Ипполита Матвеевича:

— Вы умеете рисовать? Очень жаль. Я, к сожалению, тоже не умею.

Он подумал и продолжал:

— А буквы — вы умеете? Тоже не умеете? Совсем нехорошо! Ведь мы-то художники! Ну, дня два можно будет мотать, а потом выкинут. За эти два дня мы должны успеть сделать все, что нам нужно. Положение несколько затруднилось. Я узнал, что стулья находятся в каюте режиссера. Но и это в конце концов не страшно. Важно то, что мы на пароходе. Пока нас не выкинули, все стулья должны быть осмотрены. Сегодня уже поздно. Режиссер спит в своей каюте.

Глава XXXII

НЕЧИСТАЯ ПАРА

Люди еще спали, но река жила, как днем. Шли плоты — огромные поля бревен с избами на них. Маленький злой буксир, на колесном кожухе которого дугой было выписано его имя — «Повелитель бурь», тащил за собой три нефтяных баржи, связанные в ряд. Пробежал снизу быстрый почтовик «Красная Латвия».

«Скрябин» обогнал землечерпательный караван и, промеряя глубину полосатеньким шестом, стал описывать дугу, заворачивая против течения.

На пароходе стали просыпаться. На пристань «Бармино» полетела гирька со шпагатом. На этой леске пристанские потащили к себе толстый конец причального каната. Винты завертелись в обратную сторону. Полреки облилось шевелящейся пеной. «Скрябин» задрожал от резких ударов винта и всем боком пристал к дебаркадеру. Было еще рано. Поэтому тираж решили начать в десять часов.

Служба на «Скрябине» начиналась, словно бы и на суше, аккуратно в девять. Никто не изменил своих привычек. Тот, кто на суше опаздывал на службу, опаздывал и здесь, хотя спал в самом же учреждении. К новому укладу походные штаты Наркомфина привыкли довольно быстро. Курьеры подметали каюты с тем же равнодушием, с каким подметали канцелярии в Москве. Уборщицы разносили чай, бегали с бумажками из регистратуры в личный стол, ничуть не удивляясь тому, что личный стол помещается на корме, а регистратура на носу. Из каюты взаимных расчетов несся кастаньетный звук счетов и скрежетанье арифмометра. Перед капитанской рубкой кого-то распекали.

Великий комбинатор, обжигая босые ступни о верхнюю палубу, ходил вокруг длинной узкой полосы кумача, малюя на ней лозунг, с текстом которого он поминутно сверялся по бумажке.

«Все — на тираж! Каждый трудящийся должен иметь в кармане облигацию госзайма».

Великий комбинатор очень старался, но отсутствие способностей все-таки сказывалось. Надпись поползла вниз, и кусок кумача, казалось, был испорчен безнадежно. Тогда Остап, с помощью мальчика Кисы, перевернул дорожку наизнанку и снова принялся малевать. Теперь он стал осторожнее. Прежде чем наляпывать буквы, он отбил вымеленной веревочкой две параллельных линии и, тихо ругая неповинного Воробьянинова, приступил к изображению слов.

Ипполит Матвеевич добросовестно выполнял обязанности мальчика. Он сбегал вниз за горячей водой, растапливал клей, чихая, сыпал в ведерко краски и угодливо заглядывал в глаза взыскательного художника. Готовый и высушенный лозунг концессионеры снесли вниз и прикрепили к борту.

Толстячок, нанявший Остапа, сбежал на берег и оттуда смотрел работу нового художника. Буквы лозунга были разной толщины и несколько скошены в стороны. Выхода, однако, не было — приходилось довольствоваться и этим.

На берег сошел духовой оркестр и принялся выдувать горячительные марши. На звуки музыки со всего Бармина сбежались дети, а за ними из яблоневых садов двинулись мужики и бабы. Оркестр гремел до тех пор, покуда на берег не сошли члены тиражной комиссии. Начался митинг. С крыльца чайной Коробкова полились первые звуки доклада о международном положении.

Колумбовцы глазели на собрание с парохода. Оттуда видны были белые платочки баб, опасливо стоявших поодаль от крыльца, недвижимая толпа мужиков, слушавших оратора, и сам оратор, время от времени взмахивавший руками. Потом заиграла музыка. Оркестр повернулся и, не переставая играть, двинулся к сходням. За ним повалила толпа.

Тиражный аппарат методически выбрасывал комбинации цифр. Колеса оборачивались, оглашались номера, барминцы смотрели и слушали.

Прибежал на минуту Остап, убедился в том, что все обитатели парохода сидят в тиражном зале, и снова убежал на палубу.

— Воробьянинов,— шепнул он,— для вас срочное дело по художественной части. Встаньте у выхода из коридора первого класса и стойте. Если кто будет подходить — пойте погромче.

Старик опешил.

— Что же мне петь?

— Уж во всяком случае не «Боже, царя храни!» Что-нибудь страстное: «Яблочко» или «Сердце красавицы». Но предупреждаю, если вы вовремя не

вступите со своей арией!.. Это вам не Экспериментальный театр! Голову оторву.

Великий комбинатор, пришлепывая босыми пятками, выбежал в коридор, обшитый вишневыми панелями. На секунду большое зеркало в конце коридора отразило его фигуру. Он читал табличку на двери:

Ник. Сестрин

Режиссер театра «Колумба»

Зеркало очистилось. Затем в нем снова появился великий комбинатор. В руке он держал стул с гнутыми ножками. Он промчался по коридору, вышел на палубу и, переглянувшись с Ипполитом Матвеевичем, понес стул наверх, к рубке рулевого. В стеклянной рубке не было никого. Остап отнес стул на корму и наставительно сказал:

— Стул будет стоять здесь до ночи. Я все обдумал. Здесь никто почти не бывает, кроме нас. Давайте прикроем стул плакатами, а когда стемнеет, спокойно ознакомимся с его содержанием.

Через минуту стул, заваленный фанерными листами и кумачом, перестал быть виден.

Ипполита Матвеевича снова охватила золотая лихорадка.

— А почему бы не отнести его в нашу каюту? — спросил он нетерпеливо.— Мы б его вскрыли сейчас же. И если бы нашли брильянты, то сейчас же на берег...

— А если бы не нашли? Тогда что? Куда его девать? Или, может быть, отнести его назад к гражданину Сестрину и вежливо сказать: «Извините, мол, мы у вас стульчик украли, но, к сожалению, ничего в нем не нашли, так что, мол, получите назад в несколько испорченном виде!» Так бы вы поступили?

Великий комбинатор был прав, как всегда. Ипполит Матвеевич оправился от смущения только в ту минуту, когда с палубы понеслись звуки увертюры,

исполняемой на кружках Эсмарха и пивных батареях.

Тиражные операции на этот день были закончены. Зрители разместились на береговых склонах и, сверх всякого ожидания, шумно выражали свое одобрение аптечно-негритянскому ансамблю. Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд гордо поглядывали, как бы говоря: «Вот видите! А вы утверждали, что широкие массы не поймут. Искусство, оно всегда доходит!»

Затем на импровизированной сцене колумбовцами был разыгран легкий водевиль с пением и танцами, содержание которого сводилось к тому, как Вавила выиграл пятьдесят тысяч рублей и что из этого вышло. Артисты, сбросившие с себя путы никсестринского конструктивизма, играли весело, танцевали энергично и пели милыми голосами. Берег был вполне удовлетворен.

Вторым номером выступил виртуоз-балалаечник. Берег покрылся улыбками.

«Барыня, барыня,— вырабатывал виртуоз,— сударыня-барыня».

Балалайка пришла в движение. Она перелетала за спину артиста, и из-за спины слышалось: «Если барин при цепочке, значит — барин без часов!» Она взлетала на воздух и за короткий свой полет выпускала немало труднейших вариаций.

Наступил черед Жоржетты Тираспольских. Она вывела с собой табунчик девушек в сарафанах. Концерт закончился русскими плясками.

Пока «Скрябин» готовился к дальнейшему плаванью, пока капитан переговаривался в трубку с машинным отделением и пароходные топки пылали, грея воду, духовой оркестр снова сошел на берег и, к общему удовольствию, стал играть танцы. Образовались живописные группы, полные движения. Закатывающееся солнце посылало мягкий абрикосовый свет. Наступил идеальный час для киносъемки. И действительно, оператор Полкан, позевывая, вышел из каюты. Воробьянинов, который уже свыкся с амплуа всеобщего мальчика, осторожно нес за

Полканом съемочный аппарат. Полкан подошел к борту и воззрился на берег. Там на траве танцевали солдатскую польку. Парни топали босыми ногами с такой силой, будто хотели расколоть нашу планету. Девушки плыли. На террасах и съездах берега расположились зрители. Французский кинооператор из группы «Авангард» нашел бы здесь работы на трое суток. Но Полкан, скользнув по берегу крысиными глазками, сейчас же отвернулся, иноходью подбежал к председателю комиссии, поставил его к белой стенке, сунул в его руку книгу и, попросив не шевелиться, долго и плавно вертел ручку аппарата. Потом он увел стеснявшегося председателя на корму и снял его на фоне заката.

Закончив съемку, Полкан важно удалился в свою каюту и заперся.

Снова заревел гудок, и снова солнце в испуге убежало. Наступила вторая ночь. Пароход был готов к отходу.

Остап со страхом помышлял о завтрашнем утре. Ему предстояло вырезать в листе картона фигуру сеятеля, разбрасывающего облигации. Этот художественный искус был не по плечу великому комбинатору. Если с буквами Остап кое-как справлялся, то для художественного изображения сеятеля уже не оставалось никаких ресурсов.

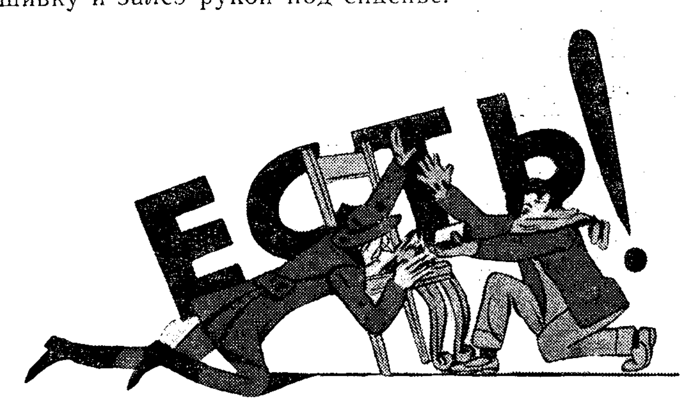
— Так имейте в виду,— предостерегал толстяк,— с Васюков мы начинаем вечерние тиражи, и нам без транспаранта никак нельзя.

— Пожалуйста, не беспокойтесь,— заявил Остап, надеясь больше не на завтрашнее утро, а на сегодняшний вечер,— транспарант будет.

Наступила звездная ветреная ночь. Население тиражного ковчега уснуло. Львы из тиражной комиссии спали. Спали ягнята из личного стола, козлы из бухгалтерии, кролики из отдела взаимных расчетов, гиены и шакалы звукового оформления и голубицы из машинного бюро.

Не спала только одна нечистая пара. Великий комбинатор вышел из своей каюты в первом часу ночи. За ним следовала бесшумная тень верного

Кисы. Они поднялись на верхнюю палубу и неслышно приблизились к стулу, укрытому листами фанеры. Осторожно разобрав прикрытие, Остап поставил стул на ножки, сжав челюсти, вспорол плоскогубцами обшивку и залез рукой под сиденье.



Ветер бегал по верхней палубе. В небе легонько пошевеливались звезды. Под ногами, глубоко внизу, плескалась черная вода. Берегов не было видно. Ипполита Матвеевича трясло.

— Есть! — сказал Остап придушенным голосом.

ПИСЬМО ОТЦА ФЕДОРА,

писанное им в Баку, из меблированных комнат «Стоимость» жене своей в уездный город N

Дорогая и бесценная моя Катя!

С каждым часом приближаемся мы к нашему счастию. Пишу я тебе из меблированных комнат «Стоимость», после того как побывал по всем делам. Город Баку очень большой. Здесь, говорят, добывается керосин, но туда нужно ехать на электрическом поезде, а у меня нет денег. Живописный город омывается Каспийским морем. Оно действительно очень велико по размерам. Жара здесь страшная. На одной

руке ношу пальто, на другой пиджак,— и то жарко. Руки преют. То и дело балуюсь чайком. А денег почти что нет. Но не беда, голубушка, Катерина Александровна, скоро денег у нас будет во множестве. Побываем всюду, а потом осядем по-хорошему в Самаре, подле своего заводика, и наливочку будем распивать. Впрочем, ближе к делу.

По своему географическому положению и по количеству народонаселения город Баку значительно превышает город Ростов. Однако уступает городу Харькову по своему движению. Инородцев здесь множество. А особенно много здесь армяшек и персиян. Здесь, матушка моя, до Тюрции недалеко. Был я и на базаре, и видел я много тюрецких вещей и шалей. Захотел я тебе в подарок купить мусульманское покрывало, только денег не было. И подумал я, что когда мы разбогатеем (а до этого днями нужно считать), тогда и мусульманское покрывало купить можно будет.

Ох, матушка, забыл тебе написать про два страшных случая, происшедших со мною в городе Баку: 1) уронил пиджак брата твоего, булочника, в Каспийское море и 2) в меня на базаре плюнул одногорбый верблюд. Эти оба происшествия меня крайне удивили. Почему власти допускают такое бесчинство над проезжими пассажирами, тем более что верблюда я не тронул, а даже сделал ему приятное — пощекотал хворостинкой в ноздре. А пиджак ловили всем обществом, еле выловили, а он возьми и окажись весь в керосине. Уж я и не знаю, что скажу твоему брату, булочнику. Ты, голубка, пока что держи язык за зубами. Обедает ли еще Евстигнеев?

Перечел письмо и увидел, что о деле ничего не успел тебе рассказать. Инженер Брунс действительно работает в Азнефти. Только в городе Баку его сейчас нету. Он уехал в отпуск в город Батум. Семья его имеет в Батуме постоянное местожительство. Я говорил тут с людьми, и они говорят, что действительно в Батуме у Брунса вся меблировка. Живет он там на даче, на Зеленом Мысу,— такое там есть дачное место (дорогое, говорят). Пути отсюда до Батума — на пятнад-

цать рублей с копейками. Вышли двадцать сюда телеграфом, из Батума все тебе протелеграфирую. Распространяй по городу слухи, что я все еще нахожусь у одра тетеньки в Воронеже.

Твой вечно муж *Федя.*

Пост-скриптум. Относя письмо в почтовый ящик, у меня украли в номерах «Стоимость» пальто брата твоего, булочника. Я в таком горе! Хорошо, что теперь лето! Ты брату ничего не говори.

Глава XXXIII

ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ

Между тем как одни герои романа были убеждены в том, что время терпит, а другие полагали, что время не ждет, время шло обычным своим порядком. За пыльным московским маем пришел пыльный июнь. В уездном городе N автомобиль Гос. № 1, повредившись на ухабе, стоял уже две недели на углу Старопанской площади и улицы имени товарища Губернского, время от времени заволакивая окрестность отчаянным дымом. Из старгородского допра выходили поодиночке сконфуженные участники заговора «Меча и орала» — у них была взята подписка о невыезде. Вдова Грицацуева (знойная женщина, мечта поэта) возвратилась к своему бакалейному делу и была оштрафована на пятнадцать рублей за то, что не вывесила на видном месте прейскурант цен на мыло, перец, синьку и прочие мелочные товары,— забывчивость, простительная женщине с большим сердцем!

— Есть! — повторил Остап сорвавшимся голосом.— Держите!

Ипполит Матвеевич принял в свои трепещущие руки плоский деревянный ящичек. Остап в темноте продолжал рыться в стуле. Блеснул береговой маячок.

На воду лег золотой столбик и поплыл за пароходом.

— Что за черт! — сказал Остап.— Больше ничего нет!

— Н-н-не может быть,— пролепетал Ипполит Матвеевич.

— Ну, вы тоже посмотрите!

Воробьянинов, не дыша, пал на колени и по локоть всунул руку под сиденье. Между пальцами он ощутил основание пружины. Больше ничего твердого не было. От стула шел сухой мерзкий запах потревоженной пыли.

— Нету? — спросил Остап.

— Нет.

Тогда Остап приподнял стул и выбросил его далеко за борт. Послышался тяжелый всплеск. Вздрагивая от ночной сырости, концессионеры в сомнении вернулись к себе в каюту.

— Так,— сказал Бендер.— Что-то мы во всяком случае нашли.

Ипполит Матвеевич достал из кармана ящичек и осовело посмотрел на него.

— Давайте, давайте! Чего глаза пялите!

Ящичек открыли. На дне лежала медная позеленевшая пластинка с надписью:

Этимъ полукресломъ   ***мастеръ Гамбсъ***   ***начинаетъ новую партiю мебели.***   ***1865 г. Санктъ-Петербургъ.***

Надпись эту Остап прочел вслух.

— А где же брильянты? — спросил Ипполит Матвеевич.

— Вы поразительно догадливы, дорогой охотник за табуретками! Брильянтов, как видите, нет.

На Воробьянинова было жалко смотреть. Отросшие слегка усы двигались, стекла пенсне были туманны. Казалось, что в отчаянии он бьет себя ушами по щекам.

Холодный, рассудительный голос великого комбинатора оказал свое обычное магическое действие. Воробьянинов вытянул руки по вытертым швам и замолчал.

— Молчи, грусть, молчи, Киса! Когда-нибудь мы посмеемся над дурацким восьмым стулом, в котором нашлась глупая дощечка. Держитесь. Тут есть еще три стула — девяносто девять шансов из ста!

За ночь на щеке огорченного до крайности Ипполита Матвеевича выскочил вулканический прыщ. Все страдания, все неудачи, вся мука погони за брильянтами — все это, казалось, ушло в прыщ и отливало теперь перламутром, закатной вишней и синькой.

— Это вы нарочно? — спросил Остап.

Ипполит Матвеевич конвульсивно вздохнул и, высокий, чуть согнутый, как удочка, пошел за красками. Началось изготовление транспаранта. Концессионеры трудились на верхней палубе.

И начался третий день плаванья.

Начался он короткой стычкой духового оркестра со звуковым оформлением из-за места для репетиций.

После завтрака к корме, одновременно с двух сторон, направились здоровяки с медными трубами и худые рыцари эсмарховских кружек. Первым на кормовую скамью успел усесться Галкин. Вторым прибежал кларнет из духового оркестра.

— Место занято,— хмуро сказал Галкин.

— Кем занято? — зловеще спросил кларнет.

— Мною, Галкиным.

— А еще кем?

— Палкиным, Малкиным, Чалкиным и Залкиндом.

— А Елкина у вас нет? Это наше место.

С обеих сторон приблизились подкрепления. Трижды опоясанный медным змеем-горынычем стоял геликон — самая мощная машина в оркестре. Покачивалась похожая на ухо валторна. Тромбоны стояли в полной боевой готовности. Солнце тысячу раз отразилось в боевых доспехах. Темно и мелко выглядело звуковое оформление. Там мигало бутылочное стекло, бледно светились клистирные кружки и саксофон — возмутительная пародия на духовой инструмент, семенная

вытяжка из настоящей духовой трубы,— был жалок и походил на носогрейку.

— Клистирный батальон,— сказал задира-кларнет,— претендует на место.

— Вы,— сказал Залкинд, стараясь подыскать наиболее обидное выражение,— вы — консерваторы от музыки!

— Не мешайте нам репетировать!

— Это вы нам мешаете!

— На ваших ночных посудинах чем меньше репетируешь, тем красивше выходит.

— А на ваших самоварах репетируй — не репетируй, ни черта не получится.

Не придя ни к какому соглашению, обе стороны остались на месте и упрямо заиграли каждая свое. Вниз по реке неслись звуки, какие мог бы издать только трамвай, медленно проползающий по битому стеклу. Духовики исполняли марш Кексгольмского лейб-гвардии полка, а звуковое оформление — негрскую пляску: «Антилопа у истоков Замбези». Скандал был прекращен личным вмешательством председателя тиражной комиссии.

В одиннадцатом часу великий труд был закончен. Пятясь задом, Остап и Воробьянинов потащили транспарант к капитанскому мостику. Перед ними, воздев руки к звездам, бежал толстячок, заведующий хозяйством. Общими усилиями транспарант был привязан к поручням. Он высился над пассажирской палубой, как экран. В полчаса электротехник подвел к спине транспаранта провода и приладил внутри его три лампочки. Оставалось повернуть выключатель.

Впереди, вправо по носу, уже сквозили огоньки города Васюки.

На торжество освещения транспаранта заведующий хозяйством созвал все население парохода. Ипполит Матвеевич и великий комбинатор смотрели на собравшихся сверху, стоя по бокам темной еще скрижали.

Всякое событие на пароходе принималось плавучим учреждением близко к сердцу. Машинистки, курьеры, ответственные работники, колумбовцы и пароход-

ная команда столпились, задрав головы, на пассажирской палубе.

— Давай! — скомандовал толстячок.

Транспарант осветился.

Остап посмотрел вниз, на толпу. Розовый свет лег на лица.

Зрители засмеялись. Потом наступило молчание. И суровый голос снизу сказал:

— Где завхоз?

Голос был настолько ответственный, что завхоз, не считая ступенек, кинулся вниз.

— Посмотрите,— сказал голос,— полюбуйтесь на вашу работу!

— Сейчас вытурят! — шепнул Остап Ипполиту Матвеевичу.

И точно, на верхнюю палубу, как ястреб, вылетел толстячок.

— Ну, как транспарантик? — нахально спросил Остап.— Доходит?

— Собирайте вещи! — закричал завхоз.

— К чему такая спешка?

— Со-би-рай-те вещи! Вон! Вы под суд пойдете! Наш начальник не любит шутить!

— Гоните его! — донесся снизу ответственный голос.

— Нет, серьезно, вам не нравится транспарант? Это, в самом деле, неважный транспарант?

Продолжать игру не имело смысла. «Скрябин» уже пристал к Васюкам, и с парохода можно было видеть ошеломленные лица васюкинцев, столпившихся на пристани.

В деньгах категорически было отказано. На сборы было дано пять минут.

— Сучья лапа,— сказал Симбиевич-Синдиевич, когда компаньоны сходили на пристань.— Поручили бы оформление транспаранта мне. Я бы его так сделал, что никакой Мейерхольд за мной бы не угнался.

На пристани концессионеры остановились и посмотрели вверх. В черных небесах сиял транспарант.

— М-да,— сказал Остап,— транспарантик довольно дикий. Мизерное исполнение.

Рисунок, сделанный хвостом непокорного мула, по сравнению с транспарантом Остапа показался бы музейной ценностью. Вместо сеятеля, разбрасывающего облигации, шкодливая рука Остапа изобразила некий обрубок с сахарной головой и тонкими плетьми вместо рук.

Позади концессионеров пылал светом и гремел музыкой пароход, а впереди, на высоком берегу, был мрак уездной полночи, собачий лай и далекая гармошка.

— Резюмирую положение,— сказал Остап жизнерадостно.— Пассив: ни гроша денег, три стула уезжают вниз по реке, ночевать негде и ни одного значка деткомиссии. Актив: путеводитель по Волге издания тысяча девятьсот двадцать шестого года (пришлось позаимствовать у мосье Симбиевича в каюте). Бездефицитный баланс подвести очень трудно. Ночевать придется на пристани.

Концессионеры устроились на пристанских лавках. При свете дрянного керосинового фонаря Остап прочел из путеводителя:

«На правом высоком берегу — город **Васюки.** Отсюда отправляются лесные материалы, смола, лыко, рогожи, а сюда привозятся предметы широкого потребления для края, отстоящего на 50 километров от железной дороги.

В городе **8000** жителей, государственная картонная фабрика с **320 рабочими,** маленький чугунолитейный, пивоваренный и кожевенный заводы. Из учебных заведений, кроме общеобразовательных, лесной техникум».

— Положение гораздо серьезнее, чем я предполагал,— сказал Остап.— Выколотить из васюкинцев деньги представляется мне пока что неразрешимой задачей. А денег нам нужно не менее тридцати рублей. Во-первых, нам нужно питаться и, во-вторых, обогнать тиражную лоханку и встретиться с колумбовцами на суше, в Сталинграде.

Ипполит Матвеевич свернулся, как старый худой кот после стычки с молодым соперником — кипучим владетелем крыш, чердаков и слуховых окон.

Остап разгуливал вдоль лавок, соображая и комбинируя. К часу ночи великолепный план был готов. Бендер улегся рядом с компаньоном и заснул.

Глава XXXIV

МЕЖДУПЛАНЕТНЫЙ ШАХМАТНЫЙ КОНГРЕСС

С утра по Васюкам ходил высокий, худой старик в золотом пенсне и в коротких, очень грязных, испачканных красками сапогах. Он налепливал на стены рукописные афиши:

22 июня 1927 г.
В помещении клуба «Картонажник»
состоится
лекция на тему:
«Плодотворная дебютная идея»
и
сеанс одновременной игры в шахматы
на 160 досках
гроссмейстера (старший мастер) *О. Бендера*
Все приходят со своими досками.
Плата за игру — 50 коп. Плата за вход — 20 коп.
Начало ровно в 6 час. вечера

Администрация К. Михельсон

Сам гроссмейстер тоже не терял времени. Заарендовав клуб за три рубля, он перебросился в шахсекцию, которая почему-то помещалась в коридоре управления коннозаводством.

В шахсекции сидел одноглазый человек и читал роман Шпильгагена в пантелеевском издании.

— Гроссмейстер О. Бендер! — заявил Остап, присаживаясь на стол.— Устраиваю у вас сеанс одновременной игры.

Единственный глаз васюкинского шахматиста раскрылся до пределов, дозволенных природой.

— Сию минуточку, товарищ гроссмейстер! — крикнул одноглазый.— Присядьте, пожалуйста. Я сейчас.

И одноглазый убежал. Остап осмотрел помещение шахматной секции. На стенах висели фотографии беговых лошадей, а на столе лежала запыленная конторская книга с заголовком: «Достижения Васюкинской шахсекции за 1925 год».

Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного

возраста. Все они по очереди подходили знакомиться, называли фамилии и почтительно жали руку гроссмейстера.

— Проездом в Казань,— говорил Остап отрывисто,— да, да, сеанс сегодня вечером, приходите. А сейчас, простите, не в форме: устал после карлсбадского турнира.

Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.

— Вы не поверите,— говорил он,— как далеко двинулась шахматная мысль. Вы знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть. Он обкуривает своих противников сигарами. И нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. Шахматный мир в беспокойстве.

Гроссмейстер перешел на местные темы.

— Почему в провинции нет никакой игры мысли? Например, вот ваша шахсекция. Так она и называется: шахсекция. Скучно, девушки! Почему бы вам, в самом деле, не назвать ее как-нибудь красиво, истинно по-шахматному. Это вовлекло бы в секцию союзную массу. Назвали бы, например, вашу секцию: «Шахматный клуб четырех коней», или «Красный эндшпиль», или «Потеря качества при выигрыше темпа». Хорошо было бы! Звучно!

Идея имела успех.

— И в самом деле,— сказали васюкинцы,— почему бы не переименовать нашу секцию в «Клуб четырех коней».

Так как бюро шахсекции было тут же, Остап организовал под своим почетным председательством минутное заседание, на котором секцию единогласно переименовали в «Шахклуб четырех коней». Гроссмейстер собственноручно, пользуясь уроками «Скрябина», художественно выполнил на листе картона вывеску с четырьмя конями и соответствующей надписью.

Это важное мероприятие сулило расцвет шахматной мысли в Васюках.

— Шахматы! — говорил Остап.— Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только куль-

туру, но и экономику! Знаете ли вы, что ваш «Шахклуб четырех коней», при правильной постановке дела, сможет совершенно преобразить город Васюки?

Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно.

— Да! — кричал он.— Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам! Васюки станут центром десяти губерний! Что вы раньше слышали о городе Земмеринге? Ничего! А теперь этот городишко богат и знаменит только потому, что там был организован международный турнир. Поэтому я говорю: в Васюках надо устроить международный шахматный турнир.

— Как? — закричали все.

— Вполне реальная вещь,— ответил гроссмейстер,— мои личные связи и ваша самодеятельность — вот все необходимое и достаточное для организации международного васюкинского турнира. Подумайте над тем, как красиво будет звучать: «Международный васюкинский турнир 1927 года». Приезд Хозе-Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубинштейна, Мароцци, Тарраша, Видмара и доктора Григорьева обеспечен. Кроме того, обеспечено и мое участие!

— Но деньги! — застонали васюкинцы.— Им же всем нужно деньги платить! Много тысяч денег! Где же их взять.

— Все учтено могучим ураганом,— сказал О. Бендер,— деньги дадут сборы.

— Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы...

— Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это —

раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячи километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить турнир,— четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.

Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках...

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам — москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы.

Автомобили конвейером двигались среди мраморных отелей. Но вот — все остановилось. Из фешенебельной гостиницы «Проходная пешка» вышел чемпион мира Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера. Его окружали дамы. Милиционер, одетый в специальную шахматную форму (галифе в клетку и слоны на петлицах), вежливо откозырял. К чемпиону с достоин-

ством подошел одноглазый председатель васюкинского «Клуба четырех коней».

Беседа двух светил, ведшаяся на английском языке, была прервана прилетом доктора Григорьева и будущего чемпиона мира Алехина.

Приветственные крики потрясли город. Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера поморщился. По мановению руки одноглазого к аэроплану была подана мраморная лестница. Доктор Григорьев сбежал по ней, приветственно размахивая новой шляпой и комментируя на ходу возможную ошибку Капабланки в предстоящем его матче с Алехиным.

Вдруг на горизонте была усмотрена черная точка. Она быстро приближалась и росла, превратившись в большой изумрудный парашют. Как большая редька, висел на парашютном кольце человек с чемоданчиком.

— Это он! — закричал одноглазый. — Ура! Ура! Ура! Я узнаю великого философа-шахматиста, доктора Ласкера. Только он один во всем мире носит такие зеленые носочки.

Хозе-Рауль Капабланка-и-Граупера снова поморщился.

Ласкеру проворно подставили мраморную лестницу, и бодрый экс-чемпион, сдувая с левого рукава пылинку, севшую на него во время полета над Силезией, упал в объятия одноглазого. Одноглазый взял Ласкера за талию, подвел его к чемпиону и сказал:

— Помиритесь! Прошу вас от имени широких васюкинских масс! Помиритесь!

Хозе-Рауль шумно вздохнул и, потрясая руку старого ветерана, сказал:

— Я всегда преклонялся перед вашей идеей перевода слона в испанской партии с *в*5 на *с*4.

— Ура! — воскликнул одноглазый. — Просто и убедительно, в стиле чемпиона!

И вся невообразимая толпа подхватила:

— Ура! Виват! Банзай! Просто и убедительно, в стиле чемпиона!!!

Экспрессы подкатывали к двенадцати васюкинским вокзалам, высаживая все новые и новые толпы шахматных любителей.

Уже небо запылало от светящихся реклам, когда по улицам города провели белую лошадь. Это была единственная лошадь, уцелевшая после механизации васюкинского транспорта. Особым постановлением она была переименована в коня, хотя и считалась всю жизнь кобылой. Почитатели шахмат приветствовали ее, размахивая пальмовыми ветвями и шахматными досками.

— Не беспокойтесь,— сказал Остап,— мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.

— Всего мира!!! — застонали оглушенные васюкинцы.

— Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный конгресс!

Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня.

— Да-а,— выдавил из себя одноглазый, обводя пыльное помещение сумасшедшим взором.— Но как же практически провести мероприятие в жизнь, подвести, так сказать, базу?

Присутствующие напряженно смотрели на гроссмейстера.

— Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы.

Одноглазый подталкивал своих соратников.

— Ну! — спрашивал он.— Что вы скажете?

— Устроим! Устроим! — гомонили васюкинцы.

— Сколько же нужно денег на... это... телеграммы?

— Смешная цифра,— сказал Остап,— сто рублей.

— У нас в кассе только двадцать один рубль шестнадцать копеек. Этого, конечно, мы понимаем, далеко не достаточно...

Но гроссмейстер оказался покладистым организатором.

— Ладно,— сказал он,— давайте ваши двадцать рублей.

— А хватит? — спросил одноглазый.

— На первичные телеграммы хватит. А потом начнутся пожертвования, и денег некуда будет девать.

Упрятав деньги в зеленый походный пиджак, гроссмейстер напомнил собравшимся о своей лекции и сеансе одновременной игры на ста шестидесяти досках, любезно распрощался до вечера и отправился в клуб «Картонажник» на свидание с Ипполитом Матвеевичем.

— Я голодаю,— сказал Воробьянинов трескучим голосом.

Он уже сидел за кассовым окошечком, но не собрал еще ни одной копейки и не мог купить даже фунта хлеба. Перед ним лежала проволочная зеленая корзиночка, предназначенная для сбора. В такие корзиночки в домах средней руки кладут ножи и вилки.

— Слушайте, Воробьянинов,— закричал Остап,— прекратите часа на полтора кассовые операции! Идем обедать в нарпит. По дороге обрисую ситуацию. Кстати, вам нужно побриться и почиститься. У вас просто босяцкий вид. У гроссмейстера не может быть таких подозрительных знакомых.

— Ни одного билета не продал,— сообщил Ипполит Матвеевич.

— Не беда. К вечеру набегут. Город мне уже пожертвовал двадцать рублей на организацию международного шахматного турнира.

— Так зачем же нам сеанс одновременной игры? — зашептал администратор.— Ведь побить могут. А с двадцатью рублями мы сейчас же сможем сесть на пароход,— как раз «Карл Либкнехт» сверху пришел,— спокойно ехать в Сталинград и ждать там приезда театра. Авось там удастся вскрыть стулья. Тогда мы — богачи, и все принадлежит нам.

— На голодный желудок нельзя говорить такие глупые вещи. Это отрицательно влияет на мозг. За двадцать рублей мы, может быть, до Сталинграда и доедем... А питаться на какие деньги? Витамины, дорогой товарищ предводитель, даром никому не даются. Зато с экспансивных васюкинцев можно будет сорвать за лекцию и сеанс рублей тридцать.

— Побьют! — горько сказал Воробьянинов.

— Конечно, риск есть. Могут баки набить. Впрочем, у меня есть одна мыслишка, которая вас-то обезопасит во всяком случае. Но об этом после. Пока что идем вкусить от местных блюд.

К шести часам вечера сытый, выбритый и пахнущий одеколоном гроссмейстер вошел в кассу клуба «Картонажник».

Сытый и выбритый Воробьянинов бойко торговал билетами.

— Ну, как? — тихо спросил гроссмейстер.

— Входных — тридцать и для игры — двадцать,— ответил администратор.

— Шестнадцать рублей. Слабо, слабо!

— Что вы, Бендер, смотрите, какая очередь стоит! Неминуемо побьют.

— Об этом не думайте. Когда будут бить, будете плакать, а пока что не задерживайтесь! Учитесь торговать!

Через час в кассе было тридцать пять рублей. Публика волновалась в зале.

— Закрывайте окошечко! Давайте деньги! — сказал Остап.— Теперь вот что. Нате вам пять рублей, идите на пристань, наймите лодку часа на два и ждите меня на берегу, пониже амбара. Мы с вами совершим вечер-

нюю прогулку. Обо мне не беспокойтесь. Я сегодня в форме.

Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал, что первый ход *e*2 — *e*4 не грозит ему никакими осложнениями. Остальные ходы, правда, рисовались в совершенном уже тумане, но это нисколько не смущало великого комбинатора. У него был приготовлен совершенно неожиданный выход для спасения даже самой безнадежной партии.

Гроссмейстера встретили рукоплесканиями. Небольшой клубный зал был увешан разноцветными флажками.

Неделю тому назад состоялся вечер «Общества спасания на водах», о чем свидетельствовал также лозунг на стене:

ДЕЛО ПОМОЩИ УТОПАЮЩИМ —
ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ

Остап поклонился, протянул вперед руки, как бы отвергая не заслуженные им аплодисменты, и взошел на эстраду.

— Товарищи! — сказал он прекрасным голосом.— Товарищи и братья по шахматам, предметом моей сегодняшней лекции служит то, о чем я читал, и, должен признаться, не без успеха, в Нижнем-Новгороде неделю тому назад. Предмет моей лекции — плодотворная дебютная идея. Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея? Дебют, товарищи,— это «Quasi una fantasia». А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи,— это человеческая мысль, облеченная в логическую шахматную форму. Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Например, вон тот блондинчик в третьем ряду. Положим, он играет хорошо...

Блондин в третьем ряду зарделся.

— А вон тот брюнет, допустим, хуже.

Все повернулись и осмотрели также брюнета.

— Что же мы видим, товарищи? Мы видим, что блондин играет хорошо, а брюнет играет плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил, если

каждый индивидуум в отдельности не будет постоянно тренироваться в шашк... то есть я хотел сказать — в шахматах... А теперь, товарищи, я расскажу вам несколько поучительных историй из практики наших уважаемых гипермодернистов Капабланки, Ласкера и доктора Григорьева.

Остап рассказал аудитории несколько ветхозаветных анекдотов, почерпнутых еще в детстве из «Синего журнала», и этим закончил интермедию.

Краткостью лекции все были слегка удивлены. И одноглазый не сводил своего единственного ока с гроссмейстеровой обуви.

Однако начавшийся сеанс одновременной игры задержал растущее подозрение одноглазого шахматиста. Вместе со всеми он расставлял столы покоем. Всего против гроссмейстера сели играть тридцать любителей. Многие из них были совершенно растеряны и поминутно глядели в шахматные учебники, освежая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдаться гроссмейстеру хотя бы после двадцать второго хода.

Остап скользнул взглядом по шеренгам «черных», которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки *е*2 на клетку *е*4.

Одноглазый сейчас же схватил свои уши руками и стал напряженно думать. По рядам любителей прошелестело:

— Гроссмейстер сыграл *е*2—*е*4.

Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных двадцати девяти досках он проделал ту же операцию: перетащил королевскую пешку с *e*2 на *e*4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. Неиграющие переводили взоры за гроссмейстером. Единственный в городе фотолюбитель уже взгромоздился было на стул и собирался поджечь магний, но Остап сердито замахал руками и, прервав свое течение вдоль досок, громко закричал:

— Уберите фотографа! Он мешает моей шахматной мысли!

«С какой стати оставлять свою фотографию в этом жалком городишке. Я не люблю иметь дело с милицией»,— решил он про себя.

Негодующее шиканье любителей заставило фотографа отказаться от своей попытки. Возмущение было так велико, что фотографа даже выперли из помещения.

На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет восемнадцать испанских партий. В остальных двенадцати черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни.

Сперва любители, и первый среди них — одноглазый, пришли в ужас. Коварство гроссмейстера было несомненно.

С необычайной легкостью и безусловно ехидничая в душе над отсталыми любителями города Васюки, гроссмейстер жертвовал пешки, тяжелые и легкие фигуры направо и налево. Обхаянному на лекции брюнету он пожертвовал даже ферзя. Брюнет пришел в ужас и хотел было немедленно сдаться, но только страшным усилием воли заставил себя продолжать игру.

Гром среди ясного неба раздался через пять минут.

— Мат! — пролепетал насмерть перепуганный брюнет.— Вам мат, товарищ гроссмейстер.

Остап проанализировал положение, позорно назвал «ферзя» «королевой» и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей.

«Пора удирать»,— подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры.

— Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер,— залебезил одноглазый.— Конь так не ходит.

— Пардон, пардон, извиняюсь,— ответил гроссмейстер,— после лекции я несколько устал.

В течение ближайших десяти минут гроссмейстер проиграл еще десять партий.

Удивленные крики раздавались в помещении клуба «Картонажник». Назревал конфликт. Остап проиграл подряд пятнадцать партий, а вскоре еще три. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап, незаметно для окружающих, украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман.

Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих.

— Только что на этом месте стояла моя ладья! — закричал одноглазый, осмотревшись, — а теперь ее уже нет!

— Нет, значит и не было! — грубовато ответил Остап.

— Как же не было? Я ясно помню!

— Конечно, не было!

— Куда же она девалась? Вы ее выиграли?

— Выиграл.

— Когда? На каком ходу?

— Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!

— Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны!

— Контора пишет, — сказал Остап.

— Это возмутительно! — заорал одноглазый. — Отдайте мою ладью.

— Сдавайтесь, сдавайтесь, что это за кошки-мышки такие!

— Отдайте ладью!

С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника.

— Товарищи! — заверещал одноглазый. — Смотрите все! Любителя бьют!

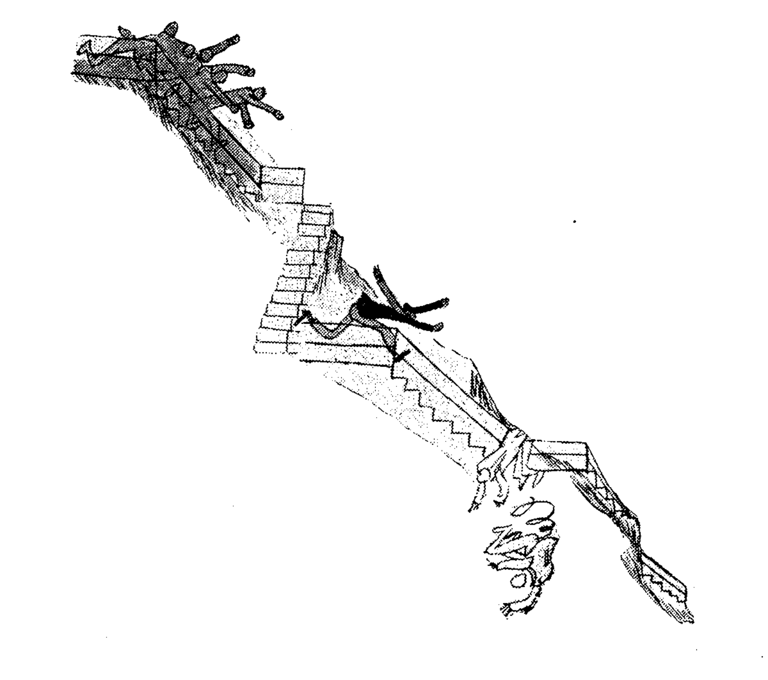
Шахматисты города Васюки опешили.

Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним.

Был лунный вечер. Остап несся по серебряной улице легко, как ангел, отталкиваясь от грешной земли. Ввиду несостоявшегося превращения Васюков в центр мироздания, бежать пришлось не среди дворцов, а среди бревенчатых домиков с наружными ставнями.

Сзади неслись шахматные любители.

— Держите гроссмейстера! — ревел одноглазый.



— Жулье! — поддерживали остальные.

— Пижоны! — огрызался гроссмейстер, увеличивая скорость.

— Караул! — кричали изобиженные шахматисты.

Остап запрыгал по лестнице, ведущей на пристань. Ему предстояло пробежать четыреста ступенек. На шестой площадке его уже поджидали два любителя, пробравшиеся сюда окольной тропинкой прямо по склону. Остап оглянулся. Сверху катилась собачьей стаей тесная группа разъяренных поклонников защиты Филидора. Отступления не было. Поэтому Остап побежал вперед.

— Вот я вас сейчас, сволочей! — гаркнул он храбрецам-разведчикам, бросаясь с пятой площадки.

Испуганные пластуны ухнули, перевалились за перила и покатились куда-то в темноту бугров и склонов. Путь был свободен.

— Держите гроссмейстера! — катилось сверху.

Преследователи бежали, стуча по деревянной лестнице, как падающие кегельные шары.

Выбежав на берег, Остап уклонился вправо, ища глазами лодку с верным ему администратором.

Ипполит Матвеевич идиллически сидел в лодочке. Остап бухнулся на скамейку и яростно стал выгребать от берега. Через минуту в лодку полетели камни. Одним из них был подбит Ипполит Матвеевич. Немного повыше вулканического прыща у него вырос темный желвак. Ипполит Матвеевич упрятал голову в плечи и захныкал.

— Вот еще шляпа! Мне чуть голову не оторвали, и я ничего: бодр и весел. А если принять во внимание еще пятьдесят рублей чистой прибыли, то за одну гулю на вашей голове — гонорар довольно приличный.

Между тем преследователи, которые только сейчас поняли, что план превращения Васюков в Нью-Москву рухнул и что гроссмейстер увозит из города пятьдесят кровных васюкинских рублей, погрузились в большую лодку и с криками выгребали на середину реки. В лодку набилось человек тридцать. Всем хотелось принять личное участие в расправе с гроссмейстером. Экспедицией командовал одноглазый. Единственное его око сверкало в ночи, как маяк.

— Держи гроссмейстера! — вопили в перегруженной барке.

— Ходу, Киса! — сказал Остап.— Если они нас догонят, не смогу поручиться за целость вашего пенсне.

Обе лодки шли вниз по течению. Расстояние между ними все уменьшалось. Остап выбивался из сил.

— Не уйдете, сволочи! — кричали из барки.

Остап не отвечал: было некогда. Весла вырывались из воды. Вода потоками вылетала из-под беснующихся весел и попадала в лодку.

— Валяй,— шептал Остап самому себе.

Ипполит Матвеевич маялся. Барка торжествовала. Высокий ее корпус уже обходил лодочку концессионе-

ров с левой руки, чтобы прижать гроссмейстера к берегу. Концессионеров ждала плачевная участь. Радость на барке была так велика, что все шахматисты перешли на правый борт, чтобы, поравнявшись с лодочкой, превосходными силами обрушиться на злодея-гроссмейстера.

— Берегите пенсне, Киса! — в отчаянии крикнул Остап, бросая весла.— Сейчас начнется!

— Господа! — воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом.— Неужели вы будете нас бить?

— Еще как! — загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку.

Но в это время произошло крайне обидное для честных шахматистов всего мира происшествие. Барка неожиданно накренилась и правым бортом зачерпнула воду.

— Осторожней! — пискнул одноглазый капитан.

Но было уже поздно. Слишком много любителей скопилось на правом борту васюкинского дредноута. Переменив центр тяжести, барка не стала колебаться и в полном соответствии с законами физики перевернулась.

Общий вопль нарушил спокойствие реки.

— Уау! — протяжно стонали шахматисты.

Целых тридцать любителей очутились в воде. Они быстро выплывали на поверхность и один за другим цеплялись за перевернутую барку. Последним причалил одноглазый.

— Пижоны! — в восторге кричал Остап.— Что же вы не бьете вашего гроссмейстера? Вы, если не ошибаюсь, хотели меня бить?

Остап описал вокруг потерпевших крушение круг.

— Вы же понимаете, васюкинские индивидуумы, что я мог бы вас поодиночке утопить, но я дарую вам жизнь. Живите, граждане! Только, ради создателя, не играйте в шахматы! Вы же просто не умеете играть! Эх вы, пижоны, пижоны... Едем, Ипполит Матвеевич, дальше. Прощайте, одноглазые любители! Боюсь, что Васюки центром мироздания не станут. Я не думаю, чтобы мастера шахмат приехали к таким дуракам, как вы, даже если бы я их об этом просил. Прощайте, любители сильных шахматных ощущений! Да здравствует «Клуб четырех коней»!

Глава XXXV

И ДР.

Утро застало концессионеров на виду Чебоксар. Остап дремал у руля. Ипполит Матвеевич сонно водил веслами по воде. От холодной ночи обоих подирала дрожь. На востоке распускались розовые бутоны. Пенсне Ипполита Матвеевича все светлели. Овальные стекла их заиграли. В них попеременно отразились оба берега. Семафор с левого берега изогнулся в двояковогнутом стекле. Синие купола Чебоксар плыли словно корабли. Сад на востоке разрастался. Бутоны превратились в вулканы и принялись извергать лаву наилучших кондитерских красок. Птички на левом берегу учинили большой и громкий скандал. Золотая дужка пенсне вспыхнула и ослепила гроссмейстера. Взошло солнце.

Остап раскрыл глаза и вытянулся, накреня лодку и треща костями.

— С добрым утром, Киса,— сказал он, давясь зевотой.— Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по чему-то там затрепетало...

— Пристань,— доложил Ипполит Матвеевич.

Остап вытащил путеводитель и справился.

— Судя по всему — Чебоксары. Так, так...

> Обращаем внимание на очень красиво расположенный г. Чебоксары.

— Киса, он в самом деле красиво расположен?..

> В настоящее время в Чебоксарах 7702 жителя.

— Киса! Давайте бросим погоню за брильянтами и увеличим население Чебоксар до семи тысяч семисот четырех человек. А? Это будет очень эффектно... Откроем «Пти-шво» и с этого «Пти-шво» будем иметь верный гран-кусок хлеба... Ну-с, дальше.

> Основанный в 1555 году город сохранил несколько весьма интересных церквей. Помимо административных учреждений Чувашской республики, здесь имеются: рабочий факультет, партийная школа, педагогический техникум, две школы второй ступени, музей, научное общество и библиотека. На чебоксарской пристани и на базаре можно видеть чувашей и черемис, выделяющихся своим внешним видом...

Но, еще прежде чем друзья приблизились к пристани, где можно было видеть чувашей и черемис, их внимание было привлечено предметом, плывшим по течению впереди лодки.

— Стул! —закричал Остап.— Администратор! Наш стул плывет.

Компаньоны подплыли к стулу. Он покачивался, вращался, погружался в воду, снова выплывал, удаляясь от лодки концессионеров. Вода свободно вливалась в его распоротое брюхо.

Это был стул, вскрытый на «Скрябине» и теперь медленно направляющийся в Каспийское море.

— Здорово, приятель! — крикнул Остап.— Давненько не виделись! Знаете, Воробьянинов, этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем, хотя, кажется, никого этим не радуем. Нас никто не любит, если не считать Уголовного розыска, который, впрочем, тоже нас не любит. Никому до нас нет дела. Если бы вче-

ра шахматным любителям удалось нас утопить, от нас остался бы только один протокол осмотра трупов: «Оба тела лежат ногами к юго-востоку, а головами к северо-западу. На теле рваные раны, нанесенные, по-видимому, каким-то тупым орудием». Любители били бы нас, очевидно, шахматными досками. Орудие, что и говорить, туповатое... «Труп первый принадлежит мужчине лет пятидесяти пяти, одет в рваный люстриновый пиджак, старые брюки и старые сапоги. В кармане пиджака удостоверение на имя Конрада Карловича гр. Михельсона...» Вот, Киса, что о вас написали бы.

— А о вас бы что написали? — сердито спросил Воробьянинов.

— О! Обо мне написали бы совсем другое. Обо мне написали бы так: «Труп второй принадлежит мужчине двадцати семи лет. Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка. Голова его с высоким лбом, обрамленным иссиня-черными кудрями, обращена к солнцу. Его изящные ноги, сорок второй номер ботинок, направлены к северному сиянию. Тело облачено в незапятнанные белые одежды, на груди золотая арфа с инкрустацией из перламутра и ноты романса: «Прощай ты, Новая деревня». Покойный юноша занимался выжиганием по дереву, что видно из обнаруженного в кармане фрака удостоверения, выданного 23/VIII — 24 г. кустарной артелью «Пегас и Парнас» за № 86/1562». И меня похоронят, Киса, пышно, с оркестром, с речами, и на памятнике моем будет высечено: «Здесь лежит известный теплотехник и истребитель Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендербей, отец которого был турецко-подданным и умер, не оставив сыну своему Остапу-Сулейману ни малейшего наследства. Мать покойного была графиней и жила нетрудовыми доходами».

Разговаривая подобным образом, концессионеры приткнулись к чебоксарскому берегу.

Вечером, увеличив капитал на пять рублей продажей васюкинской лодки, друзья погрузились на теплоход «Урицкий» и поплыли в Сталинград, рассчитывая обогнать по дороге медлительный тиражный пароход и встретиться с труппой колумбовцев в Сталинграде.

«Скрябин» пришел в Сталинград в начале июля. Друзья встретили его, прячась за ящиками на пристани. Перед разгрузкой на пароходе состоялся тираж. Разыграли крупные выигрыши.

Стульев пришлось ждать часа четыре. Сначала с парохода повалили колумбовцы и тиражные служащие. Среди них выделялось сияющее лицо Персицкого.

Сидя в засаде, концессионеры слышали его крики:

— Да! Моментально еду в Москву! Телеграмму уже послал! И знаете какую? «Ликую с вами». Пусть догадываются!

Потом Персицкий сел в прокатный автомобиль, предварительно осмотрев его со всех сторон и пощупав радиатор, и уехал, провожаемый почему-то криками «ура!».

После того как с парохода был выгружен гидравлический пресс, стали выносить колумбовское вещественное оформление. Стулья вынесли, когда уже стемнело. Колумбовцы погрузились в пять пароконных фургонов и, весело крича, покатили прямо на вокзал.

— Кажется, в Сталинграде они играть не будут,— сказал Ипполит Матвеевич.

Это озадачило Остапа.

— Придется ехать,— решил он,— а на какие деньги ехать? Впрочем, идем на вокзал, а там видно будет.

На вокзале выяснилось, что театр едет в Пятигорск через Тихорецкую — Минеральные Воды. Денег у концессионеров хватило только на один билет.

— Вы умеете ездить зайцем? — спросил Остап Воробьянинова.

— Я попробую,— робко сказал Ипполит Матвеевич.

— Черт с вами! Лучше уж не пробуйте! Прощаю вам еще раз. Так и быть, зайцем поеду я.

Для Ипполита Матвеевича был куплен билет в бесплацкартном жестком вагоне, в котором бывший предводитель и прибыл на уставленную олеандрами в зеленых кадках станцию «Минеральные Воды» Северо-Кавказских железных дорог и, стараясь не попадаться на глаза выгружавшимся из поезда колумбовцам, стал искать Остапа.

Давно уже театр уехал в Пятигорск, разместясь в новеньких дачных вагончиках, а Остапа все не было. Он приехал только вечером и нашел Воробьянинова в полном расстройстве.

— Где вы были? — простонал предводитель.— Я так измучился!

— Это вы-то измучились, разъезжая с билетом в кармане? А я, значит, не измучился? Это не меня, следовательно, согнали с буферов вашего поезда в Тихорецкой? Это, значит, не я сидел там три часа как дурак, ожидая товарного поезда с пустыми нарзанными бутылками? Вы — свинья, гражданин предводитель! Где театр?

— В Пятигорске.

— Едем! Я кое-что накропал по дороге. Чистый доход выражается в трех рублях. Это, конечно, немного, но на первое обзаведение нарзаном и железнодорожными билетами хватит.

Дачный поезд, бренча, как телега, в пятьдесят минут дотащил путешественников до Пятигорска. Мимо Змейки и Бештау концессионеры прибыли к подножью Машука.

Глава XXXVI

ВИД НА МАЛАХИТОВУЮ ЛУЖУ

Был воскресный вечер. Все было чисто и умыто. Даже Машук, поросший кустами и рощицами, казалось, был тщательно расчесан и струил запах горного вежеталя.

Белые штаны самого разнообразного свойства мелькали по игрушечному перрону: штаны из рогожки, чертовой кожи, коломянки, парусины и нежной фланели. Здесь ходили в сандалиях и рубашечках «апаш». Концессионеры, в тяжелых, грязных сапожищах, тяжелых пыльных брюках, горячих жилетах и раскаленных пиджаках, чувствовали себя чужими. Среди всеобщего многообразия веселеньких ситчиков,

которыми щеголяли курортные девицы, самым светлейшим и самым элегантным был костюм начальницы станции.

На удивление всем приезжим, начальником станции была женщина. Рыжие кудри вырывались из-под красной фуражки с двумя серебряными галунами на околыше. Она носила белый форменный китель и белую юбку.

Налюбовавшись начальницей, прочитав свеженаклеенную афишу о гастролях в Пятигорске театра Колумба и выпив два пятикопеечных стакана нарзана, путешественники проникли в город на трамвае линии «Вокзал — «Цветник». За вход в «Цветник» взяли десять копеек.

В «Цветнике» было много музыки, много веселых людей и очень мало цветов. Симфонический оркестр исполнял в белой раковине «Пляску комаров». В Лермонтовской галерее продавали нарзан. Нарзаном торговали в киосках и вразнос.

Никому не было дела до двух грязных искателей брильянтов.

— Эх, Киса,— сказал Остап,— мы чужие на этом празднике жизни.

Первую ночь на курорте концессионеры провели у нарзанного источника.

Только здесь, в Пятигорске, когда театр Колумба ставил третий раз перед изумленными горожанами свою «Женитьбу», компаньоны поняли всю трудность погони за сокровищами. Проникнуть в театр, как они предполагали раньше, было невозможно. За кулисами ночевали Галкин, Палкин, Малкин, Чалкин и Залкинд, марочная диета которых не позволяла им жить в гостинице.

Так проходили дни, и друзья выбивались из сил, ночуя у места дуэли Лермонтова и прокармливаясь переноской багажа туристов-середнячков.

На шестой день Остапу удалось свести знакомство с монтером Мечниковым, заведующим гидропрессом. К этому времени Мечников, из-за отсутствия денег каждодневно опохмелявшийся нарзаном из источника, пришел в ужасное состояние и, по наблюдению Остапа,

продавал на рынке кое-какие предметы из театрального реквизита. Окончательная договоренность была достигнута на утреннем возлиянии у источника. Монтер Мечников называл Остапа дусей и соглашался.

— Можно,— говорил он,— это всегда можно, дуся. С нашим удовольствием, дуся.

Остап сразу же понял, что монтер великий дока.

Договаривающиеся стороны заглядывали друг другу в глаза, обнимались, хлопали по спинам и вежливо смеялись.

— Ну,— сказал Остап,— за все дело десятку!

— Дуся! — удивился монтер.— Вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.

— Сколько же вы хотите?

— Положите полста. Ведь имущество-то казенное. Я человек измученный.

— Хорошо. Берите двадцать! Согласны? Ну, по глазам вижу, что согласны.

— Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.

— Хорошо излагает, собака,— шепнул Остап на ухо Ипполиту Матвеевичу,— учитесь.

— Когда же вы стулья принесете?

— Стулья против денег.

— Это можно,— сказал Остап, не думая.

— Деньги вперед,— заявил монтер,— утром — деньги, вечером — стулья или вечером — деньги, а на другой день утром — стулья.

— А может быть, сегодня стулья, а завтра деньги? — пытал Остап.

— Я же, дуся, человек измученный. Такие условия душа не принимает.

— Но ведь я,— сказал Остап,— только завтра получу деньги по телеграфу.

— Тогда и разговаривать будем,— заключил упрямый монтер,— а пока, дуся, счастливо оставаться у источника, а я пошел: у меня с прессом работы много. Симбиевич за глотку берет. Сил не хватает. А одним нарзаном разве проживешь?

И Мечников, великолепно освещенный солнцем, удалился.

Остап строго посмотрел на Ипполита Матвеевича.

— Время, — сказал он,— которое мы имеем,— это деньги, которых мы не имеем. Киса, мы должны делать карьеру. Сто пятьдесят тысяч рублей и ноль ноль копеек лежат перед нами. Нужно только двадцать рублей, чтобы сокровище стало нашим. Тут не надо брезговать никакими средствами. Пан или пропал. Выбираю пана, хотя он и явный поляк.

Остап задумчиво обошел кругом Воробьянинова.

— Снимите пиджак, предводитель, поживее,— сказал он неожиданно.

Остап принял из рук удивленного Ипполита Матвеевича пиджак, бросил его наземь и принялся топтать пыльными штиблетами.

— Что вы делаете? — завопил Воробьянинов.— Этот пиджак я ношу уже пятнадцать лет, и он все как новый!

— Не волнуйтесь! Он скоро не будет как новый! Дайте шляпу! Теперь посыпьте брюки пылью и оросите их нарзаном. Живо!

Ипполит Матвеевич через несколько минут стал грязным до отвращения.

— Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом.

— Что же я должен делать? — слезливо спросил Воробьянинов.

— Французский язык знаете, надеюсь?

— Очень плохо. В пределах гимназического курса.

— Гм... Придется орудовать в этих пределах. Сможете ли вы сказать по-французски следующую фразу: «Господа, я не ел шесть дней»?

— Мосье,— начал Ипполит Матвеевич, запинаясь,— мосье, гм, гм... же не, что ли, же не манж па... шесть, как оно: ен, де, труа, катр, сенк... сис... сис... жур. Значит, же не манж па сис жур.

— Ну и произношение у вас, Киса! Впрочем, что от нищего требовать! Конечно, нищий в Европейской России говорит по-французски хуже, чем Мильеран. Ну, Кисуля, а в каких пределах вы знаете немецкий язык?

— Зачем мне это все? — воскликнул Ипполит Матвеевич.

— Затем,— сказал Остап веско,— что вы сейчас пойдете к «Цветнику», станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяние, упирая на то, что вы бывший член Государственной думы от кадетской фракции. Весь чистый сбор поступит монтеру Мечникову. Поняли?

Ипполит Матвеевич преобразился. Грудь его выгнулась, как Дворцовый мост в Ленинграде, глаза метнули огонь, и из ноздрей, как показалось Остапу, повалил густой дым. Усы медленно стали приподниматься.

— Ай-яй-яй,— сказал великий комбинатор, ничуть не испугавшись,— посмотрите на него. Не человек, а какой-то конек-горбунок!

— Никогда,— принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич,— никогда Воробьянинов не протягивал руки.

— Так протянете ноги, старый дуралей! — закричал Остап.— Вы не протягивали руки?

— Не протягивал.

— Как вам понравится этот альфонсизм? Три месяца живет на мой счет. Три месяца я кормлю его, пою и воспитываю, и этот альфонс становится теперь в третью позицию и заявляет, что он... Ну! Довольно, товарищ! Одно из двух: или вы сейчас же отправитесь к «Цветнику» и приносите к вечеру десять рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до пяти. Да или нет? Раз...

— Да,— пробормотал предводитель.

— В таком случае повторите заклинание.

— Мосье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы.

— Еще раз. Жалостнее!

Ипполит Матвеевич повторил.

— Ну, хорошо. У вас талант к нищенству заложен с детства. Идите. Свидание у источника в полночь. Это, имейте в виду, не для романтики, а просто — вечером больше подают.

— А вы,— спросил Ипполит Матвеевич,— куда пойдете?

— Обо мне не беспокойтесь. Я действую, как всегда, в самом трудном месте.

Друзья разошлись.

Остап сбегал в писчебумажную лавчонку, купил там на последний гривенник квитанционную книжку и около часу сидел на каменной тумбе, перенумеровывая квитанции и расписываясь на каждой из них.

— Прежде всего система,— бормотал он,— каждая общественная копейка должна быть учтена.

Великий комбинатор двинулся стрелковым шагом по горной дороге, ведущей вокруг Машука к месту дуэли Лермонтова с Мартыновым, мимо санаториев и домов отдыха.

Обгоняемый автобусами и пароконными экипажами, Остап вышел к Провалу.

Небольшая, высеченная в скале галерея вела в конусообразный провал. Галерея кончалась балкончиком, стоя на котором можно было увидеть на дне Провала лужицу малахитовой зловонной жидкости. Этот Провал считается достопримечательностью Пятигорска, и поэтому за день его посещает немалое число экскурсий и туристов-одиночек.

Остап сразу же выяснил, что Провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей.

«Удивительное дело,— размышлял Остап,— как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Это, кажется, единственное место, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничто-

жу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение».

И Остап поступил так, как подсказывали ему разум, здоровый инстинкт и создавшаяся ситуация.

Он остановился у входа в Провал и, трепля в руках квитанционную книжку, время от времени вскрикивал:

— Приобретайте билеты, граждане! Десять копеек! Дети и красноармейцы бесплатно! Студентам — пять копеек! Не членам профсоюза — тридцать копеек!

Остап бил наверняка. Пятигорцы в Провал не ходили, а с советского туриста содрать десять копеек за вход «куда-то» не представляло ни малейшего труда. Часам к пяти набралось уже рублей шесть. Помогли не члены союза, которых в Пятигорске было множество. Все доверчиво отдавали свои гривенники, и один румяный турист, завидя Остапа, сказал жене торжествующе:

— Видишь, Танюша, что я тебе вчера говорил? А ты говорила, что за вход в Провал платить не нужно. Не может быть. Правда, товарищ?

— Совершеннейшая правда,— подтвердил Остап,— этого быть не может, чтобы не брать за вход. Членам профсоюза — десять копеек и не членам профсоюза — тридцать копеек.

Перед вечером к Провалу подъехала на двух линейках экскурсия харьковских милиционеров. Остап испугался и хотел было притвориться невинным туристом, но милиционеры так робко столпились вокруг великого комбинатора, что пути к отступлению не было. Поэтому Остап закричал довольно твердым голосом:

— Членам профсоюза — десять копеек, но так как представители милиции могут быть приравнены к студентам и детям, то с них по пять копеек.

Милиционеры заплатили, деликатно осведомившись, с какой целью взимаются пятаки.

— С целью капитального ремонта Провала,— дерзко ответил Остап,— чтоб не слишком провалился.

В то время как великий комбинатор ловко торговал видом на малахитовую лужу, Ипполит Матвеевич, сгорбясь и погрязая в стыде, стоял под акацией и, не глядя на гуляющих, жевал три врученных ему фразы:

— Мсье, же не манж па... Гебен зи мир битте... Подайте что-нибудь депутату Государственной думы...

Подавали не то чтобы мало, но както невесело. Однако, играя на чистом парижском произношении слова «манж» и волнуя души бедственным положением бывшего члена Госдумы, удалось нахватать медяков рубля на три.

Под ногами гуляющих трещал гравий. Оркестр с небольшими перерывами исполнял Штрауса, Брамса и Грига. Светлая толпа, лепеча, катилась мимо старого предводителя и возвращалась вспять. Тень Лермонтова незримо витала над гражданами, вкушавшими мацони на веранде буфета. Пахло одеколоном и нарзанными газами.

— Подайте бывшему члену Государственной думы,— бормотал предводитель.

— Скажите, вы в самом деле были членом Государственной думы? — раздалось над ухом Ипполита Матвеевича.— И вы действительно ходили на заседания? Ах! Ах! Высокий класс!

Ипполит Матвеевич поднял лицо и обмер. Перед ним прыгал, как воробышек, толстенький Авессалом

Владимирович Изнуренков. Он сменил коричневый лодзинский костюм на белый пиджак и серые панталоны с игривой искоркой. Он был необычайно оживлен и иной раз подскакивал вершков на пять от земли. Ипполита Матвеевича Изнуренков не узнал и продолжал засыпать его вопросами:

— Скажите, вы в самом деле видели Родзянко? Пуришкевич в самом деле был лысый? Ах! Ах! Какая тема! Высокий класс!

Продолжая вертеться, Изнуренков сунул растерявшемуся предводителю три рубля и убежал. Но долго еще в «Цветнике» мелькали его толстенькие ляжки и чуть не с деревьев сыпалось:

— Ах! Ах! «Не пой, красавица, при мне ты песни Грузии печальной!» Ах! Ах! «Напоминают мне оне иную жизнь и берег дальний!..» Ах! Ах! «А поутру она вновь улыбалась!» Высокий класс!..

Ипполит Матвеевич продолжал стоять, обратив глаза к земле. И напрасно так стоял он. Он не видел многого.

В чудном мраке пятигорской ночи по аллеям парка гуляла Эллочка Щукина, волоча за собой покорного, примирившегося с нею Эрнеста Павловича. Поездка на Кислые воды была последним аккордом в тяжелой борьбе с дочкой Вандербильда. Гордая американка недавно с развлекательной целью выехала в собственной яхте на Сандвичевы острова.

— Хо-хо! — раздавалось в ночной тиши.— Знаменито, Эрнестуля! Кр-р-расота!

В буфете, освещенном лампами, сидел голубой воришка Альхен со своей супругой Сашхен. Щеки ее по-прежнему были украшены николаевскими полубакенбардами. Альхен застенчиво ел шашлык по-карски, запивая его кахетинским № 2, а Сашхен, поглаживая бакенбарды, ждала заказанной осетрины.

После ликвидации второго дома собеса (было продано все, включая даже туальденоровый колпак повара и лозунг: «Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу») Альхен решил отдохнуть и поразвлечься. Сама судьба хранила этого сытого жулика. Он собирался в этот день поехать в Провал, но не

успел. Это спасло его. Остап выдоил бы из робкого завхоза никак не меньше тридцати рублей.

Ипполит Матвеевич побрел к источнику только тогда, когда музыканты складывали свои пюпитры, праздничная публика расходилась и только влюбленные парочки усиленно дышали в тощих аллеях «Цветника».

— Сколько насбирали? — спросил Остап, когда согбенная фигура предводителя появилась у источника.

— Семь рублей двадцать девять копеек. Три рубля бумажкой. Остальные — медь и немного серебра.

— Для первой гастроли дивно! Ставка ответственного работника! Вы меня умиляете, Киса! Но какой дурак дал вам три рубля, хотел бы я знать? Может быть, вы сдачи давали?

— Изнуренков дал.

— Да не может быть! Авессалом? Ишь ты, шарик! Куда закатился! Вы с ним говорили? Ах, он вас не узнал!

— Расспрашивал о Государственной думе! Смеялся!

— Вот видите, предводитель, нищим быть не так-то уж плохо, особенно при умеренном образовании и слабой постановке голоса! А вы еще кобенились, лорда хранителя печати ломали! Ну, Кисочка, и я провел время недаром. Пятнадцать рублей, как одна копейка. Итого — хватит.

На другое утро монтер получил деньги и вечером притащил два стула. Третий стул, по его словам, взять было никак невозможно. На нем звуковое оформление играло в карты.

Для большей безопасности друзья забрались почти на самую вершину Машука.

Внизу прочными недвижимыми огнями светился Пятигорск. Пониже Пятигорска плохонькие огоньки обозначали станицу Горячеводскую. На горизонте двумя параллельными пунктирными линиями высовывался из-за горы Кисловодск.

Остап глянул в звездное небо и вынул из кармана известные уже плоскогубцы.

Глава XXXVII

ЗЕЛЕНЫЙ МЫС

Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи на Зеленом Мысу под большой пальмой, накрахмаленные листья которой бросали острые и узкие тени на бритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гамбсовский стул из гарнитура генеральши Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда.

Брунс вытянул толстые, наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул:

— Му-у-усик!

Дача молчала.

Тропическая флора ластилась к инженеру. Кактусы протягивали к нему свои ежовые рукавицы. Драцены гремели листьями. Бананы и саговые пальмы отгоняли мух с лысины инженера. Розы, обвивающие веранду, падали к его сандалиям.

Но все было тщетно. Брунс хотел обедать. Он раздраженно смотрел на перламутровую бухту, на далекий мысик Батума и певуче призывал:

— Му-у-у-усик! Му-у-у-усик!

Во влажном субтропическом воздухе звук быстро замирал. Ответа не было. Брунс представил себе большого коричневого гуся с шипящей жирной кожей и, не в силах сдержать себя, завопил:

— Мусик!!! Готов гусик?!

— Андрей Михайлович! — закричал женский голос из комнаты.— Не морочь мне голову!

Инженер, свернувший уже привычные губы в трубочку, немедленно ответил:

— Мусик! Ты не жалеешь своего маленького мужика!

— Пошел вон, обжора! — ответили из комнаты.

Но инженер не покорился. Он собрался было продолжать вызовы гусика, которые он безуспешно вел уже два часа, но неожиданный шорох заставил его обернуться.

Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной синей косоворотке, опоясанной потертым витым шнурком с густыми кистями, и в затертых полосатых брюках. На добром лице незнакомца топорщилась лохматая бородка. В руках он держал пиджак.

Человек приблизился и спросил приятным голосом:

— Где здесь находится инженер Брунс?

— Я инженер Брунс,— сказал заклинатель гусика неожиданным басом.— Чем могу?

Человек молча повалился на колени. Это был отец Федор.

— Вы с ума сошли! — воскликнул инженер, вскакивая.— Встаньте, пожалуйста!

— Не встану,— ответил отец Федор, водя головой за инженером и глядя на него ясными глазами.

— Встаньте!

— Не встану!

И отец Федор осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий.

— Мусик! Иди сюда! — закричал испуганный инженер.— Смотри, что делается. Встаньте, я вас прошу. Ну, умоляю вас!

— Не встану,— повторил отец Федор.

На веранду выбежала Мусик, тонко разбиравшаяся в интонациях мужа.

Завидев даму, отец Федор, не поднимаясь с колен, проворно переполз поближе к ней, поклонился в ноги и зачастил:

— На вас, матушка, на вас, голубушка, на вас уповаю.

Тогда инженер Брунс покраснел, схватил просителя под мышки и, натужась, поднял его, чтобы поставить на ноги, но отец Федор схитрил и поджал ноги. Возмущенный Брунс потащил странного гостя в угол и насильно посадил его в полукресло (гамбсовское, отнюдь не из воробьяниновского особняка, но из гостиной генеральши Поповой).

— Не смею,— забормотал отец Федор, кладя на колени попахивающий керосином пиджак булочника,— не осмеливаюсь сидеть в присутствии высокопоставленных особ.

И отец Федор сделал попытку снова пасть на колени.

Инженер с печальным криком придержал отца Федора за плечи.

— Мусик,— сказал он, тяжело дыша,— поговори с этим гражданином. Тут какое-то недоразумение.

Мусик сразу взяла деловой тон.

— В моем доме,— сказала она грозно,— пожалуйста, не становитесь ни на какие колени!

— Голубушка! — умилился отец Федор.— Матушка!

— Никакая я вам не матушка. Что вам угодно?

Поп залопотал что-то непонятное, но, видно, умилительное. Только после долгих расспросов удалось понять, что он, как особой милости, просит продать ему гарнитур из двенадцати стульев, на одном из которых он в настоящий момент сидит.

Инженер от удивления выпустил из рук плечи отца Федора, который немедленно бухнулся на колени и стал по-черепашьи гоняться за инженером.

— Почему,— кричал инженер, увертываясь от длинных рук отца Федора,— почему я должен продать свои стулья? Сколько вы ни бухайтесь на колени, я ничего не могу понять!

— Да ведь это мои стулья,— простонал отец Федор.

— То есть как это ваши? Откуда ваши? С ума вы спятили? Мусик, теперь для меня все ясно! Это явный псих!

— Мои,— униженно твердил отец Федор.

— Что ж, по-вашему, я у вас их украл? — вскипел инженер.— Украл? Слышишь, Мусик! Это какой-то шантаж!

— Ни боже мой,— шепнул отец Федор.

— Если я их у вас украл, то требуйте судом и не устраивайте в моем доме пандемониума! Слышишь, Мусик! До чего доходит нахальство. Пообедать не дадут по-человечески!

Нет, отец Федор не хотел требовать «свои» стулья судом. Отнюдь. Он знал, что инженер Брунс не крал у него стульев. О нет! У него и в мыслях этого не было. Но эти стулья все-таки до революции принадлежали ему, отцу Федору, и они бесконечно дороги его жене, умирающей сейчас в Воронеже. Исполняя ее волю, а никак не по собственной дерзости, он позволил себе узнать местонахождение стульев и явиться к гражданину Брунсу. Отец Федор не просит подаяния. О нет! Он достаточно обеспечен (небольшой свечной заводик в Самаре), чтобы усладить последние минуты жены покупкой старых стульев. Он готов не поскупиться и уплатить за весь гарнитур рублей двадцать.

— Что? — крикнул инженер, багровея.— Двадцать рублей? За прекрасный гостиный гарнитур? Мусик! Ты слышишь? Это все-таки псих! Ей-богу, псих!

— Я не псих. А единственно выполняя волю пославшей мя жены...

— О ч-черт,— сказал инженер,— опять ползать начал! Мусик! Он опять ползает!

— Назначьте же цену,— стенал отец Федор, осмотрительно бьясь головой о ствол араукарии.

— Не портите дерева, чудак вы человек! Мусик, он, кажется, не псих. Просто, как видно, расстроен человек болезнью жены. Продать ему разве стулья, а? Отвяжется, а? А то он лоб разобьет!

— А мы на чем сидеть будем? — спросила Мусик.

— Купим другие.

— Это за двадцать-то рублей?

— За двадцать я, положим, не продам. Положим, не продам я и за двести... А за двести пятьдесят продам.

Ответом послужил страшный удар головой о драцену.

— Ну, Мусик, это мне уже надоело.

Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум:

— Во-первых, отойдите от пальмы не менее чем на три шага; во-вторых, немедленно встаньте. В-третьих, мебель я продам за двести пятьдесят рублей, не меньше.

— Не корысти ради,— пропел отец Федор,— а токмо во исполнение воли больной жены.

— Ну, милый, моя жена тоже больна. Правда, Мусик, у тебя легкие не в порядке? Но я не требую на этом основании, чтобы вы... ну... продали мне, положим, ваш пиджак за тридцать копеек.

— Возьмите даром! — воскликнул отец Федор.

Инженер раздраженно махнул рукой и холодно сказал:

— Вы ваши шутки бросьте. Ни в какие рассуждения я больше не пускаюсь. Стулья оценены мною в двести пятьдесят рублей, и я не уступлю ни копейки.

— Пятьдесят,— предложил отец Федор.

— Мусик! — сказал инженер.— Позови Багратиона. Пусть проводит гражданина!

— Не корысти ради...

— Багратион!

Отец Федор в страхе бежал, а инженер пошел в столовую и сел за гусика. Любимая птица произвела на Брунса благотворное действие. Он начал успокаиваться.

В тот момент, когда инженер, обмотав косточку папиросной бумагой, поднес гусиную ножку к розовому рту, в окне появилось умоляющее лицо отца Федора.

— Не корысти ради,— сказал мягкий голос,— пятьдесят пять рублей.

Инженер, не оглядываясь, зарычал. Отец Федор исчез.

Весь день потом фигура отца Федора мелькала во всех концах дачи. То выбегала она из тени криптоме-

рий, то возникала она в мандариновой роще, то перелетала через черный двор и, трепеща, уносилась к Ботаническому саду.

Инженер весь день призывал Мусика, жаловался на психа и на головную боль. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора.

— Сто тридцать восемь! — кричал он откуда-то с неба.

А через минуту голос его приходил со стороны дачи Думбасова.

— Сто сорок один,— предлагал отец Федор,— не корысти ради, господин Брунс, а токмо...

Наконец инженер не выдержал, вышел на середину веранды и, вглядываясь в темноту, начал размеренно кричать:

— Черт с вами! Двести рублей! Только отвяжитесь.

Послышались шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и удаляющиеся шаги. Потом все смолкло.

В заливе барахтались звезды. Светляки догоняли отца Федора, кружились вокруг головы, обливая лицо его зеленоватым медицинским светом.

— Ну и гусики теперь пошли,— пробормотал инженер, входя в комнаты.

Между тем отец Федор летел в последнем автобусе вдоль морского берега к Батуму. Под самым боком, со звуком перелистываемой книги, набегал легкий прибой, ветер ударял по лицу, и автомобильной сирене отвечало мяуканье шакалов.

В этот же вечер отец Федор отправил в город N жене своей Катерине Александровне такую телеграмму:

Товар нашел вышли двести тридцать
телеграфом продай что хочешь Федя

Два дня он восторженно слонялся у Брунсовой дачи, издали раскланивался с Мусиком и даже время от времени оглашал тропические дали криками:

— Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги!

На третий день деньги были получены с отчаянной телеграммой:

Продала все осталась без одной
копейки целую и жду Евстигнеев все
обедает Катя

Отец Федор пересчитал деньги, истово перекрестился, нанял фургон и поехал на Зеленый Мыс.

Погода была сумрачная. С турецкой границы ветер нагонял тучи. Чорох курился. Голубая прослойка в небе все уменьшалась. Шторм доходил до семи баллов. Было запрещено купаться и выходить в море на лодках. Гул и гром стояли над Батумом. Шторм тряс берега.

Достигши дачи инженера Брунса, отец Федор велел вознице-аджарцу в башлыке подождать и отправился за мебелью.

— Принес деньги я,— сказал отец Федор,— уступили бы малость.

— Мусик,— застонал инженер,— я не могу больше.

— Да нет, я деньги принес,— заторопился отец Федор,— двести рублей, как вы говорили.

— Мусик! Возьми у него деньги! Дай ему стулья. И пусть сделает все это поскорее. У меня мигрень.

Цель всей жизни была достигнута. Свечной заводик в Самаре сам лез в руки. Брильянты сыпались в карманы, как семечки.

Двенадцать стульев один за другим были погружены в фургон. Они очень походили на воробьяниновские, с тою только разницей, что обивка их была не ситцевая, в цветочках, а репсовая, синяя, в розовую полосочку.

Нетерпение охватывало отца Федора. Под полою у него за витой шнурок был заткнут топорик. Отец Федор сел рядом с кучером и, поминутно оглядываясь на стулья, выехал к Батуму. Бодрые кони свезли отца Федора и его сокровища вниз, на шоссейную дорогу, мимо ресторанчика «Финал», по бамбуковым столам и беседкам которого гулял ветер, мимо туннеля, проглатывавшего последние цистерны нефтяного маршрута, мимо фотографа, лишенного в этот хмурый

денек обычной своей клиентуры, мимо вывески «Батумский ботанический сад» и повлекли не слишком быстро над самой линией прибоя. В том месте, где дорога соприкасалась с массивами, отца Федора обдавало солеными брызгами. Отбитые массивами от берега, волны оборачивались гейзерами, поднимались к небу и медленно опадали.

Толчки и взрывы прибоя накаляли смятенный дух отца Федора. Лошади, борясь с ветром, медленно приближались к Махинджаури. Куда хватал глаз, свистали и пучились мутные зеленые воды. До самого Батума трепалась белая пена прибоя, словно подол нижней юбки, выбившейся из-под платья неряшливой дамочки.

— Стой! — закричал вдруг отец Федор вознице.— Стой, мусульманин!

И он, дрожа и спотыкаясь, стал выгружать стулья на пустынный берег. Равнодушный аджарец получил свою пятерку, хлестнул по лошадям и уехал. А отец Федор, убедившись, что вокруг никого нет, стащил стулья с обрыва на небольшой, сухой еще кусок пляжа и вынул топорик.

Минуту он находился в сомнении, не знал, с какого стула начать. Потом, словно лунатик, подошел к третьему стулу и зверски ударил топориком по спинке. Стул опрокинулся, не повредившись.

— Ага! — крикнул отец Федор.— Я т-тебе покажу!

И он бросился на стул, как на живую тварь. Вмиг стул был изрублен в капусту. Отец Федор не слышал

ударов топора о дерево, о репс и о пружины. В могучем реве шторма глохли, как в войлоке, все посторонние звуки.

— Ага! Ага! Ага! — приговаривал отец Федор, рубя сплеча.

Стулья выходили из строя один за другим. Ярость отца Федора все увеличивалась. Увеличивался и шторм. Иные волны добирались до самых ног отца Федора.

От Батума до Синопа стоял великий шум. Море бесилось и срывало свое бешенство на каждом суденышке. Пароход «Ленин», чадя двумя своими трубами и тяжело оседая на корму, подходил к Новороссийску. Шторм вертелся в Черном море, выбрасывая тысячетонные валы на берега Трапезунда, Ялты, Одессы и Констанцы. За тишиной Босфора и Дарданелл гремело Средиземное море. За Гибралтарским проливом бился о Европу Атлантический океан. Сердитая вода опоясывала земной шар.

А на батумском берегу стоял отец Федор и, обливаясь по̀том, разрубал последний стул. Через минуту все было кончено. Отчаяние охватило отца Федора. Бросив остолбенелый взгляд на навороченную им гору ножек, спинок и пружин, он отступил. Вода схватила его за ноги. Он рванулся вперед и, вымокший, бросился на шоссе. Большая волна грянулась о то место, где только что стоял отец Федор, и, катясь назад, увлекла с собою весь искалеченный гарнитур генеральши Поповой. Отец Федор уже не видел этого. Он брел по шоссе, согнувшись и прижимая к груди мокрый кулак.

Он вошел в Батум, сослепу ничего не видя вокруг. Положение его было самое ужасное. За пять тысяч километров от дома, с двадцатью рублями в кармане, доехать в родной город было положительно невозможно.

Отец Федор миновал турецкий базар, на котором ему идеальным шепотом советовали купить пудру Коти, шелковые чулки и необандероленный сухумский табак, потащился к вокзалу и затерялся в толпе носильщиков.

Глава XXXVIII

ПОД ОБЛАКАМИ

Через три дня после сделки концессионеров с монтером Мечниковым театр Колумба выехал по железной дороге через Махач-Кала и Баку. Все эти три дня концессионеры, не удовлетворившиеся содержимым вскрытых на Машуке двух стульев, ждали от Мечникова третьего, последнего из колумбовских стульев. Но монтер, измученный нарзаном, обратил все двадцать рублей на покупку простой водки и дошел до такого состояния, что содержался взаперти в бутафорской.

— Вот вам и Кислые воды! — заявил Остап, узнав об отъезде театра.— Сучья лапа этот монтер! Имей после этого дело с теаработниками!

Остап стал гораздо суетливее, чем прежде. Шансы на отыскание сокровищ увеличились безмерно.

— Нужны деньги на поездку во Владикавказ,— сказал Остап.— Оттуда мы поедем в Тифлис на автомобиле по Военно-Грузинской дороге. Очаровательные виды! Захватывающий пейзаж! Чудный горный воздух! И в финале всего — сто пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек. Есть смысл продолжать заседание.

Но выехать из Минеральных Вод было не так-то легко. Воробьянинов оказался бездарным железнодорожным зайцем, и так как попытки его сесть в поезд оказались безуспешными, то ему пришлось выступить около «Цветника» в качестве бывшего попечителя учебного округа. Это имело весьма малый успех. Два рубля за двенадцать часов тяжелой и унизительной работы. Сумма, однако, достаточная для проезда во Владикавказ.

В Беслане Остапа, ехавшего без билета, согнали с поезда, и великий комбинатор дерзко бежал за поездом версты три, грозя ни в чем не виновному Ипполиту Матвеевичу кулаком.

После этого Остапу удалось вскочить на ступеньку медленно подтягивающегося к Кавказскому хребту поезда. С этой позиции Остап с любопытством взирал на развернувшуюся перед ним панораму Кавказской горной цепи.

Был четвертый час утра. Горные вершины осветились темно-розовым солнечным светом. Горы не понравились Остапу.

— Слишком много шику,— сказал он.— Дикая красота. Воображение идиота. Никчемная вещь.

У владикавказского вокзала приезжающих ждал большой открытый автобус Закавтопромторга, и ласковые люди говорили:

— Кто поедет по Военно-Грузинской дороге, тех в город везем бесплатно.

— Куда же вы, Киса? — сказал Остап.— Нам в автобус. Пусть везут нас бесплатно.

Подвезенный автобусом к конторе Закавтопромторга, Остап, однако, не поспешил записаться на место в машине. Оживленно беседуя с Ипполитом Матвеевичем, он любовался опоясанной облаком Столовой горой и, находя, что гора действительно похожа на стол, быстро удалился.

Во Владикавказе пришлось просидеть несколько дней. Но все попытки достать деньги на проезд по Военно-Грузинской дороге или совершенно не приносили плодов, или давали средства, достаточные лишь для дневного пропитания. Попытка взимать с граждан гривенники не удалась. Кавказский хребет был настолько высок и виден, что брать за его показ деньги не представлялось возможным. Его было видно почти отовсюду. Других же красот во Владикавказе не было. Что же касается Терека, то протекал он мимо «Трека», за вход в который деньги взимал город без помощи Остапа. Сбор подаяний, произведенный Ипполитом Матвеевичем, принес за два дня тринадцать копеек.

— Довольно,— сказал Остап,— выход один: идти в Тифлис пешком. В пять дней мы пройдем двести верст. Ничего, папаша, очаровательные горные виды, свежий воздух!.. Нужны деньги на хлеб и любительскую колбасу. Можете прибавить к своему лексикону

несколько итальянских фраз, это уж как хотите, но к вечеру вы должны насбирать не меньше двух рублей! Обедать сегодня не придется, дорогой товарищ. Увы! Плохие шансы...

Спозаранку концессионеры перешли мостик через Терек, обошли казармы и углубились в зеленую долину, по которой шла Военно-Грузинская дорога.

— Нам повезло, Киса,— сказал Остап,— ночью шел дождь, и нам не придется глотать пыль. Вдыхайте, предводитель, чистый воздух. Пойте. Вспоминайте кавказские стихи. Ведите себя как полагается!..

Но Ипполит Матвеевич не пел и не вспоминал стихов. Дорога шла на подъем. Ночи, проведенные под открытым небом, напоминали о себе колотьем в боку, тяжестью в ногах, а любительская колбаса — постоянной и мучительной изжогой. Он шел, склонившись набок, держа в руке пятифунтовый хлеб, завернутый во владикавказскую газету, и чуть волоча левую ногу.

Опять идти! На этот раз в Тифлис, на этот раз по красивейшей в мире дороге. Ипполиту Матвеевичу было все равно. Он не смотрел по сторонам, как Остап. Он решительно не замечал Терека, который начинал уже погромыхивать на дне долины. И только сияющие под солнцем ледяные вершины что-то смутно ему напоминали: не то блеск брильянтов, не то лучшие глазетовые гробы мастера Безенчука.

После Балты дорога вошла в ущелье и двинулась узким карнизом, высеченным в темных отвесных скалах. Спираль дороги завивалась кверху, и вечером концессионеры очутились на станции Ларс, в тысяче метров над уровнем моря.

Переночевали в бедном духане бесплатно и даже получили по стакану молока, прельстив хозяина и его гостей карточными фокусами.

Утро было так прелестно, что даже Ипполит Матвеевич, спрыснутый горным воздухом, зашагал бодрее вчерашнего. За станцией Ларс сейчас же встала грандиозная стена Бокового хребта. Долина Терека замкнулась тут узкими теснинами. Пейзаж становился все мрачнее, а надписи на скалах многочисленнее. Там, где скалы так сдавили течение Терека, что пролет

моста равен всего десяти саженям, концессионеры увидели столько надписей на скалистых стенках ущелья, что Остап, забыв о величественности Дарьяльского ущелья, закричал, стараясь переборють грохот и стоны Терека:

— Великие люди! Обратите внимание, предводитель. Видите? Чуть повыше облака и несколько ниже орла! Надпись: «Коля и Мика, июль 1914 г.» Незабываемое зрелище! Обратите внимание на художественность исполнения! Каждая буква величиною в метр и нарисована масляной краской! Где вы сейчас, Коля и Мика?

— Киса,— продолжал Остап,— давайте и мы увековечимся. Забьем Мике баки. У меня, кстати, и мел есть! Ей-богу, полезу сейчас и напишу: «Киса и Ося здесь были».

И Остап недолго думая сложил на парапет, ограждавший шоссе от кипучей бездны Терека, запасы любительской колбасы и стал подниматься на скалу.

Ипполит Матвеевич сначала следил за подъемом великого комбинатора, но потом рассеялся и, обернувшись, принялся разглядывать фундамент замка Тамары, сохранившийся на скале, похожей на лошадиный зуб.

В это время, в двух верстах от концессионеров, со стороны Тифлиса в Дарьяльское ущелье вошел отец Федор. Он шел мерным солдатским шагом, глядя вперед себя твердыми алмазными глазами и опираясь на высокую клюку с загнутым концом.

На последние деньги отец Федор доехал до Тифлиса и теперь шагал на родину пешком, питаясь доброхотными даяниями. При переходе через Крестовый перевал (2345 метров над уровнем моря) его укусил орел. Отец Федор замахнулся на дерзкую птицу клюкою и пошел дальше.

Он шел, запутавшись в облаках, и бормотал:

— Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены!

Расстояние между врагами сокращалось. Поворотив за острый выступ, отец Федор налетел на старика в золотом пенсне.

Ущелье раскололось в глазах отца Федора. Терек прекратил свой тысячелетний крик.

Отец Федор узнал Воробьянинова. После страшной неудачи в Батуме, после того как все надежды рухнули, новая возможность заполучить богатство повлияла на отца Федора необыкновенным образом.

Он схватил Ипполита Матвеевича за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом:

— Куда девал сокровища убиенной тобою тещи?

Ипполит Матвеевич, ничего подобного не ждавший, молчал, выкатив глаза так, что они почти соприкасались со стеклами пенсне.

— Говори! — приказывал отец Федор.— Покайся, грешник!

Воробьянинов почувствовал, что теряет дыхание.

Тут отец Федор, уже торжествовавший победу, увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спускался вниз, крича во все горло:

Дробясь о мрачные скалы,
Кипят и пенятся валы...

Великий испуг поразил сердце отца Федора. Он машинально продолжал держать предводителя за горло, но колени у него затряслись.

— А, вот это кто?! — дружелюбно закричал Остап.— Конкурирующая организация!

Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу и хлеб и побежал прочь.

— Бейте его, товарищ Бендер! — кричал с земли отдышавшийся Ипполит Матвеевич.

— Лови его! Держи!

Остап засвистал и заулюлюкал.

— Тю-у-у! — кричал он, пускаясь вдогонку.— Битва при пирамидах, или Бендер на охоте! Куда же вы бежите, клиент? Могу вам предложить хорошо выпотрошенный стул!

Отец Федор не выдержал муки преследования и полез на совершенно отвесную скалу. Его толкало вверх сердце, поднимавшееся к самому горлу, и особенный, известный только одним трусам, зуд в пятках. Ноги

сами отрывались от гранитов и несли своего повелителя вверх.

— У-у-у! — кричал Остап снизу.— Держи его!

— Он унес наши припасы! — завопил Ипполит Матвеевич, подбегая к Остапу.

— Стой! — загремел Остап.— Стой, тебе говорю!

Но это придало только новые силы изнемогшему было отцу Федору. Он взвился и в несколько скачков очутился сажен на десять выше самой высокой надписи.

— Отдай колбасу! — взывал Остап.— Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!

Отец Федор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак не удастся.

Скала опускалась на шоссе перпендикулярно, и об обратном спуске нечего было и думать. Он посмотрел вниз. Там бесновался Остап, и на дне ущелья поблескивало золотое пенсне предводителя.

— Я отдам колбасу! — закричал отец Федор.— Снимите меня!

В ответ грохотал Терек и из замка Тамары неслись страстные крики. Там жили совы.

— Сними-ите меня! — жалобно кричал отец Федор.

Он видел все маневры концессионеров. Они бегали под скалой и, судя по жестам, мерзко сквернословили.

Через час легший на живот и спустивший голову вниз отец Федор увидел, что Бендер и Воробьянинов уходят в сторону Крестового перевала.

Спустилась быстрая ночь. В кромешной тьме и в адском гуле под самым облаком дрожал и плакал отец Федор. Ему уже не нужны были земные сокровища. Он хотел только одного: вниз, на землю. Ночью он ревел так, что временами заглушал Терек, а утром подкрепился любительской колбасой с хлебом и сатанински хохотал над пробегавшими внизу автомобилями. Остаток дня он провел в созерцании гор и небесного светила — солнца. А следующей ночью он увидел царицу Тамару. Царица прилетела к нему из своего замка и кокетливо сказала:

— Соседями будем.

— Матушка! — с чувством сказал отец Федор.— Не корысти ради...

— Знаю, знаю,— заметила царица,— а токмо волею пославшей тя жены.

— Откуда ж вы знаете? — удивился отец Федор.

— Да уж знаю. Заходили бы, сосед. В шестьдесят шесть поиграем! А?

Она засмеялась и улетела, пуская в ночное небо шутихи.

На третий день отец Федор стал проповедовать птицам. Он почему-то склонял их к лютеранству.

— Птицы,— говорил он им звучным голосом,— покайтесь в своих грехах публично!

На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам.

— Направо — замок Тамары,— говорили опытные проводники,— а налево живой человек стоит, а чем живет и как туда попал, тоже неизвестно.

— И дикий же народ! — удивлялись экскурсанты.— Дети гор!

Шли облака. Над отцом Федором кружились орлы. Самый смелый из них украл остаток любительской колбасы и взмахом крыла сбросил в пенящийся Терек фунта полтора хлеба.

Отец Федор погрозил орлу пальцем и, лучезарно улыбаясь, прошептал:

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда.

Орел покосился на отца Федора, закричал «ку-ку-ре-ку» и улетел.

— Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва!

Через десять дней из Владикавказа прибыла пожарная команда с надлежащим обозом и принадлежностями и сняла отца Федора.

Когда его снимали, он хлопал руками и пел лишенным приятности голосом:

И будешь ты царицей ми-и-и-и-рра,
Подр-р-руга ве-е-чная моя!

И суровый Кавказ многократно повторил слова М. Ю. Лермонтова и музыку А. Рубинштейна.

— Не корысти ради,— сказал отец Федор брандмейстеру,— а токмо...

Хохочущего священника на пожарной лестнице увезли в психиатрическую лечебницу.

Глава XXXIX

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

— Как вы думаете, предводитель,— спросил Остап, когда концессионеры подходили к селению Сиони,— чем можно заработать в этой чахлой местности, находящейся на двухверстной высоте?

Ипполит Матвеевич молчал. Единственное занятие, которым он мог бы снискать себе жизненные средства, было нищенство, но здесь, на горных спиралях и карнизах, просить было не у кого.

Впрочем, и здесь существовало нищенство, но нищенство совершенно особое — альпийское: к каждому проходившему мимо селения автобусу или легковому

автомобилю подбегали дети и исполняли перед движущейся аудиторией несколько па наурской лезгинки; после этого дети бежали за машиной, крича:

— Давай денги! Денги давай!

Пассажиры швыряли пятаки и возносились к Крестовому перевалу.

— Святое дело,— сказал Остап,— капитальные затраты не требуются, доходы не велики, но в нашем положении ценны.

К двум часам второго дня пути Ипполит Матвеевич, под наблюдением великого комбинатора, исполнил перед летучими пассажирами свой первый танец. Танец этот был похож на мазурку, но пассажиры, пресыщенные дикими красотами Кавказа, сочли его за лезгинку и вознаградили тремя пятаками. Перед следующей машиной, которая оказалась автобусом, шедшим из Тифлиса во Владикавказ, плясал и скакал сам технический директор.

— Давай деньги! Деньги давай! — закричал он сердито.

Смеющиеся пассажиры щедро вознаградили его прыжки. Остап собрал в дорожной пыли тридцать копеек. Но тут сионские дети осыпали конкурентов каменным градом. Спасаясь от обстрела, путники скорым шагом направились в ближний аул, где истратили заработанные деньги на сыр и чуреки.

В этих занятиях концессионеры проводили свои дни. Ночевали они в горских саклях. На четвертый день они спустились по зигзагам шоссе в Кайшаурскую долину. Тут было жаркое солнце, и кости компаньонов, порядком промерзшие на Крестовом перевале, быстро отогрелись.

Дарьяльские скалы, мрак и холод перевала сменились зеленью и домовитостью глубочайшей долины. Путники шли над Арагвой, спускались в долину, населенную людьми и изобилующую домашним скотом и пищей. Здесь можно было выпросить кое-что, что-то заработать или просто украсть. Это было Закавказье.

Повеселевшие концессионеры пошли быстрее.

В Пассанауре, в жарком богатом селении с двумя гостиницами и несколькими духанами, друзья выпро-

сили чурек и залегли в кустах напротив гостиницы «Франция» с садом и двумя медвежатами на цепи. Они наслаждались теплом, вкусным хлебом и заслуженным отдыхом.

Впрочем, скоро отдых был нарушен визгом автомобильных сирен, шорохом новых покрышек по кремневому шоссе и радостными возгласами. Друзья выглянули. К «Франции» подкатили цугом три однотипных новеньких автомобиля. Автомобили бесшумно остановились. Из первой машины выпрыгнул Персицкий. За ним вышел «Суд и быт», расправляя запыленные волосы. Потом из всех машин повалили члены автомобильного клуба газеты «Станок».

— Привал! — закричал Персицкий.— Хозяин! Пятнадцать шашлыков!

Во «Франции» заходили сонные фигуры и раздались крики барана, которого волокли за ноги на кухню.

— Вы не узнаете этого молодого человека? — спросил Остап.— Это репортер со «Скрябина», один из критиков нашего транспаранта. С каким, однако, шиком они приехали! Что это значит?

Остап приблизился к пожирателям шашлыка и элегантнейшим образом раскланялся с Персицким.

— Бонжур! — сказал репортер.— Где это я вас видел, дорогой товарищ? А-а-а! Припоминаю. Художник со «Скрябина»! Не так ли?

Остап прижал руку к сердцу и учтиво поклонился.

— Позвольте, позвольте,— продолжал Персицкий, обладавший цепкой памятью репортера.— Не на вас ли это в Москве, на Свердловской площади, налетела извозчичья лошадь?

— Как же, как же! И еще, по вашему меткому выражению, я якобы отделался легким испугом.

— А вы тут как, по художественной части орудуете?

— Нет, я с экскурсионными целями.

— Пешком?

— Пешком. Специалисты утверждают, что путешествие по Военно-Грузинской дороге на автомобиле — просто глупость.

— Не всегда глупость, дорогой мой, не всегда! Вот мы, например, едем не так-то уж глупо. Машинки, как

видите, свои, подчеркиваю — свои, коллективные. Прямое сообщение Москва — Тифлис. Бензину уходит на грош. Удобство и быстрота передвижения. Мягкие рессоры. Европа!

— Откуда у вас все это? — завистливо спросил Остап.— Сто тысяч выиграли?

— Сто не сто, а пятьдесят выиграли.

— В девятку?

— На облигацию, принадлежавшую автомобильному клубу.

— Да,— сказал Остап,— и на эти деньги вы купили автомобили?

— Как видите!

— Так-с. Может быть, вам нужен старшо́й? Я знаю одного молодого человека. Непьющий.

— Какой старшо́й?

— Ну, такой... Общее руководство, деловые советы, наглядное обучение по комплексному методу... А?

— Я вас понимаю. Нет, не нужен.

— Не нужен?

— Нет. К сожалению. И художник также не нужен.

— В таком случае дайте десять рублей.

— Авдотьин,— сказал Персицкий.— Будь добр, выдай этому гражданину за мой счет три рубля. Расписки не надо. Это лицо не подотчетное.

— Этого крайне мало,— заметил Остап,— но я принимаю. Я понимаю всю затруднительность вашего положения. Конечно, если бы вы выиграли сто тысяч, то, вероятно, заняли бы мне целую пятерку. Но ведь вы выиграли всего-навсего пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек. Во всяком случае — благодарю!

Бендер учтиво снял шляпу. Персицкий учтиво снял шляпу. Бендер прелюбезно поклонился. Персицкий ответил любезнейшим поклоном. Бендер приветственно помахал рукой. Персицкий, сидя у руля, сделал ручкой. Но Персицкий уехал в прекрасном автомобиле к сияющим далям, в обществе веселых друзей, а великий комбинатор остался на пыльной дороге с дураком-компаньоном.

— Видали вы этот блеск? — спросил Остап Ипполита Матвеевича.

— Закавтопромторг или частное общество «Мотор»? — деловито осведомился Воробьянинов, который за несколько дней пути отлично познакомился со всеми видами автотранспорта на дороге.— Я хотел было подойти к ним потанцевать.

— Вы скоро совсем отупеете, мой бедный друг. Какой же это Закавтопромторг? Эти люди, слышите, Киса, вы-и-гра-ли пятьдесят тысяч рублей! Вы сами видите, Кисуля, как они веселы и сколько они накупили всякой механической дряни! Когда мы получим наши деньги, мы истратим их гораздо рациональнее. Не правда ли?

И друзья, мечтая о том, что они купят, когда станут богачами, вышли из Пассанаура. Ипполит Матвеевич живо воображал себе покупку новых носков и отъезд за границу. Мечты Остапа были обширнее. Его проекты были грандиозны: не то заграждение Голубого Нила плотиной, не то открытие игорного особняка в Риге с филиалами во всех лимитрофах.

На третий день перед обедом, миновав скучные и пыльные места: Ананур, Душет и Цилканы, путники подошли к Мцхету — древней столице Грузии. Здесь Кура поворачивала к Тифлису.

Вечером путники миновали ЗАГЭС — Земо-Авчальскую гидроэлектростанцию. Стекло, вода и электричество сверкали различными огнями. Все это отражалось и дрожало в быстро бегущей Куре.

Здесь концессионеры свели дружбу с крестьянином, который привез их на арбе в Тифлис к одиннадцати часам вечера, в тот самый час, когда вечерняя свежесть вызывает на улицу истомившихся после душного дня жителей грузинской столицы.

— Городок не плох,— сказал Остап, выйдя на проспект Шота Руставели,— вы знаете, Киса...

Вдруг Остап, не договорив, бросился за каким-то гражданином, шагов через десять настиг его и стал оживленно с ним беседовать.

Потом быстро вернулся и ткнул Ипполита Матвеевича пальцем в бок.

— Знаете, кто это? — шепнул он быстро.— Это «Одесская бубличная артель — Московские баранки»,

гражданин Кислярский. Идем к нему. Сейчас вы снова, как это ни парадоксально, гигант мысли и отец русской демократии. Не забывайте надувать щеки и шевелить усами. Они, кстати, уже порядочно отросли. Ах, черт возьми! Какой случай! Фортуна! Если я его сейчас не вскрою на пятьсот рублей, плюньте мне в глаза! Идем! Идем!

Действительно, в некотором отдалении от концессионеров стоял молочно-голубой от страха Кислярский в чесучовом костюме и канотье.

— Вы, кажется, знакомы,— сказал Остап шепотом,— вот особа, приближенная к императору, гигант мысли и отец русской демократии. Не обращайте внимания на его костюм. Это для конспирации. Везите нас куда-нибудь немедленно. Нам нужно поговорить.

Кислярский, приехавший на Кавказ, чтобы отдохнуть от старгородских потрясений, был совершенно подавлен. Мурлыча какую-то чепуху о застое в бараночно-бубличном деле, Кислярский посадил страшных знакомцев в экипаж с посеребренными спицами и подножкой и повез их к горе Давида. На вершину этой ресторанной горы поднялись по канатной железной дороге. Тифлис в тысячах огней медленно уползал в преисподнюю. Заговорщики поднимались прямо к звездам.

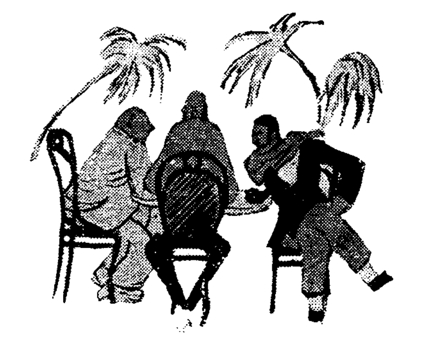
Ресторанные столы были расставлены на траве. Глухо бубнил кавказский оркестр, и маленькая девочка, под счастливыми взглядами родителей, по собственному почину танцевала между столиками лезгинку.

— Прикажите чего-нибудь подать! — втолковывал Бендер.

По приказу опытного Кислярского были поданы вино, зелень и соленый грузинский сыр.

— И поесть чего-нибудь,— сказал Остап.— Если бы вы знали, дорогой господин Кислярский, что нам пришлось перенести сегодня с Ипполитом Матвеевичем, вы бы подивились нашему мужеству.

«Опять! — с отчаянием подумал Кислярский.— Опять начинаются мои мученья. И почему я не поехал в Крым? Я же ясно хотел ехать в Крым. И Генриетта советовала!»



Но он безропотно заказал два шашлыка и повернул к Остапу свое услужливое лицо.

— Так вот,— сказал Остап, оглядываясь по сторонам и понижая голос,— в двух словах. За нами следят уже два месяца, и, вероятно, завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада. Придется отстреливаться.

У Кислярского посеребрились щеки.

— Мы рады,— продолжал Остап,— встретить в этой тревожной обстановке преданного борца за родину.

— Гм... да! — гордо процедил Ипполит Матвеевич, вспоминая, с каким голодным пылом он танцевал лезгинку невдалеке от Сиони.

— Да,— шептал Остап.— Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум.

— Не надо,— твердо сказал Кислярский.

В следующую минуту выяснилось, что председатель биржевого комитета не имеет возможности принять участие в завтрашней битве. Он очень сожалеет, но не может. Он не знаком с военным делом. Потому-то его и выбрали председателем биржевого комитета. Он в полном отчаянии, но для спасения жизни отца русской демократии (сам он старый октябрист) готов оказать возможную финансовую помощь.

— Вы верный друг отечества! — торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани.— Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли.

— Скажите,— спросил Кислярский жалобно,— а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?

Остап не выдержал и под столом восторженно пнул Ипполита Матвеевича ногой.

— Я думаю,— сказал Ипполит Матвеевич,— что торг здесь неуместен!

Он сейчас же получил пинок в ляжку, что означало:

«Браво, Киса, браво, что значит школа!»

Кислярский первый раз в жизни услышал голос гиганта мысли. Он так поразился этому обстоятельству, что немедленно передал Остапу пятьсот рублей. Затем он уплатил по счету и, оставив друзей за столиком, удалился по причине головной боли. Через полчаса он отправил жене в Старгород телеграмму:

Еду твоему совету Крым всякий случай
готовь корзинку

Долгие лишения, которые испытал Остап Бендер, требовали немедленной компенсации. Поэтому в тот же вечер великий комбинатор напился на ресторанной горе до столбняка и чуть не выпал из вагона фуникулера на пути в гостиницу. На другой день он привел в исполнение давнишнюю свою мечту. Купил дивный серый в яблоках костюм. В этом костюме было жарко, но он все-таки ходил в нем, обливаясь пóтом. Воробьянинову в магазине готового платья Тифкооперации были куплены белый пикейный костюм и морская фуражка с золотым клеймом неизвестного яхтклуба. В этом одеянии Ипполит Матвеевич походил на торгового адмирала-любителя. Стан его выпрямился. Походка сделалась твердой.

— Ах! — говорил Бендер.— Высокий класс! Если б я был женщиной, то делал бы такому мужественному красавцу, как вы, восемь процентов скидки с обычной цены. Ах! Ах! В таком виде мы можем вращаться! Вы умеете вращаться, Киса?

— Товарищ Бендер,— твердил Воробьянинов,— как же будет со стулом? Нужно разузнать, что с театром.

— Хо-хо! — возразил Остап, танцуя со стулом в большом мавританском номере гостиницы «Ориант».— Не учите меня жить. Я теперь злой. У меня есть деньги. Но я великодушен. Даю вам двадцать рублей и три дня на разграбление города! Я — как Суворов!.. Грабьте город, Киса! Веселитесь!

И Остап, размахивая бедрами, запел в быстром темпе:

Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он.

Друзья беспробудно пьянствовали целую неделю. Адмиральский костюм Воробьянинова покрылся разноцветными винными яблоками, а на костюме Остапа они расплылись в одно большое радужное яблоко.

— Здравствуйте! — сказал на восьмое утро Остап, которому с похмелья пришло в голову почитать «Зарю Востока».— Слушайте вы, пьянчуга, что пишут в газетах умные люди! Слушайте!

ТЕАТРАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Вчера, 3 сентября, закончив гастроли в Тифлисе, выехал на гастроли в Ялту Московский театр Колумба. Театр предполагает пробыть в Крыму до начала зимнего сезона в Москве.

— Ага! Я вам говорил! — сказал Воробьянинов.

— Что вы мне говорили! — окрысился Остап.

Однако он был смущен. Эта оплошность была ему очень неприятна. Вместо того чтобы закончить курс погони за сокровищами в Тифлисе, теперь приходилось еще перебрасываться на Крымский полуостров. Остап сразу взялся за дело. Были куплены билеты в Батум и заказаны места во втором классе парохода «Пестель», который отходил из Батума на Одессу седьмого сентября в двадцать три часа по московскому времени.

В ночь с десятого на одиннадцатое сентября, когда «Пестель», не заходя в Анапу из-за шторма, повернул в открытое море и взял курс прямо на Ялту, Ипполиту Матвеевичу приснился сон.

Ему снилось, что он в адмиральском костюме стоял на балконе своего старгородского дома и знал, что стоящая внизу толпа ждет от него чего-то. Большой подъемный кран опустил к его ногам свинью в черных яблочках.

Пришел дворник Тихон в пиджачном костюме и, ухватив свинью за задние ноги, сказал:

— Эх, туды его в качель! Разве «Нимфа» кисть дает!

В руках Ипполита Матвеевича очутился кинжал. Им он ударил свинью в бок, и из большой широкой

раны посыпались и заскакали по цементу брильянты. Они прыгали и стучали все громче. И под конец их стук стал невыносим и страшен.

Ипполит Матвеевич проснулся от удара волны об иллюминатор.

К Ялте подошли в штилевую погоду, в изнуряющее солнечное утро. Оправившийся от морской болезни предводитель красовался на носу, возле колокола, украшенного литой славянской вязью. Веселая Ялта выстроила вдоль берега свои крошечные лавчонки и рестораны-поплавки. На пристани стояли экипажи с бархатными сиденьями под полотняными вырезными тентами, автомобили и автобусы «Крымкурсо» и товарищества «Крымский шофер». Кирпичные девушки вращали развернутыми зонтиками и махали платками.

Друзья первыми сошли на раскаленную набережную. При виде концессионеров из толпы встречающих и любопытствующих вынырнул гражданин в чесучовом костюме и быстро зашагал к выходу из территории порта. Но было уже поздно. Охотничий взгляд великого комбинатора быстро распознал чесучового гражданина.

— Подождите, Воробьянинов! — крикнул Остап.

И он бросился вперед так быстро, что настиг чесучового мужчину в десяти шагах от выхода. Остап моментально вернулся со ста рублями.

— Не дает больше. Впрочем, я не настаивал, а то ему не на что будет вернуться домой.

И действительно, Кислярский в сей же час удрал на автомобиле в Севастополь, а оттуда третьим классом домой, в Старгород.

Весь день концессионеры провели в гостинице, сидя голыми на полу и поминутно бегая в ванную под душ. Но вода лилась теплая, как скверный чай. От жары не было спасенья. Казалось, что Ялта сейчас вот растает и стечет в море.

К восьми часам вечера, проклиная все стулья на свете, компаньоны напялили горячие штиблеты и пошли в театр.

Шла «Женитьба». Измученный жарой Степан, стоя на руках, чуть не падал. Агафья Тихоновна бежала по

проволоке, держа взмокшими руками зонтик с надписью: «Я хочу Подколесина». В эту минуту, как и весь день, ей хотелось только одного: холодной воды со льдом. Публике тоже хотелось пить. Поэтому, а может быть, и потому, что вид Степана, пожирающего горячую яичницу, вызывал отвращение, спектакль не понравился.

Концессионеры были удовлетворены, потому что их стул, совместно с тремя новыми пышными полукреслами рококо, был на месте.

Запрятавшись в одну из лож, друзья терпеливо выждали окончания неимоверно затянувшегося спектакля. Публика наконец разошлась, и актеры побежали прохлаждаться. В театре не осталось никого, кроме членов-пайщиков концессионного предприятия. Все живое выбежало на улицу, под хлынувший наконец свежий дождь.

— За мной, Киса,— скомандовал Остап.— В случае чего мы — не нашедшие выхода из театра провинциалы.

Они пробрались за сцену и, чиркая спичками, но все же ударившись о гидравлический пресс, обследовали всю сцену.

Великий комбинатор побежал вверх по лестнице, в бутафорскую.

— Идите сюда! — крикнул он.

Воробьянинов, размахивая руками, помчался наверх.

— Видите? — сказал Остап, разжигая спичку.

Из мглы выступили угол гамбсовского стула и сектор зонтика с надписью: «Хочу...»

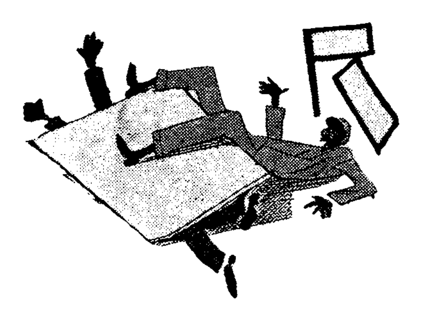
— Вот! Вот наше будущее, настоящее и прошедшее. Зажигайте, Киса, спички. Я его вскрою.

И Остап полез в карман за инструментами.

— Ну-с,— сказал он, протягивая руку к стулу,— еще одну спичку, предводитель.

Вспыхнула спичка, и странное дело, стул сам собою скакнул в сторону и вдруг, на глазах изумленных концессионеров, провалился сквозь пол.

— Мама! — крикнул Ипполит Матвеевич, отлетая к стене, хотя не имел ни малейшего желания этого делать.



Со звоном выскочили стекла, и зонтик с надписью: «Я хочу Подколесина», подхваченный вихрем, вылетел в окно к морю. Остап лежал на полу, легко придавленный фанерными щитами.

Было двенадцать часов и четырнадцать минут. Это был первый удар большого крымского землетрясения 1927 года.

Удар в девять баллов, причинивший неисчислимые бедствия всему полуострову, вырвал сокровище из рук концессионеров.

— Товарищ Бендер! Что это такое? — кричал Ипполит Матвеевич в ужасе.

Остап был вне себя: землетрясение встало на его пути. Это был единственный случай в его богатой практике.

— Что это? — вопил Воробьянинов.

С улицы доносились крики, звон и топот.

— Это то, что нам нужно немедленно удирать на улицу, пока нас не завалило стеной. Скорей! Скорей! Дайте руку, шляпа.

И они ринулись к выходу. К их удивлению, у двери, ведущей со сцены в переулок, лежал на спине целый и невредимый гамбсовский стул. Издав собачий визг, Ипполит Матвеевич вцепился в него мертвой хваткой.

— Давайте плоскогубцы! — крикнул он Остапу.

— Идиот вы паршивый,— застонал Остап,— сейчас потолок обвалится, а он тут с ума сходит! Скорее на воздух!

— Плоскогубцы! — ревел обезумевший Ипполит Матвеевич.

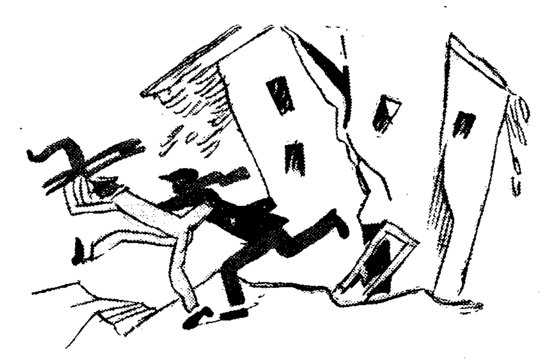
— Ну вас к черту! Пропадайте здесь с вашим стулом! А мне моя жизнь дорога как память!

С этими словами Остап кинулся к двери. Ипполит Матвеевич залаял и, подхватив стул, побежал за Остапом. Как только они очутились на середине пере-

улка, земля тошно зашаталась под ногами, с крыши театра повалилась черепица, и на том месте, которое концессионеры только что покинули, уже лежали останки гидравлического пресса.

— Ну, теперь давайте стул,— хладнокровно сказал Бендер.— Вам, я вижу, уже надоело его держать.

— Не дам! — взвизгнул Ипполит Матвеевич.



— Это что такое? Бунт на корабле? Отдайте стул. Слышите?

— Это мой стул! — заклекотал Воробьянинов, перекрывая стон, плач и треск, несшиеся отовсюду.

— В таком случае получайте гонорар, старая калоша!

И Остап ударил Воробьянинова медной ладонью по шее.

В эту же минуту по переулку промчался пожарный обоз с факелами, и при их трепетном свете Ипполит Матвеевич увидел на лице Бендера такое страшное выражение, что мгновенно покорился и отдал стул.

— Ну, теперь хорошо,— сказал Остап, переводя дыхание,— бунт подавлен. А сейчас возьмите стул и несите его за мной. Вы отвечаете за целость вещи. Если даже будет удар в пятьдесят баллов, стул должен быть сохранен! Поняли?

— Понял.

Всю ночь концессионеры блуждали вместе с паническими толпами, не решаясь, как и все, войти в покинутые дома и ожидая новых ударов.

На рассвете, когда страх немного уменьшился, Остап выбрал местечко, поблизости которого не было ни стен, которые могли бы обвалиться, ни людей, которые могли бы помешать, и приступил к вскрытию стула.

Результаты вскрытия поразили обоих концессионеров. В стуле ничего не было. Ипполит Матвеевич, не выдержавший всех потрясений ночи и утра, засмеялся крысиным смешком.

Непосредственно вслед за этим раздался третий удар, земля разверзлась и поглотила пощаженный первым толчком землетрясения и развороченный людьми гамбсовский стул, цветочки которого улыбались взошедшему в облачной пыли солнцу.

Ипполит Матвеевич встал на четвереньки и, оборотив помятое лицо к мутно-багровому солнечному диску, завыл. Слушая его, великий комбинатор свалился в обморок. Когда он очнулся, то увидел рядом с собой заросший лиловой щетиной подбородок Воробьянинова. Ипполит Матвеевич был без сознания.

— В конце концов,— сказал Остап голосом выздоравливающего тифозного,— теперь у нас осталось сто шансов из ста. Последний стул (при слове «стул» Ипполит Матвеевич очнулся) исчез в товарном дворе Октябрьского вокзала, но отнюдь не провалился сквозь землю. В чем дело? Заседание продолжается.

Где-то с грохотом падали кирпичи. Протяжно кричала пароходная сирена.

Глава XL

СОКРОВИЩЕ

В дождливый день конца октября Ипполит Матвеевич без пиджака, в лунном жилете, осыпанном мелкой серебряной звездой, хлопотал в комнате Иванопуло. Ипполит Матвеевич работал на подоконнике, потому что стола в комнате до сих пор не было. Ве-

ликий комбинатор получил большой заказ по художественной части на изготовление адресных табличек для жилтовариществ. Исполнение табличек по трафарету Остап возложил на Воробьянинова, а сам целый почти месяц, со времени приезда в Москву, кружил в районе Октябрьского вокзала, с непостижимой страстью выискивая следы последнего стула, безусловно таящего в себе брильянты мадам Петуховой.

Наморщив лоб, Ипполит Матвеевич трафаретил железные дощечки. За полгода брильянтовой скачки он потерял все свои привычки.

По ночам Ипполиту Матвеевичу виделись горные хребты, украшенные дикими транспарантами, летал перед глазами Изнуренков, подрагивая коричневыми ляжками, переворачивались лодки, тонули люди, падал с неба кирпич и разверзшаяся земля пускала в глаза серный дым.

Остап, пребывавший ежедневно с Ипполитом Матвеевичем, не замечал в нем никакой перемены. Между тем Ипполит Матвеевич переменился необыкновенно. И походка у Ипполита Матвеевича была уже не та, и выражение глаз сделалось дикое, и отросший ус торчал уже не параллельно земной поверхности, а почти перпендикулярно, как у пожилого кота. Изменился Ипполит Матвеевич и внутренне. В характере появились не свойственные ему раньше черты решительности и жестокости. Три эпизода постепенно воспитали в нем эти новые чувства: чудесное спасение от тяжких кулаков васюкинских любителей, первый дебют по части нищенства у пятигорского «Цветника», наконец землетрясение, после которого Ипполит Матвеевич несколько повредился и затаил к своему компаньону тайную ненависть.

В последнее время Ипполит Матвеевич был одержим сильнейшими подозрениями. Он боялся, что Остап вскроет стул сам и, забрав сокровища, уедет, бросив его на произвол судьбы. Высказывать свои подозрения он не смел, зная тяжелую руку Остапа и непреклонный его характер. Ежедневно, сидя у окна и подчищая старой зазубренной бритвой высохшие

буквы, Ипполит Матвеевич томился. Каждый день он опасался, что Остап больше не придет и он, бывший предводитель дворянства, умрет голодной смертью под мокрым московским забором.

Но Остап приходил каждый вечер, хотя радостных вестей не приносил. Энергия и веселость его были неисчерпаемы. Надежда ни на одну минуту не покидала его.

В коридоре раздался топот ног, кто-то грохнулся о несгораемый шкаф, и фанерная дверь распахнулась с легкостью перевернутой ветром страницы. На пороге стоял великий комбинатор. Он был весь залит водой, щеки его горели, как яблоки. Он тяжело дышал.

— Ипполит Матвеевич! — закричал он.— Слушайте, Ипполит Матвеевич!

Воробьянинов удивился. Никогда еще технический директор не называл его по имени и отчеству. И вдруг он понял...

— Есть? — выдохнул он.

— В том-то и дело, что есть. Ах, Киса, черт вас раздери!

— Не кричите, все слышно.

— Верно, верно, могут услышать,— зашептал Остап быстро.— Есть, Киса, есть, и, если хотите, я могу продемонстрировать его сейчас же. Он в клубе железнодорожников, новом клубе... Вчера было открытие... Как я нашел? Чепуха? Необыкновенно трудная вещь! Гениальная комбинация, блестяще проведенная до конца! Античное приключение!.. Одним словом, высокий класс!

Не ожидая, пока Ипполит Матвеевич напялит пиджак, Остап выбежал в коридор. Воробьянинов присоединился к нему на лестнице. Оба, взволнованно забрасывая друг друга вопросами, мчались по мокрым улицам на Каланчевскую площадь. Они не сообразили даже, что можно сесть в трамвай.

— Вы одеты, как сапожник! — радостно болтал Остап.— Кто так ходит, Киса? Вам необходимы крахмальное белье, шелковые носочки и, конечно, цилиндр. В вашем лице есть что-то благородное! Скажите, вы в самом деле были предводителем дворянства?

Показав предводителю стул, который стоял в комнате шахматного кружка и имел самый обычный гамбсовский вид, хотя и таил в себе несметные ценности, Остап потащил Воробьянинова в коридор. Здесь не было ни души. Остап подошел к еще не замазанному на зиму окну и выдернул из гнезда задвижки обеих рам.

— Через это окошечко,— сказал он,— мы легко и нежно попадем в клуб в любой час сегодняшней ночи. Запомните, Киса,— третье окно от парадного подъезда.

Друзья долго еще бродили по клубу под видом представителей УОНО и не могли надивиться прекрасным залам и комнатам.

— Если бы я играл в Васюках,— сказал Остап,— сидя на таком стуле, я бы не проиграл ни одной партии. Энтузиазм не позволил бы. Однако пойдем, старичок, у меня двадцать пять рублей подкожных. Мы должны выпить пива и отдохнуть перед ночным визитом. Вас не шокирует пиво, предводитель? Не беда. Завтра вы будете лакать шампанское в неограниченном количестве.

Идя из пивной на Сивцев Вражек, Бендер страшно веселился и задирал прохожих. Он обнимал слегка захмелевшего Ипполита Матвеевича за плечи и говорил с нежностью:

— Вы чрезвычайно симпатичный старичок, Киса, но больше десяти процентов я вам не дам. Ей-богу, не дам. Ну, зачем вам, зачем вам столько денег?

— Как зачем? Как зачем? — кипятился Ипполит Матвеевич.

Остап чистосердечно смеялся и приникал щекой к мокрому рукаву своего друга по концессии.

— Ну что вы купите, Киса? Ну что? Ведь у вас нет никакой фантазии. Ей-богу, пятнадцать тысяч вам за глаза хватит... Вы же скоро умрете, вы же старенький. Вам же деньги вообще не нужны... Знаете, Киса, я, кажется, ничего вам не дам. Это баловство. А возьму я вас, Кисуля, к себе в секретари. А? Сорок рублей в месяц. Харчи мои. Четыре выходных дня... А? Спецодежда там, чаевые, соцстрах... А? Подходит вам это предложение?

Ипполит Матвеевич вырвал руку и быстро ушел вперед. Шутки эти доводили его до исступления.

Остап нагнал Воробьянинова у входа в розовый особнячок.

— Вы в самом деле на меня обиделись? — спросил Остап.— Я ведь пошутил. Свои три процента вы получите. Ей-богу, вам трех процентов достаточно, Киса.

Ипполит Матвеевич угрюмо вошел в комнату.

— А? Киса,— резвился Остап,—соглашайтесь на три процента! Ей-богу, соглашайтесь! Другой бы согласился. Комнаты вам покупать не надо, благо Иванопуло уехал в Тверь на целый год. А то все-таки ко мне поступайте в камердинеры... Теплое местечко.

Увидев, что Ипполита Матвеевича ничем не растормошишь, Остап сладко зевнул, вытянулся к самому потолку, наполнив воздухом широкую грудную клетку, и сказал:

— Ну, друже, готовьте карманы. В клуб мы пойдем перед рассветом. Это наилучшее время. Сторожа спят и видят сладкие сны, за что их часто увольняют без выходного пособия. А пока, дорогуша, советую вам отдохнуть.

Остап улегся на трех стульях, собранных в разных частях Москвы, и, засыпая, проговорил:

— А то камердинером!.. Приличное жалованье... Харчи... Чаевые... Ну, ну, пошутил... Заседание продолжается! Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

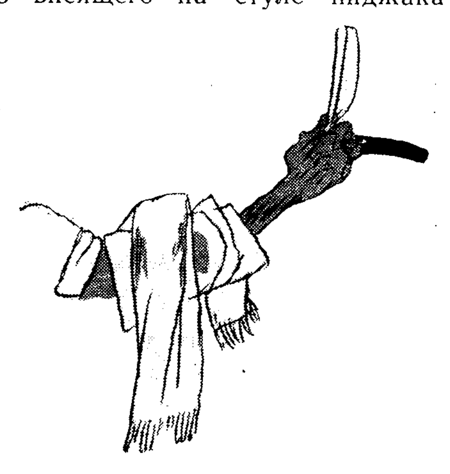
Это были последние слова великого комбинатора. Он заснул беспечным сном, глубоким, освежающим и не отягощенным сновидениями.

Ипполит Матвеевич вышел на улицу. Он был полон отчаяния и злобы. Луна прыгала по облачным кочкам.

Мокрые решетки особняков жирно блестели. Газовые фонари, окруженные веночками водяной пыли, тревожно светились. Из пивной «Орел» вытолкнули пьяного. Пьяный заорал. Ипполит Матвеевич поморщился и твердо пошел назад. У него было одно желание: поскорее все кончить.

Он вошел в комнату, строго посмотрел на спящего Остапа, протер пенсне и взял с подоконника бритву. На ее зазубринках видны были высохшие чешуйки масляной краски. Он положил бритву в карман, еще раз прошел мимо Остапа, не глядя на него, но слыша его дыхание, и очутился в коридоре. Здесь было тихо и сонно. Как видно, все уже улеглись. В полной тьме коридора Ипполит Матвеевич вдруг улыбнулся наиязвительнейшим образом и почувствовал, что на его лбу задвигалась кожа. Чтобы проверить это новое ощущение, он снова улыбнулся. Он вспомнил вдруг, что в гимназии ученик Пыхтеев-Какуев умел шевелить ушами.

Ипполит Матвеевич дошел до лестницы и внимательно прислушался. На лестнице никого не было. С улицы донеслось цоканье копыт извозчичьей лошади, нарочито громкое и отчетливое, как будто бы считали на счетах. Предводитель кошачьим шагом вернулся в комнату, вынул из висящего на стуле пиджака Остапа двадцать пять рублей и плоскогубцы, надел на себя грязную адмиральскую фуражку и снова прислушался.



Остап спал тихо, не сопя. Его носоглотка и легкие работали идеально, исправно вдыхая и выдыхая воздух. Здоровенная рука свесилась к самому полу. Ипполит Матвеевич, ощущая секундные

удары височного пульса, неторопливо подтянул правый рукав выше локтя, обмотал обнажившуюся руку вафельным полотенцем, отошел к двери, вынул из кармана бритву и, примерившись глазами к комнатным расстояниям, повернул выключатель. Свет погас, но комната оказалась слегка освещенной голубоватым аквариумным светом уличного фонаря.

— Тем лучше,— прошептал Ипполит Матвеевич.

Он приблизился к изголовью и, далеко отставив руку с бритвой, изо всей силы косо всадил все лезвие сразу в горло Остапа, сейчас же выдернул бритву и отскочил к стене. Великий комбинатор издал звук, какой производит кухонная раковина, всасывающая остатки воды. Ипполиту Матвеевичу удалось не запачкаться в крови. Вытирая пиджаком каменную стену, он прокрался к голубой двери и на секунду снова посмотрел на Остапа. Тело его два раза выгнулось и завалилось к спинкам стульев. Уличный свет поплыл по черной луже, образовавшейся на полу.

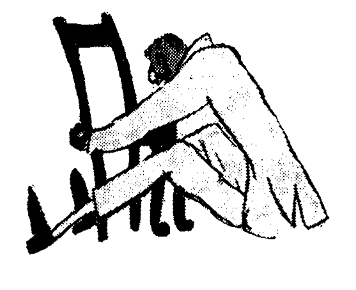
«Что это за лужа? — подумал Ипполит Матвеевич.— Да, да, кровь... Товарищ Бендер скончался».

Воробьянинов размотал слегка измазанное полотенце, бросил его, потом осторожно положил бритву на пол и удалился, тихо прикрыв дверь.

Очутившись на улице, Ипполит Матвеевич насупился и, бормоча: «Брильянты все мои, а вовсе не шесть процентов»,— пошел на Каланчевскую площадь.

У третьего окна от парадного подъезда железнодорожного клуба Ипполит Матвеевич остановился. Зеркальные окна нового здания жемчужно серели в свете подступавшего утра. В сыром воздухе звучали глуховатые голоса маневровых паровозов. Ипполит Матвеевич ловко вскарабкался на карниз, толкнул раму и бесшумно прыгнул в коридор.

Легко ориентируясь в серых предрассветных залах клуба, Ипполит Матвеевич проник в шахматный кабинет и, зацепив головой висевший на стене портрет Эммануила Ласкера, подошел к стулу. Он не спешил. Спешить ему было некуда. За ним никто не гнался.



Гроссмейстер О. Бендер спал вечным сном в розовом особняке на Сивцевом Вражке.

Ипполит Матвеевич сел на пол, обхватил стул своими жилистыми ногами и с хладнокровием дантиста стал выдергивать из стула медные гвозди, не пропуская ни одного. На шестьдесят втором гвозде работа его кончилась. Английский ситец и рогожка свободно лежали на обивке стула.

Стоило только поднять их, чтобы увидеть футляры, футлярчики и ящички, наполненные драгоценными камнями.

«Сейчас же на автомобиль,— подумал Ипполит Матвеевич, обучившийся житейской мудрости в школе великого комбинатора,— на вокзал. И на польскую границу. За какой-нибудь камешек меня переправят на ту сторону, а там...»

И, желая поскорее увидеть, что будет «там», Ипполит Матвеевич сдернул со стула ситец и рогожку. Глазам его открылись пружины, прекрасные английские пружины, и набивка, замечательная набивка, довоенного качества, какой теперь нигде не найдешь. Но больше ничего в стуле не содержалось. Ипполит Матвеевич машинально разворошил обивку и целых полчаса просидел, не выпуская стула из цепких ног и тупо повторяя:

— Почему же здесь ничего нет? Этого не может быть! Этого не может быть!

Было уже почти светло, когда Воробьянинов, бросив все, как было, в шахматном кабинете, забыв там плоскогубцы и фуражку с золотым клеймом несуществующего яхт-клуба, никем не замеченный, тяжело и устало вылез через окно на улицу.

— Этого не может быть!— повторил он, отойдя на квартал.— Этого не может быть!

И он вернулся назад к клубу и стал разгуливать вдоль его больших окон, шевеля губами:

— Этого не может быть! Этого не может быть! Этого не может быть!

Изредка он вскрикивал и хватался за мокрую от утреннего тумана голову. Вспоминая все события ночи, он тряс седыми космами. Брильянтовое возбуждение оказалось слишком сильным средством: он одряхлел в пять минут.

— Ходют тут, ходют всякие,— услышал Воробьянинов над своим ухом.

Он увидел сторожа в брезентовой спецодежде и в холодных сапогах. Сторож был очень стар и, как видно, добр.

— Ходют и ходют,— общительно говорил старик, которому надоело ночное одиночество,— и вы тоже, товарищ, интересуетесь. И верно. Клуб у нас, можно сказать, необыкновенный.

Ипполит Матвеевич страдальчески смотрел на румяного старика.

— Да,— сказал старик,— необыкновенный этот клуб. Другого такого нигде нету.

— А что же в нем такого необыкновенного? — спросил Ипполит Матвеевич, собираясь с мыслями.

Старичок радостно посмотрел на Воробьянинова. Видно, рассказ о необыкновенном клубе нравился ему самому, и он любил его повторять.

— Ну, и вот,— начал старик,— я тут в сторожах хожу десятый год, а такого случая не было. Ты слушай, солдатик. Ну, и вот, был здесь постоянно клуб, известно какой, первого участка службы тяги. Я его и сторожил. Негодящий был клуб... Топили его, топили и ничего не могли сделать. А товарищ Красильников ко мне подступает: «Куда, мол, дрова у тебя идут?» А я их разве что ем, эти дрова? Бился товарищ Красильников с клубом — там сырость, тут холод, духовому кружку помещения нету, и в театр играть одно мучение: господа артисты мерзли. Пять лет кредита просили на новый клуб, да не знаю, что там выходило. Дорпрофсож кредита не утверждал. Только весною товарищ Красильников стул для сцены купил, стул хороший, мягкий...

Ипполит Матвеевич, налегая всем корпусом на сто-

рожа, слушал. Он был в полуобмороке. А старик, заливаясь радостным смехом, рассказал, как он однажды взгромоздился на этот стул, чтобы вывинтить электрическую лампочку, да и покатился.

— С этого стула я соскользнул, обшивка на нем порвалась. И смотрю — из-под обшивки стеклушки сыплются и бусы белые на ниточке.

— Бусы,— проговорил Ипполит Матвеевич.

— Бусы,— визгнул старик восхищенно,— и смотрю, солдатик, дальше, а там коробочки разные. Я эти коробочки даже и не трогал. А пошел прямо к товарищу Красильникову и доложил. Так и комиссии потом докладывал. Не трогал я этих коробочек и не трогал. И хорошо, солдатик, сделал, потому что там драгоценность найдена была, запрятанная буржуазией...

— Где же драгоценности? — закричал предводитель.

— Где, где,— передразнил старик,— тут, солдатик, соображение надо иметь. Вот они!

— Где? Где?

— Да вот они! — закричал румяный страж, радуясь произведенному эффекту.— Вот они! Очки протри! Клуб на них построили, солдатик! Видишь? Вот он, клуб! Паровое отопление, шашки с часами, буфет, театр, в галошах не пускают!..

Ипполит Матвеевич оледенел и, не двигаясь с места, водил глазами по карнизам.

Так вот оно где, сокровище мадам Петуховой! Вот оно! Все тут! Все сто пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек, как любил говорить Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер.

Брильянты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия, прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сценой, рубиновые подвески разрослись в целые люстры, золотые змеиные браслеты с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой, а фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный кабинет и бильярдную.

Сокровище осталось, оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям.

Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце.

И он закричал.

Крик его, бешеный, страстный и дикий,— крик простреленной навылет волчицы,— вылетел на середину площади, метнулся под мост и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту зачах. Великолепное осеннее утро скатилось с мокрых крыш на улицы Москвы. Город двинулся в будничный свой поход.

СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ

Рисунки художников

Г. СУНДЫРЕВА и А. КОРОБОВА

Глава I

«ВЕСНУЛИН» БАБСКОГО

Нет ни одного гадкого слова, которое не было бы дано человеку в качестве фамилии. Счастлив человек, получивший по наследству фамилию Баранов. Не обременены никакими тяготами и граждане с фамилиями Баранович и Барановский. Намного хуже чувствует себя Баранский. Уже в этой фамилии слышится какая-то насмешка. В школе Баранскому живется труднее, чем высокому и сильному Баранову, футболисту Барановскому и чистенькому коллекционеру марок Барановичу. И совсем скверно живется на свете гр.гр. Барану, Баранчику и Барашеку.

Власть фамилии над человеком иногда безгранична. Гражданин Баран если и спасется от скарлатины в детстве, то все равно проворуется и зрелые свои годы проведет в исправительно-трудовых домах. С фамилией Баранчик не сделаешь карьеры. Общеизвестен тов. Баранчик, пытавшийся побороть проклятие, наложенное на него фамилией, и с этой целью подавшийся было в марксисты. Баранчик стал балластом, выметенным впоследствии железной метлой. Братья Барашек и не думают отдаваться государственной деятельности. Они сразу посвящают себя молочной торговле и бесславно тонут в волнах нэпа.

Героют нашего повествования досталась благонадежная, ручейковая фамилия — Филюрин. Он никогда

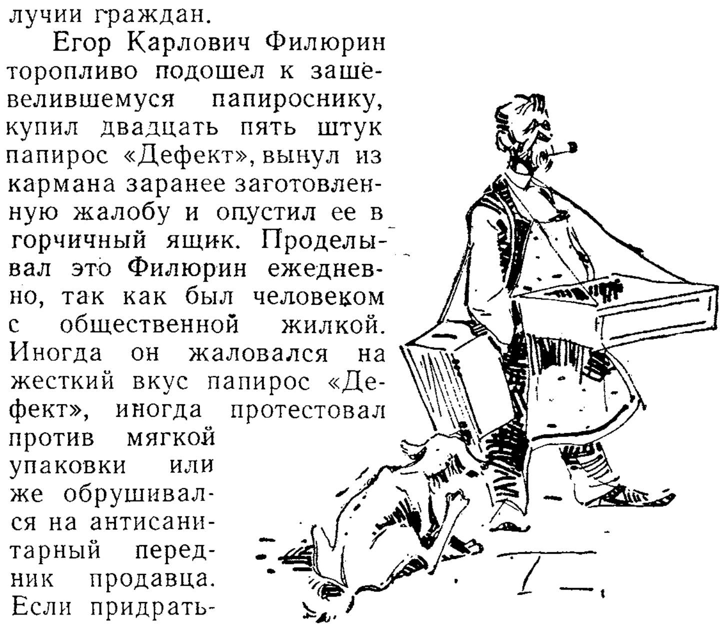
не попадал в неудобные, смешные положения, в которых барахтаются Бараны, Баранчики и Барашеки. Солнце исправно освещало жизненный путь Егора Карловича Филюрина.

Пятнадцатого июля оно светило несколько сильнее обычного, потому что в этот день во всех учреждениях города Пищеслава выдавали полумесячное жалованье. Булыжные мостовые бросали зеркальный отсвет, перебегавший под карнизами немудреных пищеславских домов. Госпапиросник в полотняном переднике стоял на Тимирязевской площади в столбах солнечного света и жмурился на свой стеклянный ларек. На боку папиросника висел горчичного цвета фанерный ящичек с двумя надписями. Первая, прозаическая — была кратка: «Ящик для жалоб». Вторая была в стихах:

Остановитесь, потребители!
Жалобу на этого папиросника опустить не хотите ли?

В Пищеславе чрезвычайно заботились о благополучии граждан.

Егор Карлович Филюрин торопливо подошел к зашевелившемуся папироснику, купил двадцать пять штук папирос «Дефект», вынул из кармана заранее заготовленную жалобу и опустил ее в горчичный ящик. Проделывал это Филюрин ежедневно, так как был человеком с общественной жилкой. Иногда он жаловался на жесткий вкус папирос «Дефект», иногда протестовал против мягкой упаковки или же обрушивался на антисанитарный передник продавца. Если придрать-



ся было не к чему, Филюрин опускал в ящик узенькую ленточку бумаги со словами: «Сегодня никаких недочетов не выявлено. Е. Филюрин».

Пыхнув папироской, Филюрин отошел от равнодушного продавца и, пересекая вымощенную квадратными плитами площадь, очутился в освежающей тени конной статуи Тимирязева.

Великий агроном и профессор ботаники скакал на чугунном коне, простерши впереди правую руку с зажатым в ней корнеплодом. Четырехугольная с кистью шапочка доктора Оксфордского университета косо и лихо сидела на почетной голове ученого. Многопудовая мантия падала с плеч крупными складками. Конь, мощно стянутый поводьями, дирижировал занесенными в самое небо копытами.

Великий ученый, рыцарь мирного труда, сжимал круглые бока своего коня ногами, обутыми в гвардейские кавалерийские сапоги со шпорами, звездочки которых напоминали штампованную для супа морковь.

Удивительный монумент украшал город с прошлого года. Воздвигая его, пищеславцы подражали Москве. В стремлении добиться превосходства над столицей, поставившей у Никитских ворот пеший памятник Тимирязеву, город Пищеслав заказал скульптору Шац конную статую. Весь город, а вместе с ним и скульптор Шац, думали, что Тимирязев — герой гражданских фронтов в должности комбрига.

Шац на время забросил обязанности управдома, которые обычно исправлял, ввиду затишья в художественной жизни города, и в четыре месяца отлил памятник. В первоначальном своем виде Тимирязев держал в руке кривую турецкую саблю. Только во время приема памятника комиссией выяснилось, что Тимирязев был человек партикулярный. Саблю заменили большой чугунной свеклой с длинным хвостиком, но грозная улыбка воина осталась. Заменить ее более штатским или ученым выражением оказалось технически невыполнимым. Так великий агроном и скакал по бывшей Соборной площади, разрывая шпорами бока своего коня.

Филюрин вынул бархатную тряпицу, смахнул пыль с ботинок и присел на каменный цоколь отдохнуть. Он просидел недвижимо минут десять, мысленно распределяя жалованье. Из тридцати пяти рублей, полученных сейчас Егором Карловичем за полмесяца в отделе благоустройства Пищ-Ка-Ха, рублей шесть оторвала секта похитителей членских взносов. Кроме того, предстояло неприятное объяснение с квартирохозяйкой, мадам Безлюдной.

Стук колотушки, донесшийся из-за угла, прервал печальные вычисления. Филюрин поднял чистое лицо и прислушался. Стук разросся, к нему присоединились еще трещеточные звуки и словно бы грохот падающей мебели.

На площадь въехал изобретатель Бабский верхом на деревянном велосипеде. Над толстым еловым рулем

трепетала пыльная борода, похожая на детские штанишки. Заметив Филюрина, изобретатель сделал крутой вираж, намереваясь остановиться, но инерция тяжелого аппарата была так велика, что Бабскому пришлось с раскоряченными ногами описать два кольца вокруг статуи, пока велосипед не остановился.

— Скорее! — крикнул Бабский.

— Что скорее? — спросил Филюрин, недоумевающе моргнув светлыми ресницами.

Но было уже поздно. Остановившийся велосипед накренился и рухнул на плиты, потащив за собою седока. Бабский вытащил ногу из-под шпагатной передачи и раздраженно обратился к Филюрину:

— Просил же я вас подержать мой бицикл! Я — прошу убедиться — еще не выучился им как следует управлять! Нужно еще усовершенствовать тормоз и свободное колесо.

Вдвоем они подняли велосипед, оказавшийся очень тяжелым, и прислонили его к одному из четырех фикусов, стоявших по углам цоколя.

Бабский обеими руками раздвинул свою бороду и захохотал. Ударяя ладонью по велосипеду, он убеждал Филюрина:

— Дешевка! Материалу идет на восемь рублей! Прошу убедиться — одно дерево! Сейчас еду за патентом. Бицикл Бабского! Каково?

— Из этого нужно сделать соответствующие оргвыводы! — восхищенно сказал Филюрин.

— Какие выводы?

— Выпить.

— Это всегда можно. Дайте только патент получить.

— Изобретатель должен угощать,— сказал Филюрин с убеждением.

На фоне идущего к закату солнца фигура Бабского рисовалась грязно-оранжевой глыбой. Это был рослый старик с жирными плечами и бородой, полной пороху и мусора. Утверждали, что из его бороды однажды выскочила мышка.

В каждом городе есть свой сумасшедший, которого жалеют и любят. Им даже немножко гордятся. Городской сумасшедший быстро проходит по бульвару, громко и косноязычно выкрикивая слова. Он с размаху открывает дверь кондитерской, но не успевает еще дойти до прилавка, как навстречу ему улыбающийся хозяин выносит на тарелочке миндальное пирожное. Сумасшедший хватает пирожное и, крича, убегает. Его преследуют дети. Но взрослые относятся к городскому сумасшедшему с почтением. Они привыкли к нему. Он стал для них достопримечательностью, наравне с городским театром и деревянной торцовой мостовой на главной улице.

Есть в каждом городе и свой изобретатель. Его тоже жалеют, но не любят, а побаиваются. Мало ли что может вдруг сочинить городской изобретатель!

Бабский был одновременно городским сумасшедшим и городским изобретателем. Целыми днями он бродил по пищеславским учреждениям, предлагая

изобретения и усовершенствования всякого рода. А ночью он работал в своей маленькой комнате, пыльное окно которой смотрело на Косвенную улицу. То слышалось оттуда гудение паяльной лампы, то взвывала автомобильная сирена.

Бабский не брезговал ничем. Окончив опыты над автомобильной сиреной, он изобретал вакцину, которая при впрыскивании в голенища делала сапоги огнеупорными! Провалившись на вакцине, Бабский в течение суток ломал голову над тем, как бы приурочить раскаты грома к двухлетнему юбилею работы местного госцирка. Провалившись на громовых концертах, неутомимый изобретатель произвел на свет «перпетуум мобиле», сделанное из двухрублевых ходиков и мятого самовара, емкостью в полтора ведра. Но и «перпетуум мобиле» не вышло. Тогда Бабский сварил опытный кусок мыла против веснушек. Он уже вышел на улицу, чтобы отнести мыло на пробу в аптечный подотдел, как его осенила мысль о постройке деревянного велосипеда. Изобретатель работал три дня, и из его рук вышел «бицикл Бабского». Все это время мыло лежало в левом кармане брюк, нагревалось и, никому не видимое, меняло свой яичный цвет на голубой.

— Скажите, Бабский,— спросил Филюрин, помогая изобретателю взобраться на кадку с фикусом,— изобретать — это трудно?

Бабский тяжело перелез с кадки на камышовое седло велосипеда и, кряхтя, ответил:

— Простейшее дело.

Раздался гром. Деревянная машина, вздрагивая, покатилась по площади.

— Что это дает в месяц? — крикнул Филюрин вдогонку.

— Рублей шестьдеся-а-а-ат! — донеслось сквозь грохот.

Бицикл Бабского исчез в ослепляющей печи заката.

Филюрин хотел было продолжить путь к дому и сделал уже несколько шагов, когда под его ногами загремела металлическая коробочка. Филюрин поднял ее и повертел в руках. Коробочка была от зубного

порошка, но внутри ее оказался кусок нежно-голубого мыла.

«Не иначе как Бабский выронил,— подумал Филюрин.— Интересно, сколько такое мыло может стоить?»

В неслужебное время мысль Филюрина работала довольно вяло. Всегда почему-то на ум ему взбредали одни и те же вопросы: сколько тот или иной предмет стоит, на сколько дешевле он продается за границей и как много зарабатывает собеседник. Только с барышнями он несколько оживлялся и вел беседы на волнующие темы — любовь и ревность. Но и с барышнями разговор ладился только до наступления сумерек, когда совместное сидение сводилось к лирическому молчанию.

Голубое мыло навело Филюрина на мысль о бане. Вечером предстояла дружеская вечеринка с танцами и оргвыводами, т. е. пивом и водкой.

Филюрин покинул площадь и двинулся в Дворянские бани. По дороге он зашел домой, захватил полотенце и люфовую рукавицу.

В Пищеславе средняя цена отдающейся внаем комнаты была восемь-девять рублей. Мадам Безлюдной Филюрин платил только четыре, так как мадам училась пению и ее фиоритуры сильно понижали стоимость комнаты. И сейчас мадам Безлюдная, оскалив золотые зубы, ревела в таком забвении, что Филюрину удалось проскочить через коридор, избежав объяснений по поводу квартплаты.

Филюрин давно не платил за квартиру. Он собирал деньги на костюм.

Он выбежал на улицу, радуясь тому, что уберег от золотозубой хозяйки четыре рубля, что сейчас он сможет опустить в банный ящик для жалоб какое-либо дельное заявление и, сбросив с себя двухнедельную грязь, отправиться на вечеринку, где его ждет беспримерное веселье в обществе сослуживцев из отдела благоустройства.

Последний широкий луч солнца лег на бритый затылок Филюрина.

Десятки тысяч людей с бритыми затылками и с такими же, как у Филюрина, чистенькими лицами и

сереньkими глазами влачат обыденную жизнь, исправно ходят в баню, исправно платят членские взносы в профсоюз и не посещают общих собраний, добросовестно веселятся в обществе сослуживцев и ставят себе за правило не платить за квартиру; но не их избрала судьба, не им позволила история выдвинуться для дел больших и чудесных.

Дивный и закономерный раскинулся над страною служебный небосклон. Мириады мерцающих отделов звездным кушаком протянулись от края до края, и еще большие мириады подотделов, сияющие электрической пылью, легли, как Млечный Путь. Финансовые туманности молочно светят и приманчиво мигают, привлекая к себе уповающие взоры. Хвостатыми кометами проносятся по небу комиссии. И тревожными августовскими ночами падают звезды — очевидно, сокращенные по штату. Иные из них, падающие метеоры, не успев сгореть и обратиться в пар, достигают суетной земли и шлепаются прямо на скамью подсудимых. Есть и блуждающие в командировках звезды. Притягиваемые то одной, то другой звездной организацией, они носятся по небосклону, пока не погибают в хвосте какой-нибудь кометы с контрольными функциями.

Велико звездное небо отечественного аппарата и обширен выбор светил. Но для великих преобразований в городе Пищеславе судьба выбрала самую маленькую и неяркую звездочку, свет которой еще не дошел до земли. Выбрала она Егора Карловича Филюрина — мандолиниста и неплательщика в жизни, а по службе скромного регистратора Пищ-Ка-Ха.

Войдя в баню, Филюрин еще не знал, что выйдет оттуда великим. Поэтому, выбрав угловой диванчик, Егор Карлович стал медленно раздеваться. Он распустил матерчатый поясок своей полутолстовки, снял вечный визиточный галстук с металлической машинкой, сорочку с пикейной рубчатой грудью и брюки, бренчавшие, как сбруя (Филюрин носил в карманах множество мелких железных кружочков, которые опускал в автоматы, вместо гривенников).

Раздевшись догола, Филюрин долго поглаживал плечи и бока, остывая и с пренебрежением поглядывая на других голых. Знакомых в бане не было. Перекинув через плечо полотенце, Филюрин взял голубое мыло Бабского и вошел в мыльную.

В это время Бабский, подав заявление о патенте и торопливо объяснив собравшейся у входа в ГСНХ толпе преимущества елового бицикла перед металлическим, с шумом выкатил на проспект имени Лошади Пржевальского.

В этот сумеречный час между двумя рядами пепельных от пыли лип уже гуляли пищеславцы. Привыкшие к причудам городского изобретателя граждане провожали бицикл равнодушными взглядами.

Поворачивая на площадь, Бабский наехал на человека в белой косоворотке. Потерпевший покачнулся.

— А! Это вы, товарищ Лялин! — примирительно сказал Бабский.— Я как раз хотел сегодня заехать к вам в аптечный подотдел.

— Опять изобрели что-нибудь? — проворчал товарищ Лялин, массируя ушибленное бедро.

— Изобрел, изобрел! Мыло от веснушек. «Веснулин» Бабского! Сейчас покажу. Весь город ахнет, прошу убедиться. Подержите бицикл.

Освободив руки, изобретатель стал рыться в карманах, ища «веснулин». Но ни в одном из всех четырнадцати карманов пиджачной тройки он не нашел металлической коробочки с мылом.

— Так вы мне завтра в подотдел занесите,— нетерпеливо сказал Лялин,— там и подработаем вопрос.

— Позвольте, позвольте, куда же оно могло деться,— суетился Бабский,— позвольте, где же я был? Наверно, в губсовнархозе оставил. Подождите здесь! Я сейчас приеду!

И Бабский, оттолкнувшись ногой от заведующего аптечным подотделом, покатил обратно по проспекту им. Лошади Пржевальского.

Пока Бабский ломился в закрытые двери ГСНХ, а потом, опечаленный потерей «веснулина», колесил по всему городу, наполняя его погремушечным стуком, Филюрин мылился.

Он окатился горячей водой из шайки, которой пришлось дожидаться довольно долго, зажмурил глаза и густо намылился. «Веснулин» Бабского издавал беспокойный скипидарный запах.

«Медицинское мыло,— с удовольствием подумал Филюрин, не раскрывая глаз и клекоча от наслаждения,— наверно, не меньше сорока копеек стоит».

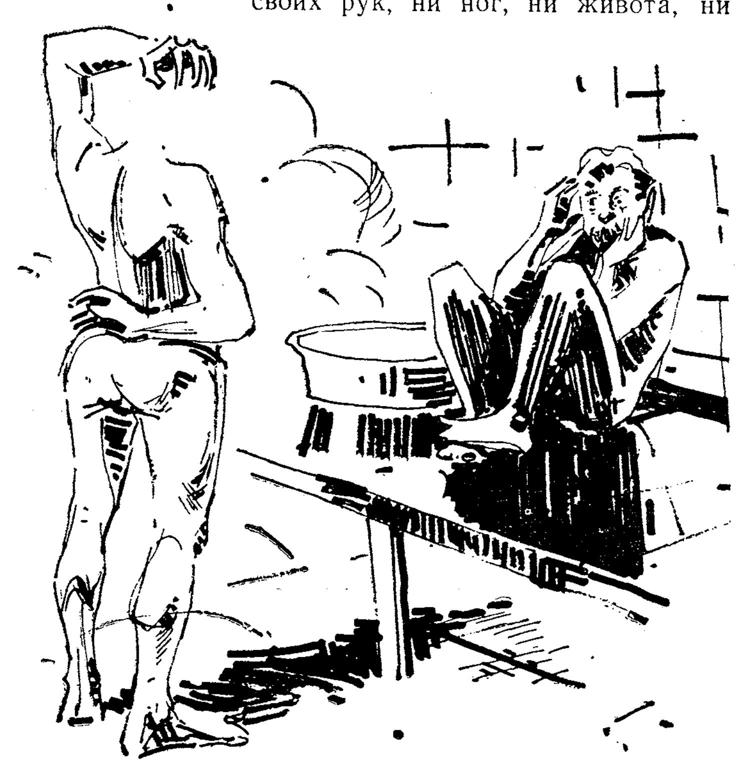
Филюрин чувствовал, как тело его становится легким. От этого было приятно, и в голове происходил маленький сумбур. Мыслилось что-то такое очень хорошее, что-то вроде кругосветного путешествия за полтинник. И казалось Филюрину, что он исчезает и растворяется в банном тепле.

И, странное дело, милицейскому надзирателю Адамову, мывшемуся неподалеку и только что намылившему голову семейным мылом, показалось, что голова знакомого ему по участковым делам Филюрина исчезла и моется одно только туловище.

Адамов стал быстро промывать залепленные пеной глаза, а когда промыл, в углу, где только что стоял Филюрин, никого не было. Только вились смутные локончики пара да раскатывалась по наклонному полу тяжелая шайка.

Милиционер Адамов был так удивлен происшедшим, что ему захотелось вытащить свисток и созвать на помощь дворников. Но свисток вместе со всей форменной упряжью остался в предбаннике. К тому же к освободившейся шайке уже подползали голые. Адамов недолго думая первым схватил шайку и предался дальнейшим банным удовольствиям. О Филюрине он сейчас же забыл.

Между тем Филюрин с закрытыми еще глазами подошел к крану и, зачерпнув в ладони холодной воды, умыл лицо. То, что он увидел, или, вернее, то, чего он уже не увидел (а не увидел он многого: ни своих рук, ни ног, ни живота, ни



плеч), ошеломило его. В страхе он побежал под душ. Он чувствовал, как под теплым дождиком слетело с него мыло, но тело продолжало отсутствовать.

Необыкновенный испуг вытолкнул Филюрина в предбанник. Филюрин подскочил к зеркалу. Себя он не увидел. Его не было. Он не отражался в зеркале, а между тем он стоял против зеркала и даже притронулся к нему рукой.

Но подумать о своем отчаянном положении Филюрин не успел. В зеркальном поле отразились две подозрительные фигуры. Они вошли в предбанник из передней и, увидев, что здесь никого нет, захватили ближайшую к ним стопку одежды и проворно выбежали.

— Стой! — закричал Филюрин, услышав знакомый звон своих брюк.

Голос его был прежний, филюринский.

В гневе он погнался за похитителями. Воры неслись к темным переулкам Нового города. За ними во весь дух бежал невидимый регистратор.

Произошло темное и удивительное событие. Двадцатишестилетний молодой человек, исправный служащий, отличавшийся завидным здоровьем, одновременно потерял все, что у него было: полутолстовку, визиточный галстук и тело. Осталось только то, в чем Филюрин до сих пор совершенно не нуждался. Осталась душа.

А город, еще ничего не подозревавший, жил обычной жизнью. В ночной тиши раздавались резкие звуки увертюры к опере «Кармен», исполняемой в клубе водников великорусским оркестром на семнадцати домрах.

Глава II

«ВОЛЕНС-НЕВОЛЕНС»

До самого рассвета невидимый регистратор блуждал по переулкам, настолько отдаленным от центра, что их даже к 1928 году не успели переименовать. Воров он не настиг, да и погоня за гардеробом

была уже бесцельной. Пробежав километров шесть, Филюрин сообразил, что призраку одежда не нужна. Однако впереди было худшее — в девять часов предстояло прибыть на службу.

Следствием этого явилось решение немедленно отправиться к Бабскому и требовать возвращения тела еще до начала занятий в отделе благоустройства.

Через двадцать минут изобретатель Бабский проснулся от холода. Окно было раскрыто, и утренний ветер сгонял в угол комнаты деревянные стружки, завившиеся колечками.

— Товарищ Бабский! — услышал изобретатель.— Товарищ Бабский!

Бабский выпрыгнул из постели и подбежал к окну. Улица была пуста и чиста. Холодная, оловянная роса поблескивала на деревьях.

— Хулиганы! — крикнул изобретатель, захлопывая окно.— Удивительное хулиганство!

— Товарищ Бабский,— услышал он за собой,— дело в том, что я был в бане...

Бабский сел на избрызганный подоконник и изумленно оглядел комнату. В комнате никого не было.

— Кто был в бане? — тихо спросил он.

— Я,— ответил стул.

Тогда Бабский поднялся, на пуантах подкрался к стулу и, насторожив слух, с крайним любопытством спросил:

— Вы были в бане?

Но стул не ответил. За спиной изобретателя послышался застенчивый кашель и тот же голос с мольбой произнес:

— Я с этой стороны, товарищ Бабский. Дело в том, что меня не видно.

— Кого не видно? — раздраженно спросил Бабский.

— Меня, Филюрина.

— Позвольте, почему же вас не видно?

— Дело в том, что я был в бане, а теперь мне нужно к девяти часам прийти на службу, а меня не видно.

По мере того как Филюрин вяло и нерешительно выбалтывал подробности своего исчезновения, лицо изобретателя все светлело и оживлялось.

— Так вы говорите, намылились? — спросил изобретатель, дергая себя за бороду.— С научной стороны это весьма интересно!

— Вы же поймите,— убеждал Филюрин,— из-за вашего мыла я теперь не могу пойти на службу.

— А я тут при чем? Вы взяли мой «веснулин» без спроса, но черт с вами. Мне не жалко. Но ведь мыло действовало правильно? Веснушки исчезли?

— Веснушки исчезли,— искательно сказал невидимый,— но ведь и я тоже исчез, товарищ Бабский. Войдите также и в мое положение.

В комнате раздалось жалкое стенание.

— Черт его знает,— задумчиво произнес изобретатель,— я изобрел только мыло от веснушек...

— Скажите, может быть, вы можете сделать так, чтобы я опять сделался видимым?

— Так-с,— заметил Бабский,— надо подумать. Вы где сейчас, молодой человек? Если на стуле, то я сяду на кровать, а то вас раздавить недолго.

— Я стою.

— Ага. Ну, стойте. А я подумаю.

В течение получаса в комнате слышались только громкие междометия, которые пропускал сквозь бороду изобретатель.

— Уже без четверти семь,— канючил невидимый.— Не говоря о том, что я всю ночь не спал, я из-за вашего мыла еще опоздаю на службу.

Бабский встал, вытряхнул свою бороду обеими руками, как вытряхивают носильное платье, и решительно сказал:

— Не морочьте мне голову! Я с вами еще буду судиться за то, что вы стащили мое мыло. Я не могу в полчаса сделать такое серьезное изобретение, как возвращение человеческого тела. Я, может быть, и за пять лет не успею этого сделать.

Как видно, Филюрин пришел в сильнейшее волнение, потому что упал стул и с верстака посыпались чурки — запасные части к бициклу.

— Пошел вон! — завопил Бабский.— Хулиган! Ну, вон отсюда!

Окно само собою распахнулось, и уже с улицы донесся нудный голос невидимого:

— Я на вас в суд подам!

— Я тебе подам! Украл мыло и еще пристает!

— Вы не имеете права,— хорохорилась пустынная улица,— ответите, как за убийство!

— Ворюга! — дразнил городской сумасшедший, свешиваясь из окна.— Так тебе и надо!

Окно с треском захлопнулось. Бабский минут десять ходил по комнате успокаиваясь. Потом, придя к заключению, что «веснулин» приобрел свои удивительные свойства под влиянием брожения в железной коробочке, изобретатель зажег примус и немедленно же стал варить второй кусок «веснулина», восстанавливая по памяти его основные ингредиенты.

Потосковав у окна, прозрачный регистратор двинулся по Косвенной улице.

Город уже проснулся. Проехала клетка с наловленными за утро бродячими псами. Почуяв запах невидимого, население клетки залаяло и завизжало.

Час совслужащих приближался, а Егор Карлович все еще не знал, что предпринять. На Тимирязевской площади уже стоял знакомый госпапиросник. Так же, как и вчера, блистал его стеклянный ларек, и жалобный ящик по-прежнему манил к себе усталого путника. Но все это было не для Филюрина.

Внезапно и скоропалительно переменилась вся жизнь регистратора, даже не переменилась, а, вернее, прекратилась. От него ушли: еда, питье, табак, любовь, движение по службе, возможность восхитить кого-нибудь своим нарядом или телом. Оставалось только одно — возможность мыслить. Но этим делом Филюрин никогда не занимался.

В страхе и удивлении очутился Филюрин перед большим, прибитым к двум столбам, железным плакатом. На плакате был изображен бегущий человек в такой же точно полутолстовке, какая еще вчера была

на Егоре Карловиче. Он устремлялся вперед, держа в протянутой руке белый червонец. Под картиной была ликующая надпись:

КТО — КУДА, А Я В СБЕРКАССУ!

«А я куда? — горько подумал невидимый.— Куда я?»

Полный отчаяния, Егор Карлович бросился домой. Он подошел к окну своей квартиры и заглянул внутрь. Мадам Безлюдная сидела за пианино, тяжело роняя пухлые руки на клавиши. Из открытого рта безостановочно лился благовест. Златозубая мадам упражнялась в звуке «и».

— А я куда? — прошептал Филюрин.— Не идти же на службу в таком виде?

А между тем уже все шло и ехало на службу. Проехал в автомобиле заведующий отделом благоустройства Каин Александрович Доброгласов с сыновьями: Афанасием Каиновичем, работающим в отделе лиственных насаждений, и Павлом Каиновичем — из отдела сборов.

— Пойду,— решил Филюрин наконец,— ведь я же ни в чем не виноват! Я им все объясню. Пусть на комиссию пошлют. Пожалуйста!

Отдел благоустройства Пищ-Ка-Ха занимал пять комнат в двухэтажном особняке на Тысячной улице. В каждой комнате был большой камин, отделанный в мрамор. Так как каминов не топили, то в них содержались дела в папках, перевязанных шпагатом, и в раздувшихся скоросшивателях.

К тому времени, когда Каин Александрович прибыл в вверенный ему отдел, все сотрудники были уже в сборе, и только стол регистрации земельных участков пустовал. Каин Александрович критическим взором окинул стол регистрации, потом взглянул на шестигранные стенные часы, сверил их со своими мозеровскими, затем сказал:

— Что, Филюрин болен?

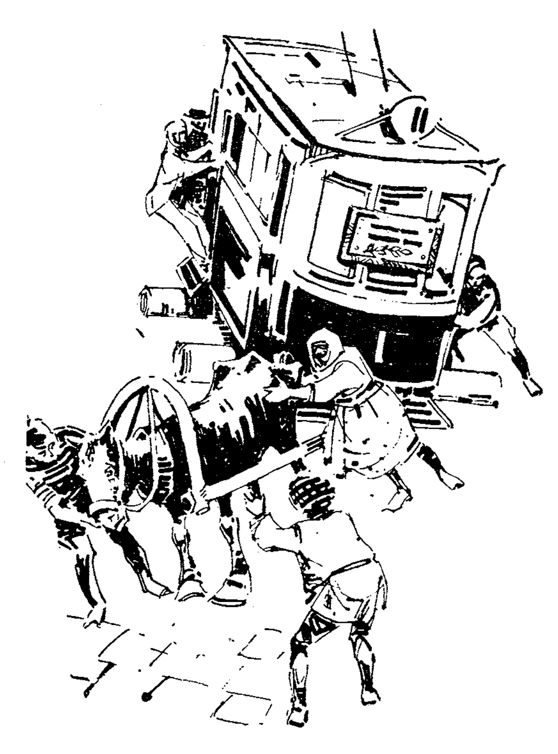
Евсей Львович Иоаннопольский, делавший записи в главной книге и находившийся в эту минуту ближе

всех к начальнику, заметил, что о болезни Филюрина как будто никаких сведений не имеется.

— Не знаю,— сказал Каин Александрович без всякого выражения,— за ним эти штуки не первый раз. Кажется, воленс-неволенс, а я его уволенс.

Последние слова Доброгласов произнес с особенным вкусом.

Выражение это он услышал в 1923 году, когда Пищеслав посетило лицо, облеченное полномочиями по части садового благоустройства. И самое-то это выражение «воленс-неволенс, а я вас уволенс» было сказано ему, Каину Александровичу, за обнаруженные упущения. После этого Доброгласов уверился, что лицо, посетившее город, есть лицо весьма важное и, возможно, даже историческое.



Когда гроза пронеслась, Каин Александрович решил увековечить момент пребывания гостя. Трамвайный вагон № 2, в котором посетитель проехался по городу, был снят с линии и помещен в музей благоустройства с мемориальной дощечкой: «В этом вагоне сентября 28 дня 1923 года тов. Обмишурин отбыл на вокзал». После этого исторического эксцесса в городе Пищеславе циркулировали только два трамвайных вагона, потому что всего их было три. Пищеславцы с ужасом думали о том, что Обмишурин еще раз может приехать с ревизией и тогда трамвайное движение прекратится навсегда.

Каин Александрович давно уже сидел в своем кабинете и макал перо в сторублевую бронзовую чернильницу «Лицом к деревне» (бревенчатая избушка с раскрывающейся дверцей и надписью, сделанной славянской вязью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»), а Иоаннопольский никак не мог избавиться от гнетущего чувства.

Положение Иоаннопольского в отделе было шатким. Его могли выкинуть в любую минуту, хотя он служил верой и правдой уже восьмой год. Происходило это вследствие маниакальной идеи, засевшей в голове Каина Александровича. Два года тому назад в Пищеславе прошумел показательный процесс проворовавшегося управделами ПУМа Иванопольского. С тех пор Доброгласов остановился на мысли, что Иванопольский и Иоаннопольский — одно и то же лицо. При очередном сокращении штатов Каин Александрович неизменно требовал увольнения Иоаннопольского, подкрепляя свое требование криками:

— Зачем нам управделами ПУМа?

Как ни уверяли Доброгласова, что Иоаннопольский, Евсей Львович, ничего общего с Иванопольским, Петром Каллистратовичем, не имеет, что, в то время как Петр Каллистратович сидел на скамье подсудимых, Евсей Львович аккуратно являлся на службу в девять часов утра и что Иванопольский наконец приговорен к десяти годам и работает в канцелярии допра,— это действовало только временно.

При следующем сокращении Каин Александрович подымался и с упреком спрашивал:

— Зачем нам Иванопольский? Зачем у нас служит управделами ПУМа? Его надо сократить в первую голову.

Доброглассву снова доказывали, какая пропасть отделяет заслуженного бухгалтера Иоаннопольского от известного всему городу жулика Иванопольского, но Каин Александрович смотрел на объяснявшего белыми эмалированными глазами и говорил:

— Вы кончили, товарищ? Ну, а теперь вы мне скажите, зачем нам, я вас спрашиваю, управделами ПУМа? Зачем? Воленс-неволенс, а я его уволенс.

По всем этим причинам Евсей Львович не любил никаких волнений в отделе.

Впрочем, никто в отделе не любил волнений: ни Лидия Федоровна, немолодая девушка со считанными волосами кудрявой прически, ни самый молодой из служащих отдела — Костя, ни товарищ Пташников, пищеславский знахарь, числящийся в ведомости личного состава инструктором-обследователем.

Подобные Пташникову служащие водятся в каждом городе и даже в каждом учреждении. Это обычно недоучившиеся медики или родственники врачей, а то и просто любители поговорить на медицинские темы.

К ним-то и обращаются за советом служащие, глубоко убежденные в том, что врачи страхкассы лечат неправильно, не учитывая новейших достижений научной мысли. Общение же с частными врачами невозможно, так как частные врачи, по мнению служащих, спекулянты, и связываться с ними не стоит. Полным доверием пользуются только профессора, но посещать их мешает бедность.

И все обращаются к собственному медику. Советы он дает охотно, денег за это не берет и, сияя отраженным светом родственного или знакомого ему медицинского светила, отличается универсальностью в познаниях.

Пташников, сидевший за своим тонконогим столиком рядом со столом Филюрина, был прекрасным, знающим и совершенно бескорыстным учрежденским знахарем-колдуном. Особое уважение он внушал себе

тем, что был двоюродным племянником известного в Ленинграде терапевта.

Как только Каин Александрович затих в своем кабинете, к Пташникову подошел еще не успокоившийся Евсей Львович.

— Ну, что? — спросил Пташников, останавливая бег своего пера и обратив к Иоаннопольскому круглое лицо.— Как адреналин?

— Впускал, как вы говорили. С носом у меня теперь все благополучно, но знаете что, Пташников...

Выслушав Иоаннопольского и рассмотрев мешки под его глазами, Пташников сказал:

— Лучше всего, конечно, обратиться к профессору. К Невструеву, например.

— А все-таки? — настаивал Евсей Львович.

— Не знаю. Мне кажется, что у вас отравление уриной.

На щеках Евсея Львовича проступил клубничный румянец.

— Неужели уриной?

— Видите ли, лучше всего вам все-таки обратиться к Невструеву. Может быть, это нервное.

— Тут станешь нервным,— заметил Иоаннопольский, поглядывая на дверь.— Что же вы все-таки думаете?

— Я думаю, что это все-таки отравление. Посоветуйтесь с Невструевым или, знаете что, сделайте сначала анализ. Может быть, у вас белочек.

Совершенно подавленный Евсей Львович отошел к своей конторке и, взобравшись на винтовой полированный табурет, стал разносить статьи по счетам главной книги.

— Что же с Филюриным? — спросили из угла.— Нужно кому-нибудь сесть на регистрацию. Там человека три уже ждет.

И действительно, у барьера, против стола Филюрина, стояло несколько человек, недовольно посматривавших по сторонам.

— Алколоиды,— сказал Пташников, усмехаясь,— просто выпил лишнее.

— Ничего подобного! — отозвался Костя.— Мы его вчера весь вечер ждали. Компания подобралась. Но он не пришел. Всю вечеринку нам сорвал. Мы хотели под мандолину танцевать.

Если бы Костя знал, во что превратился тот, кто еще до вчерашнего дня так ловко бряцал овальным медиатором, прижимая к животу круглый полосатый зад мандолины! Как далек был теперь от Филюрина вальс «Осенний сон», который он с великим трудом разучил по цифровой системе.

— Кстати, Пташников,— сказал Костя с тревогой,— я слепну.

— Да ну вас! — ответил инструктор-обследователь.— Вечно вы выдумываете какие-то болезни!

— Да, ей-богу, я слепну. Уже три дня, как у меня в глазах плавают разноцветные мушки.

— Ладно. Дайте пульс,— на всякий случай сказал Пташников.— Что ж, пульс нормальный, хорошего наполнения. Ничего вы не слепнете. Пойдите лучше к Доброгласову и спросите, кого посадить на место Филюрина, а то люди ждут.

В это самое время невидимый регистратор, прозрачная сущность которого дрожала от страха, подымался по чугунной лестнице Пищ-Ка-Ха.

«Что скажет Каин Александрович?» — тоскливо думал невидимый.

Глава III

«КТО — КУДА, А Я — В СБЕРКАССУ!»

Приход невидимого на службу вызвал в отделе благоустройства необыкновенный переполох. Первое время ничего нельзя было разобрать. В общем шуме выделялся полнозвучный голос Каина Александровича и дрожащий тенорок Филюрина.

— Этого не может быть! — кричал Доброгласов.

— Ей-богу! — защищался Филюрин. — Спросите Бабского!

Служащие бегали из комнаты в комнату с раскрасневшимися лицами и на все расспросы посетителей отвечали:

— Ну, чего вы лезете? Разве вы не видите, что делается? Приходите завтра.

Все приостановилось. Справок не давали, касса не работала, и в задней комнате потухал брошенный курьерами кипятильник «Титан». Было не до чаю.

— Это бюрократизм! — кричали ничего не понимавшие клиенты отдела благоустройства.

Впрочем, никто ничего не понимал.

У кабинета Доброгласова плотной кучей столпились служащие. В арьергарде топтался боязливый Иоаннопольский, беспрерывно шепча:

— Что? Что он сказал? Это Филюрин сказал? А Каин? Что Каин ответил? С ума можно сойти. Что? Абсолютно не видно? Стул перевернул? А что Каин ему? Подумать только! Этого нигде в мире нету!

— Ну, нету! В Америке, наверно, есть и не такие!

— Как вам не стыдно это говорить. При чем тут Америка!

— Не мешайте! — шептал Евсей Львович.— Тише! Что он сказал? А Каин? Вы знаете, Каин не прав. Нельзя же так кричать на невинного человека. Впрочем, при его вспыльчивом характере...

В это время Каин Александрович наседал на растерявшегося невидимого.

— В конце концов это не дело администрации, а дело месткома.

Робкий голос Филюрина стлался по самому полу. Может быть, он стоял на коленях.

— Я только об одном прошу — чтобы мое дело разобрали!

— Можно разбирать только дело живого человека. А вы где?

— Я здесь.

— Это бездоказательно! Я вас не вижу. Следовательно, к работе я вас допустить не могу. Обратитесь в страхкассу.

— Но ведь я же здоровый человек.

— Тем более. Воленс-неволенс, а я вас уволенс.

Сотрудники переглянулись.

— Самодур,— прошептал Иоаннопольский.— Без согласования с месткомом!

— Да, да, Филюрин,— продолжал Каин Александрович,— хватит с меня управделами ПУМа. Еще и невидимого держать. Берите бюллетень и идите. Идите, идите! Вы же видите, что я занят!

— Меня убили! — закричал невидимый.— У меня украли тело!

— Раз вас убили, страхкасса обязана выдать вам на погребение!

— Какое может быть погребение живого человека!

— Это парадокс, товарищ,— ответил Каин Александрович.— В отделе благоустройства не место заниматься парадоксами, а место заниматься текущей работой. Как решит РКК, так и будет. Вы ушли?

Ответа не было. Испугавшись слова «парадокс», Филюрин покинул кабинет и очутился среди сотрудников.

Сотрудники сначала рассыпались в стороны, крича изо всей силы: «Где вы, где вы?»

— Здесь, у арифмометра. Вот я поднял пресс-папье, а Каин говорит, что я не существую. Я в состоянии работать.

После пугливых расспросов и столь же пугливых ответов невидимого, служащие уяснили, что Филюрин в еде не нуждается, холода не испытывает, хотя и исчез, будучи голым, что тело свое ощущает, но, как видно, его все-таки нет, и чем он только что поднял пресс-папье, он и сам не знает.

— Прямо анекдот! — повторял невидимый.

Но событие было настолько поразительным, что общей темы для разговора не нашлось. Стало скучновато.

— Ну, что новенького в отделе? — спросил Прозрачный, хотя за последний год единственной новостью было его собственное исчезновение.

— Ничего,— ответил Иоаннопольский,— говорят, новая тарифная сетка будет.

— Три года говорят,— послышался из-за арифмометра безнадежный ответ невидимого.

— Да.

— Вы знаете, меня еще и обокрали! Ей-богу! Все чисто украли.

— А вы заявили в милицию?

— Да зачем заявлять? Ведь мне-то уже не нужно! — с горечью произнес голос регистратора.

— Это вы напрасно, Егор Карлович. Если все так будут относиться, то такой бандитизм разовьется!

Филюрин осмотрелся. Все было прежнее, давно известное, еще вчера надоедавшее, а сегодня бесконечно милое и невозвратимое — счеты с костяшками

пальмового дерева, черный дыропробиватель, линейки с острыми латунными ребрами и толстая, чудесная книга регистраций.

— Как же все это произошло? — спросил Евсей Львович.— Расскажите подробно.

Филюрин повторил все, что он рассказывал уже Доброгласову. И так как сотрудники все это слышали, стоя у дверей кабинета, рассказ показался им не таким уже удивительным.

— Бывает, бывает,— сказал инкассатор,— на свете, пусть люди как ни говорят, но есть много непонятного. Моя бабушка перед смертью три гроба видела.

— Это бабьи разговоры! — сказал невидимый.

— Нет, нет,— закричал инкассатор.— Это не пустяк.

Наперерыв стали рассказывать всякие таинственные истории: о гробах, призраках и путешествующих мертвецах.

— Выходит, что и я призрак,— усмехнулся Филюрин.

Но его не услышали.

Инкассатор рассказывал историю загадочного появления покойного дяди одного своего приятеля.

— ...Они открывают окно, а за окном никого нет. Между тем все ясно слышали, что кто-то постучал. Сам я этого не видел, но приятель видел собственными глазами.

Между тем Лидия Федоровна, давно уже с опасением поглядывавшая на двери кабинета Доброгласова, подобралась к арифмометру.

— Вы еще здесь, Егор Карлович? — спросила она.

— Здесь.

— Простите, пожалуйста, мне к арифмометру нужно. Пардон!

Оттеснив невидимого, Лидия Федоровна деловито завертела ручку. Арифмометр заскрежетал. Евсей Львович сел за главную книгу. Потянулись за свои столы и все остальные. О невидимом начинали забывать.

— Скажите,— обратился Филюрин к инкассатору,— вы давно купили эту сорочку? Хорошая сорочка. Сколько вы за нее дали?

Ответа невидимый не получил, так как инкассатор умчался по своим делам.

— Егор Карлович? — спросил Пташников.— Я вам, кстати, хотел посоветовать обратиться к Невструеву. Вполне знающий терапевт.

— Зачем же обращаться? — тупо спросил Филюрин.

— Может быть, это у вас на нервной почве? Вам, наверно, нужна электризация. Токи Дарсонваля. Замечательная вещь. Или, знаете что, попробуйте водолечение. Температуру вы меряли?

— Где там мерять! — сказал Филюрин грустно.— Пойду я в местком.

В маленькой комнате месткома, главным украшением которой являлся щит с прикрепленными к нему частями винтовки и надписью: «Умей стрелять метко», сидели любопытные из всех отделов Пищ-Ка-Ха.

— Меня не имеют права уволить! — раздался голос Филюрина.— Я трудоспособности не потерял!..

Присутствующие загомонили. Самолюбие невидимого временно было удовлетворено. Здесь его история принималась к сердцу чрезвычайно близко. Здесь он еще мог удивлять. Он приподымал чернильницу, показывая, где он находится, объяснял детали нового своего быта и уже с некоторым опытом рассказал, что тело свое он ощущает, но, как видно, тела все-таки нет, и чем он, Филюрин, поднял только что чернильницу, он и сам не знает.

— Кроме того, меня обокрали,— закончил невидимый свой удивительный рассказ.— Ей-богу! Все начисто уперли.

— Так вы подайте в кассу взаимопомощи,— сказал председатель месткома,— в таких случаях она может выдать даже безвозвратную ссуду. Пишите заявление.

Но тут председатель осекся и потрогал руками прическу.

— Впрочем, вам деньги не нужны. Не к чему. Есть-пить вам не надо, да и платья не на что надеть. Так в чем же ваш конфликт с администрацией? Согласно правил внутреннего распорядка уволить вас

не могут. Есть пункт «г», но он к вам не подходит — обнаружившаяся непригодность к работе.

— Работать я могу! — воскликнул невидимый.

— Но зачем же вам работать! Раз пить-есть вам не надо, мы дадим лучше на ваше место многосемейного безработного...

— Как!! — завопил невидимый.— С какой стати меня на биржу посылать! Я вылечусь. Я к профессору Невструеву пойду. Он знающий терапевт. Я стану видимым. Извините, товарищи! Меня нельзя уволить! Где же это такой закон, чтоб невидимых увольнять. Пункт «г» не подходит. А других пунктов подходящих нет.

— Что ж, это верно,— сказал председатель.— Этот вопрос надо заострить.

— А куда он деньги станет класть? — спросил из толпы завистливый Павел Каинович, пришедший полюбоваться на диковинного подчиненного своего папаши.

— Хоть псу под хвост! — грубо ответил невидимый.— Принципиально! Это месткома не касается. Могу класть в банк. Кто — куда, а я — в сберкассу. Мое дело!

— Формально будем защищать,— сказал председатель.— Попроси-ка, Костя, сюда товарища Доброгласова на заседание РКК. Будем филюринское дело разбирать.

— Нет, это прямо безобразие какое-то,— заметил Филюрин,— взять и уволить сотрудника ни за что. Будто невидимый уже и не человек. Возмутительно!

Собравшиеся молчали. Они начинали завидовать невидимому. Как же! Ему не нужно производить никаких расходов. А жалование идет полностью, как всякому.

— Сколько же такой невидимый может прожить? — спросил курьер Юсюпов, давно уже производивший в уме какие-то вычисления.

— Неизвестно,— злобно ответил загадочный регистратор.

— Может, такой невидимый и не умирает вовсе? — продолжал Юсюпов.

— И наверно даже я буду жить вечно.

Глаза председателя месткома сразу потеряли свой будничный блеск.

— Ты тут потише насчет вечности. Одурел от невидимости. Ты смотри, как бы тебя за такие слова из союза не выкинули.

— А возможно, что и будет жить вечно! — завздыхал Юсюпов.

— Тебе, курьер, завидно! — огрызнулся Филюрин.

— Мне не завидно, а только лет за двести, товарищ Филюрин, можешь большой капитал составить. Вроде как Циндель станешь.

Тут в голове председателя месткома, незаметно для присутствующих, родилась блестящая идея. И он сказал, обративши взор повыше чернильницы:

— Слушай, Филюрин, а тебе и на самом деле деньги не нужны. Ты свою зарплату жертвуй в Осоавиахим. А?

Послышалось страшное сопение. По комнате пронесся небольшой ураган.

— Что вы все на меня навалились? Сколько все сотрудники платят, столько и я буду платить.

— Скряга ты, Филюрин,— произнес председатель,— невидимый должен проявить большую активность. Ну, черт с тобой, защищать тебя рабочая часть РКК все-таки будет.

В эту минуту, спугнув лодырничающих сотрудников, в комнату вошел Каин Александрович.

— Товарищи посторонние! — провозгласил председатель.— Прошу очистить помещение. Сейчас будет открытое заседание РКК.

Комната мигом обезлюдела.

Против председателя и Юсюпова, представлявших рабочую часть РКК, уселся управделами. Каин Александрович сел у стены, подложив под спину портфель, чтобы не измарать пиджак. Над головой его жирно блестели винтовочные части.

— А этот уже есть? — спросил Каин Александрович, сделав рукой неопределенное движение.

— Он тут. Ну, товарищи, как же быть с Филюриным? Юсюпов, веди протокол.

Каин Александрович убоялся конфликта и согласился признать Филюрина живым и дееспособным, выговорив себе двухнедельный испытательный срок, после которого вопрос о невидимом снова должен был стать предметом официального обсуждения.

В конце заседания, происходившего довольно мирно, Каин Александрович вдруг воспламенился.

— Хорошо! Пусть невидимый остается, хотя ни в одном учреждении нет невидимых служащих. Я согласен. Но зачем нам, товарищи, управделами ПУМа, Иванопольский? Не понимаю?

— Каин Александрович, но ведь вопрос об Иоаннопольском прорабатывался не раз, и мы уже сами выявили, что наш Иоаннопольский совсем не тот.

— Нет,— сказал Доброгласов,— я буду просить начальника Пищ-Ка-Ха бросить меня на другую работу. Я не могу отвечать за благоустройство города, когда в отделе работают какие-то невидимые и управделами ПУМа. Я не могу работать с привидениями. Это мистика. Я требую жертв.

— Что же вы хотите? — спросил председатель месткома.

— Я требую жертв,— повторил Каин Александрович.— Я не могу делать из благоустройства бедлам. Воленс-неволенс...

И уже кроткий Евсей Львович, связанный по рукам и ногам, был возложен на жертвенник, уже была занесена над ним вооруженная автоматической ручкой десница Доброгласова, когда подняла свой голос рабочая часть. Она не хотела жертв.

Однако на этот раз разозленный Каин Александрович показал алмазную твердость. Пришлось создать конфликт, и дело о мнимом управделами ПУМа пошло в примирительную камеру.

— Так вы, Филюрин, допускаетесь к исполнению обязанностей. Можете идти работать.

Вслед за этим, впервые в истории учреждений города Пищеслава, со стола скромного регистратора Филюрина ручка сама собой поднялась на воздух, наклонилась под должным углом и вписала в разверну-

тую книгу регистрации земельных участков самую обыденную деловую запись.

Посетители отдела благоустройства, давно забывшие детскую сказку о шапке-невидимке, не читавшие Уэльса и не знавшие еще об удивительном случае с «веснулином» Бабского, первое время обмирали и даже опускали негодующие заявления в огромный жалобный ящик Пищ-Ка-Ха, но потом, занятые своими делами, привыкли и находили, что невидимый Филюрин работает гораздо быстрее Филюрина видимого и что душа регистратора гораздо вежливее, чем была его земная оболочка.

Пищеславцы успокоились, называли Филюрина «товарищ прозрачный» и даже слегка над ним подтрунивали.

А сам прозрачный тосковал безмерно. Сперва ему нравилось то удивление, которое он вызывал в окружающих. Он любил рассказывать с мельчайшими подробностями о том, как он пошел в баню, как мылся там необыкновенным голубым мылом, как исчез и как гнался за ворами. Но все это продолжалось лишь два дня. Не находилось больше охотников слушать рассказы о том, как буквально, в точном смысле этого слова, смылся регистратор.

Это обстоятельство повлияло также на судьбу единственного свидетеля исчезновения Филюрина. Милиционер Адамов тоже не находил больше слушателей, от скуки запил и был отправлен в антиалкогольный диспансер, где его лечили гипнозом и холодной водой.

О Бабском ничего не было слышно. Он сидел, запершись, у себя, на Косвенной улице, и примус его, как потом рассказывали, не потухал ни днем, ни ночью.

Прозрачный тосковал. Все удовольствия были ему уже недоступны. Только и было ему удовольствия, что одиноко поиграть на мандолине, прижимая ее зад к своему несуществующему животу.

Тогда-то и произошло замечательное событие, перевернувшее Пищеслав вверх дном и вознесшее Егора Карловича Филюрина на головокружительную высоту.

Глава IV

ИСТОРИЯ ГОРОДА ПИЩЕСЛАВА

Сказать правду, Пищеслав был городом ужасным. Больше того. Свежий человек, попав в него, подумал бы, что это город фантастический. Никак свежий человек не смог бы себе представить, что все увиденное им происходит наяву, а не во сне, странном и утомительном.

Еще недавно Пищеслав носил короткое, незначащее название — Кукуев. Переименование города было вызвано экстраординарным изобретением Бабского. Неутомимый мыслитель изобрел машинку для изготовления пельменей.

Продукция машинки была неслыханная — три миллиона пельменей в час, причем конструкция ее была такова, что она могла работать только в полную силу.

Машинку изобретатель назвал «скоропищ» Бабского.

В порыве восторга Бабскому оказали честь, переименовав Кукуев в Пищеслав. Раскрылись обаятельные, отливающие молочным цветом червонцев, перспективы. Предвиделся расцвет пельменной промышленности в городе, бывшем доселе только административным центром.

В первый же день два «скоропища», работая в три смены, изготовили сто сорок четыре миллиона пельменей. На другой — работа прекратилась, потому что запасы муки и мяса истощились. Штабеля пельменей лежали на улицах Пищеслава, но, к удивлению акционерного общества «Пельменсбыт», образовавшегося для эксплуатации изобретения Бабского, спрос на пельмени, при всей их дешевизне, не превысил пяти тысяч штук.

Перевозить пельмени в другие города на продажу было невозможно из-за жаркого летнего времени.

Пельмени стали разлагаться. Запах гниющего фарша душил город.

Начался переполох. Обнаружился существенный недостаток изобретения Бабского. «Скоропищ» нельзя было приручить и приспособить к скромным потребностям населения. Оказалось, что меньше трех миллионов пельменей в час машинка выпускать не может.

Добровольные дружины в ударном порядке вывозили скисший продукт за город, на свалку.

Когда обратились за разъяснением к Бабскому, он, конструировавший уже станок для массового изготовления лучин, ворчливо ответил:

— Не морочьте мне голову! Если «скоропищ» усовершенствовать, то усилить продукцию до пяти миллионов в час возможно. А меньше трех миллионов, прошу убедиться, нельзя.

Тогда Бабского посадили на полгода в тюрьму, но уже через неделю городской изобретатель стал произносить неопределенные угрозы, говорил про какой-то антитюремный эликсир, и его выпустили.

Возвратить городу прежнее имя было совестно.

Так он и остался Пищеславом.

С какой бы стороны ни подъезжал к Пищеславу путник, взору его представлялось огромное здание, привлекательно и заманчиво высившееся над всем городом. Это был объединенный центральный клуб — здание, по величине своей немногим только меньшее, чем московский Большой оперный театр.

Клуб помещался в лучшей части города — между шоколадным особняком РКИ и бело-розовым ампирным зданием уголовного розыска.

Клуб был построен очень прочно, добротно и отличался невиданной еще в Пищеславе красотой всех своих четырех фасадов. Но не было в нем ни концертов, ни лекций, ни театральных представлений, ни шахматных игр, ни кружковой работы. Огромное здание, бросавшее тень на добрую половину Пищеслава, совершенно не посещалось гражданами.

Изредка только из колоссального здания клуба выходил человек в толстовочке — комендант — и, жмурясь от солнца, плелся в клуб уголовного розыска поиграть в шашки и на полчасика приобщиться к культурной жизни.

Что же случилось? Почему ни одна душа не посещала клуба? Почему никто не играл там в политфанты и профлото, почему не было увлекательнейших вечеров вопросов и ответов? Почему всего этого не было, хотя здание нравилось всем без исключения пищеславцам?

При постройке здания строителями была допущена ошибка. Мы должны открыть всю правду.

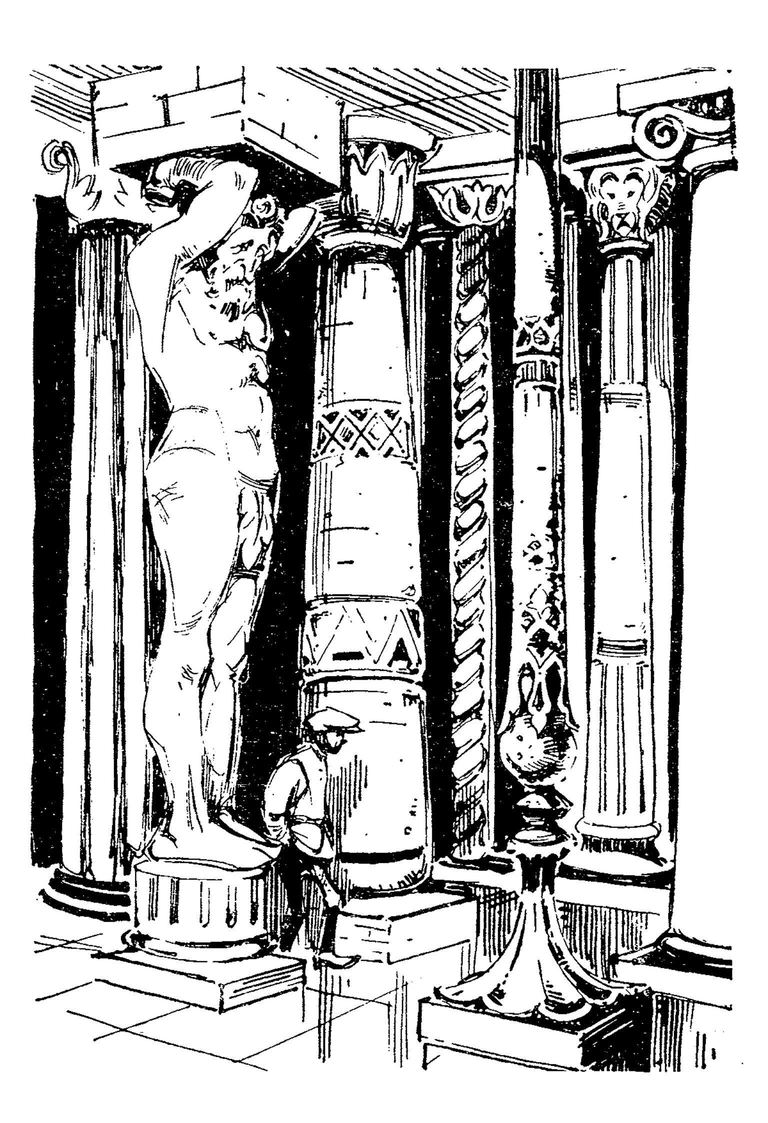
В здании была только одна маленькая, совсем темная комнатка, площадью в семь квадратных метров. Вся остальная неизмеримая площадь была занята большими и малыми колоннами всех ордеров — дорического, ионического и коринфского.

Колоннады аспидного цвета пересекали здание вдоль и поперек, окружали его со всех сторон каким-то удивительным частоколом. Внутри здания тоже были только колонны. И в этом колоннадном лесу чахнул от безлюдья комендант в толстовочке. Пищеславцы, боясь заблудиться в колоннах и не находя комнат, в которых можно было бы послушать лекцию, предпочитали любоваться диковинным клубом извне.

В клубе не было даже уборной. Комендант, кляня архитекторов и стукаясь лбом о колонны, за каждой малостью бежал во двор РКИ. Впрочем, не все были такими щепетильными, как комендант. Колоннады, портики и перистили быстро загрязнились, и запах, схожий с запахом сыра-бакштейн, изливался сквозь колонны на площадь.

Никто не решался первым сознаться в том, что в новом клубе слишком много архитектурных украшений и совсем нет полезной площади. Клубом продолжали гордиться. И каждые похороны (пищеславцы их очень любили и праздновали с особенным умением и пышностью) неизменно останавливались у гранитной паперти объединенного клуба, где отслуживалась гражданская панихида.

Промышленности в городе не было никакой, да и не могло быть, потому что пищеславские недра не таили в себе ни руд, ни минералов. По географическому положению, Пищеслав, стоявший на несудоходной реке Тихоструйке и отдаленный на сорок пять



верст от вокзала, никакой промышленности иметь и не мог.

Тем не менее пищеславцы отправили в центр ходоков с просьбой разрешить им пустить в ход потухший пятьдесят лет тому назад завод, который во время крымской кампании производил для нужд армии трубы и барабаны. Центр в средствах отказал.

Тогда пищеславцы, выкроив из чахлого бюджета полтораста тысяч рублей, взялись за дело сами. Через два года напряженной работы завод был восстановлен, и его толстая башенная труба с зубцами зачадила.

Кооперативные прилавки не смогли вместить всей заводской продукции. Пришлось предоставить кредиты на постройку двух универсальных магазинов, предназначенных исключительно для продажи труб и барабанов.

Неизвестно почему, но трубы и барабаны пользовались у потребителей большим успехом.

Комплекты труб и барабанов появились в каждой семье. Выспавшиеся после обеда граждане с увлечением били в барабаны.

Но вскоре эта музыка приелась. Пошли новые культурные веяния. В местной газете «Пищеславский Пахарь» поднялась дискуссия по поводу того, можно ли внедрить в служилую массу классическую музыку с помощью граммофона.

Для популяризации этой идеи в городском театре состоялся конкурс на лучшего граммофониста. Первым призом был объявлен почти новый патефон с восемью пластинками фирмы «Пишущий Амур». Вторым призом явилась живая, яйценосная курица Минорка, а в третий приз давался сборник статей по ирригации Кара-Кумской пустыни.

Конкурс мог похвастаться успехом. Множество людей притащилось в театр с разноцветными рупорами, пластинками и шкатулками. Конкурс, открывшийся большим докладом, продолжался три дня. Три дня со сцены городского театра, где состязались граммофоны, несся щенячий визг и хохот. Как-то так случилось, что почти все пластинки были напеты музыкаль-

ными клоунами Бим-Бом. Это очень веселило публику, но комиссия, не признав за этими произведениями общественного значения, присудила:

первый приз — сыну безлошадного крестьянина, Окоемову, за мастерское исполнение музыкальной картины «Мельница в лесу» с подражанием кукушке и мельничным стукам, под управлением капельмейстера Модлинского пехотного полка Черняка;

второй приз — сыну бедного фельдшера Гордиеву, прекрасно исполнившему марш Буланже на тубофоне в сопровождении оркестра акц. о-ва «Граммофон»;

третий приз — сыну мелкого служащего Иоаннопольскому, за пластинку «Дитя, не тянися весною за розой, розу и летом сорвешь», напетую любимцем публики, популярным исполнителем оригинальных романсов Сабининым под собственный аккомпанемент на рояле.

Трудно поверить в существование такого города, как Пищеслав, но он все-таки существовал и отмахнуться от этого было невозможно.

Вокруг города цвели травы, возделывались поля, ветер гулял в рощах, а в самом городе даже растительность была дикая.

В городе часто случались скандальные происшествия.

В слободской больнице служащему трампарка Господову при операции брюшной полости по ошибке зашили в живот больничный будильник, заведенный двухмесячным заводом на пять часов утра. Скандал начался с увольнения сиделки, обвиненной в краже будильника. Затем поступило заявление больного Господова о том, что в животе его слышится противный звон.

Сиделку реабилитировали, но извлечь будильник из живота Господова побоялись. Новая операция угрожала бы его жизни. Через неделю Господов выписался из больницы и вскоре подал в суд. А жаловался обиженный Господов на то, что будильник звонит не вовремя.

— Пусть себе сидит в животе. Я ничего не имею. Но пусть не звонит в пять часов утра, когда мне на

работу идти только в восемь. Мне ж спать невозможно.

Инцидент закончился мирно. Судопроизводство еще и не начиналось, когда истец взял свое заявление обратно. Завод будильника иссяк, и Господов в простоте душевной полагал, что дальнейшие претензии будут неосновательны.

Происшествию с Господовым «Пищеславский Пахарь» не мог уделить много места, потому что четыре его скромные полосы заняты были полемическими письмами в редакцию двух враждовавших между собою литературных групп — крестьянской группы «Чересседельник» и городской — ПАКС (Пищеславская ассоциация культурных строителей).

«Многоуважаемый товарищ редактор! — писал «Чересседельник»,— не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты нижеследующее:

«Литературная группа «Чересседельник», закончив организационный период, с 1 июля приступает к творческой работе. Этой работе мешают демагогические выступления беспочвенных политиканов, давно исключенных из «Чересседельника» за склочничество и ныне выступающих под флагом литгруппы ПАКС»...

Далее шли печальные сообщения о склочниках из ПАКСа. Подписи под письмом занимали два столбца.

Рядом неизменно бывало заверстано длиннейшее письмо ПАКСа, подписи под которым были так многочисленны, что конец их терялся где-то в отделе объявлений.

«Многоуважаемый товарищ редактор! — писала ПАКС.— Не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты нижеследующее:

«Литературная группа ПАКС, закончив организационный период, с двенадцати часов завтрашнего дня приступает к творческой работе. Этой работе мешают демагогические выступления оголтелой кучки зарвавшихся политиканов, давно выжженных из ПАКСа каленым железом, а ныне приютившихся под крылышком мелкобуржуазной литгруппы «Чересседельник»...»

Письма с каждым днем становились все длиннее и нудней, а плодов творческой работы все не было видно.

Так текла жизнь города, вплоть до того знаменательного вечера, когда невидимый регистратор в тоске забрел в центральный объединенный клуб.

Углубившись в проход между колоннами, Прозрачный с большим трудом нашел единственную клубную комнату, где жил сам комендант. Несмотря на маленькую свою площадь, комната была высока, как шахта. Потолок ее скрывался во мраке, рассеять который была бессильна маленькая керосиновая лампа, висевшая на крючке у столика.

Отвести душу было не с кем. Комендант ушел ночевать к знакомым, а может быть, и просто сбежал, затосковав по обществу. В комнате, кроме стола, стояли козлы с нечистым матрацем и большой фанерный щит на подпорках, с надписью «Календарь клубных занятий». В углу лежала груда газетных комплектов в огромных рыжих переплетах.

На дворе стоял июль, а в объединенном клубе было холодно, как в винном погребе.

Прозрачный протяжно выбранился. Если бы он умел говорить умные слова, то побежал бы на площадь, созвал бы побольше народу и поведал бы ему, как тяжело жить бестелесному человеку, который не может придумать ничего такого, что оправдало бы его необычное существование. Но говорить красиво и удивительно он не умел.

Прозрачный рассеянно направился в угол, вытащил оттуда газетную книжищу и нехотя углубился в чтение. Не читал он с тех пор, как кончил городское училище. Это было давно, очень давно.

Ощущения читающего человека были ему чужды. Поэтому чтение произвело на Прозрачного такое же впечатление, какое испытывает курильщик, затянувшийся папиросой после трехдневного перерыва. Прозрачному попалась московская газета.

«Первый Госцирк! — прочел Филюрин вслух.— Последние пять дней. Укрощение двенадцати диких львов на арене под управлением Зайлер Жансо».

Прозрачный стал думать о львах. Потом от объявлений он перешел к более трудным вещам — к котировке фондового отдела при московской товарной бирже. Но это было слишком мудрено, не под силу. Филюрин бросил котировку и перекочевал в отдел суда. Ему попалось на глаза простое алиментное дело, которое для настоящего любителя суда не представляет ни малейшего интереса. Невидимый, однако же, прочел его с необыкновенным волнением.

— Ну и люди теперь пошли! — воскликнул Прозрачный, впервые постигая возможность критики отношений между мужчиной и женщиной.

Он прочел еще несколько судебных отчетов и с удивлением убедился в том, что в стране существует по крайней мере пятнадцать отпетых негодяев.

— Ни стыда, ни совести у людей нет,— шептал Прозрачный, переворачивая большие листы.

С каждым новым номером газеты количество негодяев увеличивалось. Через два часа Прозрачный решил выйти на площадь, чтобы собраться с возникшими при чтении мыслями.

— Действительно,— бормотал он, проплывая между колоннами,— безобразия творятся.

Самые дерзкие параллели возникали в мыслях Прозрачного. Вспоминая последнее прочитанное дело о бюрократизме фруктработников, он пришел к страшному выводу, который не осмелился бы сделать даже вчера. «Каин Александрович,— думал он,— тоже, как видно, бюрократ и бездушный формалист».

Думая таким образом, он мчался вперед. Колонны мелькали. Им не было конца. Они вырастали чем дальше, тем гуще. Выхода не было. Прозрачный заблудился в колонном бору, воздвигнутом усилиями пищеславских строителей.

Это происшествие придало мыслям Филюрина новый жар.

— Тоже построили! — закричал он в негодовании.— Входа-выхода нет. Под суд таких!

И громкое эхо, похожее на крик целой роты, здоровающейся с командиром, вырвалось из-под портиков и колоннад:

— Под суд!

Проплутав еще некоторое время, Прозрачный очень обрадовался, попав обратно в комнату коменданта, и снова принялся за чтение.

Лампочка посылала бледно-желтый слабый свет на гранитную облицовку стен. Газетные листы сами собою переворачивались. Комплекты с шумом летели в угол и снова выскакивали оттуда.

В пустой комнате раздавались отрывочные восклицания:

— Нет! Это никак невозможно! Уволить женщину на восьмом месяце беременности! А Канн в прошлом году такую самую штуку проделал! Ну и дела!

Глава V

ЮБИЛЕЙНАЯ РЕЧЬ

В эту ночь Евсей Львович Иоаннопольский спал и видел во сне семь управделами тучных и семь управделами тощих.

Сон оказался в руку.

Когда Евсей явился утром на службу, ему сообщили, что семь дней местком боролся за него удачно, а последующие семь дней — неудачно и что примкамера, подавленная красноречием Доброгласова, решила дело в пользу администрации.

— Но ведь я же все-таки в ПУМе не служил! — закричал Евсей Львович, скорбно оглядев сотоварищей по отделу.— Все же знают! Я на этого самодура буду жаловаться в суд!

Свободомыслие бухгалтера не встретило поддержки.

Евсей Львович понял, что дело гораздо серьезнее, чем он предполагал, вынул из конторки собственную чайную ложечку и спросил:

— Кто же сядет на главную книгу?

— Назначили Авеля Александровича,— ответил Пташников,— он уже утвержден.

— Конечно,— сказал Иоаннопольский.

Он чувствовал, что ему нечего терять, кроме собственных цепей.

— Протекционизм! Брата назначил! Сыновья давно служат! А я? Я, конечно, остался с пиковым носом.

Иоаннопольский печальным аллюром двинулся к Пташникову. Учрежденский знахарь сделал вид, что поглощен работой.

— Я сделал анализ,— сказал Иоаннопольский.

Пташников, к удивлению бухгалтера, ничего не ответил.

— Я уже сделал анализ,— глухо повторил Евсей Львович.

— У вас достаточное количество красных кровяных шариков,— с неудовольствием произнес знахарь,— и, знаете, неудобно как-то в служебное время...

— Может быть, мне действительно посоветоваться с профессором Невструевым? — лепетал Евсей, пытаясь вдохнуть жизнь в трусливую душу Пташникова.

Но в это время из кабинета раздался голос Каина Александровича, и знахарь испуганно зашикал на Иоаннопольского.

— Вы хотите, чтобы меня тоже выкинули? — сказал он, глядя на бухгалтера молящими глазами.

Тут Евсей Львович понял, что он уже чужой. Он в раздумье постоял посредине комнаты и подошел к столу Филюрина.

Ручка и книга регистрации земельных участков в пестром переплете недвижимо лежали на столе. Кто знает, где в это время был Филюрин? Может быть, он отдыхал, равнодушно озирая лепной потолок; может быть, гулял по коридору или стоял за спиной Евсея Львовича, иронически усмехаясь.

— Вы слышали, Филюрин? Меня Каин все-таки уволил.

Ответа не последовало.

— Вы здесь, Егор Карлович?

Но молчание не прерывалось, и книга по-прежнему оставалась закрытой.

Иоаннопольский повернулся и спросил, ни к кому не обращаясь:

— Что, Филюрин еще не приходил?

— Не приходил,— ответила Лидия Федоровна.— Смотрю, ручка не подымается.

— Может быть, он заболел? — живо отозвался Пташников.

— А разве невидимые болеют?

— Все может быть. Теперь такая дизентерия пошла.

— Но ведь он же ничего не ест!

— Тогда, может быть, на нервной почве? — ядовито сказал Евсей Львович.

— Какие там нервы! У человека тела нет, а вы толкуете про нервы.

Разгорелся спор, блестяще разрешенный Пташниковым. В пространном резюме, в котором не раз упоминался ленинградский дядя-терапевт и последние открытия в области лечения простоквашей,—учрежденский знахарь пришел к несомненному выводу, что невидимый болеть все-таки не может.

Поэтому решили послать за Филюриным курьера Юсюпова. Евсей Львович взялся сопровождать курьера.

С полуденного неба лился белый горячий свет. В витринах оптического магазина акционерного общества со смешанным капиталом Тригер и Брак, на ступенчатой подставке, покрытой красным сатином, стояли ряды отрубленных восковых голов. На носу каждой головы сидели очки и пенсне разных размеров и форм. Все выставленные барометры показывали бурю.

Мальчики лакомились сахарным мороженым, поедая его костяными ложечками из синих граненых рюмок.

На базарной площади вопили поросята в мешках и гуси в корзинках, зашитые рогожей по самые шеи. Летала солома.

Большие мухи в зеленых бальных нарядах с пропеллерным гудением падали в корзины с черной

гниющей черешней, сталкивались в воздухе и совершали небольшие марьяжные путешествия.

Всю дорогу Евсей Львович клеймил Юсюпова за то, что РКК оказалась не на высоте. Юсюпов со всем соглашался и советовал обратиться прямо в суд.

Разговаривая таким образом и руководствуясь звуками «о», доносившимися из окна первого этажа, они быстро нашли квартиру мадам Безлюдной.

Златозубая хозяйка пожала плечами и ввела гостей в комнату Филюрина. Там все трое долго и громко звали Прозрачного. Ответа не было.

— Куда же он, однако, девался, мадам? — спросил Евсей Львович удивленно.

— Понятия не имею,— ответила мадам, выставив золотой пояс зубов.— Как вчера утром ушел на службу, так и не приходил. Беда с таким квартирантом. Вы знаете, я до сих пор не привыкла. Кроме того, он не платит мне за квартиру.

— А вы, извините, мадам, кажется, в положении? — неожиданно молвил Иоаннопольский.— Где служит ваш муж?

Мадам Безлюдная ничего не ответила. Она была разведена уже три года назад, а в выборе отца предполагаемого ребенка все еще колебалась.

— В таком случае до свиданья,— сказал Евсей Львович, вежливо наклонив плешивую голову.

Бросив Юсюпова на полдороге, Иоаннопольский помчался в отдел благоустройства, возбуждаясь на ходу все больше и больше, и под напором интересных мыслей делая крутые виражи на углах пышущих жаром пище-

славских магистралей. Сама лошадь Пржевальского, по проспекту которой проносился Евсей, была бы удивлена такой резвостью.

— Уже! — завизжал Иоаннопольский, влетая в каминную комнату.

Он был так возбужден, поднял в отделе такой ветер, что листы месячного календаря «Циклоп» взвились, открыв свой последний декабрьский лист, испещренный красными праздничными цифрами.

— Что, уже? — зашептали сотрудники.

— Уже! — повторил Иоаннопольский, обтирая цветным платком нежную персиковую лысину.

— Да говорите же, Евсей Львович,— взмолились сотрудники,— что уже?

Евсей внезапно замолчал, сел на подоконник, предварительно сняв с него железный, похожий на крыло пролетки, футляр «ремингтона», и медленно стал выпускать горячий воздух, захваченный в легкие во время финиша по проспекту имени Лошади Пржевальского. При этой операции опавший было «Циклоп» снова зашелестел на стене, и на голове Лидии Федоровны поднялись все ее считанные волосы. Отдышавшись, Иоаннопольский полез в задний карман за папиросами и сказал:

— Уже исчез.

— Филюрин исчез?

— Да, товарищи, Филюрин исчез. Со вчерашнего дня он не приходил домой.

— Теперь,— сказал Пташников, — Каин Александрович его выкинет.

— Вы в этом уверены? — презрительно спросил Евсей.

— Уверен. А вы что думаете?

— Кому в этом месте интересно знать, что думает Евсей Иоаннопольский?

— Ну что за шутки такие! — закричал Костя.— Говорите, товарищ Иоаннопольский, просят же вас.

— Так вы думаете, что Каин Александрович уволит Филюрина?

— Да. Ведь вы же, Иоаннопольский, сами знаете, что это за человек.

— А что вы запоете, если Филюрин уволит вашего Каина Александровича?

За столами водворилась мертвящая тишина. Не в силах удержаться на внезапно ослабевших ногах, Пташников опустился на стул.

— Да, граждане, и это может произойти очень скоро.

— Откуда вы взяли? Это фантазия!

— А невидимый человек, это не фантазия? — возопил Евсей.— А когда невидимый человек исчезает, то это, по-вашему, что, фантазия или не фантазия?

— В чем же дело? — загомонили служащие.

— Дело в том, что где, по-ва̀шему, сейчас Филюрин?

— Откуда же нам это знать?

— Я этого тоже не знаю. Но, товарищи, кто может поручиться, что он не между нами и не слушает всего, что мы сейчас говорим?

Протяжный стон пронесся по отделу благоустройства. Иоаннопольский засмеялся.

Лицо Пташникова покрылось фиолетовыми звездами и полосами.

— А я еще,— сказал он, вздрагивая,— сегодня утром довольно громко ругал Каина. Наверное, Филюрин слышал и все ему расскажет.

— Да вы с ума сошли,— зашикал Евсей Львович,— что вы такое говорите? А если он сейчас сидит на этом футляре и слышит, как вы называете его доносчиком?

Тут с лица Пташникова слетели все краски. У Кости от удивления грудь выгнулась колесом и в продолжение всего разговора уже не разгибалась.

— Боже меня упаси,— сказал знахарь трагически,— я никогда не говорил, что он доносчик. Это вы сами сказали.

— Я не мог этого сказать,— возразил Иоаннопольский. И, обратившись почему-то лицом к совершенно пустому месту, прочувствованно произнес: — Я, который всегда считал Егора Карловича прекрасным товарищем и очень умным человеком с блестящей будущностью, я этого сказать не мог. Даже наоборот. Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что Егор Карлович симпатичнейшая личность.

— Кто же в этом сомневался! — сказала Лидия Федоровна.— Я редко встречала такого милого человека.

— Милого? Что милого! — подлизывался Евсей.— Если вы хотите знать, такого человека, как товарищ Филюрин, во всем свете нет.

Говоря так, Иоаннопольский наслаждался несчастным видом знахаря. Но знахарь оказался не таким дураком, как это могло показаться по внешнему его виду. Он подошел к столу Филюрина и, ласкательно глядя на книгу регистрации земельных участков, произнес большую, почти что юбилейную речь. Тут было всё: и «стояние на посту», и «высоко держа», и «счастие совместной работы», и «блестящая инициатива, так способствовавшая». Казалось, что Пташников вытащит сейчас из-под пиджака хромовый портфель, с серебряной визитной карточкой, с загнутым углом и каллиграфической гравировкой: «Старшему товарищу и бессменному руководителю в день трехлетнего юбилея».

Когда речь окончилась и служащие почувствовали, что Прозрачный уже достаточно задобрен, они снова подступили к Евсею Львовичу. Случилось как-то так, что Евсей Львович оказался чем-то вроде поверенного Филюрина. Ему задавали вопросы, и он отвечал на них с большим весом.

По мнению Евсея Львовича, Прозрачный, пользуясь неограниченными своими возможностями, уже занялся высокополезной общественной деятельностью и, конечно, будет ее продолжать. Будучи особенно

хорошо знакомым со структурой совучреждений, невидимый, несомненно, будет бороться с извращениями аппарата.

— Уж я его характер хорошо знаю,— говорил Евсей Львович,— можете поверить мне на слово.

Поговорив в таком роде в отделе, Иоаннопольский лучезарно улыбнулся и отправился в местком. По дороге он останавливался, чтобы поговорить со знакомыми из других отделов Пищ-Ка-Ха. Тема была прежняя — исчезновение Прозрачного.

— Я просто так думаю,— говорил Евсей Львович, пожимая руки и раскланиваясь на все стороны,— что Прозрачный сделал это нарочно, чтобы узнать, кто чем дышит. Вы же понимаете, что если он захочет, то от него не может быть никаких тайн. Ей-богу, не хотел бы я быть сейчас на месте Доброгласова. Да и самому Доберману-Биберману может нагореть. Помните историю с подрядом на домовые фонари? А сколько есть дел, о которых мы ничего не знаем! Уж Прозрачному все известно. Будьте уверены! Ну, я пошел!

На знакомых слова Евсея производили совершенно разное впечатление. Одни удивленно ахали, от души веселясь и ожидая в самое ближайшее время больших сюрпризов. Другие грустнели и сразу становились неразговорчивыми.

— Вы слышали новость? — кричал Иоаннопольский, входя в местком.— Прозрачный наконец взялся за ум! Когда его спрашивают — не откликается!

— Ну, что из того? — спросил председатель месткома вяло.

Иоаннопольский, возмущенный индифферентностью профработника, даже подскочил на месте.

— Все два этажа с ума сходят, а он спрашивает меня, что из того! Из этого то, что для Прозрачного теперь секретов нет. Ну, вы, положим, рассказываете своей жене с глазу на глаз, что у вас небольшой недочет союзных денег. Вы думаете, что вы одни, что все, что вы говорите,— это тайна, а Прозрачный в это время спокойненько слушает все, что вы говорите, и вы об этом даже представления не имеете. На другой

день за вами приходят от прокурора с криком: «А подать сюда Гоголя-Моголя!»

Председатель, который действительно растратил тридцать рублей МОПРовских денег, ошалело посмотрел на Иоаннопольского. Растрату председатель собирался восполнить членскими взносами, собранными с друзей радио. Недочет же в средствах друзей порядка в эфире должны были покрыть средства Общества друзей советской чайной. А прореху в кассе почитателей кипятку предусмотрительный председатель предполагал залатать с помощью еще одного общества, над организацией которого ныне трудился. Это было общество «Руки прочь от пивной».

Заявление Евсея Львовича одним ударом перешибало стройную систему отношений между добровольными обществами, с такой любовью воздвигнутую председателем.

Продолжая дико глядеть на Иоаннопольского, председатель сказал нудным голосом:

— Этот вопрос нужно заострить.

Впрочем, по лицу Евсея он отлично видел, что вопрос и без того заострен до последней степени.

На Пищеслав надвигалась туча, сыплющая гром и молнию.

Глава VI

КАИН УВОЛИЛ АВЕЛЯ

С легкой руки Евсея Львовича Пищеслав переполнился слухами о новой деятельности Прозрачного.

И уже на следующее утро Каин Александрович вызвал в кабинет брата своего Авеля Александровича и долго топал на него ногами.

— Что с тобой, Каша? — удивленно спросил Авель Александрович, полулежа в кресле.

— Прошу мне не тыкать при исполнении служебных обязанностей! — завизжал Каин Александрович.

— Я тебя не понимаю. Этот тон...

— Встать! Воленс-неволенс, а я вас уволенс. Можете идти, товарищ Доброгласов. Без выходного пособия.

— Ты что, пьян? — грубо спросил Авель.

Тогда Доброгласов-старший, полагая вполне возможным присутствие в кабинете Прозрачного, счел необходимым высказать Доброгласову-младшему свои мысли о протекционизме.

— Я всегда проводил,— говорил он вздрагивающим голосом,— беспощадную борьбу с кумовством. Я опротестовываю однобокое решение примкамеры относительно всеми уважаемого управделами ПУМа товарища Иоаннопольского. Последний восстанавливается в должности, а вас, как принятого по протекции, я беспощадно снимаю с работы. Мы сидим здесь, товарищи, не для благоустройства родственников, а для благоустройства города. Вам здесь не место. Идите.

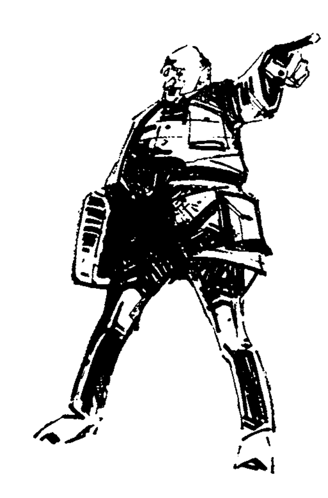
Авель Александрович, растерянно тряся головой, вышел из кабинета, сдал главную книгу подоспевшему Евсею Львовичу и покинул отдел благоустройства, не получив даже за проработанные два часа.

Иоаннопольский проводил поверженного в прах Авеля ласковым взглядом и удовлетворенно заметил:

— Прозрачный начинает действовать. Начало хорошее. Что-то еще будет!

При этих словах Пташников чуть не упал со стула. Глаза Лидии Федоровны заблистали от слез, а Костя выбежал из комнаты, выронив из кармана бутерброд, завернутый в пергаментную бумагу.

Между тем Каин Александрович в бурном приступе служебной деятельности работал над искоренением кумовства в отделе.



Сперва он написал в стенную газету «Рупор Благоустройства» заметку такого содержания:

НЕ ВСЕ ГЛАДКО

«С кумовством в нашем учреждении не все обстоит благополучно. Эта гнилая язва протекционизма не может быть больше терпима. Пора уже взять под прицел семейство Доброгласовых, свивших себе под сенью Пищ-Ка-Ха уютное гнездышко, без ведома самого тов. К. А. Доброгласова, который, как только узнал о поступлении в отдел благоустройства А. А. Доброгласова, немедленно такового снял с работы без выдачи двухнедельной компенсации, памятуя об экономии государственных средств. Пора также ликвидировать имеющихся в Пищ-Ка-Ха двух сыночков тов. Доброгласова, втершихся на службу, безусловно, без ведома уважаемого нами всеми за беспорочную и длительную службу Каина Александровича».

В этой заметке, в которой смертельно перепуганный Доброгласов ополчался на собственных своих сыновей, на плоть от плоти и кровь от крови, он недрогнувшей рукой поставил подпись: «Рабкор Ищи меня».

Прокравшись к стенгазете, которая висела в темном, посещаемом только котами, углу коридора, Каин Александрович приклеил заметку синдетиконом к запыленному картону.

Потом Доброгласов вернулся к себе и составил две бумаженции. В одной он доводил до сведения начальника Пищ-Ка-Ха о необходимости немедленного и строжайшего расследования по заметке «Не все гладко» рабкора «Ищи меня», помещенной в стенгазете «Рупор Благоустройства».

Отослав бумажку по назначению, Каин Александрович написал приказ о немедленном выявлении и увольнении из отдела благоустройства каких бы то ни было родственников. Приказ он собственноручно наклеил на дверях своего кабинета.

Через несколько минут оба Каиновича, подталкиваемые курьерами, уже спускались по учрежденской лестнице.

Евсей Иоаннопольский, наблюдавший из окна исход Каиновичей из Пищ-Ка-Ха, хотел поделиться своей радостью с Пташниковым, но, к великому его удивлению, знахарь стоял на коленях посреди комнаты.

— Что с вами? — закричал Евсей.

— Я родственник,— ответил Пташников.

— Чей?

— Ее.

И Пташников указал на Лидию Федоровну.

— Кем же она вам приходится?

— Женою.

— Но ведь Лидия Федоровна девица. Помнится, так и в анкете написано.

— Скрывали,— зарыдала Лидия Федоровна.— Жили на разных квартирах.

— Сколько же времени вы женаты?

— Двадцать лет. Пятый год скрываем.

— И дети есть?

— Есть. Мальчик один, вы его знаете.

— Какой мальчик?

— Костя. Вот он сидит. Первенец наш. Теперь здесь служит.

— В таком случае,— сказал Евсей Львович,— вас всех надо изжить. Мне вас, конечно, жалко. Вместе работали все-таки. Ну что скажет Прозрачный, если я стану из дружеских чувств потакать своим знакомым? Сами понимаете.

Нелегальное семейство, с такими усилиями скрывавшее свои нормальные человеческие отношения, семейство, жившее тремя домами и устраивавшее супружеские встречи в гостинице, семейство, оказавшееся на краю бездны,— молчало в неизмери-

мой печали. Пташниковы понимали величину и тяжесть своей вины. Они не просили и не ждали снисхождения.

— Знаете что,— сказал Евсей Львович,— такой важный вопрос без Прозрачного я решить не могу. Сидите пока. Если вы уйдете, некому будет работать. А потом,— как решит Прозрачный, так и будет.

Знахарь, жена его Лидия и сын их Костя не стали терять время попусту и с новым усердием принялись за работу.

Дверь кабинета растворилась, и на пороге ее появился Каин Александрович, лишь недавно приклеивший заметку в стенгазету. Обеими руками он держал бронзовую чернильницу «Лицом к деревне». По лицу начальника зайчиком бегала болезненная улыбка.

Он подошел к Косте, со вздохом поставил сторублевую ношу, а взамен ее взял пятикопеечную чернильницу-невыливайку.

Евсей засуетился.

— Ах, какая чернильница! — восторгался он.— Но зачем она Косте? Слушайте, Доброгласов, поставьте ее ко мне. Я ведь все-таки веду главную книгу.

— Пожалуйста, Евсей Львович, мне все равно. Мешает она, знаете ли. Да-а!

Каин Александрович прошелся по комнате и, беспокойно вылупив белые глаза, неожиданно заметил:

— А не кажется ли вам, товарищи, что охрана труда у нас хромает? С вентиляцией все благополучно? Ну, работайте, работайте, не буду вам мешать. Да, кстати... Егор Карлович еще не приходил? Нет его? Отлично. Посадите, Евсей Львович, кого-нибудь на регистрацию, посетители ждать не должны. Ведь не посетители для учреждения, а учреждение для посетителя.

Но посетителей в этот день не было, потому что пищеславские граждане занимались заметанием следов. Многие каялись в своих грехах публично.

Призрак, олицетворяющий предельную добродетель, носился по городу, вызывая самые удивительные события.

Чувство критики, дремавшее в сердцах граждан, проснулось.

На общем собрании членов союза Нарпит работа месткома была признана неудовлетворительной. На секретаря месткома, не знавшего такого случая за всю свою долголетнюю профсоюзную практику, это подействовало ужасающим образом.

Он, заготовивший уже хвалебную резолюцию, онемел на целых полчаса. А когда обрел дар речи, поднялся и заявил, что он, секретарь, в профработе ничего не смыслит, что деньги, ассигнованные на культработу, проиграл на лотерее в пользу беспризорных и что гендоговора никогда в своей жизни не прорабатывал, хотя таковой и должен обязательно прорабатываться на местах.

Свою сильную образную речь секретарь кончил пламенным призывом никогда больше в местком его не выбирать.

Экскурсия, посетившая музей благоустройства, вытащила оттуда трамвайный вагон № 2, снабженный мемориальной доской в честь тов. Обмишурина, и поставила его на рельсы. Трамвайный парк, получив музейное подкрепление, успешно справлялся с перевозками пассажиров.

У дверей прокуратуры и уголовного розыска вились длинные очереди кающихся. Зато очереди у кооперативных магазинов убывали в полном соответствии с очередями у дверей закона.

Две госпивные с зазорными названиями «Киевский Шик» и «Веселый Канарей» прекратили подачу пива и сосисок. Вместо этого подавались сидр с моченым горохом и пудинг из капусты.

«Пищеславский Пахарь» поместил сенсационное письмо секретаря литгруппы ПАКС тов. Пекаря:

«Многоуважаемый тов. редактор! Не откажите в любезности поместить на страницах вашей газеты нижеследующее: хотя организационный период литгруппы ПАКС давно закончился, но мы, несмотря на то что зарвавшиеся политиканы из «Чересседельника» нам уже не мешают, к творческой работе до сих пор не приступили и, вероятно, никогда не приступим.

Дело в том, что все мы слишком любим организационные периоды, чтобы менять их на трудные, кропотливые, требующие больших знаний и даже некоторых способностей занятия творчеством.

Что же касается единственного произведения, имеющегося в распоряжении нашей группы, якобы написанного мною романа «Асфальт», то ставлю вас в известность, что он полностью переписан мною с романа Гладкова «Цемент», почитать который дала мне московская знакомая, зубной техник, гражданка Меерович-Панченко.

Бейте меня, а также топчите меня ногами.

Секретарь литгруппы ПАКС Вавила Пекарь».

Исповедь «Чересседельника» была помещена чуть пониже.

Мелкие жулики каялись прямо на улицах сотнями. Вид у них был такой жалкий, что прохожие принимали их за нищих.

Скульптор Шац, чувствуя страшную вину перед обществом за изготовление гвардейского памятника Тимирязеву, прибежал в допр и, самовольно захватив первую свободную камеру, поселился в ней. От администрации он не требовал ничего, кроме черствого хлеба и сырой воды. Время свое он коротал, биясь головой о стены тюрьмы. Но это было ему запрещено, так как удары расшатывали тюремные стены.

Даже такой маленький человек, как госпапиросник с бывшей Соборной площади, и тот побоялся разоблачений Прозрачного и опустил на самого себя жалобу в горчичный ящик. Папиросник признавался в том, что из каждой спичечной коробки он вынимал по несколько спичек, из коих в течение некоторого времени составлялся спичечный фонд. Зажиленные таким образом спички папиросник открыто продавал, а вырученные от их продажи деньги обращал в свою личную пользу. Этим за пять лет работы он причинил Пищеславу убыток в сумме 2 рубля 16½ копеек.

На третий день после исчезновения Прозрачного у мадам Безлюдной родился сын. Но, несмотря на общую отныне для Пищеслава чистосердечность, мадам

не могла объявить, кто отец ребенка, так как и сама этого не знала.

Евсей Львович чувствовал себя полезным винтиком в новой городской машине и начал отвечать на поклоны Каина Александровича весьма небрежно. Доброгласов так испугался, что перестал ездить домой в автомобиле и стал скромно ходить пешком.

— Тем лучше,— сказал Иоаннопольский,— оставим автомобиль для Прозрачного. Он, вероятно, скоро освободится и захочет служить. Шуточное дело! Столько работы у человека! Вы видели, какую партию жуликов провели вчера с завода труб и барабанов? Это целая панама!

— А завод как же остался?

— Завод закрыли, законсервировали на вечные времена. Нужно же быть сумасшедшим, чтобы работать на таких допотопных станках. Каждая труба стоила чертову уйму денег. О барабанах я уже не говорю!

Пока Прозрачного не было, Евсей Львович пользовался автомобилем сам.

В течение одной недели город совершенно преобразился. Так падающий снопами ливень преображает городской пейзаж. Грязные горячие крыши, по которым на брюхах проползают коты, становятся прохладными и показывают настоящие свои цвета: зеленый, красный или светло-голубой. Деревья, омытые теплой водой, трясут листьями, сбрасывают наземь толстые дождевые капли. Вдоль тротуарных обочин несутся волнистые ручьи.

Все блестит и красуется. Город начинает новую жизнь. Из подворотен выходят спрятавшиеся от дождя прохожие, задирают головы в небо и, удовлетворенные его непорочной голубизной, с освеженными легкими разбегаются по своим делам.

В Пищеславе никто больше не смел воровать, сквернословить и пьянствовать. Последний из смертных — мелкая сошка Филюрин — стал совестью города.

Иной подымал руку, чтобы ударить жену, но, пораженный мыслью о Прозрачном, тянулся рукою за ненужным предметом.

«Ну его к черту! — думал он.— Может быть, стоит тут рядом и все видит. Опозорит ведь на всю жизнь. Всем расскажет».

На улицах и в общественных местах пищеславцы вели себя чинно, толкаясь, говорили «пардон» и даже, разъезжаясь со службы в трамвае, улыбались друг другу необыкновенно ласкательно.

Исчезли частники. Исчезли удивительнейшие фирмы: «Лапидус и Ганичкин», торговый дом «Карп и сын», подозрительные товарищества «Продкож», «Кожпром» и «Торгкож». Исчезли столовые без подачи крепких напитков под приятными глазу вывесками: «Верден», «Дарданеллы» и «Ливорно». Всех их вытеснили серебристые кооперативные вывески с гербом «Пищетреста» — французская булка, покоящаяся на большом зубчатом колесе.

Сам глава оптической фирмы «Тригер и Брак», известный проныра и тертый десятью прокурорами калач, гражданин Брак пришел в полнейшее отчаяние, чего с ним еще ни разу не случалось с 1920 года. Дела его шли плохо, а магазин собирались описать и продать с аукциона за долги. Единственным человеком, не заметившим происшедшей с Пищеславом метаморфозы, оставался Бабский. Он не покидал своей комнаты со дня визита к не-

му Филюрина. Длинное оранжевое пламя примуса взвивалось иногда к потолку, освещая заваленную мусором комнату. Городской изобретатель работал.

К концу преобразившей город недели мальчишка-пионер, проходивший мимо Центрального объединенного клуба, громогласно заявил, что клуб, как ему уже давно кажется, ни к черту не годится и что строили его пребольшие дураки. Вокруг мальчика собралась огромная толпа. Все в один голос заявили, что клуб действительно нехорош. Разгоряченная толпа направилась в отдел благоустройства и потребовала немедленной перестройки клуба.

В Пищ-Ка-Ха вняли голосу общественности и обещали приступить к выкорчевыванию лишних колонн. Внутренние большие и малые колонны предполагалось совершенно уничтожить и на освободившемся месте устроить обширные залы и комнаты для всех видов культработы.

В день открытия работ к зданию с четырех сторон подошли отряды строителей и углубились в колонный мрак. Толпы любопытных окружали клуб, с удовольствием прислушиваясь к строительным стукам.

Иоаннопольский и Доброгласов, с трудом прорезав толпу, подкатили на автомобиле к клубной паперти. Каин Александрович решил лично руководить работами по переделке здания. Евсея он взял с собой, потому что бухгалтер последнее время считал себя неразрывной частью автомобиля и не отрывался от него ни на минуту.

Уже из клуба начали выкатываться аккуратно распиленные на части колонны, как вдруг задним рядам напиравшей на клуб толпы показалось, что на ступеньке здания кто-то взмахнул шапкой. В передних рядах послышались восклицания.

— Что случилось? Что случилось? — пронеслось над толпой.

Еще не все знали в чем дело, а уже площадь содрогалась от мощных криков.

В дремучем лесу центральных объединенных колонн объявился Прозрачный.

Глава VII

«А Я ЗДЕСЬ!»

Плохо пришлось бы Прозрачному, если бы его невидимое тело требовало пищи. Но есть ему не надо было, и семь дней, проведенных в лабиринте Центрального объединенного клуба, пошли ему даже на пользу. Он научился скучать и читать, что человеку без тела совершенно необходимо.

Мучило его только то, что Доброгласов воспользуется прогулом и уволит его со службы.

В последний день своего пребывания под гостеприимной сенью клубных колонн Прозрачный томился, скучая по свету, по человечьим лицам и голосам. Он сделал последнюю попытку выбраться из лабиринта. Всюду встречали его вздвоенные ряды колонн, поставленных так часто, что дневной свет не проникал дальше третьего их наружного ряда.

Поэтому, заслышав первые удары лома по камню, Прозрачный стал призывать на помощь. Он бросился навстречу звукам, и скоро между колоннами забрезжил серенький свет.

— Ау! — кричал Прозрачный, словно собирал грибы в лесу.

Не получив ответа, невидимый закричал караул, и на этот крик, знакомый всем пищеславцам с детства, стеклись каменщики и десятники.

А уже через две минуты десятник рысью выбежал на воздух и первый сообщил толпе о том, что Прозрачный наконец нашелся, что он жив и здоров и что сейчас прибудет сам.

Перепрыгивая через поверженные колонны, Филюрин бросился за десятником. Он вынырнул на свет и увидел Евсея Львовича. За ним виднелось перепуганное лицо Каина Александровича. Дальше был океан шевелящихся голов, а еще дальше прямо по толпе скакал Тимирязев, и его чугунная полированная свекла сверкала на солнце.

— Покажите, где вы! — крикнул Иоаннопольский.— Граждане! Прозрачный среди нас. Покажите нам, где вы, Егор Карлович!

Прозрачный снял с головы десятника фуражку с молоточками и помахал ею в воздухе. Вид фуражки, которая сама по себе прыгала на расстоянии двух метров от земли, привел толпу в исступление.

Филюрин, не поняв, что приветственные крики относятся к нему, растерялся и возложил фуражку на голову ее владельца. Это вызвало еще больший энтузиазм.

Прозрачный заметил, что перед ним стоит сам Каин Александрович, отвешивая вежливые поклоны.

— Товарищ Доброгласов,— сказал регистратор,— верьте слову, я тут ни при чем...

— Как же ни при чем,— залебезил Каин Александрович, ориентируясь на голос Филюрина,— когда совершенно наоборот.

— Эти возмутительные колонны заставили меня...

— Нет, нет, колонн уже не будет. На этот счет не беспокойтесь.

— Значит, вы признаете, что у меня были уважительные причины для неявки на службу?

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь! Работа не пострадала. На вашем месте уже сидит другой.

— Как другой? — закричал Прозрачный.— Я буду жаловаться! Я до суда дойду!

Но тут Евсей Львович, быстро смекнувший, что Прозрачный ничего не знает о своем могуществе, оттолкнул Доброгласова локтем и крикнул в толпу:

— Пламенный привет товарищу Прозрачному от имени работников конторского учета!

— Даешь Прозрачного! — закричала толпа.

Филюрин не понимал ровным счетом ничего.

«Ну и дубина же этот Прозрачный,— подумал Иоаннопольский,— сделали бы меня невидимым, я им бы такое показал!»

И, обращаясь к Доброгласову, крикнул:

— Каин! Скажите, чтобы подавали машину! Товарищ Прозрачный устал от выявления недочетов и заедет ко мне отдохнуть.

— Может быть, товарищ Прозрачный заехал бы ко мне отдохнуть? Жена будет так рада! — пролепетал Доброгласов.

— Не говорите глупостей. Вы же одной ногой стоите на бирже труда! — зашипел Евсей Львович.— Хотели человека уволить за невидимость, а теперь обедать, обедать! Позовите поскорее машину!

— Разве я хотел его уволить? — смутился Каин Александрович.— Не помню, ей-богу.

— Ну хорошо, посмотрим еще, кто будет заведовать отделом благоустройства.

Доброгласов слегка застонал и с усердием курьера-новичка бросился выполнять поручение.

Но сесть в машину Иоаннопольский ему не разрешил.

— Вы и пешком дойдете,— сказал бесцеремонный Евсей,— вам близко. А у меня с товарищем Прозрачным предвидится секретный разговор. Вы здесь, Егор Карлович?

— Здесь,— раздался голос с кожаной стеганой подушки.

— Возьмите мою шляпу и помахайте толпе,— посоветовал бухгалтер,— она это любит.

Когда автомобиль под крики толпы выбрался с площади, Каин Александрович, задумчиво вертя в руках портфель, побрел домой.

— Снимают! — сказал он жене, сбросив пиджак и оттягивая вперед подтяжки табачного цвета.

— Я так и знала,— заявила жена,— после увольнения родных детей и брата я от тебя ничего путного уже и не жду.

— Ты просто дура! — устало сказал Доброгласов.

Он лег на красный плюшевый диван и уставился на цветную фотографию полуголой дамы, закинувшей руки на затылок. В углу фотографии было написано «Истома». И дамочка и подпись к ней были знакомы Доброгласову со дня женитьбы. Он созерцал фотографию, потому что так ему легче было обдумывать все обстоятельства несчастливо повернувшейся карьеры.

Жена, однако, не отставала.

— Каин! Почему ты уволил детей и Авеля? Ты этим буквально его убил!

— А ты хотела бы, чтобы Авель меня убил? Не

выгони я Авеля, этот дурак Прозрачный попер бы меня самого.

— Но тебя ведь все равно снимают.

Тут Доброгласов отвел глаза от фотографии и, видно, придя к какому-то решению, сказал:

— Ну, это еще бабушка надвое сказала!

— А ты получил отчисления от «Тригер и Брак» за поставку фонарей?

— Аннета, ты пошлячка! Ну, как я мог взимать отчисления, когда Прозрачный всюду совал свой нос?

— Чем же ты будешь кормить своих детей?

— Волноваться не нужно. Что-нибудь выдумаем. Знаешь, Аннета, пока Прозрачный сидит у этого негодяя управделами ПУМа, я схожу к Бракам и попробую получить у них отчисления за фонари.

Евсей Иоаннопольский окружил Прозрачного отеческими заботами. Сделать это было нетрудно, потому что ни в каких земных благах невидимый не нуждался.

После длительной беседы с бухгалтером Филюрин узнал обо всем, что произошло в городе за время его отсутствия.

— Они, Егор Карлович, теперь вас, как огня, боятся! — убеждал Евсей.— Какое счастье для города, что в нем живет и работает такой светлый ум. Мне даже страшно, что рядом со мною сидит такая личность.

— Из этого нужно сделать соответствующие оргвыводы, — сказал Филюрин по привычке, но, вспомнив, что тела у него нет по-прежнему, печально затих.

Однако Евсей Львович понял слова Прозрачного по-своему.

— Конечно, нужно сделать соответствующие оргвыводы. Это блестящая идея. Нужно уволить Каина.

— Кто же его уволит?

— Ну, какой вы, простите меня, добродушный и замечательный человек. Вы его уволите, вы!

— Регистратор не может уволить своего начальника.

— Простой регистратор не может, а вот прозрачный регистратор может. Вы все эти мелкие дела передайте мне. Я все устрою. Зачем вам пачкаться в чепухе? У вас теперь есть более важные дела.

— В самом деле, безобразия творятся! — сказал Прозрачный, припоминая прочитанные в клубном заточении отчеты.

На другой день Иоаннопольский без доклада вошел в кабинет Доброгласова и сухо сказал:

— Прозрачный говорит, что вам следовало бы написать заявление об увольнении. В случае отказа Прозрачному придется рассказать кое-кому о том, как вы сдавали подряд на домовые фонари.

Каин Александрович настрочил заявление, даже не пикнув.

Падение Доброгласова подняло акции Прозрачного еще выше. Слава его, прилежно раздуваемая Иоаннопольским, выросла до пределов возможного, и даже состоявшееся вскоре назначение Евсея Львовича на пост заведующего отделом благоустройства не смогло ее увеличить.

Высокопоставленный регистратор службу бросил и коротал свои бесконечные досуги в игре на мандолине, посещении цирка и прогулках по городу. Скучал он по-прежнему, и развлекала его только шутка, которой научил его Евсей Львович, имевший на то особые виды. Шутка заключалась в том, что Филюрин регулярно заходил во все учреждения Пищеслава, пробирался в кабинеты ответственных работников и неожиданно вскрикивал:

— А я здесь! А я здесь!

Это всегда давало сильный эффект и поддерживало за Прозрачным репутацию неусыпного контролера над всем происходящим в городе. Самого же Филюрина чрезвычайно потешали испуганные лица и нервные судороги, охватывавшие занятых деловой работой людей.

Гуляя, как Гарун-аль-Рашид, по городу, Прозрачный слышал много разговоров о себе. Его хвалили. Говорили, что с его помощью грозные некогда учреждения стали более доступными для посетителей, что работники прилавка на вопрос о крупе уже не отвечают — «вот еще, чего захотели», а нежно улыбаясь, отвешивают ее с пятиграммовым походом. Толковали о великой пользе, принесенной Прозрачным, и радовались тому, что Центральный объединенный клуб, обнесенный уже стенами, скоро станет отвечать культурным запросам пищеславцев.

И в те дни, когда Филюрин слышал о себе такие речи, «Осенний сон», исполняемый им на мандолине, звучал еще упоительней, чем обычно.

И скромный серенький регистратор начинал гордиться все больше и больше.

Чувство это, разжигаемое Евсеем, принимало значительные размеры.

Иоаннопольский, державшийся на посту заведующего отделом благоустройства только благодаря Прозрачному и сердечно ему за это признательный, прилагал все усилия к тому, чтобы сделать Филюрину приятное.

Для начала Евсей раздобыл для Прозрачного большую комнату в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского.

В этой комнате жил старик пенсионер Гадинг, кончины которого с нетерпением ждали все жильцы дома. На получение комнаты рассчитывали и соответственно этому строили планы на будущее: дворник, все жильцы от мала до велика и их иногородние родственники, а также управдом, его друзья и друзья его друзей.

Постегиваемый нетерпеливыми жильцами, старик Гадинг тихо скончался. Не успел еще гроб проплыть

на кладбище, как комната оказалась запечатанной восемнадцатью сургучными печатями. На них были оттиски медных пятаков, монограмм и просто пальцев. Это были следы жильцов. Кроме того, висели еще официальные фунтовые печати ПУНИ.

Ужасный поединок между жильцами и управдомом, друзьями управдома и родственниками жильцов, и всех их порознь с ПУНИ прервался неожиданным въездом в комнату, служившую предметом стольких вожделений, Филюрина. С этого времени у Прозрачного появились первые враги.

Эта услуга Евсея Львовича явилась первой.

За нею последовало угодничество более пышное и обширное. Старался уже не только Евсей Львович. Нашлось множество бескорыстных почитателей филюринского гения.

С большой помпой был отпразднован двухлетний юбилей служения Филюрина в отделе благоустройства. Торжественное заседание состоялось в помещении городского театра, и если бы не клопы, которые немилосердно кусали собравшихся, то все прошло бы совсем как в большом городе.

Клопы были бичом городского театра. Спектакли приходилось давать при полном освещении зрительного зала, потому что в темноте мерзкие твари могли бы съесть зрителя вместе с контрамаркой.

Зато банкет после заседания был великолепен.

Юбиляру поднесли прекрасную мандолину с инкрустацией из перламутра и черного дерева и сборник нот русских песен, записанных по цифровой системе. Приветственные речи были горячи, и ораторы щедро рассыпали сравнения. Прозрачного сравнивали с могучим дубом, с ценным сосудом, содержащим в себе кипучую энергию, и с паровозом, который бодро шагает к намеченной цели.

Под конец вечера юбиляр внял неотступным просьбам своих друзей и сыграл на новой мандолине все тот же вальс Джойса «Осенний сон». Никогда еще из-под медиатора не лились такие вдохновенные звуки.

«Пищеславский Пахарь» поместил на своих терпеливых столбцах длиннейшее письмо, в котором Прозрачный, помянув должное число раз многоуважаемого редактора и редактируемую им газету, благодарил всех, почтивших его в день двухлетнего юбилея. Письмо было составлено Иоаннопольским. Поэтому наибольшая часть благодарностей пала на его долю.

Иоаннопольского несло. Он вытребовал из допра поселившегося там скульптора Шаца.

— Шац,— сказал ему правая рука Прозрачного,— нужен новый памятник.

— Кому?

— Прозрачному!

— Нет,— ответил Шац,— я не могу больше делать памятников. Мне Тимирязев является по ночам, здоровается со мной за руку и говорит: «Шац, Шац, что вы со мной сделали?»

— Шац, Шац, памятник нужен,— продолжал Евсей,— и вы его сделаете.

— Это действительно так необходимо?

— Этого требует благоустройство города.

— Хорошо. Если благоустройство требует, я согласен. Но, предупреждаю вас, его не будет видно.

— Почему?

— Разве может быть видим памятник невидимому?

Иоаннопольский призадумался, поскребывая многодумную лысину.

— А все-таки вы представьте смету,— заключил он.

— Против сметы я не возражаю,— заметил скульптор,— ее видно. Однако должен вас предупредить, что памятник встанет вам не дешево. Вам бронзу или гипс?

— Бронзу! Обязательно бронзу!

— Хорошо. Все будет сделано.

В тот же вечер, когда произошел беспримерный разговор о постановке памятника невидимому человеку, из пищеславского допра по разгрузке вышел Петр Каллистратович Иванопольский — подлинный управделами ПУМа, известный авантюрист и мошенник.

Глава VIII

ХИЩНИК ВЫХОДИТ НА СВОБОДУ

Оставим на время невидимого, купающегося в лучах своей славы. Оставим граждан города Пищеслава, воздающих робкую хвалу Прозрачному. Оставим и Евсея Львовича, сидящего в кабинете Доброгласова и вычерчивающего красными чернилами многословные резолюции на деловых бумагах.

Обратимся к пружинам более тайным — к лицам, пребывающим теперь в ничтожестве, к людям, ропщущим и недовольным порядком вещей, возникшим в Пищеславе.

Выйдя за ворота допра, Петр Каллистратович Иванопольский очутился на Сенной площади и зажмурился от режущего солнечного света.

Так жмурится тигр, впервые выскочивший на песочную цирковую арену. Его слепит розовый прожекторный свет, раздражает шум и запах толпы. Пятясь назад, он шевелит жандармскими усищами и морщит морду. Ему очень хочется человечины, но он растерян и еще неясно понимает происходящее. Но дайте ему время. Он скоро свыкнется с новым положением, забегает по арене, обмахивая поджарый живот наэлектризованным своим хвостом, и перейдет к нападению — начнет угрожающе рычать и постарается зацепить лапой укротителя в традиционном костюме Буфалло Билля.

Пробежав под стенами домов до памятника Тимирязеву, Петр Иванопольский в удивлении остановился. Центральный объединенный клуб был окружен лесами. Из раскрытых ворот постройки цепью выезжали телеги, груженные толстыми колоннами.

Мимо Иванопольского прошел хороший его знакомый по давнишнему делу о дружеских векселях кредитного товарищества «Самопомощь».

— Алло! — крикнул Иванопольский.

Знакомый внимательно посмотрел в сторону Петра Каллистратовича, на секунду остановился, но, не ответив на поклон, важно проследовал дальше.

— Хамло! — сказал Петр Каллистратович довольно громко.

Затем он отправился в Пищетрест, чтобы повидаться с приятелем, с которым был связан узами взаимной протекции.

Приятель встретил Иванопольского без радости. Иванопольскому показалось даже, что его испугались. Тем не менее он немедленно приступил к делу.

— Ты, конечно, понимаешь, что мне до зарезу нужны деньги. Нужна служба.

— Вижу,— холодно сказал приятель.

— На первых порах я многого не требую. Рублей триста оклад и живое дело.

— Вы что, собственно, товарищ, хотите поступить к нам на службу?

— Ну, конечно же.

— Тогда подайте заявление в общем порядке. Впрочем, должен вас предупредить, что свободных вакансий у нас нет, а если бы и открылись, то все равно без биржи труда мы принять не можем.

Иванопольский сделал гримасу.

— Что ты, Аркадий! Это же бюрократизм. В общем порядке, биржа труда...

— Не мешайте мне работать, гражданин,— терпеливо сказал Аркадий.

Иванопольский в гневе повернулся, но, еще прежде чем он ушел, в кабинете раздался возглас:

— А я здесь!

Петр Каллистратович увидел, как перекосилась физиономия Аркадия. Потом по лицу Иванопольского пронесся ветерок, сама собой раскрылась дверь и в общей канцелярии послышалось то же восклицание:

— А я здесь! А я здесь!

Служащие вскакивали с мест и бледнели. Со столов сыпались пресс-папье.

Ничего решительно не поняв, Иванопольский плюнул, вышел на улицу и долго еще стоял перед фасадом Пищетреста, изумленно пяля глаза на его голубую вывеску с круглыми золотыми буквами.

«Что случилось? — думал бывший управделами.— Что за кислота такая в городе?»

Он толкнулся было в магазин фирмы «Лапидус и Ганичкин», но тут его ждала неожиданность. Железные шторы магазина были опущены. Первая стеклянная дверь была закрыта на ключ, а на второй двери Иванопольский увидел большую сургучную печать.

Петра Каллистратовича взяла оторопь.

И он стал бегать по городу, желая восстановить прежние связи и разыскать кончик нити того счастливого клубка, в сердцевине которого ему всегда удавалось найти прекрасную службу, возможность афер, командировочные, тантьемы, процентные вознаграждения,— словом, все то, что он для краткости называл живым делом.

Но все его попытки кончались провалом. Одни его не узнавали, другие были непонятно и возмутительно официальны, а третьих и вовсе не было — они сидели там, откуда Петр Каллистратович только сегодня вышел.

— Придется в другой город переезжать,— бормотал Иванопольский,— ну и дела!

А какие такие дела происходят в городе, он себе еще не уяснил.

— Побегу к Бракам! Если Браки пропали, тогда дело гиблое.

Делами общества со смешанным капиталом «Тригер и Брак» ворочал один Николай Самойлович Брак,

потому что Тригер запутался в валюте и давно был выслан в область, которая до приезда Тригера славилась только тем, что в ней находился полюс холода.

Дом Браков был приятнейшим в Пищеславе. Его усердно посещали молодые люди с подстриженными по-боксерски волосами, в аккуратных костюмах, продернутых шелковой ниткой, в шерстяных жилетах, туфлях мастичного цвета и мягких шляпах.

Именно здесь впервые в Пищеславе был станцован чарльстон и сыграна первая партия в пинг-понг. Семья Браков умела жить и веселиться по-заграничному. В передней с молодых людей горничная снимала пальто и брала на чай. После танцев проголодавшимся давали морс с печеньем, а браковские дочки развлекали их разговорами на зарубежные темы. Говорили преимущественно о разнице в ценах на вещи между Берлином и Пищеславом, клеймили монополию внешней торговли, из-за которой ходишь «голая, босая», и о новой заграничной моде — пудриться не пудрой, а тальком. Этому молодое поколение Браков придавало особо важное значение.

Заграничная жизнь в доме Николая Самойловича достигла своего апогея в тот вечер, когда глава семейства принес домой вязочку бананов.

Появление бананов в Пищеславе совпало с приездом в город выставки обезьян. Для поддержания жизни лучшего экспоната выставки — гориллы «Молли» — выставочная администрация выписывала бананы из-за границы. Горилла могла похвастаться тем, что, кроме нее, ни одна живая душа в Пищеславе не ест редкостных плодов.

Но семейство Брак в стремлении своем к настоящей жизни не знало никакого удержу. Николай Самойлович, баловавший дочерей, не мог отказать им ни в чем.

Выставочный сторож не устоял перед посулами Брака.

На чайном столе Браков закрасовались бананы. Они были, правда, вырваны из пасти гориллы, но зато

укрепили за семейством репутацию европейцев душою и телом.

Со времени исчезновения Филюрина дом Браков затих. Молодые люди перестали ходить, чарльстон прекратился, а здоровье гориллы заметно улучшилось — она получала теперь свою порцию бананов полностью.

Дела Брака пошатнулись. Оптический магазин был опечатан за неплатеж налогов. Знакомый фининспектор сознался в том, что был дружен с женою некоего налогоплательщика, за что его и сняли с работы. Государственные учреждения не давали больше выгодных подрядов.

Николай Самойлович ходил по квартире смутный и раздражительный.

— Если так будет продолжаться еще неделю,— кричал он,— я пропал!

В такую минуту пришел к нему Доброгласов.

— Ну, как насчет «пыщи»? — зло спросил его Брак.

«Пыщей» Николай Самойлович называл все, имеющее отношение к деньгам, карьере, поставкам и тому подобным приятным вещам. «Как насчет пыщи» значило: «Как вы зарабатываете? Нет ли какого-нибудь дельца? Что слышно в губсовнархозе? С кем вы теперь живете? Получена ли в губсоюзе мануфактура? Почем сегодня на черной бирже турецкие лиры?» Многое, почти все, обозначалось словом «пыща».

Каин Александрович отлично знал универсальность этого слова и грустно ответил:

— Плохо.

— Душат? — спросил Брак.

— Уже задушили,— ответил Каин Александрович.— С работы сняли. Того и гляди под суд попаду.

— За что?

— По вашему делу. Подряд на фонари.

— Значит, выходит, что и я могу попасть с вами?

— Вполне естественно.

— Позвольте, Каин Александрович, но ведь с моей стороны это была не взятка, а добровольные отчисления, благодарность за услуги, которые вы мне оказывали в сверхурочное время.

— Нет, Николай Самойлович, будем говорить откровенно. Прозрачный сидит сейчас у бухгалтеришки Евсея, которого я, дурак, своими руками взял на службу, и играет на мандолине. Как только игра прекратится, нам сообщат. Так что если подлец Евсей захочет подослать Филюрина сюда, мы будем вовремя предупреждены. Итак, поспешим. Вы — лиходатель, а я — взяткобратель, а никакая не благодарность. Для нас обоих существует одна статья. Поэтому нам надо спасать друг друга.

— Кто бы мог подумать, что из-за такого дурака, как Филюрин, вся жизнь перевернется. Вы знаете, Каин Александрович, еще неделя — и я уже не человек.

— Подождите, Николай Самойлович, не убивайтесь.

— Нет! Нет! Я уже чувствую! Брак погибнет, как погиб Тригер. И, сказать правду, Тригеру лучше там, чем Браку здесь. Магазин пустят с молотка, квартиру заберут, в учреждениях сидят какие-то тигры. И в довершение всего — могут посадить.

— Вы думаете, мне лучше? — с чувством сказал Каин Александрович.— Воленс-неволенс, а я должен кормить детей и брата Авеля, которых я сам уволил. Денег нет, и я не знаю, откуда они могут взяться.

— Нужно действовать. Нужно что-нибудь придумать. Неужели Прозрачного никак нельзя сковырнуть?

— Попробуйте сковырните! Вы знаете про его шутки в учреждениях?

— «А я здесь»?

— Ну, да. Так вот, попробуйте сковырните вы его, когда никто не знает, где он и что!

— Вот если бы он не был прозрачный...— задумчиво молвил Николай Самойлович.

— Чего еще захотели! Да я бы его тогда моментально выгнал со службы, да так, что местком и пискнуть не посмел бы!

— Тогда есть только одно средство! Сделать его снова видимым!

— Открыл Северную и Южную Америку! — с иронией произнес Доброгласов.— Не вы ли это забросите свои коммерческие дела и займетесь изобретенческими вопросами?

— Нет, не я.

— А кто?

— Тот, кто сделал его невидимым.

— Бабский!!

— Догадались наконец.

— Но ведь он совершенно сумасшедший.

— А самое существование Прозрачного — это не сумасшествие? А мы с вами не сумасшедшие, если живем в таком городе и до сих пор не издохли?!

Глаза Каина Александровича расширились. Надежда залила их зеркальным светом.

— Да! — закричал он.— Мы должны выявить Прозрачного, и мы его выявим!

Николай Самойлович поспешно переодевался. Он стянул свое брюхо замшевым поясом с автоматической застежкой. Заливаясь краской, застегнул ворот рубашки «лионез» и пошарил в карманах, бормоча:

— Да! Нужны деньги. О, эти деньги!..

— Их жалеть нечего,— сказал Доброгласов,— с лихвой окупим.

— Ну, с богом! Вы знаете, Каин Александрович, никогда в жизни я еще так не волновался.

И союзники поспешно двинулись на Косвенную улицу, прибавляя шагу по мере приближения к затхлому жилью изобретателя.

В начале Косвенной их поразили необычные крики. Навстречу им по мостовой двигалась странная процессия. Впереди всех, пританцовывая и взмахивая локтями, бежал совершенно голый, волосатый, грязно-голубой мужчина.

Нужно думать, что нагретые солнцем булыжники обжигали ему пятки, потому что голый беспрерывно подскакивал вершка на три от мостовой.

— Я невидимый! — кричал голый низким колеблющимся голосом.

Толпа отвечала смехом и улюлюканьем.

— Я невидимый! Я невидимый! — надсаживался человек.— Я перестал существовать!

— Кто это такой? — спросил Каин Александрович у мальчишки.— Что тут случилось?

Но никто не отвечал. Зрителям не хотелось терять на пустые разговоры ни одной минуты.

Голубой человек с грязными подтеками на спине делал уморительные прыжки. Толпа негодовала:

— Срам какой!

— Давно такого хулиганства не было!

— В милицию его!

— Я невидимый! — вопил голый.— Я стал прозрачным. Я, прошу убедиться, изобрел новую пасту «Невидим Бабского»!

— Бабский! — ахнул Доброгласов.— Мы пропали, Николай Самойлович. Видели, что делается? Окончательно спятил!

К месту происшествия уже катил в пролетке постовой милиционер.

— Держите его, граждане! — крикнул он.— Окажите содействие милиции.

— Вон! — орал Бабский.— Никто не может меня схватить. Меня не видно! Разве вы не ви-

дите, что меня не видно?! Ха-ха! «Невидим Бабского» сделал свое дело! Каково?

— Очень хорошо,— уговаривал милиционер, просовывая руки под голубые подмышки изобретателя,— не волнуйтесь, гражданин!

Толпа с гиканьем подсаживала Бабского в пролетку.

— Гениальные изобретения всегда просты! — кричал Бабский, валясь на спину извозчика.— «Невидим Бабского» — шедевр простоты — два грамма селитры, порошок аспирина и четверть фунта аквамариновой краски. Развести в дистилированной воде!..

Извозчик слушал, равнодушно отвернув лицо в сторону. Ему было все равно, кого возить — голых, пьяных, голубых или сумасшедших людей. Он жалел только, что не вовремя заснул и не успел ускакать от милиционера.

Бабский буйствовал. С помощью дворников и активистов из толпы Бабского удалось уложить поперек пролетки. Дворники уселись на спину изобретателя. Милиционер вскочил на подножку, и отяжелевший экипаж медленно поехал по Косвенной улице, и до самого поворота в Многолавочный переулок видны были толстые аквамариновые икры городского сумасшедшего.

Целый месяц Бабский искал утерянный секрет «веснулина» и кончил тем, что окончательно рехнулся, выкрасился и в полной уверенности, что стал прозрачным, выбежал на люди.

— Что ж теперь делать? — растерянно спросил Брак.

Каин Александрович топнул ногой, выбив каблуком из мостовой искру.

— Конечно! — сказал он.— Воленс-неволенс, а нужно искать других способов.

Опечаленные друзья, обмениваясь короткими фразами, повернули домой.

— Зайдем ко мне,— предложил Николай Самойлович,— посидим, пообедаете. Может, что-нибудь и придумаем. Вы знаете, Доброгласов, нам нужен чело-

век со свежими мозгами. Не знаю, как ваши, но мои уже превратились в битки.

— Да, Каин Александрович, нам нужен свежий, энергичный, без предрассудков и вполне свой человек. И этот человек...

Николай Самойлович растворил дверь кабинета и отступил:

— Вот!

В кабинете, развалясь на диване и покуривая хозяйскую папиросу, полулежал Петр Каллистратович Ивапольский.

Глава IX

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПАНЦИРЬ

Подлинный бывший управделами ПУМа Петр Каллистратович Иванопольский за время сидения в допре действительно сохранил свежесть мыслей, накопил много энергии и окончательно распростился со всеми предрассудками.

Знакомство его с Каином Александровичем носило сердечнейший характер. Доброгласов, тряся руку Иванопольского, блаженно улыбался и долго повторял:

— Как же, как же, отлично знаю! Управделами ПУМа! Очень, очень приятно! Но вы знаете, какой у вас есть ужасный однофамилец! Змея!

Когда Иванопольский узнал все пищеславские новости, ему стала понятна холодность друзей и плачевная участь, постигшая торговый дом «Лапидус и Ганичкин».

— Загорелся сыр божий,— сказал он.

Щеки его, покрытые до сих пор тюремной бледностью, порозовели.

— Как ваше мнение, Петр Каллистратович? — спросил Доброгласов, искательно глядя на собеседника.

Насторожился и Брак.

— Мое такое мнение,— объявил гость,— что Прозрачному нужно пришить дело.

Мысль, высказанная Иванопольским, была так значительна, что Доброгласов и хозяин дома несколько времени помолчали.

— Скажите,— вымолвил наконец Каин Александрович,— правильно ли я вас понял? Пришить дело?

— Это немыслимо! — вскричал Брак.

Рот его наполовину открылся, и оттуда глянули давно не чищенные от горя и тоски зубы. Но гость стоял на своем.

— Пришить дело. Безусловно.

— Позвольте, как же можно пришить дело невидимому человеку?

— Вам что, собственно говоря, нужно? Опорочить его?

— Да. Во что бы то ни стало убрать Прозрачного.

— Вот и убирайте. Я вам дал идею.

— Не шутите, Иванопольский! — закричал вдруг Брак.— Какое может быть дело?! Филюрин физически не существует.

— Вы правы, Николай Самойлович. Он физически не существует, но зато он существует юридически. Вы рассказывали, что Прозрачный имеет сбережения в сберкассе? Прекрасно. Это подтверждает мое мнение. У него есть комната? Даже новая комната, которую он получил уже в невидимом состоянии? Тем лучше. Все это доказывает, что Прозрачный — лицо юридическое. А я могу пришить любому юридическому лицу любое юридическое дело.

— Хорошо,— заволновался Доброгласов,— допустим, хотя я сильно сомневаюсь в том, что Прозрачный попадет под суд, но ведь это одна фикция. Он может просто не прийти на заседание суда!

— Если он сделает эту глупость, он погиб! — спокойно сказал Иванопольский.— Весь город будет знать, что Прозрачный испугался суда и, следовательно, виновен.

— А если явится?

— Ну, это уж зависит от того, какое дело мы против него поведем.

Собеседники еще раз попытались пробить юридический панцирь, облекающий физическое тело Петра Каллистратовича.

— Ладно. Его присуждают. Кто будет сидеть в тюрьме?

— Прозрачный, конечно!

— Так он вам и пойдет туда! А вдруг вместо тюрьмы он побежит, например, в цирк? Кто ему может помешать?

— Пусть идет куда угодно. Юридически он будет сидеть в тюрьме. И наконец зачем нам уголовное дело? Опозорить человека можно и гражданским делом. Наша задача — посадить его на скамью подсудимых и добиться обвинительного приговора. После этого карьера Прозрачного окончится. Поверьте слову!

Доброгласов и Брак были наконец побеждены. Они рассыпались в благодарностях.

— Я человек скромный,— сказал Иванопольский,— но одной юридической благодарности мне мало. Я хотел бы получить также физическую.

После долгого торга, который определил размеры вознаграждения Петра Каллистратовича и степень участия его в будущих благах, а также после получения им задаточной суммы на необходимые издержки, Иванопольский поднялся и сказал:

— Покамест я еще не могу сказать вам, какое именно обвинение мы предъявим Прозрачному, так как не знаком с его интимной жизнью. Тут уж мне придется бегать, а вам ждать и верить. У нас ведь, если говорить официально, товарищество на вере?

Узнав у компаньонов, где живет Прозрачный, и еще раз подтвердив, что дело можно пришить всякому,— была бы охота,— повеселевший Иванопольский ушел.

Несколько дней Петр Каллистратович колесил по городу, выискивая за Филюриным грехи, но прошлое регистратора было так же прозрачно, как и настоящее. За ним не было ничего: ни прогулов по службе, ни хулиганских выходок, ни какой-либо преступной страсти.

Некоторое утешение Иванопольский получил только в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского. Все обитатели дома, возмущенные тем, что ПУНИ отдало комнату Прозрачному, были настроены против своего нового соседа. Но из их рассказов Иванопольский не почерпнул необходимых ему данных. Невидимый жилец был тих и кроток и даже на мандолине играл по правилам — только до одиннадцати часов вечера.

Иванопольский понял, однако, что жильцы дома № 16 готовы лжесвидетельствовать против Прозрачного в любом деле, но так как самого дела еще не было, свидетели были пока не нужны и оставлены про запас.

На четвертый день обследования и собирания материалов Петр Каллистратович направился на старую квартиру Филюрина, надеясь хоть там напасть на какой-нибудь след.

Когда он подходил к дому мадам Безлюдной, у фасада стояло несколько зевак. Мастера прилаживали к стене дома мраморную доску с золотой готической надписью:

«Здесь жил Прозрачный в бытность его Егором Карловичем Филюриным».

Петр Каллистратович с ненавистью посмотрел на памятную доску и, поругиваясь, постучался в дверь мадам, из-за которой неслось пение Безлюдной и крики младенца.

Ничего не знавший о комплоте, организующемся против невидимого, Евсей Львович Иоаннопольский безмятежно правил отделом благоустройства. Сотрудники любили его, хотя Пташников, понимавший, какая пропасть ныне отделяет его от Евсея, уже не смел давать ему медицинских советов.

Иоаннопольский, робкий по природе, всю свою жизнь искал крепкое капитальное место, с которого его не могли бы в любой день снять и где он мог бы по-настоящему отдохнуть. Сейчас ему казалось, что такое место он нашел. Поэтому он старательно его

укреплял, делая все возможное для того, чтобы поддержать престиж своего покровителя. Устроив Прозрачному юбилей и польстив ему памятной доской на доме мадам Безлюдной, Евсей Львович спешил с разработкой проекта памятника другу и благодетелю.

Мысль эта казалась ему блестящей, и он гнал вовсю, опасаясь, что идея будет перехвачена завистниками и недругами.

Скульптор-управдом вместе с заведующим отделом благоустройства Пищ-Ка-Ха по многу часов подряд толковали о памятнике Невидимому и в конце концов убедились в том, что фигуру Прозрачного не удастся отлить ни из бронзы, ни из гипса, потому что не получится подлинной невидимости.

— Может быть, Евсей Львович, остановимся все же на бронзовом,— осторожно спросил скульптор, войдя в кабинет Иоаннопольского с большой папкой эскизов.

— Нет, нельзя,— ответил Евсей,— получится какая-то видимость, а это уже не то.

— Тогда, может быть, поставим товарищу Прозрачному колонну! — воскликнул Шац.

— Вроде Вандомской?

— Конечно! Дайте мне заказ, и я вам сделаю прекраснейшую колонну с барельефами и другими скульптурными украшениями.

— Это мысль. Кстати, у нас на дворе есть много свободных колонн от Центрального клуба.

— Тогда поставим несколько! Одну большую колонну, символизирующую невидимость, посредине, а по бокам — портики, для прогулки граждан.

— И сквер!

— И скамейки для тех, кто захочет посидеть и полюбоваться на памятник!

Новая идея очень увлекла Иоаннопольского. Он старательно укреплял свое положение.

Но не успел проект пройти все положенные инстанции, как произошло нечто совершенно непредвиденное.

Придя однажды на службу, Иоаннопольский заметил, что Пташников смотрит на него кроличьим взглядом.

— Что с вами? — пошутил Евсей Львович.— У вас очень нехороший вид. Может быть, у вас на нервной почве.

Пташников замялся.

— Или отравление уриной? — приставал начальник.

Пташников несмело улыбался. Но, как видно, дело было не на нервной почве. Через несколько минут учрежденский знахарь вошел в кабинет Иоаннопольского.

— Вы слышали новость, Евсей Львович? — спросил он, с опасением поглядывая на дверь.— Говорят, будто бы у товарища Прозрачного родилась дочь.

— Что за глупости!

— Честное слово, говорят.

— От кого?

— От бывшей его квартирной хозяйки.

— Какие глупости! — вскричал Иоаннопольский.

Но тут же вспомнил свой разговор с мадам Безлюдной в утро исчезновения Филюрина.

— Чепуха! — проговорил он менее уверенным тоном.

— Нет, нет! Говорят, совершенно точно!

— Ну, что ж из того? Ну, родился ребенок, но ведь это же его интимное дело!

— Да, но рассказывают подробности. Говорят, что он ее на седьмом месяце бросил и теперь даже знать не хочет!

Иоаннопольский сердито встал из-за стола и крикнул:

— Пташников! Вас надо изжить! Воленс-неволенс, а я вас уволенс за распространение порочащих слухов.

— При чем тут я? — оправдывался знахарь.— Я хотел вас предупредить. Вы знаете, что весь город со вчерашнего вечера только об этом и говорит. Я удивляюсь, как товарищ Прозрачный этого не знает.

— Молчите, Пташников! У вас слишком длинный язык!

Но Пташникова уже нельзя было остановить. Прижимая руки к груди и наклоняясь над чернильницей «Лицом к деревне», которая перекочевала в кабинет

заведующего, он сообщал новости одна другой ужасней.

— Квартирохозяйка подала в суд!

— Чего же она хочет?

— Алиментов. Много алиментов. Удивляюсь вам, Евсей Львович, весь город знает. Люди возмущены.

— Как? Кто смеет возмущаться?

— Многие! Некоторые, правда, не верят, чтобы Прозрачный мог бросить несчастную больную женщину с ребенком на руках!

— Это ложь! — завопил Евсей.— Они этого не докажут!

— А между прочим, говорят, что бедная женщина голодает, в то время как Прозрачный купается в роскоши.

Тут только Иоаннопольский понял, какая бездна развернулась под его ногами. Покровитель находился в величайшей опасности. И место заведующего отделом благоустройства, которое Евсей Львович так старательно укреплял и дренажировал, вырывалось из-под его геморроидального зада.

Иоаннопольский знал силу сплетни.

«Хорошо,— думал он,— бегая вдоль стены кабинета.— Суд — это еще полбеды, хотя и это уже плохо. Прозрачный не должен был бы судиться. Как они это докажут? Нужно бороться, иначе все погибло. Нужно пустить контрслух о том, что все это враки, что Прозрачный ни в чем не виновен...»

— А я здесь! — раздался голос Прозрачного.

— Егор Карлович? — спросил Иоаннопольский.— Ну, так говорите тише.

— Что новенького в отделе? — сказал Прозрачный.— Хороший у вас галстук, Евсей Львович, сколько дали?

Но Евсею Львовичу было не до галстука. Он сразу вывалил Прозрачному все, что знал со слов Пташникова.

— Разве это про меня говорят? — удивился невидимый.— Я действительно слышал в городе разговоры про какого-то ребенка. Но я думал, что это про кого-нибудь другого.

Евсей Львович со злостью посмотрел в сторону шкафа, откуда шел беззаботный голос Филюрина, и в отчаянии подумал:

«Ему все равно, засудят его или не засудят, а ведь я место потеряю, мне пить-есть надо. Я ж не прозрачный».

— Еще можно все поправить,— сказал Евсей Львович,— вы жили с ней, с вашей квартирохозяйкой?

— С кем? С мадам Безлюдной? Даже не думал! Все с ума посходили, что ли?

— В таком случае я ничего не понимаю! — воскликнул Евсей Львович.— Вы, серьезно, с ней не жили?

— Да ей-богу же, не жил! Даю вам честное слово!

— Откуда? Откуда тогда этот слух? Как же эта дура осмелилась вас позорить? Вы знаете, что на вас подали в суд? Вам нужно защищаться! При вашем положении вы должны пресекать подобные выступления в корне.

И Евсей Львович, сообразивший теперь, что дело совсем не в мадам Безлюдной и не в ее претензиях, что тут действуют какие-то темные и неведомые ему силы, принялся втолковывать Прозрачному элементарные методы борьбы с алиментным злом.

Еще большую энергию вдохнул в него телефонный звонок. Дружеский голос с недоумением сообщил, что Прозрачному вчинен гражданский иск на содержание ребенка, прижитого им от гражданки Безлюдной.

— Повестку послали на квартиру товарищу Прозрачному. Суд состоится, вероятно, дня через три. Так как общественность проявляет к процессу большой интерес, судебное заседание будет устроено на Тимирязевской площади, под открытым небом! — закончил доброжелатель.

После этого в трубке послышался рвущий уши треск и хлопанье крыльев.

— Едемте ко мне! — торопил Евсей.— Нужно обсудить! Принять меры!

Когда Иоаннопольский сбежал по лестнице, то увидел, что у дверей Пищ-Ка-Ха стояла мадам Безлюдная в легком белом платье с вышивкой. На руках у

нее лежал большой белый кокон, из которого слышался слабый писк.

Услышав голос Прозрачного, легкомысленно спросившего Евсея Львовича «который час», мадам живо выступила вперед и сразу же взяла всесокрушающее до диез.

— Вот он! — вопила она.— Смотрите все на отца! Его не видно, но он здесь! Он только что разговаривал!

— Бегите! — шепнул Евсей.

Но было уже поздно. Вдова оскалила все свое золото и, протянув ребенка вперед, завизжала:

— На, подлец! Возьми своего ребенка!!!

Прозрачный инстинктивно подхватил дитя. И взорам собравшейся толпы предстала удивительная картина: ребенок, завернутый в пикейное одеяльце, повис в воздухе, а мадам, предусмотрительно отбежавшая шагов на десять, ломала пальцы, без перерыву крича:

— Смотрите все на отца-негодяя! Смотрите! Вот он! А еще Прозрачный!

Евсей Львович был вне себя.

— Да что вы стоите как дурак! Бросайте ребенка и бегите! Это же подстроенный скандал!

И необозримая толпа, запрудившая к тому времени улицу и переулки, увидела, как ребенок плавно спустился на тротуар и лег на пороге Пищ-Ка-Ха.

— Он убежал! — надрывалась мадам Безлюдная.— Последний босяк этого не сделал бы.

Евсей Львович ринулся вперед и стал проталкиваться сквозь толпу.

Он увидел, как вдоль улицы, под стенкой, трусил Каин Александрович, удаляясь от места происшествия. Рядом с ним, отдуваясь и обтирая лоб платком, тяжело бежал толстяк в коверкотовом костюме. В бежавшем Евсей без труда узнал Николая Самойловича Брак.

А у порога Пищ-Ка-Ха, указывая то на плачущую мать, то на лежащего у ее ног ребенка, стоял Петр Каллистратович Иванопольский.

Возбужденная событием, толпа не расходилась до поздней ночи.

Глава X

«ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ НЕ ИМЕЮ»

Иванопольский, Доброгласов и Брак предались ликованию.

— Ну, как насчет пыщи? — хохотал Николай Самойлович.

— Живое дело! — отвечал Иванопольский.— Говорю вам это как юридическое лицо юридическому лицу!

А бледный от внутреннего торжества Каин Александрович слонялся из угла в угол, мечтая о том часе, когда он снова войдет в кабинет заведующего отделом благоустройства, чтобы писать там резолюции, получать отчисления и пугать служащих своим озабоченным видом. Он ясно воображал себе, как сорвет с дверей кабинета с перепугу написанный им приказ об увольнении родичей и повесит на это место белую эмалированную таблицу: «Приема нет».

В последние три ночи перед разбором дела Прозрачного Доброгласову снился один и тот же воинственный сон. Он отчетливо видел ахейских воинов, подступивших к огромным воротам Трои и с удивлением останавливающихся перед белой эмалированной таблицей с надписью: «Приама нет!»

И он слышал во сне, как печально кричали ахейцы, отступая от ворот Трои:

— Приама нет! Приема нет!

— Приема нет! — кричал Каин Александрович, просыпаясь от звуков собственного голоса.

Все предвещало победу и обильную «пыщу», которая, конечно, должна была вскоре последовать. Даже самое звучание слова «пыща» таило в себе обещание некоей пышности и грядущего благоденствия.

В то время как в стане врагов Прозрачного кипело оживление и в доме № 16 по проспекту имени Лошади Пржевальского шла вербовка свидетелей по алиментному делу, Евсей Львович прилагал все усилия к тому, чтобы укрепить пошатнувшуюся популярность своего невидимого покровителя.

Иоаннопольский привел в действие весь аппарат отдела благоустройства. Сотрудники отдела, напуганные возможностью возвращения Каина Александровича, старались вовсю. Они с жаром доказывали друзьям и знакомым, что Прозрачный действительно является существом кристальным и что возведенный на него поклеп — просто глупая болтовня пьяной бабы.

Следствием этого был новый поворот в общественном мнении. Большинство склонялось к тому, что обвинять Прозрачного до суда — преждевременно.

Евсей Львович маялся. Планы, один грандиознее другого, возникали в его лысой голове. То он решал вести борьбу на суде со всем возможным напряжением, заучивал свои показания (он собирался выступать в качестве свидетеля с громовой речью), то исход дела казался ему безнадежным и мысли его обращались к американским родственникам — Гарри Львовичу, Синклеру Львовичу и Хираму Львовичу Джонопольским — родным и богатым братьям Евсея Львовича.

«Не лучше ли бросить,— думал он,— всю эту волынку и продать Филюрина в Америку? Там призраки, наверное, высоко ценятся. Хорошо было бы списаться с братьями!»

Но эта чушь сидела в голове недолго, и Иоаннопольский снова принимался за будничные хлопоты по сколачиванию свидетельского института и репетированию с Прозрачным его последнего слова.

На рассвете того дня, в который назначено было судебное заседание, Евсей проснулся от голоса Филюрина.

— Евсей! — говорил Прозрачный плачущим голосом.— Мне тошно жить на свете! Разве это жизнь? Я не знаю, что такое аппетит. Я не спал уже два месяца. А теперь еще алименты плати. Вот жизнь!

Иоаннопольский вскочил и быстро стал одеваться.

Солнце, высунувшееся из-за горизонта, посылало темно-розовые лучи прямо под ноги людям, работавшим на площади.

Перед памятником Тимирязеву устанавливали скамьи, к фонарным столбам приладили радиоусилители, и на судейском столе, покрытом сукном, уже стоял графин с водой и никелированный колокольчик.

— Я не хочу платить алименты! — тосковал Филюрин.— Невидимый не должен платить алименты. Мало того что я потерял тело! Лучше и не мылся бы никогда в своей жизни!

— Так вы смотрите,— увещевал Иоаннопольский,— говорите громко и медленно. Слышите?

— Да, слышу, слышу,— уныло отвечал Прозрачный,— вот противная баба Безлюдная! Хорошо, что я ей за квартиру, когда съезжал, не заплатил.

Ровно в десять часов усилители разнесли по всей площади крик:

— Суд идет! Прошу встать!

Но так как пищеславцы, хлынувшие на площадь в несметном числе, и без того стояли на ногах, то обычного шевеления при появлении судей не произошло.

Уняв гомонившие толпы продолжительными, во сто раз усиленными радиозвонками, нарсудья исподлобья взглянул на непривычную по величине аудиторию и возвестил:

— Слушается дело по иску гражданки Безлюдной к гражданину Филюрину. Гражданка Безлюдная!

Мадам приблизилась к столу и, прежде чем ее успели спросить, заголосила, оглядываясь на толпу и выставляя вперед младенца. Судья успокоил ее мягким замечанием и вызвал Филюрина.

— А я здесь!— прокричал Прозрачный.

Судья попросил относиться к суду серьезней, а мадам заплакала навзрыд. В толпе поднялся шум — заседание начиналось общим сочувствием истице.

Особенно горячих сторонников потерпевшей пришлось призвать к порядку. Только после этого притихли стоявшие в первых рядах Каиновичи и Иванопольский. Доброгласов и Брак таились где-то вглуби. Евсей Львович в соломенной шляпе «канатье» и белом пикейном жилете (именно так он был одет в день свадьбы своей сестры много лет тому назад) стоял с бурым от волнения лицом поблизости к судьям.

За ним виднелись лица Пташникова, его тайной жены, тайного сына, курьера Юсюпова и инкассатора. Евсей Львович поминутно оборачивался и делал своей свите какие-то знаки.

Вдова с плачем давала объяснения.

Она ничего не требовала, ничего не просила. Она хотела только, чтобы все узнали, как низко бросил ее этот человек, который когда-то с ней сходился, был видимым, а тогда, когда его фактическая жена была на седьмом месяце беременности, почему-то сделался невидимым.

— Не кажется ли это суду подозрительным! — с гражданским пафосом спросил из первого ряда Петр Каллистратович Иванопольский.

«Это жулик,— хотелось крикнуть Евсею,— не верьте ему».

Но судья и сам знал, что ему нужно было делать.

— Уведите этого гражданина! — сказал судья курьеру.

Иванопольский, выведенный за пределы площади, обошел вокруг перестроенного Центрального клуба и вернулся назад.

— И я прошу,— закончила вдова,— чтобы суд заклеймил обманщика и...

— И воочию показал,— не мог удержаться Иванопольский,— что пролетарский суд, советский суд, учтя статью гражданского процессуального кодекса, покарал...

Конец вдовьей речи Иванопольский произносил уже под надзором курьера, вторично выводившего его с площади.

— Не кажется ли суду подозрительным,— сказал Евсей Львович дрожащим голосом, снимая «канатье»,— что посторонние элементы давят на сознание граждан судей?

— А вы кто такой? Правозаступник? Тогда почему вы вмешиваетесь?

Евсей Львович в страхе отступил. И дело продолжалось.

— Филюрин, Егор Карлович,— сказал судья,— дайте ваши объяснения.

Стало так тихо, что слышно было, как на Тихоструйке кричат дети, занятые ловлей раков.

— Что же говорить, товарищ судья! — грустно молвил Прозрачный.— Действительно, я у мадам Безлюдной снимал комнату. (Смех Каиновичей.) Но ничего с ней у меня не было. (Голос Брака: «Ну-у-у!») Верьте не верьте, товарищ судья, тут моей вины нет. Эта дамочка со всеми крутила! (Радостное восклица-

ние Евсея Львовича.) Теперь, товарищ судья, разрешите задать гражданке вопрос?

— Можете.

— Скажите, мадам Безлюдная, почему вы так поздно заявили в суд, если выходит, что я вас два месяца тому назад бросил?

— Не подумала как-то,— ответила вдова, ища глазами поддержки в Иванопольском.

— Больше вопросов не имею! — закричал Евсей Львович, не дожидаясь, пока эту фразу произнесет подученный им Прозрачный.

— Выведите этого гражданина,— сказал судья.

И судоговорение продолжалось.

Когда Евсей Львович бегом вернулся на площадь, шел вызов свидетелей. Со стороны мадам Безлюдной вышло около пятидесяти человек во главе с Петром Каллистратовичем. Со стороны же Прозрачного выступил один только Евсей Львович. Сколько ни делал он знаков своей свите, никто не вышел. Сунувшийся было на соединение с Иоаннопольским

Пташников в последний момент одумался и нырнул в толпу.

Свидетелей увели в Центральный клуб и вызывали оттуда поодиночке.

Навербованные Иванопольским свидетели оказались всесторонне осведомленными.

Да, они часто видели бывшего Филюрина вместе с истицей, и часто им удавалось заметить существовавшую между этими гражданами интимную близость, т. е. поцелуи, продолжительные пожатия рук, нежность взглядов и многое другое, неоспоримо доказывающее, что Прозрачный является отцом ребенка и что он совершил неблаговидный поступок, бросив ни в чем не повинное дитя и переселившись к тому же в совершенно чужой дом.

Так показывали все жильцы, дворники и управдом дома № 16 по проспекту Лошади Пржевальского.

Свидетельские показания произвели на толпу ошеломляющее впечатление. Чистота Прозрачного была испачкана и вываляна в пыли.

Ввели Иванопольского.

— Вы что, пришли как свидетель? — спросил судья.

— Я пришел к вам как юридическое лицо к юридическому лицу,— с жаром сказал Петр Каллистратович.

— Выведите его,— страдальчески сказал судья,— и не пускайте больше. Кстати, вы судились уже?

— Четыре раза,— ответил Иванопольский, которого на этот раз уводил милиционер.

Это было единственное выступление, бросившее некоторую тень на показания свидетелей истицы. Расположение толпы было все же на стороне бедной женщины, тем более что Евсею Львовичу так и не удалось произнести громовой речи.

Евсей долго вытирал лысину, прижимал «канатье» к свадебному пикейному жилету, но никак не мог вспомнить ни одного слова из затверженной наизусть речи. Неожиданно для самого себя Иоаннопольский сказал судье:

— Больше вопросов не имею.

— Вы и не можете их иметь! — сказал измочален-

ный судья.— Идите! Подсудимый, вам предоставляется последнее слово.

— Мало того что я невидимый,— послышался рыдающий голос,— она мне еще хочет чужого байстрюка подбросить.

— Прошу выбирать выражения! — сказал судья.

— Хорошо, товарищ судья, только напрасно на меня люди говорят. Я человек искалеченный. Тут Бабского с его мылом судить надо, а не меня.

— Держитесь ближе к делу.

Голос Прозрачного шел от цоколя памятника.

— Товарищ судья...

Но не успел еще Прозрачный высказать свою мысль, которая, возможно, была бы ближе к делу, чем все предыдущие, как случилось нечто такое, что исторгнуло из груди всех пищеславцев, собравшихся на площади, протяжный вопль.

На цоколе памятника показалось розоватое облачко, которое на глазах у всех уплотнилось и приобрело очертания человека.

Судья вскочил. Графин с водой опрокинулся и окатил присевшего на корточки Евсея Львовича с ног до головы. Колокольчик брякнулся о каменные плиты, издав глухой звон.

Но все было покрыто громовым шумом толпы, увидевшей Егора Карловича Филюрина в его на-

туральном виде, с порядочной русой бородой и всклокоченными волосами.

«Веснулин» городского сумасшедшего Бабского неожиданно и вмиг прекратил свое действие.

Голый с криком соскочил наземь, сорвал со стола сукно и закутался им, как тогой.

— Согласен! — закричал он, обнимая судью голой рукой.— На все согласен! Хоть ребенок и не мой, пусть берут алименты! Я видимый! Я видимый!

Но истицы уже не было. Она в страхе убежала.

Егор Карлович Филюрин получил тело, а вместе с ним возможность есть, пить, спать, двигаться по службе, не посещать общих собраний и делать еще тысячу, доступных только непрозрачным людям, чертовски приятных вещей.

ЭПИЛОГ

На другой день после суда Евсея Львовича вызвал начальник Пищ-Ка-Ха.

— Скажите,— спросил он,— как вы попали на должность заведующего отделом?

— Вы сами меня назначили,— ответил Евсей Львович шепотом.

После вчерашнего он потерял голос.

— Не помню, не помню,— сказал начальник.— А где вы раньше служили?

— Там же. Бухгалтером.

— Ага! Теперь я вспоминаю. Так вы и оставайтесь бухгалтером.

Не чуя от счастья ног, Евсей Львович возвратился в отдел, развернул главную книгу и сквозь радостные слезы посмотрел на ее розовые и голубые линии.

В отделе все было по-старому. За своей деревянной решеточкой сидел Филюрин, аккуратно вписывая в книгу регистраций земельных участков трезвые будничные записи. Семейство Пташниковых вертело арифмометр, щелкало костяшками счетов и копиро-

вало под прессом деловые письма. Инкассатор бегал по своим инкассаторским делам.

И не было только Каина Александровича. На его месте сидел другой.

За время прозрачности Филюрина город отвык от мошенников и не хотел снова к ним привыкать. По этой же причине угас приятнейший в Пищеславе дом Браков, не возвратился к живому делу энергичнейший управделами ПУМа Иванопольский, а мадам Безлюдная так и не посмела возобновить свои неосновательные притязания.

Евсей Львович сполз с винтового табурета и подошел к Пташникову.

— Ну, что? — спросил он.

— Я думаю, что это на нервной почве,— ответил Пташников по привычке.

— А знаете,— закричал вдруг Филюрин, который в продолжение уже пяти минут рассматривал свое лицо в карманном зеркальце.— А ведь веснушки-то действительно исчезли!

1001 ДЕНЬ,
ИЛИ
НОВАЯ ШАХЕРЕЗАДА

Рисунки художника

К. РОТОВА

ТОВАРИЩ ШАЙТАНОВА

Известная в деловых кругах Москвы контора по заготовке Когтей и Хвостов переживала смутные дни. В конторе шла борьба титанов: начальник учреждения, товарищ Фанатюк, боролся со своим заместителем, товарищем Сатанюком.

Если бы победил титан Фанатюк, то всем сторонникам Сатанюка грозило бы увольнение. Победа же титана Сатанюка вызвала бы немедленное изгнание из конторы всех последователей Фанатюка. Причины спора были уже давно забыты, но отношения между титанами обострялись все больше, и момент трагической развязки близился.

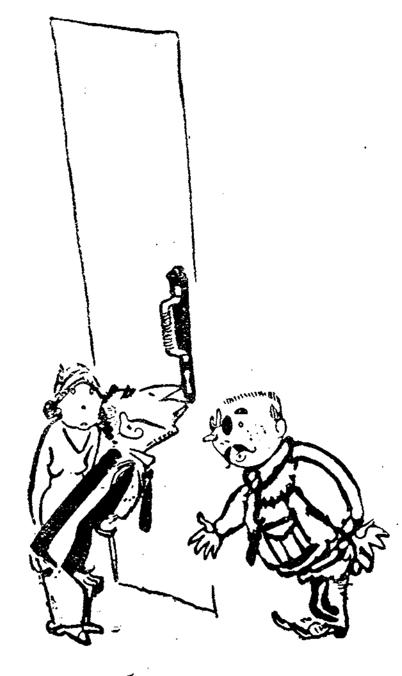
Служащие бродили по коридорам конторы, задирая друг друга.

— Слышали? Фанатюка бросают в Минусинск на литературную работу!

— Слышали? Бросают! В Усть-Сысольск! На заготовку коровьего кирпича. Но не товарища Фанатюка, а вконец разложившегося Сатанюка.

Из раскаленных страстями коридоров несло жаром. Самые невероятные слухи будоражили служащих. Фанатики и сатанатики ликовали и огорчались попеременно.

Борьба кончилась полным поражением Сатанюка. Его бросили в Умань для ведения культработы среди местных извозопромышленников.



И грозная тень победившего Фанатюка упала на помертвевшую контору по заготовке Когтей и Хвостов для нужд широкого потребления.

Павел Венедиктович Фанатюк ничего не забыл, все помнил и с 1 апреля, т. е. с того дня, который обычно знаменуется веселыми обманами и шутками, приступил к разгрому остатков противника.

В атласной толстовке, усыпанной рубиновыми значками различных филантропических организаций, товарищ Фанатюк во главе целой комиссии сидел в своем кабинете, с потолка которого спускались резные деревянные сталактиты.

Чтобы заготовка когтей и хвостов шла без перебоев, расправу решено было провести по-военному: начать в десять и кончить в четыре.

Неосмотрительные последователи Сатанюка с жестяными лицами толпились у входа в чистилище.

Первым чистился бронеподросток Ваня Лапшин.

— Лапшин? — спросил начальник звонким голосом.— Вы, кажется, служили курьером у всеми нами уважаемого товарища Сатанюка?

— Служил,— сказал Ваня,— а теперь я при управлении делами.

— Вы бывший патриарх?

Бронеподросток Лапшин за молодостью лет не знал, что такое патриарх, и потому промолчал.

— Ну, идите,— сказал Фанатюк,— вы уволены.

В коридоре к Лапшину подступили любопытствую-

щие сослуживцы. Пока он, волнуясь и крича, доказывал, что с Сатанюком ничего общего не имеет и не имел, товарищ Фанатюк успел уже уволить двух человек: одного за связь с мистическими элементами, а другого — за то, что во времена керенщины ходил в кино по контрамаркам, получаемым из министерства земледелия.

Засим порог кабинета переступила делопроизводительница общей канцелярии Шахерезада Федоровна Шайтанова.

Увидав ее, товарищ Фанатюк оживился. Шахерезада Федоровна слыла клевреткой поверженного Сатанюка, и Павел Венедиктович давно уже собирался изгнать ее из пределов конторы.

— А! — сказал Фанатюк и сделал закругленный жест рукой, как бы приглашая членов комиссии отведать необыкновенного блюда.

— Здравствуйте, Павел Венедиктович,— сказала Шайтанова страстным голосом.

В ушах Шахерезады Федоровны, как колокола, раскачивались большие серьги. Выгибаясь, она подошла к столу и подняла на Павла Венедиктовича свои прекрасные персидские глаза.

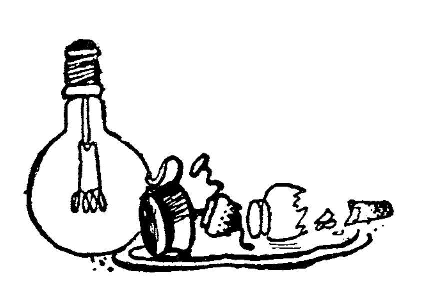
— А мы вас уволим! — заметил Фанатюк.

И члены комиссии враз наклонили свои головы, показывая этим, что они вполне одобряют линию, взятую товарищем Фанатюком.

— Почему же вы хотите меня уволить? — спросила Шахерезада.— РКК не позво...

— Какая там Ре-Ке-Ке! — воскликнул Фанатюк.— Я здесь начальник, и я незаменим.

— О Павел Венедиктович,— промолвила Шахерезада, скромно опуская глаза,— керосиновая лампа с фаянсовым резервуаром и медным рефлектором тоже



думала, что она незаменима. Но пришла электрическая лампочка, и осколки фаянсовых резервуаров валяются сейчас в мусорном ящике. И если товарищи хотят, я расскажу им замечательную историю товарища Ливреинова.

— А кем он был? — с любопытством спросил Фанатюк.

— Он был незаменимейшим из незаменимых,— ответила Шахерезада.

«Что ж,— подумал Павел Венедиктович,— уволить я ее всегда успею».

И сказал:

— Только покороче, а то уже половина третьего.

И Шахерезада в этот

Первый служебный день

начала рассказ —

О выдвиженце на час

— Рассказывают, о счастливый начальник конторы по заготовке Когтей и Хвостов, что два года назад жил в Москве начальник обширного учреждения, ведавшего снабжением граждан Горчицей и Щелоком,— высокочтимый товарищ Ливреинов. И был он так горяч, что никто не мог соперничать с ним в наложении резолюций. И не было в Москве начальника удачливее, чем он, который выходил холодным из огня и сухим из воды. И ни одна чистка не повредила ему, да продлит ЦКК его дни. Уже ему казалось, что путь его всегда будет усыпан служебными розами, когда произошел случай, который привел этого великого человека к ничтожеству...

В эту минуту Шахерезада заметила, что часовая стрелка пододвинулась к четырем. Как бы не желая дольше злоупотреблять разрешением товарища Фанатюка, Шахерезада скромно умолкла. И высокочтимый товарищ Фанатюк сказал про себя:

«Клянусь Госпланом, что я не уволю ее, пока не узнаю, что случилось с начальником Горчицы и Щелока».

ВЫДВИЖЕНЕЦ НА ЧАС

Когда наступил

Второй служебный день,

Шахерезада Федоровна прибыла на службу ровно в десять и, пройдя мимо ожидавших чистки служащих, вошла в готический кабинет товарища Фанатюка.

— Что же произошло с начальником конторы по заготовке Горчицы и Щелока? — нетерпеливо спросил начальник.

Шахерезада Федоровна Шайтанова не спеша уселась и, подождав, покуда курьерша обнесет всех чаем, заговорила:

— Знайте, о товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии, что начальник Горчицы и Щелока, товарищ Ливреинов имел гордый характер и большие связи. И он весьма преуспевал, ибо что еще нужно бодрому хозяйственнику, кроме связей и гордости? Ливреинов был убежден, что больше не нужно ничего, и полагал, что в деле плановой заготовки Горчицы и Щелока ему нет равных. И вот все о нем.

Случилось же так, что после трех лет безоблачного правления в контору Ливреинова был прислан выдвиженец. Свой переход в контору выдвиженец Папанькин совершил прямо от станка, а потому его появление вызвало в конторе переполох. Вестники несчастья — секретари — вбежали в кабинет Ливреинова и, плотно прикрыв двери, сообщили начальнику о пришельце. Товарищ Ливреинов выслушал их с завидным спокойствием и, глядя на свои голубые коверкотовые брюки, молвил:

— А как обычно поступают с выдвиженцами в соседних и родственных нам учреждениях?

— Их заставляют подметать коридоры и разносить чай,— сказал первый секретарь.— Больше полугода выдвиженец не выдерживает и с плачем удаляется на производство.

— Им не дают решительно никакого занятия,— сказал второй секретарь.— Это испытаннейший способ. Выдвиженец томится за пустым столом, заглядывает иногда в его пустые ящики и уже через месяц, одолеваемый стыдом, убегает из конторы навсегда.

Секретари смолкли.

— И это все способы, которые вам известны? — с насмешкой спросил Ливреинов.

— Все! — ответили секретари, поникая главами.

— В таком случае,— гневно воскликнул Ливреинов,— вы достойны немедленного увольнения без выдачи выходного пособия и без права поступления в другие учреждения. Но я прощаю вас. Знайте же, глупые секретари, что есть сорок способов, и на каждый способ сорок вариантов, и на каждый вариант сорок тонкостей, при помощи которых можно изжить любого выдвиженца в неделю... У меня выработан идеальный план... Этот универсальный план гарантирует изжитие любого выдвиженца из любого учреждения в один день.

Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что стрелка стенных часов подошла к четырем, и скромно умолкла. Комиссия по чистке аппарата стала поспешно подбирать портфели, а товарищ Фанатюк сказал про себя:

«Клянусь Госпланом, я не вычищу ее, пока не узнаю об этом замечательном плане».

А когда наступил

Третий служебный день,

Шахерезада Федоровна, явившись на службу ровно в десять часов утра, сказала:

— ...Этот универсальный план,— ответил Ливреинов,— гарантирует изжитие любого выдвиженца из любого учреждения в один день. Слушайте, глупые

и неопытные секретари. Слушайте и учитесь. Я не заставлю выдвиженца подметать полы, как это делают пижоны. Я не стану морить его бездельем, как это практикуется отпетыми дураками. Я поступлю совершенно иначе. Я введу его в свой кабинет, дружески пожав ему руку, раскрою перед ним все шкафы и вручу ему все печати, включая сюда сургучную, восьмиугольную, резиновую и квадратную. Я проведу его по всем комнатам, я представлю ему всех служащих и скажу им: «Выполняйте все приказы этого товарища, каковы бы они ни были, потому что это мой заместитель». Я проведу его в гараж и доверю ему свою лучшую машину, которую я только недавно выписал из Италии за тридцать пять тысяч рублей золотом. И, всячески обласкав его, я уеду на один день, поручив выдвиженцу все сложнейшие дела моего большого учреждения. И за этот один день он, не имеющий понятия о заготовке Горчицы и Щелока, наделает столько ошибок и бед, что его немедленно вышвырнут и даже не пустят назад на производство. Я сделаю его калифом на час и несчастным на всю жизнь.

И, пройдя мимо изумленных секретарей, товарищ Ливреинов направился в прихожую, где на деревянной скамье томился застенчивый Папанькин в бобриковом кондукторском полупальто.

— Здорово, товарищек! — воскликнул Ливреинов.— Тут наши бюрократы тебя ждать заставили. Ну, пойдем.

И, обняв оторопевшего от неожиданной ласки Папанькина, он ввел его в свой кабинет, раскрыл перед ним все шкафы и вручил ему все печати, включая сюда сургучную, восьмиугольную, резиновую и квадратную. Затем он провел его по всем комнатам, представил ему всех служащих и сказал им:

— Исполняйте все приказы товарища... товарища...

— Папанькина! — помог выдвиженец.

— Товарища Папанькина, каковы бы эти приказы ни были, потому что это мой заместитель.

Потом, всячески обласкав его, уехал на один день. Перед отъездом он поручил Папанькину все сложнейшие дела по заготовке Горчицы и Щелока.

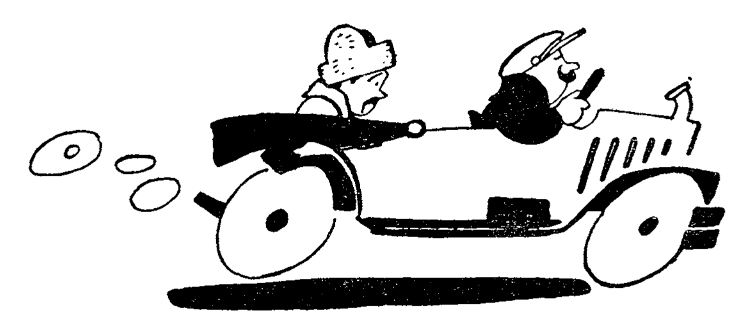
Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что стрелка стенных часов подошла к четырем, и скромно умолкла.

А когда наступил

Четвертый служебный день,

она сказала:

— ...И Щелока. И, гордый своей незаменимостью и уменьем выходить из самых сложных положений, товарищ Ливреинов уехал. И вот все о нем.



А выдвиженец Папанькин действительно наделал за один день множество бед. Он сел в автомобиль, так легкомысленно доверенный ему Ливреиновым, и объехал все склады. Там он не нашел ни грамма горчицы, ни унции щелока. Зато, вернувшись в контору, он обнаружил тонны отношений и других никому не нужных отвратительных бумаженций. После этого Папанькин выгнал всех трех секретарей и их ближайших родственников числом тридцать.

Вторую половину дня он посвятил работе созидательной, расторг договоры с частниками, ободряя достойных ободрения и порицая заслуживающих порицания. Впервые за три года учреждение работало нормально и впервые за три года служащие понимали, для какой цели сидят они за своими конторками. Конец дня ушел на составление бумаги к прокурору с

просьбой приступить к следствию о служебных деяниях товарища Ливреинова. И вот все о Папанькине. Что же касается Ливреинова, то на другой день его уже вели по направлению к исправдому.

— Таким образом,— закончила Шахерезада Федоровна,— незаменимейший из незаменимых пал от своей собственной руки. Но эта история,— продолжала Шахерезада,— ничто в сравнении с историей о двойной жизни товарища Портищева. И если вам угодно ее выслушать, я расскажу эту историю.

— Просим, просим! — закричали члены комиссии.

Но тут Шахерезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ПОРТИЩЕВА

А когда наступил

Пятый служебный день,

Шахерезада Федоровна, лучшая из делопроизводительниц, явилась аккуратно к началу занятий и вошла в кабинет начальника, где заседала комиссия по чистке...

— Рассказывайте подлиннее! — шептали ей вдогонку служащие, уже пятый день ожидавшие своей очереди.— Затягивайте!

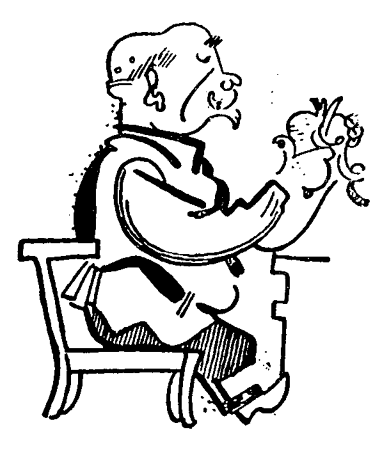
Но Шахерезада сама знала, что делать. Усевшись перед судилищем, она скромно опустила глаза.

— Что же случилось с товарищем Портищевым? — воскликнул Фанатюк.— И почему он вел двойную жизнь?

И Шахерезада немедленно начала рассказ под названием:

Двойная жизнь

— Знайте же, высокочтимые члены комиссии, что в рядах партии с тысяча девятьсот двадцать третьего года находился праведный коммунист Елисей Портищев. Работал он по профессиональной линии и зани-



мал покойное место в одном из мощных московских губотделов.

Товарищ Портищев слыл работягой и любил выражаться о себе так:

— Мы, которые из деревенской бедноты, к работе привычные.

И действительно, как бы рано ни приходили служащие в губотдел, за столом зампредседателя уже находился товарищ Портищев. Ровно в десять ему подавали стакан кипятку. Чаю Портищев не потреблял, охраняя бесперебойную работу своего сердца.

В полдень Портищев вынимал из ящика письменного стола желтую репку и, заботливо очистив плод перочинным ножиком, разгрызал его жемчужными зубами.

Зубы у него были замечательные: красивее, чем вставные. Через час работяга съедал два холодных яйца всмятку.

Холодные яйца всмятку — вещь невкусная, но товарищу Портищеву было все равно. Он не ел, а питался. Он ел не яйца, а жиры, углеводы и витамины. Вслед за этим на столе товарища Портищева появлялась краюха хлеба и пакетик в пергаментной бумаге.

Из пакетика вынимался брусочек свиного сала и разрезывался на ломтики. Засим товарищ Портищев накалывал каждый ломтик на острие перочинного ножа и отправлял в рот.

После принятия пищи работяга сметал со стола крошки и, хотя делать было уже решительно нечего, принимал озабоченный вид перегруженного работой человека. Он до такой степени привык притворяться, что ничуть не скучал, глядя целыми часами в ненужную бумажку.

К концу рабочего дня товарищ Портищев подымался, богатырски разминал плечи и подходил к стен-

ным часам-ходикам, чтобы подтянуть гирю. Он всегда делал это собственноручно, и горе тому партийному или беспартийному сотруднику, который осмелился бы прикоснуться к медной цепочке часов.

Если после занятий назначалось заседание ячейки, то и туда товарищ Портищев прибывал раньше всех. Он старался сесть прямо против секретаря и в продолжение всего заседания смотрел на него преданными глазами.

Обычно товарищ Портищев не выступал, ограничиваясь лишь внимательным выслушиванием ораторов и планомерным голосованием. Он тщательно следил за директивами, и его мнение с поразительной точностью совпадало с мнением вышестоящих товарищей.

Членские взносы он платил своевременно, и задолженности за ним никогда не бывало.

Портищев очень любил получать жалование новенькими бумажками.

С командировочными и суточными доходы его составляли рублей четыреста в месяц. Их он расходовал весьма скупо.

— Куда нам, беднейшим слоям крестьянства, шикарить! Чай, не городские! — восклицал он.— Облигации покупать надо!

А на самом деле товарищ Портищев вел еще одну жизнь, о которой не знал ни один из его сослуживцев...

Но тут Шахерезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.

А когда наступил

Шестой служебный день,

она сказала:

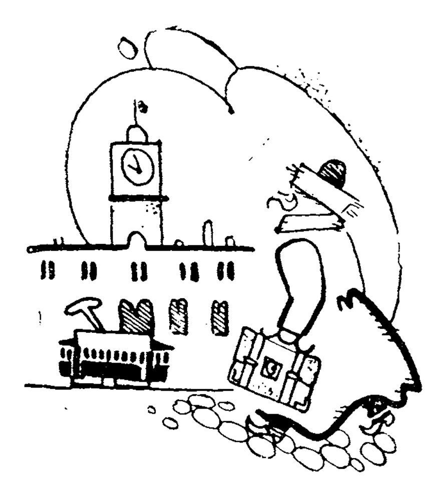
— ...Жизнь, о которой не знал ни один из его сослуживцев...

По субботам, ровно в три часа дня Портищев покидал губотдел и устремлялся на вокзал. Уже в поезде товарищ Портищев преображался самым странным образом.

Чинное, железопартийное выражение разом слетало с его лица, и самая его толстовочка приобретала неуловимо вольный и обывательский оттенок. Зевая, товарищ Портищев с наслаждением крестил рот, чего никогда не позволил бы себе в губотделе.

В родную свою деревню, отстоявшую за шестьдесят километров от столицы, приезжал уже не мощный профработник, не борец за идею, не товарищ Портищев, а Елисей Максимович Портищев.

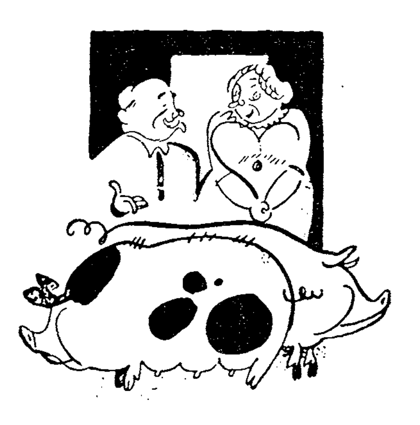
На станции его ожидала пароконная рессорная телега. По дороге в деревню встречные мужики прочувствованно ему кланялись, и он отвечал им гордым наклонением головы. Покинув лошадей на работника, губотделец говорил ему:



— Ты, говорят, спецодежду какую-то требуешь? Может, ты и восемь часов в день работать хочешь, как городской лодырь?

Поучив работника, Елисей Максимович с головой окунался в хозяйственные дела. Он по очереди осмат-

ривал конюшню с шестью лошадьми и жеребенком, большой, светлый коровник и свинарню, к которой он подходил с замиранием сердца. Десятка два благообразных свиней производили слитный шум, напоминающий работу лесопильного завода. А потом сверкающий зубами Елисей Максимович шел через потемневший двор и, рассыпая из газетной бумаги привезенные с собою городские крошки, громко и властно кричал: «Цып! Цып! Цып!»



И домашняя птица, быстро кланяясь, внимала гласу профработника.

До поздней ночи сидел Елисей Максимович за струганым столом и беседовал с женой на хозяйственные темы. Обуревала профработника страсть к накоплению. Ему уже казалась мала усадьба, жалким казался дом, недостаточным количество скота.

— Мельницу бы взять в аренду! — стонала жена.

— Денег не хватит,— со вздохом отвечал Портищев,— разве командировку внеочередную взять с целью выявления недочетов союзного аппарата на периферии. Придется взять. Эх! Если б в партию не платить, все легче было бы!..

В воскресенье Елисей Максимович обязательно заходил с визитом в сельскую ячейку. В ячейке его, городского коммуниста, очень боялись и вместе с прочими крестьянами считали, что Портищев все может. Если захочет, то и деревню упразднит.

— Плохо у вас тут культработа подвигается! — говорил он тягуче.— Дорожного строительства не видно. Проработать не мешало бы.

В понедельник на рассвете Елисей Максимович со стесненным сердцем уезжал в город. Он вез с собою в

платочке шесть репок на шесть дней, двенадцать яиц и небольшой окорочок. И чем ближе подходил поезд к Москве, тем строже становилось лицо Елисея Максимовича. На перрон выходил уже не хозяйственный мужичок, а товарищ Портищев — стопроцентный праведник.

В половине десятого товарищ Портищев входил в совершенно пустой еще губотдел, подтягивал гирю ходиков, толкал остановившийся за воскресный день маятник и снова начинал казенную часть своей двойной жизни. И вот все об этом обманщике.

— Но, если товарищ Фанатюк разрешит,— добавила Шахерезада,— я расскажу высокочтимой комиссии еще более удивительную историю о товарище Алладинове и его волшебном билете.

РАССКАЗ О ТОВАРИЩЕ АЛЛАДИНОВЕ И ЕГО ВОЛШЕБНОМ БИЛЕТЕ

И Шахерезада Федоровна начала:

— Рассказывают, о высокочтимый товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии по чистке, что мастер Тихон Алладинов был человеком скромным и деятельным.

Горячность, смелость и трудолюбие Тихона Алладинова были оценены по достоинству. И вот в один из прекраснейших дней его жизни, на открытом собрании ячейки, Алладинову вручили партийный билет в коричневом переплетике.

Взволнованный всем этим, Алладинов вышел во двор электростанции и присел на крылечке. Дивная и радостная картина представилась его глазам: за рекой в елочных огнях лежал город, звездами было засыпано небо, от работы электростанции под ногами Алладинова тряслась земля, а внизу с шумом бежала в темную реку отработанная вода.

Счастливое раздумье Алладинова прервал старый рабочий станции Блюдоедов.

— Вот что, Тихон,— сказал он,— ты только что получил партийный билет. Знай же, что этот билет наделен удивительнейшими свойствами. Иногда достаточно лишь раскрыть его и похлопать по нем ладонью, чтобы

получить то, чего желаешь, или избавиться от того, чего не желаешь. Это очень соблазнительно, но именно этого делать нельзя.

В этом месте Шахерезада прекратила свой рассказ, потому что служебный день окончился.

А когда наступил

Седьмой служебный день,

начальник конторы Фанатюк и члены комиссии прибежали в учреждение спозаранку и, как только аккуратная Шахерезада Федоровна ровно в десять часов вошла в кабинет, встретили ее нетерпеливыми криками:

— Что же сделал товарищ Алладинов, узнав о волшебных свойствах своего билета?

И Шахерезада, вежливо улыбнувшись, сказала:

— Знайте же, что товарищ Алладинов в течение двух лет вел себя с примерной скромностью и работал больше, чем когда бы то ни было.

Но однажды в доме Алладинова назначили экстренное собрание жильцов. Разбирался животрепещущий вопрос о том, кому дать две освободившиеся комнаты. В таких случаях никогда не бывает разногласий. Все хотят одного и того же. Каждый жилец хочет получить комнату, и именно для себя.

Экстренное собрание продолжалось тридцать шесть часов без перерыва. Было выкурено три тысячи папирос «Пли» и около восьмисот козьих ножек. Во время прений председателю дали восемь раз по морде и в шести случаях он дал сдачи. На семнадцатом часу уволокли за ноги двух особенно кипятившихся старушек. На двадцать четвертом часу упал в обморок сильнейший из жильцов, волжский титан Лурих Третий, записанный в домовой книге под фамилией Ночлежников.

Но обмен мнениями ни к чему не привел. Тогда председатель, лицо которого носило кровавые следы прений, заявил, что распределит комнаты своей властью.

К этому времени в душе Алладинова созрело желание получить комнату какими-то ни было средствами.

Он увел председателя в уголок и прижал его спиной к домовой стенгазете «Вьюшка». Потом, сам не сознавая, что делает, он вынул из кармана партийный билет в коричневом переплетике; быстро раскрыл его и похлопал ладонью. И Алладинов сразу же заметил волшебную перемену в председателе. Глаза председателя покрылись подхалимской влажностью, и в комнате вдруг стало тихо.

На другой день Алладинов переменил свою комнату с пестрыми обоями на большую, удобную квартиру в ущерб другим, имевшим на то большее право.

«Дурак Блюдоедов,— подумал он,— зря только отговаривал меня. Билетик — хорошая штука».

И с тех пор товарищ Алладинов совершенно изменился. Он безбоязненно раскрывал билет и...

В этом месте Шахерезада заметила, что служебный день закончился.

А когда наступил

Восьмой служебный день,

она сказала:

— Он выбирал людей потрусливее и безбоязненно раскрывал перед ними билет, привычно хлопал по нем ладонью и часто получал то, что хотел получить, и избавлялся от того, от чего хотел избавиться.

И постепенно он переменился. Он занял, явно не по способностям, ответственный пост с доходными командировками; от производства его отделила глухая стена секретарей, и он научился подписывать бумаги, не вникая в их содержание, но выводя зато забавнейшие росчерки. Он научился говорить со зловещими интонациями в голосе и глядеть на просителей невидящими цинковыми глазами.

А билет приходилось раскрывать и пользоваться его волшебными свойствами все чаще. Потребности Алладинова увеличивались. Казалось, желания его не имеют границ. Его молодая жена, Нина Балтазаровна, одевалась с непонятной роскошью. Она носила меховое манто, усеянное белыми лапками, и леопардовую

шапочку. С утра до вечера она твердила мужу, что «теперь все умные люди покупают бриллианты». Сам товарищ Алладинов выходил на улицу, одетый богаче, чем Борис Годунов в бытность его царем. На нем была богатая шапка, тяжелая, как шапка Мономаха, и длинная шуба.

Однажды, возвращаясь домой, он попал в переполненный трамвай. И, на его беду, он попал в один из тех зараженных ссорою вагонов, которые часто циркулируют по столице. Ссору в них начинает какая-нибудь мстительная старушка в утренние часы предслужебной давки. И мало-помалу в ссору втягиваются все пассажиры вагона, даже те, которые попали туда через полчаса после начала инцидента. Уже зачинщики спора давно сошли, утеряна уже и причина спора, а крики и взаимные оскорбления все продолжаются, и в перебранку вступают все новые и новые кадры пассажиров. И в таком вагоне до поздней ночи не затихает ругань.

В такой именно, зараженный драчливой бациллой, вагон попал в нетрезвом состоянии товарищ Алладинов. В трамвае он давно уже не ездил, так как пользовался автомобилем.

И едва он попал на площадку, как оскорбил мирного пассажира словом и, не дожидаясь ответной реплики, оскорбил его также и действием. Все это он проделал, весело улыбаясь и представляя себе удивление милиционера при виде волшебного билета.

И, вдоволь насладившись, он вынул билет в коричневом переплетике, раскрыл его и похлопал по нем ладонью. Но билет не привел милиционера в трепет.

— А еще партийный! — сказал бравый милиционер.— Позор, позор, позор!

И, заломив руку пьяного товарища Алладинова

японским приемом «джиу-джитсу», милиционер свел его в отделение. Билет остался в отделении и больше не возвращался к его обладателю.

И пухлая звезда товарища Алладинова померкла с еще большей быстротой, чем взошла, потому что обнаружились все его нечистые дела.

И вот все об этом позорном человеке.

Но эта история, как она ни интересна, далеко уступает рассказу о двух друзьях — о товарище Абукирове и товарище Женералове.

— Я ничего не слыхал об этих людях! — сказал товарищ Фанатюк. И подумал: «Клянусь Госпланом, я не уволю ее, пока не узнаю этой, по всей вероятности, замечательной истории!»

РАССКАЗ О «ГЕЛИОТРОПЕ»

И Шахерезада Федоровна, музыкально позвякивая чайной ложечкой, неторопливо начала повествование:

— Знайте же, о высокочтимый товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии по чистке, что ни в одном городе Союза нельзя найти такого количества представительств, как в Москве. Они помещаются в опрятных особнячках, за зеркальными стеклами которых мерещится яичная желтизна шведских столов и зелень абажуров. Особнячки отделены от улицы садиками, где цветет сирень и хрипло поет скворец. У подъезда между двумя блестящими от утренней росы львами обычно висит черная стеклянная досточка с золотым названием учреждения.

В таком учреждении приятно побывать, но никто туда не ходит. То ли посетителей там не принимают, то ли представительство не ведет никаких дел и существует лишь для вящего украшения столицы.

Рассказывают, что в Котофеевом переулке издавна помещалось представительство тяжелой цветочной промышленности «Гелиотроп», занявшее помещение изгнанного из Москвы за плутни представительства общества «Узбекнектар».

Штат «Гелиотропа» состоял из двух человек: уполномоченного по учету газонов товарища Абукирова и уполномоченного по учету вазонов, товарища Женералова. Они были присланы в «Гелиотроп» из разных городов и приступили к работе, не зная друг друга.

Как только товарищ Абукиров в первый раз уселся за свой стол, он сразу же убедился в том, что делать ему абсолютно нечего. Он передвигал на столе пресс-папье, подымал и опускал шторки своего бюро и снова принимался за пресс-папье. Убедившись наконец, что работа от этого не увеличилась и что впереди предстоят такие же тихие дни, он поднял глаза и ласково посмотрел на Женералова.

То, что он увидел, поразило его сердце страхом. Уполномоченный по учету вазонов товарищ Женералов с каменным лицом бросал костяшки счетов, иногда записывая что-то на больших листах бумаги.

«Ой,— подумал начальник газонов,— у него тьма работы, а я лодырничаю. Как бы не вышло неприятностей».

И так как товарищ Абукиров был человеком семейным и дорожил своей привольной службой, то он сейчас же схватил счеты и начал отщелкивать на них несуществующие сотни тысяч и миллионы. При этом он время от времени выводил каракули на узеньком листе бумаги. Конец дня ему показался не таким тяжелым, как его начало, и в установленное время он собрал исписанные бумажки в портфель и с облегченным сердцем покинул «Гелиотроп». И вот все о нем.

Что же касается начальника вазонов, товарища Женералова, то в день поступления на службу он был чрезвычайно удивлен поведением Абукирова. Начальник газонов часто открывал ящики своего стола и, как видно, усиленно работал.

Женералов, которому решительно нечем было заняться, очень испугался.

«Ой! — подумал он.— У него работы тьма, а я бездельничаю. Не миновать неприятностей!»

И хотя Женералов был человеком холостым, но он тоже боялся потерять покойную службу. И поэтому он бросился к счетам и начал отсчитывать на них

какую-то арифметическую чепуху. Боязнь его в первый же день дошла до того, что он решил уйти из «Гелиотропа» позже своего деятельного коллеги.

Но на другой день он слегка расстроился. Придя на службу минута в минуту, он уже застал Абукирова. Начальник газонов решил показать своему сослуживцу, что работы с газонами в конце концов гораздо больше, чем с вазонами, и пришел на службу не в десять, а в девять.

Но тут Шахерезада заметила, что время службы истекло, и скромно умолкла.

А когда наступил

Девятый служебный день,

она сказала:

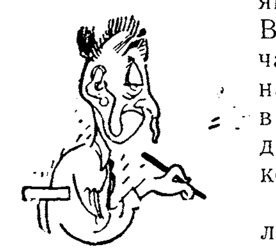
— ...И пришел на службу не в десять, а в девять.

И вот оба они, не осмеливаясь даже обменяться взглядами, просидели весь рабочий день. Они гремели счетами, рисовали зайчиков в блокнотах большого формата и без повода рылись в ящиках, не осмеливаясь уйти один раньше другого.

На этот раз нервы оказались сильнее у Женералова. Томимый голодом и жаждой, Абукиров ушел из «Гелиотропа» в половине седьмого вечера.

Женералов, радостно взволнованный победой, убежал через минуту.

Но третий день дал перевес начальнику газонов. Он принес с собой бутерброды и, напитавшись ими, свободно и легко просидел до восьми часов. Левой рукой он запихивал в рот колбасу, а правой рисовал обезьяну, притворяясь, что работает. В восемь часов пять минут начальник вазонов не выдержал и, надевая на ходу пальто, кинулся в общественную столовую. Победитель проводил его тихим смешком и сейчас же ушел.



На четвертый день оба симулировали до десяти часов вечера.

А дальше дело развивалось в продолженном обоими чрезвычайно быстром темпе.

Женералов сидел до полуночи. Абукиров ушел в час ночи.

И наступило то время, когда оба они засиделись в «Гелиотропе» до рассвета. Желтые, похудевшие, они сидели в табачных тучах и, уткнув трупные лица в липовые бумажонки, трепетали один перед другим.

Наконец их потухшие глаза случайно встретились. И слабость, овладевшая ими, была настолько велика, что оба они враз признались во всем.

— А я-то дурак! — восклицал один.

— А я-то дурак! — стонал другой.

— Никогда себе не прощу! — кричал первый.

— Сколько мы с вами времени потеряли зря! — жаловался второй.

И начальники газонов и вазонов обнялись и решили на другой день вовсе не приходить, чтобы радикально отдохнуть от глупого соревнования, а в дальнейшем, не кривя душой, играть на службе в шахматы, обмениваясь последними анекдотами.

Но уже через час после этого мудрого решения Абукиров проснулся в своей квартире от ужасной мысли.

«А что,— подумал он,— если Женералов облечен специальными полномочиями на предмет выявления бездельников и вел со мной адскую игру?»

И, натянув на свои отощавшие в борьбе ножки москвошвейные штаны из бумажного бостона, он побежал в «Гелиотроп».

Дворники подметали фиолетовые утренние улицы, молодые собаки рылись в мусорных холмиках. Сердце Абукирова было сжато предчувствием недоброго.

И действительно, между мокрыми львами «Гелиотропа» стоял Женералов со сморщенным от бессонных ночей пиджаком и жалко глядел на подходящего Абукирова, в котором он уже ясно видел лицо, облеченное специальными полномочиями на предмет выявления нерадивых чиновников.

И едва дворник открыл ворота, как они кинулись к своим столам, бессвязно бормоча:

— Тьма работы, срочное требование на вазоны!

— Работы тьма. Новые газоны!

И рассказывают (но один лишь Госплан всемогущий знает все), что эти глупые люди до сих пор продолжают симулировать за своими желтыми шведскими бюро.

И сильный свет штепсельных ламп озаряет их костяные лица.

Но вся эта правдивая история ничто в сравнении с рассказом о молодом человеке с бараньими глазами.

— Я ничего не слышал о таком человеке! — воскликнул товарищ Фанатюк.

И подумал:

«Я дурак буду, если уволю ее, прежде чем не узнаю о человеке с бараньими глазами!»

ЧЕЛОВЕК С БАРАНЬИМИ ГЛАЗАМИ

— В этом рассказе,— начала Шахерезада Федоровна,— будет описана головокружительная карьера человека с бараньими глазами.

Борис Индюков сызмальства обучался в литературных университетах, академиях и пантеонах. Он поставил себе целью стать великим писателем советской земли, но Институт Стихотворных Эмоций, где он обучался, прихлопнул Главпрофобр, прежде чем Борис Индюков понял, что в конце фразы необходимо ставить точку.

Оставались еще две литературных избушки, где молодых людей посвящали в таинства слова, одновременно освобождая от воинской повинности: ИДИЭ или Институт Динамики и Экспрессии на Поварской улице и литкурсы артели лжеинвалидов под названием Литгико при ГАХНе.

Дела артели Литгико шли плохо, так что ректор беллетристического предприятия гр. Мусин-Гоголь уже собирался сматывать удочки: ему не под силу было

конкурировать с Институтом Динамики и Экспрессии. Литгико пустовало, а ученики валом валили в ИДИЭ, куда поступил также и Борис Индюков.

Но не успел Борис Индюков решить, заняться ли ему динамикой или посвятить себя экспрессии, как Главпрофобр закрыл и эту литизбушку.

С печальным воем кинулись ученики в уцелевшее Литгико. Впереди всех бежал Борис Индюков. Бараньи его глаза блистали вдохновением.

Но Мусин-Гоголь прекрасно учел конъюнктуру, создавшуюся на литературной бирже, и взимал с новых учеников плату за два года вперед.

Литгико занимало половину магазина на 1-й Тверской-Ямской. Вторую половину и окно арендовал часовой мастер Глазиус-Шенкер, окруженный колесиками, пенсне и пружинами. В магазине часто и резко звонили будильники. В глубине помещения сидел торжествующий Мусин-Гоголь, принимал деньги и выдавал квитанции. Рядом с ним помещался Отдел отсрочек, где предъявителям квитанций выдавались нужные бумаги. А в самом темном углу магазина, где часовщик свалил свои неликвидные товары, сидел профессор-вундеркинд, тринадцатилетний декан факультета ритмической прозы, и громко читал стихи Веры Инбер.

Ровно через два часа после зачисления Индюкова в ряды студентов угрюмый Главпрофобр закрыл последний литературный оазис. Денег ученикам не возвратили, потому что Мусин-Гоголь успел спастись, увозя с собою плату за право обучения.

И снова Борис Индюков остался ни при чем, так и не узнав, точно ли необходимо ставить точку в конце фразы. Но тяга к изящной литературе была настолько велика, что Борис решил немедленно же приступить к творческой работе. За два месяца он сочинил роман

из жизни дровосеков и дровосечек под названием «Пни». Своего первенца Индюков посвятил «Начальнику гублита дружелюбиво». Но эта предусмотрительность ни к чему не привела. Ни одно издательство не согласилось напечатать роман «Пни», у автора которого катастрофически не ладилось дело со сказуемым. Начальник гублита так и не узнал о дружелюбивом посвящении.

Тогда Индюков написал шесть романов: «На перепутье», «Пути и овраги», «Шагай, фабзаяц», «Серп и молот», «В ногу» и «Дуня-активистка».

Ни один из них не был напечатан, и Борис Индюков начал уже было отчаиваться, когда в его голову пришла замечательная мысль.

Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.

Когда же наступил

Десятый служебный день,

она сказала:

— ...В его голову пришла замечательная мысль.

Сообразив, что конкурировать с пятьюдесятью тысячами советских писателей — задача нелегкая и требующая некоторого дарования, Борис Индюков мыслил три дня и три ночи. И все понял.

«Зачем,— решил он,— самому писать романы, когда гораздо легче, выгоднее и спокойнее ругать романы чужие».

И с жаром, который сопутствовал ему во всех начинаниях, Борис Индюков принялся за новый жанр. На его счастье, молодая неопытная газета «Однажды утром» задумала библиографический отдел по совершенно новой системе.

— Понимаете? — радостно говорил редактор Индюкову, который случайно оказался в его кабинете.— Мы строим отдел библиографии совсем по-новому. Каждая рецензия — три строки. Понимаете? Не

больше! Гениально! Отдел так и будет называться: «В три строки».

— Понимаю! — радостно отвечал Индюков.

— Отлично! — ликовал редактор.— Утрем нос всем толстым журналам!

— Утрем! — кричал Индюков тем же тоном, каким суворовские солдаты кричали: «Умрем».

Новая работа совершенно поглотила Бориса Индюкова. В трех строчках как раз вмещалось все то, что Индюков мог сказать о толстой в четыреста страниц книге.

Рецензии на отечественные романы писались по форме № 1.

«Автор. Название книги. Из-во. Год. Цена. Число страниц». Кому нужна книга писателя (такого-то)? Никому она не нужна. Мы рекомендовали бы писателю (такому-то) осветить быт мороженщиков, до сих пор еще никем не затронутый».

Рецензии на иностранные романы писались по форме № 2.

«Автор. Название книги. Из-во. Цена. Число страниц». Книга французского писателя (такого-то) написана со свойственным иностранцам мастерством. Но... кому нужна эта книга? Никому она не нужна. Эта книга не впечатляет».

Подписывался Индюков самыми разнообразными инициалами, стараясь таким образом сбить со следа писателей. Он подписывался: «Б. И.», «А. Б.», «Индио», «Индус», «Инус», «Иус», а иногда просто «ов». Но, несмотря на эти предосторожности, Индюкова иногда выслеживали и поколачивали.

Спасаясь от побоев, Индюков вошел в охрану труда с ходатайством о выдаче ему панциря, но получил отказ, так как параграфа о панцирях в колдоговоре не нашли. Тогда на великие доходы от маленьких рецензий он сшил себе толстую шубу на вате и на хорьках и, когда его били, только улыбался.

Писатели, изнуренные борьбой с «Индио», «Б. И.» и — «-овым», переменили тактику. Малодушные перестали писать, а сильные духом принялись заискивать перед всесильным «Индио».

Положение Индюкова упрочилось. Его комната была завалена тюками книг с автографами. На некоторых из них он с удовольствием читал печатные посвящения: «Тов. Индюкову — дружелюбиво». И ничто отныне не омрачает его благополучия.

И если высокочтимый товарищ Фанатюк или кто-нибудь из членов комиссии захочет написать роман, пусть лучше этого не делает. Борис Индюков выругает его в трех строках по форме № 1.

Но эта история менее занимательная, чем рассказ о «Золотом Лете».

И товарищ Фанатюк подумал:

«Клянусь Госпланом, я не уволю ее, пока не услышу рассказа о «Золотом Лете».

РАССКАЗ О «ЗОЛОТОМ ЛЕТЕ»

И Шахерезада Федоровна, стараясь оттянуть час своего увольнения, начала новый рассказ.

— Знайте, о члены комиссии по чистке аппарата, что в нашей столице существовали два учреждения: губернское издательство «Водопой» и издательское общество «Золотое Лето».

«Водопой» издавал изящную литературу с налетом социальной грусти и предисловиями чинов Государственной Академии Художественных Наук. Толстенькие водопоевские книжки выходили в переплетах, крытых сатином, который обычно идет на косоворотки и подкладку к демисезонным пальто. Сверх переплета книга была заключена в бумажную обертку. На обороте титульного листа водопоевской книжки всегда красовались важные строки:

Переплет, суперобложка и форзац работы
худ. Э. Рыцарева. Суперобложка отпечатана
на Гос. карточной фабрике.

И действительно, каждая водопоевская книга своей тяжеловесной пышностью напоминала даму треф. Во-

обще «Водопой» славился тонкими манерами и даже посылал своим авторам новогодние поздравления!

Что же касается издательского общества «Золотое Лето», то это было издательство совсем другого диапазона. Издавало оно изящную литературу уже не с налетом социальной грусти, а с примесью социального негодования.

Хотя предисловия к золотолетовским книгам принадлежали тем же чинам Академии Худ. Наук, но обложки книг были сделаны не из благородного сатина, а из обыкновенной бумаги, на которой независимо от содержания книги были изображены двутавровые балки и хорошенькие дамские мордочки. Делалось это в интересах распространения.

Авторам своим «Золотое Лето» никаких поздравлений не посылало, но зато часто устраивало писательскую чашку чаю (полбутылки вина на писательскую душу).

Говоря короче, «Водопой» издавал культурные ценности, оставшиеся от царского режима, а «Золотое Лето» печатало сочинения современных авторов, признавших советскую власть несколько позже Италии, но немного раньше Греции.

Совершенно естественно, что оба издательства враждовали между собой. «Водопой» полагал почему-то, что его грабит «Золотое Лето», захватив в исключительное пользование современных авторов. А «Золотое Лето» в свою очередь облизывалось на авторов, уцелевших от старого мира.

Междоусобие, все усиливаясь, привело к тому, что главы обоих учреждений беспрерывно делали визиты в Центробукву, где интриговали с необыкновенным пылом. Хлопоты «Водопоя» сводились к тому, чтобы подчинить себе «Золотое Лето», а «Лето» стремилось поглотить «Водопой».

И вот однажды Центробуква, правильно рассудив, что два издательства хорошо, а одно еще лучше, постановила слить их вместе, присвоив новому организму название «Златопой». Сделано это было так дипломатично, что ни одна из сторон не могла понять, кто победил и кто будет верховодить «Златопоем».

Золотолетовцы бродили по новому учреждению и гордым своим видом старались показать, что хозяева здесь они. Почтенные же водопоевцы, поблескивая во мгле коридоров лысинами, тоже праздновали победу, считая, что взяла верх их группа.

Самым главным для них была борьба за власть. То же обстоятельство, что у них была теперь одна работа и одна финансовая часть, волновало их меньше всего.

Но здесь Шахерезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.

А когда наступил

Одиннадцатый служебный день,

она сказала:

— И конкуренция, которую Центробуква замыслила искоренить слиянием обоих издательств, разгорелась с новой силой.

Современные авторы, а равно и авторы, перешедшие от царского режима, в начале реформы сильно опечалились.

— Были две кормушки,— визгливо восклицали они,— а стала одна кормушка.

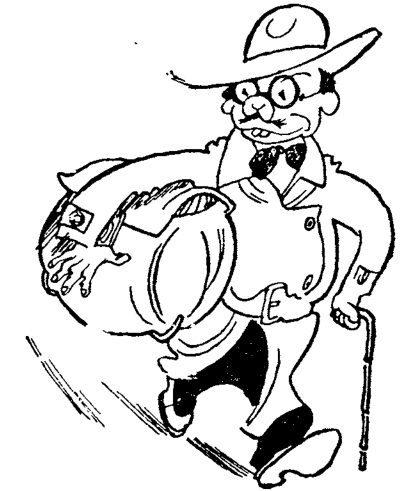
Но время шло, и авторы убедились, что особых изменений не произошло.

— Были две кормушки,— восклицали они еще визгливее,— и остались две кормушки!

И во мгле златопоевских коридоров продолжались дикие схватки за обладание авторами. Бывшие водопоевцы считали высшей доблестью перехватить автора в вестибюле и подписать с ним договор именно в той комнате, где сидели они, но никак не в комнате, где заседали бывшие золотолетовцы. Ту же тактику применяли золотолетовцы. И таким образом в объединенном издательстве между двумя точками ежедневно проводились две прямые линии, что со времен Эвклида считалось невозможным. И вот все об этих странных людях.

Жил в ту пору в Москве писатель Модест Хамяков, автор двух книг, из коих одна — «Бураны» —

был а издана в тысяча девятьсот одиннадцатом году, другая же — «Буруны» — в тысяча девятьсот двадцать пятом году. Придя к заключению, что читатель соскучился и ждет от него третьей книги, Модест Хамяков пришел в «Златопой» позондировать почву.



Уже в вестибюле его остановил благообразный старичок, сразу признавший в Хамякове писателя, уцелевшего от старого мира.

— Модест Львович,— сказал он,— подкинули бы нам полное собрание своих сочинений.

Хамяков согласился подкинуть. Кстати, собрание сочинений оказалось у него в портфеле. Договорившись с бывшими водопоевцами, Модест направился к выходу, но здесь был обнаружен молодым человеком, который сразу узнал в Хамякове автора, признавшего советскую власть на неделю раньше Мексики.

— Здравствуйте, товарищ Хамяков,— сказал молодой человек.— Подкиньте нам свои романы для собраньица сочиненьиц.

— А я уже подкинул,— сказал простодушный Модест.— В бывший «Водопой». Для собраньица сочиненьиц.

— Здравствуйте! — с горечью закричал молодой человек.— Ведь вы — современный автор и, следовательно, подведомственны бывшему «Лету». Давайте собраньице!

Собраньице оказалось у простодушного Модеста в портфеле. Книги же, сданные водопоевцам, строгий молодой человек обещал отобрать.

Тихий Модест засел на своей Собачьей площадке за грозовую повесть, ничего не зная о том, что в «Зла-

топое» из-за его собраньица началась свалка. Однако молодому человеку не удалось победить благообразного старичка. Но и старичку не удалось одолеть молодого человека.

— Мы,— упрямо бормотал водопойный старик,— уже включили Хамякова в план. Ведь он типичный автор, уцелевший от старого режима.

— А мы не включили? — надсаживался золотолетовский молодец.— Насчет старого мира нам ничего неизвестно, но зато хорошо известно, что он признал советскую власть еще раньше Мексики. Де-юре и де-факто!

И через два месяца, в рекордный срок, объединенное издательство «Златопой» выпустило в продажу двух Хамяковых. Одно собрание было издано в косоворотечных переплетах и карточной суперобложке. Предисловие принадлежало перу академика Худ. Наук и имело налет социальной грусти.

То же самое собрание сочинений появилось одновременно в желтой обложке с изображением балок и мордочек с предисловием того же худ. академика, но уже с примесью социального негодования. И, к удивлению читателей, на обоих собраниях стояла издательская марка «Златопоя».

— Но это ничто,— добавила Шахерезада,— в сравнении с историей о преступлении Якова Трепетова.

И товарищ Фанатюк, возглавлявший комиссию по чистке аппарата, подумал:

«Клянусь Госпланом, я не уволю ее, пока не узнаю этой истории!»

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЯКОВА

И Шахерезада Федоровна начала новый рассказ.

— Людям свойственно быть недовольными своей профессией.

Был недоволен и Яков Трепетов, испытанный культработник, глава культотдела союза местного транспорта.

Товарищ Трепетов блестяще украшал свой город. Он был честен, умен и работоспособен. Таких людей, как Яков Трепетов, обычно зовут бессребрениками.

— Этот не украдет,— говаривал о нем культработник Умрихин.— Бернардов украдет, даже Бернгардов может украсть! Я украду! Но Трепетов Яшка копейки чужой не тронет.

Но Яков Трепетов тронул чужую копейку.

Это было невероятно, неслыханно, неправдоподобно, но это случилось.

Светлым майским вечером, когда общественность города прогуливалась по бульвару, культработник Яков Трепетов, этот бессребреник, подкрался на глазах у всех к сослуживцу своему Умрихину, залез к нему в карман пиджака, вытащил кошелек и неторопливо стал удаляться.

В конце бульвара его схватил заметивший кражу милиционер. Трепетов не сопротивлялся. Собралась толпа.

— Он пошутил! — кричал подоспевший Умрихин.— Пустите его! Что за глупые шутки, Яков?

— Он пошутил,— поддержала толпа, хорошо знавшая Трепетова.

И милиционер уже приготовился отпустить шутника на свободу, когда Трепетов сказал:

— Я не шутил. Я обокрал этого почтенного гражданина. Я вор. Ведите меня в темницу. Вяжите меня.

Однако никто его не вязал. Тогда Трепетов вспылил.

— Почему,— обратился он к милиционеру,— вы не исполняете возложенных на вас обязанностей?

Милиционер сконфузился и робко заявил, что раз потерпевший не имеет претензий, то вести уличенного в темницу нет надобности.

— Вы не знаете уголовно-процессуального кодекса! — завизжал Трепетов, обводя притихшую толпу злыми глазами.— А я знаю! Я досконально изучил! Заявление потерпевшего от кражи не обязательно! Если преступление, предусмотренное сто восьмидесятой статьей уголовного кодекса, совершено, то вы обязаны передать правонарушителя в руки правосудия.

— Что ж, я могу,— неуверенно сказал милиционер,— будьте, граждане, свидетелями.

И он повел Якова Трепетова судиться.

На суде разыгрались драматические сцены. Все свидетели, подтверждая факт кражи кошелька с девятью рублями сорока четырьмя копейками и одним выигрышным билетом кругосветной лотереи стоимостью в пятьдесят копеек, в один голос говорили, что это выше их понимания.

Потерпевший в продолжение всего заседания умолял обвиняемого «оставить эти глупые шутки». Но обвиняемый был непоколебим.

— Делайте ваше дело! — заявил он судьям.— Важны не девять рублей сорок четыре копейки, а важен принцип. Я преступил закон и должен понести соответствующую кару.

Но тут Шахерезада Федоровна заметила, что служебный день окончился.

А когда наступил

Двенадцатый служебный день,

она сказала:

— И суд вынужден был заключить бессребреника на две недели в исправдом.

— А мне больше и не надо! — сказал Трепетов, просияв.— Спасибо, судьи! Вы правильно судили!

Дело в том, что испытаннейший культработник и активный общественник Трепетов считал настоящим своим призванием не организацию библиотек, которую он проводил с большим умением, не оживление кружковой работы и не вовлечение в клуб старичков, а сочинение стихов.

Писал он их по ночам, а утром прятал написанное в сундук и, вздыхая, невыспавшийся и хмурый, шел на работу, повторяя по дороге сочиненные за ночь строфы:

Не верь, родимая, наветам,
Я их не устрашусь! Вотще!
И грудь моя под дулом пистолета
Все, все вздыхает по тебе!
Не верь, родимая, молю — не верь,
Ведь я люблю тебя, как зверь.

На такие вот дела тратил культработник ценные часы своего отдыха. Но часов отдыха становилось все меньше. Расширение сети кружков отнимало у него строфу за строфой. Вовлечение в клуб старичков требовало столько работы, что отпуск пришлось перенести на осень.

А между тем в душе зрела весенняя поэма. Даже название было уже проработано — «Майские грезы». Выявились даже начальные строки:

По клейким лепесткам уже стекает сок,
А воды уж весной шумят...

Времени же совершенно не было. Доведенный до крайности потными валами вдохновения, Яков Трепетов решился на кражу:

«В тюрьме мне никто не помешает,— с горькой радостью думал культработник,— там напишу я «Майские грезы».

Две недели показались ему достаточным сроком. И потому он с такой радостью встретил приговор.

В первый же день, с аппетитом пообедав «передачей», которую принес в тюрьму безутешный Умрихин, и с отвращением выбросив в «парашу» найденную в булке записку: «Яша! Брось эти глупости!» — Яков Трепетов засел за поэму.

Под мерные шаги часового и под тихую перебранку соседей хорошо думалось. Потные валы вдохновения окатили узника. Он почувствовал привычный грохот в висках и начал быстро писать:

МАЙСКИЕ ГРЕЗЫ

(Поэма)

По клейким лепесткам уже стекает сок,
А воды уж весной шумят...

Но тут дверь камеры с шумом отворилась.

— Трепетов Яков! — закричал надзиратель.

— Есть! — ответил поэт, отрываясь от любимого занятия.

— Идите в клуб. Вы, кажется, культработник? Вас начальник культотдела зовет.

— Зачем? — воскликнул узник.

— Вести культработу. Поставить библиотеку на должную высоту, оживить кружковую работу и вовлечь побольше старичков рецидивистов!

Со стесненным сердцем побрел Трепетов в клуб. Но там, как старый кавалерийский конь, заслышавши звуки трубы, он принялся прорабатывать, вовлекать и налаживать. И когда он опомнился, срок заключения уже прошел.

Говорят, что поэма «Майские грезы» никогда не была закончена. Ибо, отсидев свой срок, Трепетов нашел культработу запущенной и ему пришлось работать даже по ночам.

— Таким образом,— закончила Шахерезада,— одним плохим поэтом стало меньше! Но эта история ничто в сравнении с рассказом о молодости, как таковой.

— Я ничего не знаю об этом,— сказал председатель по чистке, товарищ Фанатюк.— Что же это за история?

ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ

И Шахерезада Федоровна, делопроизводительница конторы по заготовке Когтей и Хвостов, начала новый рассказ.

— Сейчас, о высокочтимый товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии по чистке, я расскажу вам трагическую историю.

Среди нынешней молодежи нетрудно различить юношей двух типов: жоржей и братишек.

Братишки окончательно порвали со старым миром, носят рубашки «апаш», редко чистят зубы, всей душой болеют за родную футбольную команду, летом занимаются пешеходством, а зимой в прохладных аудиториях копят духовные ценности.

Жоржи со старым миром не порвали. Они носят преувеличенно широкие панталоны, зубов не чистят никогда и не в силах забыть о бабушке-фрейлине или

о том, что их дедушка был чиновником министерства финансов. По вечерам жоржи предаются танцам, которые составляют их любимое занятие.

Есть еще смешанные фигуры: жоржобратишки и братишкожоржи. Первые совершают медленную эволюцию от тонкого аристократизма жоржей к детской непосредственности братишек. Вторые из лагеря братишек совершают переход к солнечному быту жоржей.

Однако в нашем рассказе участвуют породы чистых кровей: Коля Архипов был типичным братишкой, а вид Гени Черепенникова сразу указывал на то, что Геня чистопородный жорж.

И вот однажды в коридоре электротехникума, где оба они учились, Коля Архипов в присутствии множества студентов ударил Геню Черепенникова по бледному, одухотворенному лицу.

— Вот тебе за политграмоту Бердникова и Светлова! — сказал Коля Архипов после нанесения удара.

Этим он хотел намекнуть Черепенникову, что нехорошо «заматывать» такую полезную книгу.

В коридоре стало тихо. Все ждали обратного удара. Геня Черепенников, в котором закипели самые благородные чувства, двинулся было на обидчика, но, вовремя оценив его атлетическую фигуру, повернулся на полпути и ушел.

Два дня перед ним витала тень дедушки из министерства финансов и взывала о мщении. А на третий день он подошел к братишке Архипову и сказал:

— Вы, конечно, понимаете, что порицание, которое вам вынесло Исполбюро, меня не удовлетворяет. Такие оскорбления смываются только кровью. Я требую сатисфакции.

— Чего? — спросил Коля.

— Дуэли.

— Это можно,— хладнокровно сказал Коля,— мы к дуэли привычные.

— Не паясничайте, Архипов! — воскликнул Черепенников.— Хоть в этот решительный час ведите себя достойно. Я все обдумал. К сожалению, в советских

условиях возможна только тайная американская дуэль. Мы тянем жребий. Тот, кто вытянет бумажку с крестом, должен умереть, то есть покончить жизнь самоубийством, предварительно оставив записку: «В смерти моей прошу никого не винить». Способ самоубийства любой. Вас это устраивает?

Колю Архипова это устраивало. Он шаркнул ножкой, обутой в яловочный сапог, и заявил, что давно жаждал американской дуэли.

— Смотрите,— сказал Геня Черепенников, отрезав две бумажки и отмечая одну из них крестом,— дело серьезное. Вы живете последний день.

— Пожалуйста, пожалуйста,— угодливо заметил Архипов,— после того как вы замотали у меня Бердникова, я как-то потерял вкус к жизни!

— Что вы, интересно знать, запоете, когда вытащите роковую бумажку? — со злостью закричал Геня.

Враги потянули жребий.

Геня Черепенников был так уверен в победе, что даже зашатался, когда увидел на своей бумажке крест.

В этом месте Шахерезада заметила, что служебный день окончился.

А когда наступил

Тринадцатый служебный день,

она продолжала:

— Что же теперь будет? — жалобно спросил он.

— Очень просто,— сказал Архипов,— вам, как любителю дуэлей, самоубийство должно доставить живейшее удовольствие. Сейчас вы пойдете домой и, опрыскав одеколоном ТЭЖЭ листок почтовой бумаги, твердым почерком напишете: «В смерти моей прошу никого не винить». А потом — какой широкий выбор! Сколько разнообразия! Кстати, не советую вам бросаться под дачные поезда. Это пошло. Умрите с честью, красиво — под сибирским экспрессом, у станции Лосиноостровской.

Геня Черепенников пришел домой с позеленевшим лицом. Есть ему не хотелось. Он с отвращением поболтал ложкой в супе и перешел к письменному столу. Тень финансового дедушки незримо витала над ним.

«В смерти моей прошу никого не винить»,— написал он на листке почтовой бумаги.

Дедушка одобрительно закивал головой.

Потом Геня Черепенников всхлипнул, перечеркнул страничку и сделал новую надпись:

«В смерти моей прошу винить Николая Архипова (Токмаков переулок, 20, комн. 271. Застать можно вечером), который подстрекал меня к самоубийству».

Дедушка презрительно усмехнулся, но Гене было все равно.

«Дадут Кольке восемь лет со строгой за подстрекательство,— злорадно подумал он,— воображаю его удивление».

Но умирать все-таки мучительно не хотелось, хотя дедушка — старорежимный самурай — строгим своим видом показывал, что медлить неудобно и нужно приступать к харакири.

«И чего этот лезет,— подумал Геня Черепенников, отмахиваясь от навязчивой тени,— самого небось каждый день по морде хлестали и ничего, дожил, дурак, до восьмидесяти лет. Тоже лорд-мэр города Парижа выискался, хранитель традиций!»

Однако смыть оскорбление кровью было необходимо.

Геня Черепенников провел ночь типичного самоубийцы. Он пил кипяченую воду, бросал на пол листки бумаги, писал на стене слово «Люба» и выкурил два десятка папирос «Ау».

Утром он пробудился с тем же ощущением безысходности. Тяжесть несмытого оскорбления давила его тысячами тонн.

И Геня Черепенников решился.

Он взял чистый лист бумаги и твердым почерком написал:

«В нарсуд Бауманского района.

Настоящим прошу привлечь к ответственности

гр. Н. Архипова за оскорбление меня действием. Есть свидетели».

Через неделю нарсуд приговорил Архипова к пятнадцати рублям штрафа, что составляло его полуторамесячную стипендию.

Архипов был сконфужен. Черепенников торжествовал.

— А следующая история,— закончила Шахерезада,— будет об удивительном больном — Мисаиле Трикартове.

«Клянусь Госпланом,— подумал товарищ Фанатюк,— я не уволю ее, пока не услышу рассказа о Мисаиле Трикартове!»

ПРОЦЕДУРЫ ТРИКАРТОВА

И Шахерезада Федоровна начала:

— Знайте, товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии по чистке аппарата, что весною служилым людом овладевает лечебная лихорадка. Чем пышнее светит солнце, чем пронзительнее поют птицы, тем хуже чувствуют себя служивые. Молодая трава вырастает за ночь на вершок, ртутная палочка термометра подымается кверху так поспешно, словно хочет добраться до второго этажа, а служивым делается все горше и горше.

Им хочется лечиться, лечиться от чего угодно и как угодно, лишь бы это было в санатории и по возможности на юге.

Мисаил Александрович Трикартов, пожилой, но еще прыткий человек, был подвержен лечебной лихорадке в особенно сильной степени.

— Все лечатся,— восклицал он, держась обеими руками за пухлую грудь,— а я должен погибать. Я тоже хочу лечиться!

— Что же с вами? — участливо спрашивали сослуживцы.

— Откуда мне знать! — визжал Мисаил.— Ну колит, ну катар. Порок сердца. Я не доктор, но я чувствую.

И Мисаил побежал к профессору. Он считал, что лечиться можно только у профессоров.

Профессор долго прикладывал ухо к голому Трикартову и прислушивался к работе его органов с тою внимательностью, с какою кошка прислушивается к движениям мыши.

Во время осмотра трусливый Мисаил Александрович смотрел на свою грудь, мохнатую, как демисезонное пальто, полными слез глазами.

— Ну что? — выговорил он, глядя в спину профессора, который мыл руки.

Он хотел спросить, «есть ли надежда», но губы у него задрожали и насчет надежды не вышло.

— Вы здоровы,— сказал профессор.— Абсолютно.

— У меня порок сердца! — вызывающе сказал Трикартов.

Профессор рассердился.

— А вы знаете, что такое порок сердца?

За визит к профессору Трикартов уплатил семь рублей, и поэтому он тоже рассердился.

— Знаю,— сказал он.— Порок сердца, это когда сердце стучит. Кроме того, у меня еще колит, катар и невроз.

— Вы дурак,— ответил профессор.

Тем не менее Трикартов решил лечиться. Сначала он хотел лечить свои болезни за счет государства. Но государство этого не захотело.

Тогда Мисаил убедился, что во врачебных комиссиях сидят такие же жулики, как и профессора, занимающиеся частной практикой, от знакомых он разузнал, что в Кисловодске хорошо лечат, и купил себе койку в одном из тамошних санаториев.

Погода благоприятствовала поездке Трикартова. Он поселился среди роз. Он занимал чудную комнату. Но все это не радовало его. Он завидовал.

С рассвета в санатории начиналась хлопотливая жизнь. Часть больных, как стадо антилоп, направлялась к источнику, где упивалась нарзаном. Других под руки вели к грязевым ваннам. Некоторых пытали душами Шарко. Были и такие, которых заворачивали в мохнатые простыни и заставляли потеть.

Со всеми что-то делали, с одним лишь Трикартовым ничего не делали. И Мисаил очень страдал от этого.

Но однажды увидел он нечто такое, чего перенести уже не смог.

Но здесь Шахерезада заметила, что служебный день окончился, и скромно умолкла.

А когда наступил

Четырнадцатый служебный день,

она сказала:

— Гуляя по санаторию, он забрел во флигелек в саду. Там посреди комнаты на возвышении сидел человек, из волос которого бойко выскакивали синие электрические искры. Гудели какие-то машины.

— А мне почему этого не делают? — спросил Трикартов санитара.— Я тоже хочу, чтобы у меня искры. Я Трикартов.

— Вас нет в списке,— равнодушно ответил санитар.

Трикартов понял, что эта процедура самая дорогая и ее нарочно скрывают от него в саду.

Вечером, на террасе, в присутствии больных и гостей, он учинил главврачу большой скандал.

— Дайте мне мои процедуры,— кричал Мисаил Александрович, прыгая.— Где мои процедуры? Что это за кузница здоровья! Я деньги платил.

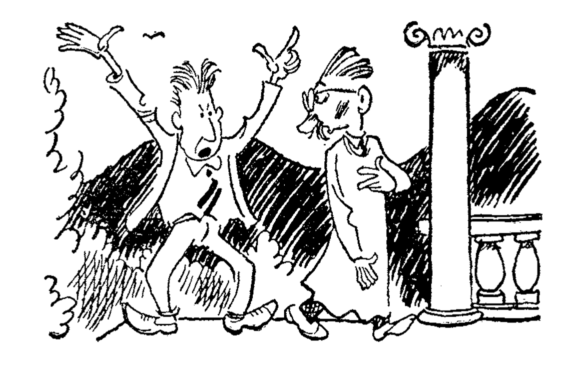
— Вы здоровы,— сконфуженно говорил главврач.— Вам не нужны процедуры. Отдыхайте. Старайтесь поменьше волноваться!

Но Трикартов не спал всю ночь и решил лечиться своею собственной рукой. На рассвете, пугливо озираясь по сторонам, он поскакал к источнику и вдоволь напился нарзану.

— Я им покажу,— сказал он, возвращаясь в санаторий.— Я уже чувствую себя лучше.

Днем он бегал по опрятным аллейкам, крича:

— Где горное солнце?



Не добившись солнца, Мисаил Александрович забрался в электрический флигелек и, приложив к груди цинковую пластинку со шнурами, включил ток. До самого вечера он содрогался от сдерживаемой радости, потому что медный вкус во рту не покидал его и создавал уверенность в быстром выздоровлении. Ночью, при свете луны, он снова пробрался к источнику и, отрыгиваясь, выпил шестнадцать стаканов газового напитка.

— Я им покажу! — шептал он, пробираясь через окно в свою комнату.

Остаток времени он провел с большой пользой. Вынув из-под кровати выкраденную синюю лампу, он возлег на постель, озарив себя гробовым светом,— лечился всю ночь. Здоровье Мисаила заметно улучшилось, но почему-то пропал аппетит. Души Шарко, нарзанные и грязевые ванны пришлось принимать конспиративно и большей частью по ночам.

— Плохо вы что-то выглядите,— сказал ему однажды врач.— Вы бы яичек побольше ели.

«Знаем! — подумал опытный Мисаил.— Хочет мне сплавить дешевые яички, а дорогое горное солнце уже месяц, как от меня прячет!»

Перед самым отъездом Трикартову удалось забраться к заветному солнцу. Но наслаждаться им пришлось всего лишь один час. Спугнула няня. По дороге в Москву, на станции Скотоватая, Мисаилу сделалось

плохо. Пришлось вызвать врача, который установил порок сердца, катар желудка и общее отравление неизвестными газами. Когда Трикартов предстал перед сослуживцами, вид у него был пугающий.

— Что с вами? — спрашивали друзья.

— Залечили, сукины дети! — ответил Мисаил.— Кварцевой лампы пожалели. Горное солнце давали в недостаточном количестве. Для наркомов берегли. Тоже кузница здоровья!

— Но эта история,— добавила Шахерезада,— ничто в сравнении с рассказом о борьбе двух чиновников.

«Клянусь Госпланом,— подумал товарищ Фанатюк,— что я не уволю ее, пока не услышу этого рассказа!»

И на этом окончился четырнадцатый служебный день. . . . .

БОРЬБА ГИГАНТОВ

Вот уже четырнадцать служебных дней, с десяти часов утра до четырех часов дня, Шахерезада Федоровна Шайтанова, делопроизводительница конторы по заготовке Когтей и Хвостов, рассказывала главе учреждения, товарищу Фанатюку, и членам комиссии по чистке всякого рода завлекательные истории и басни.

Четырнадцать дней контора, лишенная разумного руководства, бездействовала.

И вот, на пятнадцатый день, Шахерезада, глаза которой светились необыкновенным оживлением, начала новый рассказ.

— Знайте же, товарищ Фанатюк, что история, которую я вам сейчас поведаю, история чрезвычайно правдивая и гласит о борьбе двух чиновников.

Была в Москве контора по заготовке Когтей и Хвостов.

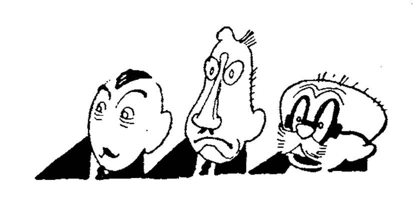
— Как? — вскричал товарищ Фанатюк.— Ведь это наша контора.

— Не перебивайте меня, о высокочтимый шеф,— ответила Шахерезада, тряся серьгами.—Быть может,

в Москве еще одна такая контора. Ведь один Госплан всеведущ и всемудр. Итак, я продолжаю. И были в этой конторе два начальника. Одного звали Фанатюк...

— Как! — снова воскликнул Фанатюк с раздражением.— Речь идет обо мне?

— Все возможно на свете,— уклончиво заметила Шахерезада.— В адресном столе под литером Ф. значится, может быть, несколько Фанатюков. Итак, я



продолжаю. Другой начальник носил мелодичную фамилию Сатанюк.

При имени своего врага товарищ Фанатюк вскочил.

— Однако,— закричал он, багровея,— это переходит все границы! На свете не бывает таких совпадений!

— На свете бывают и не такие совпадения,— сурово сказала делопроизводительница.— Если угодно, я могу прекратить рассказ, который, впрочем, обещает быть весьма интересным.

— Нет, нет! — воскликнул товарищ Фанатюк.— Рассказывайте, рассказывайте! Я в конце концов не против самокритики!

И Шахерезада, прерываемая возгласами удивления и возмущения, продолжала рассказ.

— Итак, начальников было двое, и, вместо того чтобы помогать друг другу в работе, они боролись между собой. И в жарких схватках они потянули за собой всю контору, и служащие разделились на два лагеря — фанатюковцев и сатанюковцев. Свет не видел более глупой и бессмысленной борьбы, ибо здесь

решающую роль играли не интересы дела, а самолюбие начальников.

Борьба кончилась полным поражением Сатанюка. Интригами противника он был снят с поста и брошен в Умань для ведения культработы среди тамошних извозопромышленников.

И грозная тень победившего Фанатюка упала на помертвевшую контору по заготовке Когтей и Хвостов для нужд широкого потребления.

— Это намек на меня! — вскричал глава учреждения.— Молчать! В двадцать четыре часа!.. Впрочем, простите, это все-таки интересно, рассказывайте.

— Ну и вот! — продолжала Шахерезада.— Надо прямо сказать, что товарищ Фанатюк был не из тех людей, которые хватают с неба звезды. Можно даже сказать, что он был глуп как пробка. Не возмущайтесь, не возмущайтесь. Вы ведь не против самокритики. Итак, он был глуп как пробка! Понимаете? Как пробка! Глуп и злопамятен.

Своим скудным умишком он решил выжить из конторы всех служащих, которых он считал сторонниками поверженного Сатанюка, и немедленно после обеда он приступил к чистке. Это был очень глупый человек. Понимаете? Очень. Он был, знаете ли, так глуп, что даже трудно вам рассказать. Я вижу, что это вам неприятно. Я лучше перестану.

— Продолжайте! — прохрипел Фанатюк.

На губах у него появилась мыльная пена. Члены комиссии старались не смотреть в его сторону.

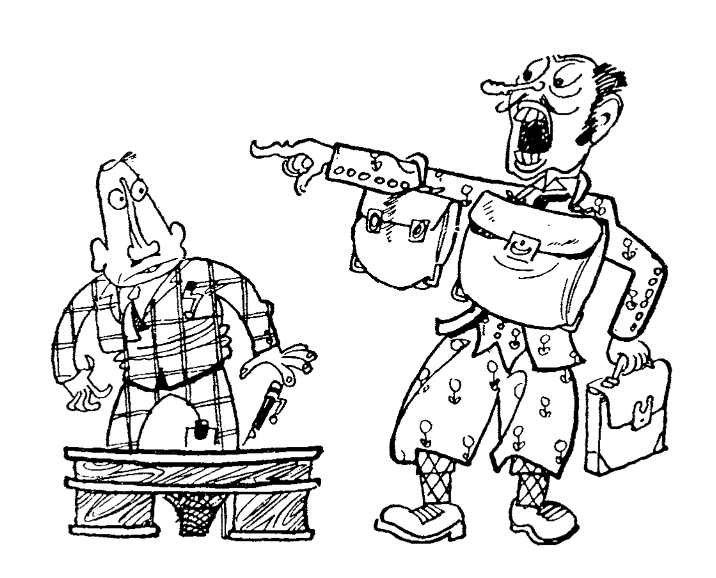
— Так вот, этот глупый человек дал себя обвести вокруг пальца ничтожнейшей из служащих, своей делопроизводительнице. Он хотел ее уволить, эту делопроизводительницу, потому что считал ее главной клевреткой Сатанюка.

Но делопроизводительница принялась рассказывать ему сказки, и этот более чем наивный человек слушал сказки четырнадцать дней. И служащие, ожидавшие увольнения, благословляли ее. Слушает он их и сейчас. Сегодня пошел пятнадцатый день. И пока он занимался этой чепухой, его враг, всеми нами уважа-

емый товарищ Сатанюк... Однако довольно. Не хочу больше рассказывать.

— Говорите! Что же сделал Сатанюк? — раздался умоляющий голос Фанатюка.— Я требую этого!..

— Не хочу. Не желаю. Противно.



— Но ведь, кажется,— говорил Фанатюк, предчувствуя недоброе,— ведь, кажется, полагается рассказывать тысяча один день.

— Не желаю и все тут. По колдоговору я вам сказки рассказывать не обязана.

— Тогда я вас увольняю. Вон. Без выходного. Запишите в протокол: «Увольняется делопроизводительница Шахерезада Шайтанова, как дочь...» Ну, все равно — «как дочь английской королевы Виктории». Вон!

Шахерезада встала. Серьги ее издали пугающий звон.

— Хорошо. Осел хочет узнать свою судьбу. Итак, я продолжаю. И пока он слушал сказки, товарищ Са-

танюк не дремал. Он нажал все пружины, и говорят, что добился восстановления.

— Не может быть! — запищал Фанатюк.

— Все может быть! — ответила побледневшая от торжества Шахерезада.— Прислушайтесь.

И действительно: откуда-то снизу, очевидно из швейцарской, послышался ропот голосов. Он все увеличивался, рос и приближался. Вскоре можно было различить явственное «ура».

Двери кабинета распахнулись, и в портале показалась мощная фигура товарища Сатанюка.

При нем были три портфеля. Один большой, нашейный, крокодиловый и два из свиной кожи в руках. И голос товарища Сатанюка был, как морской прибой в шестибалльный ветер.

— Кто сидит за моим столом? — спросил он, потряхивая какой-то бумажонкой.— Товарищ Фанатюк назначается в город Колоколамск на должность городского фотографа.

И еще никто в мире не сдавал дела с такой быстротой, как товарищ Фанатюк. Так окончились сказки Новой Шахерезады.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОШЛОЕ РЕГИСТРАТОРА ЗАГСА

На масленицу 1913 года в Старгороде произошло событие, взволновавшее передовые слои местного общества.

В четверг вечером в кафешантане «Сальве», в роскошно отделанных залах шла грандиозная программа:

ВСЕМИРНО-ИЗВЕСТНАЯ
ТРУППА ЖОНГЛЕРОВ

10 арабов!
Величайший феномен XX века
Стэнс
Загадочно! Непостижимо!
Чудовищно!!!
Стэнс человек-загадка!
Поразительные испанские акробаты
Инас!
Брезина — дива из парижского театра
Фоли-Бержер!
Сестры Драфир и другие номера

Сестры Драфир — их было трое — метались по крохотной сцене, задник которой изображал Версальский сад, и с волжским акцентом пели:

Пред вами мы, как птички,
Легко порхаем здесь,
Толпа нам рукоплещет,
Бомонд в восторге весь.

Исполнив этот куплет, сестры вздрогнули, взялись за руки и под усилившийся аккомпанемент рояля грянули что есть силы рефрен:

Мы порхаем,
Мы слез не знаем,
Нас знает каждый всяк —
И умный и дурак.

Отчаянный пляс и обворожительные улыбки трио Драфир не произвели никакого действия на передовые круги старгородского общества. Круги эти, представленные в кафешантане гласным городской думы Чарушниковым с двоюродной сестрой, первогильдейным купцом Ангеловым, сидевшим навеселе с двумя двоюродными сестрами в палевых одеждах, архитектором управы, городским врачом, тремя помещиками и многими менее именитыми людьми с двоюродными сестрами и без них, проводили трио Драфир похоронными хлопками и снова предались радостям «семейного парадного ужина с шампанским Мумм (зеленая лента) по два рубля с персоны».

На столиках в особых стоечках из белого металла торчали привлекательные голубые меню, содержание которых, наводившее на купца Ангелова тяжелую пьяную скуку, было обольстительно и необыкновенно для молодого человека, лет семнадцати, сидевшего у самой сцены с недорогой, очень зрелой двоюродной сестрой.

Молодой человек еще раз перечел меню: «Судачки попьет. Жаркое — цыпленок. Малосольный огурец. Суфле-глясе Жанна д'Арк. Шампанское Мумм (зеленая лента). Дамам — живые цветы». Сбалансировал в уме одному ему известные суммы и робко заказал ужин на две персоны. А уже через полчаса плакавшего молодого человека, в котором купец Ангелов громогласно опознал переодетого гимназиста, сына бакалейщика Дмитрия Маркеловича, выводил старый лакей Петр, с негодованием бормотавший: «А ежели денег нет, то зачем фрукты требовать. Они в карточке не обозначены, их цена особая». Двоюродная сестра, кокетливо закутавшись в кошачий палантин с черными лапками, шла позади, выбрасывая зад то направо, то налево. Купец Ангелов радостно кричал вслед опозо-

ренному гимназисту: «Двоечник! Второгодник! Папе скажу! Будет тебе бенефис!»

Скука, навеянная выступлением сестер Драфир, исчезла бесследно. На сцену медленно вышла знаменитая мадемуазель Брезина, с бритыми подмышками и небесным личиком. Дива была облачена в страусовый туалет. Она не пела, не рассказывала, даже не танцевала. Она расхаживала по сцене, умильно глядя на публику, пронзительно вскрикивала и одновременно с этим сбивала носком божественной ножки проволочное пенсне с носа партнера — бесцветного усатого господина. Ангелов и городской архитектор, бритый старичок, были вне себя.

— Отдай все и мало! — кричал Ангелов страшным голосом.

Гласный городской думы Чарушников, ужаленный в самое сердце феей из Фоли-Бержер, поднялся из-за столика и, примерившись, бросил на сцену кружок серпантина. Развившись только до половины, кружок попал в подбородок прелестной дивы. Неподдельное веселье захватило зал. Требовали шампанское. Городской архитектор плакал. Помещики усиленно приглашали городского врача к себе в деревню. Оркестр заиграл туш.

В момент наивысшей радости раздались громкие голоса. Оркестр смолк, и архитектор — первый обернувшийся ко входу — сперва закашлялся, а потом зааплодировал. В зал вошел известный мот и бонвиван, уездный предводитель дворянства Ипполит Матвеевич Воробьянинов, ведя под руки двух совершенно голых дам. Позади шел околоточный надзиратель, держа под мышкой разноцветные бебехи, составлявшие, по-видимому, наряды разоблачившихся спутниц Ипполита Матвеевича.

— Извините, ваше высокоблагородие,— дрожащим голосом говорил околоточный,— но по долгу службы...

Голые дамы с любопытством смотрели на окружающих. В зале началось смятение. Не пал духом один лишь Ангелов.

— Голубчик! Ипполит Матвеевич! — закричал он.— Орел! Дай, я тебя поцелую.

— По долгу службы,— неожиданно твердо вымолвил околоточный,— не дозволяют правила!

— Что-с? — спросил Ипполит Матвеевич тенором.— Кто вы такой?

— Околоточный надзиратель шестого околотка, Садовой части, Юкин.

— Господин Юкин,— сказал Ипполит Матвеевич,— сходите к полицмейстеру и доложите ему, что вы мне надоели. А теперь по долгу службы делайте что хотите.

И Ипполит Матвеевич горделиво проследовал со своими спутницами в отдельный кабинет, куда немедленно ринулись встревоженный метрдотель, сам хозяин «Сальве» и совершенно одичавший купец Ангелов.

Событие это, взволновавшее передовые круги старгородского общества, окончилось так же, как оканчивались все подобные события: двадцать пять рублей штрафа и статейка в местной либеральной газете «Общественная мысль» под неосторожным заглавием «Похождения предводителя». Статейка была написана возвышенным слогом и начиналась так:

«В нашем богоспасаемом городе что ни событие, то — сенсация!

И, как нарочно, в каждой сенсации замешаны именно:

— Влиятельные лица!!!»

Статья, в которой упоминались инициалы Ипполита Матвеевича, заканчивалась неизбежным: «Бывали хуже времена, но не было подлей» — и была подписана популярным в городе фельетонистом Принцем Датским.

В тот же день чиновник для особых поручений при градоначальнике позвонил в редакцию и любезно просил господина Принца Датского прибыть в канцелярию градоначальника к четырем часам дня для объяснений. Принц Датский сразу затосковал и уже не смог дописать очередного фельетона. В назначенное время венценосный журналист сидел в приемной градоначальника и, смущаясь, думал о том, как он, заикающийся настолько, что его не смогли излечить

даже курсы профессора Файнштейна, будет объясняться с градоначальником, человеком вспыльчивым и ничего не понимающим в газетной технике.

Градоначальник с особенным удовольствием всматривался в синеватое лицо Принца Датского, который тщетно силился выговорить необыкновенно трудные для него слова: «Ваше высокопревосходительство». Беседа кончилась тем, что градоначальник поднялся из-за стола и сказал:

— Для вашего спокойствия рекомендую о таких вещах больше не заикаться.

Принц Датский, успевший одолеть к этому времени слова «ваше высокопревосходительство», зашипел особенно сильно, позволил себе улыбнуться и, почти выворачиваясь наизнанку, вытряхнул из себя ответ:

— Т-т-т-так я-же в-в-в-ообще з-аикаюсь!

Остроумие Принца было оценено довольно дорого. Газета заплатила сто рублей штрафа и о следующих похождениях Ипполита Матвеевича уже ничего не писала.

Неожиданные поступки были свойственны Ипполиту Матвеевичу с детства.

Ипполит Матвеевич Воробьянинов родился в 1875 году в Старгородском уезде в поместье своего отца Матвея Александровича, страстного любителя голубей. Пока сын рос, болел детскими болезнями и вырабатывал первые взгляды на жизнь, Матвей Александрович гонял длинным бамбуковым шестом голубей, а по вечерам, запахнувшись в халат, писал сочинение о разновидностях и привычках любимых птиц. Все крыши усадебных построек были устланы хрупким голубиным пометом. Любимый голубь Матвея Александровича «Фредерик» со своей супругой «Манькой» обитал в отдельной благоустроенной голубятне.

На девятом году мальчика определили в приготовительный класс Старгородской дворянской гимназии, где он узнал, что, кроме красивых и приятных вещей: пенала, скрипящего и пахнущего кожаного ранца, переводных картинок и упоительного катания на лаковых перилах гимназической лестницы, есть еще единицы, двойки, двойки с плюсом и тройки с двумя минусами.

О том, что он лучше других мальчиков, Ипполит узнал уже во время вступительного экзамена по арифметике. На вопрос, сколько получится яблок, если из левого кармана вынуть три яблока, а из правого девять, сложить их вместе, а потом разделить на три, Ипполит ничего не ответил, потому что решить этой задачи не смог. Экзаменатор собрался было записать Воробьянинову Ипполиту двойку, но батюшка, сидевший за экзаменационным столом, со вздохом сообщил: «Это Матвея Александровича сын. Очень бойкий мальчик». Экзаменатор записал Воробьянинову Ипполиту три, и бойкий мальчик был принят.

В Старгороде было две гимназии: дворянская и городская. Воспитанники дворянской гимназии питали вражду к питомцам гимназии городской. Они называли их «карандашами» и гордились своими фуражками с красным околышем. За это в свою очередь они получили обидное прозвище «баклажан». Не один карандаш принял мученический венец из «фонарей» и «бланшей» от руки мстительных баклажан. Озлобленные карандаши устраивали на баклажан-одиночек облавы и с гиканьем обстреливали дворянчиков из дальнобойных рогаток. Баклажан-одиночка, тряся ранцем, спасался в переулок и долго еще сидел в подъезде какого-нибудь дома, бледный, потерявший одну галошу. Взятая в плен галоша забрасывалась победителями на крышу трехэтажного дома, самого высокого в городе.

Были еще в Старгороде кадеты, которых гимназисты называли «сапогами», но жили они в двух верстах от города, в своем корпусе, и вели, по мнению баклажан, жизнь загадочную и даже легендарную.

Ипполит завидовал кадетам, их голубым погончикам, с наляпанным по трафарету желтым александровским вензелем, их бляхам с накладными орлами; но лишенный, по воле отца, возможности получить воспитание воина, сидел в гимназии, получал тройки с двумя минусами и предпринимал самые неслыханные дела.

В третьем классе Ипполит остался на второй год. Как-то, перед самыми экзаменами, во время большой перемены три гимназиста забрались в актовый зал и

долго лазили там, с восторгом осматривая стол, покрытый сверкающим зеленым сукном, тяжелые малиновые портьеры с бомбошками и кадки с пальмами. Гимназист Савицкий, известный в гимназических кругах сорвиголова, радостно плюнул в вазон с фикусом, Ипполит и третий гимназист, Пыхтеев-Какуев, чуть не умерли от смеха.

— А фикус ты можешь поднять?— с почтением спросил Ипполит.

— Ого! — ответил силач Савицкий.

— А ну, подними!

Савицкий сейчас же начал трудиться над фикусом.

— Не подымешь! — шептали Ипполит с Пыхтеевым-Какуевым.

Савицкий с красной мордочкой и взмокшими нахохленными волосами продолжал напрягаться у фикуса.

Вдруг произошло самое ужасное. Савицкий оторвался от фикуса и спиною налетел на колонну красного дерева с золотыми ложбинками, на которой стоял мраморный бюст Александра I, Благословенного. Бюст зашатался, слепые глаза царя укоризненно посмотрели на мигом притихших гимназистов, и Благословенный, постояв секунду под углом в сорок пять градусов, кинулся головой вниз, как пловец в реку. Падение императора имело роковые последствия. От лица царя отделился сверкающий рафинадный кусок, в котором гимназисты с ужасом узнали нос. Холодея, товарищи подняли бюст и поставили его на прежнее место. Первым убежал Пыхтеев-Какуев.

— Что же теперь будет, Воробьянинов?— спросил Савицкий.

— Это не я разбил,— быстро ответил Ипполит.

Он покинул актовый зал вторым. Оставшись один, Савицкий, не надеясь ни на что, пытался водворить нос на прежнее место. Нос не приставал. Тогда Савицкий пошел в уборную и утопил нос в дыре.

Во время «греческого» в третий класс вошел директор «Сизик». Сизик сделал греку знак оставаться на месте и произнес ту же самую речь, которую он только что произносил по очереди в пяти старших классах. У директора не было зубов.

— Гошпода,— заявил он,— кто ражбил бюшт гошударя в актовом жале?

Класс молчал.

— Пожор! — рявкнул директор, обрызгивая слюною зубрил, сидящих на передних партах.

Зубрилы преданно смотрели в глаза Сизика. Взгляд их выражал горькое сожаление о том, что они не знают имени преступника.

— Пожор! — повторил директор.— Имейте в виду, гошпода, что ешли в чечение чаша виновный не шожнаеча, вешь клаш будет оштавлен на второй год. Те же, которые шидят второй год, будут ишключены.

Третий класс не знал, что Сизик говорил о том же самом во всех классах, и поэтому его слова вызвали страх.

Конец урока прошел в полном смятении. Грека никто не слушал. Ипполит смотрел на Савицкого.

— Сизик врет,— говорил Савицкий грустно,— пугает. Нельзя всех оставить на второй год.

Пыхтеев-Какуев плакал, положив голову на парту.

— А мы-то за что? — кричали зубрилы, преданно глядя на грека.

— Ну, дети, дети, дети! — взывал грек.

Но паника только увеличивалась. Плакал уже не один Пыхтеев-Какуев. Доведенные до отчаяния зубрилы рыдали. Звонок, возвестивший конец урока, прозвучал среди взрывов всеобщего отчаяния.

Зубрила Мурзик прочел молитву после учения: «Благодарим тебя, создателю»,— икая от горя.

После урока Савицкий, не добившись никакого толку от заплаканного Пыхтеева-Какуева, пошел искать Ипполита, но Ипполита нигде не было.

На другой день Савицкий был исключен из гимназии. Пыхтеев-Какуев получил тройку из поведения с предупреждением и вызовом родителей. Родитель, мелкопоместный владетель, приехал на бегунках, запряженных неподкованной лошадкой, и после разговора с директором утащил сына в шинельную, где и отодрал его самым зверским образом суконными вожжами в присутствии массы любопытных из старших

классов. Рев маленького Пыхтеева-Какуева был слышен за городской чертой.

Ипполит наказан не был, а гимназические его годы сопровождали обычные события и вещи. В гимназию он приезжал в фаэтоне с фонарями и толстым кучером, который величал его по имени и отчеству. Липки и резинки водились у него самые лучшие и дорогие. Играл он в перышки всегда счастливо, потому что перья покупали ему целыми коробками, и с таким резервом он мог играть до бесконечности, беря противников на выдержку. Завтракать он ездил домой. Это вызывало зависть, и он этим гордился.

В шестом классе была выкурена первая папироса. Зима прошла в гимназических балах. Ипполит вертелся в мазурке и пил в гардеробной ром. В седьмом классе его мучили квадратные уравнения, «чертова лестница» (объем пирамиды), параллелограмм скоростей и «Метаморфозы» Овидия. А в восьмом классе он узнал «Логику», «Христианское правоучение» и легкую венерическую болезнь.

Отец его сильно одряхлел. Длинный бамбуковый шест дрожал в его руках, а сочинение о свойствах голубиной породы еще не дошло до середины. Матвей Александрович умер, так его и не закончив, и Ипполит Матвеевич, кроме шестнадцати голубиных стай, совершенно иссохшего и ставшего похожим на попугая «Фредерика», получил двадцать тысяч годового дохода и огромное, плохо поставленное хозяйство.

Начало самостоятельной жизни молодой Воробьянинов ознаменовал кутежом с пьяной стрельбой по голубям. Он не пошел ни в университет, ни на государственную службу. От военной службы его избавила общая слабость здоровья, поразительная в таком цветущем на вид человеке. Он так и остался неслужащим дворянином, золотой рыбкой себе на уме, неверным женихом и волокитой по натуре. Он переустроил родительский особняк в Старгороде на свой лад, завел камердинера с баками, трех лакеев, повара-француза и большой штат кухонной прислуги.

Благотворительные базары в Старгороде отличались большой пышностью и изобретательностью, ко-

торую наперерыв проявляли дамы избранного общества. Базары эти устраивались то в виде московского трактира, то на манер кавказского аула, где черкешенки в корсетах торговали в пользу приютских детей шампанским Аи по цене, неслыханной даже на таких заоблачных высотах.

На одном из этих базаров Ипполит Матвеевич, стоя под вывеской: «Настоящи кавказки духан. Нормални кавказки удоволсти», познакомился с женой нового окружного прокурора — Еленой Станиславовной Боур. Прокурор был стар, но жена его, по уверению секретаря суда, была:

...Сама юность волнующая,
Сама младость ликующая,
К поцелуям зовущая,
Вся такая воздушная.

Секретарь суда грешил стишками.

«Зовущая к поцелуям» Елена Станиславовна носила на голове черную бархатную тарелочку с шелковой розеткой цветов французского национального флага, что должно было изображать полный наряд молодой черкесской девицы. На плече воздушная прокурорша держала картонный кувшин, оклеенный золотой бумагой, из которого торчало горлышко шампанской бутылки.

— Разришиты стаканчик шенпански! — сказал Ипполит Матвеевич, представляясь истинным горцем.

Прокурорша нежно улыбнулась и спустила с плеча кувшин.

Ипполит Матвеевич, задержав дыхание, смотрел на ее голые, парафиновые руки, неумело открывающие бутылку. Он выпил шипучку, не почувствовав даже вкуса. Голые руки Елены Станиславовны смешали все его мысли. Он вынул из жилетного кармана сотенный билет, положил его на край скалы из бурого папье-маше и, громко сопя, отошел. Прокурорша улыбнулась еще нежней, потащила кредитку к себе и молвила музыкальным голосом:

— Бедные дети не забудут вашей щедрости.

Ипполит Матвеевич издали прижал руки к груди и поклонился на целый аршин глубже, чем кланялся

обычно. Разогнувшись, он понял, что без прокурорши ему не жить, и попросил секретаря представить его новому прокурору. Прокурор был похож на умную обезьяну. Прогуливаясь с Ипполитом Матвеевичем между замком Тамары и чучелом орла, державшим в клюве кружку для пожертвований, прокурор Боур проворно чесал у себя за ухом и рассказывал последние петербургские новости.

С Еленой Станиславовной Воробьянинову в этот вечер довелось разговаривать еще несколько раз по поводу бедственного положения приютских детей и живописности старгородского парка.

На следующий день Ипполит Матвеевич подкатил к подъезду Боуров на злейших в мире лошадях, провел полчаса в приятнейшей беседе о бедственном положении приютских детей, а уже через месяц секретарь суда конфиденциально шепнул в мохнатое ухо следователя по важнейшим делам, что прокурор «кажется, стал бодаться», на что следователь с усмешкой ответил: «Це дило треба розжувати»,— и рассказал очень интересное дело, слушавшееся в городе Орле и окончившееся оправданием мужа, убившего изменницу-жену.

Во всем городе дамочки заливались по-соловьиному. Мужья завидовали удачливости Воробьянинова. Постники, трезвенники и идеалисты забрасывали прокурора анонимными письмами. Прокурор читал их на заседаниях суда, ловко и быстро почесывая за ухом. С Воробьяниновым он был любезнее прежнего. Положение его было безвыходным — он ожидал вскоре перевода в столицу и не мог портить карьеры пошлым убийством любовника жены.

Но Ипполит Матвеевич позволил себе совершенную бестактность: он велел выкрасить свой экипаж в белый цвет и прокатился в нем вместе с угоревшей от любви прокуроршей по Большой Пушкинской улице.

Напрасно Елена Станиславовна прикрывала мраморное лицо вуалеткой, расшитой черными птичками,— ее узнали все. Город в страхе содрогнулся, но и этот любовный эксцесс не оказал на прокурора никакого действия. Отчаявшиеся постники, трезвенники и идеалисты стали бомбардировать анонимками самое

министерство юстиции. Товарищ министра был поражен трусостью окружного прокурора. Все ждали дуэли. Но прокурор по-прежнему, минуя оружейный магазин, катил каждое утро к зданию судебных установлений, с грустью поглядывая на фигуру Фемиды, державшей весы. В одной их чаше Боур явственно видел себя санкт-петербургским прокурором, а в другой — розового и наглого Воробьянинова.

Все кончилось совершенно неожиданно: Ипполит Матвеевич увез прокуроршу в Париж, а прокурора перевели в Сызрань. В Сызрани прокурор прожил долго, заслал человек восемьсот на каторгу и в конце концов умер.

Когда через год они вернулись назад, Старгород был завален снегом. Тяжелые обозы шагом проходили по Большой Пушкинской. Обледенелые деревья Александровского бульвара были абонированы галками. Снежные звезды, крестики и другие морозные знаки отличий медленно садились на нос Ипполита Матвеевича. Ветра не было. С вокзала Ипполит Матвеевич ехал на низких санках, небрежно поглядывая на городские достопримечательности: на новое здание биржи, сооруженное усердием старгородских купцов в ассиро-вавилонском стиле, на каланчу пушкинской части с висевшими на ней двумя большими круглыми бомбами, которые указывали на пожар средней величины, возникший в районе.

— Кто горит, Михайла? — спросил Ипполит Матвеевич кучера.

— Балагуровы горят. Вторые сутки.

Не проехали и двух кварталов, как натолкнулись на небольшую толпу народа, уныло стоявшую напротив балагуровского дома. Из открытых окон второго этажа медленно выходил дым. В окне появился пожарный и лениво прокричал вниз:

— Ваня! Дай-ка французскую лестницу.

Снег продолжал лететь. Внизу никто не отозвался. Пожарный в раздумье постоял у окна, зевнул и равнодушно скрылся в дыму.

— Так он и пять суток гореть будет,— гневно сказал Ипполит Матвеевич.— Тоже... Париж!

С Еленой Станиславовной Воробьянинов разошелся очень мирно. Продолжал бывать у нее, ежемесячно посылал ей в конверте триста рублей и нисколько не обижался, когда заставал у нее молодых людей, по большей части бойких и прекрасно воспитанных.

Ипполит Матвеевич продолжал жить в своем особняке на Денисовской улице, ведя легкую холостую жизнь. Он очень заботился о своей наружности, посещал первые представления в городском театре и одно время так пристрастился к опере, что подружился с баритоном Аврамовым и прошел с ним арию Жермона из «Травиаты» — «Ты забыл край милый свой, бросил ты Прованс родной». Когда приступили к разучиванию арии Риголетто: «Куртизаны, исчадья порока, насмеялись надо мною вы жестоко»,— баритон с негодованием заметил, что Ипполит Матвеевич живет с его женою, колоратурным сопрано. Последовавшая затем сцена была ужасна. Возмущенный до глубины души баритон сорвал с Воробьянинова сто шестьдесят рублей и поскакал в Казань.

Скабрезные похождения Ипполита Матвеевича, а в особенности избиение в клубе благородного собрания присяжного поверенного Мурузи закрепили за ним репутацию демонического человека.

Даже в 1905 году, принесшем беспокойство и тревогу, Ипполита Матвеевича не покинула природная жизнерадостность и вера в твердые устои российской государственности. К тому же в имении Ипполита Матвеевича все прошло тихо, если не считать сожжения нескольких стогов сена. Графа Витте, заключившего Портсмутский мир, Ипполит Матвеевич сгоряча назвал предателем, но подробно по этому поводу так и не высказался.

Новые годы не переменили жизни Ипполита Матвеевича. Он часто бывал в Петербурге и Москве, любил слушать цыган, делая при этом тонкое различие между петербургскими и московскими, посещал гимназических товарищей, служивших кто по министерству внутренних дел, а кто по финансовой части.

Жизнь проходила весело и быстро. На Ипполита Матвеевича уже не охотились предприимчивые родо-

начальницы. Все считали его безнравственным холостяком. И вдруг в 1911 году Воробьянинов женился на дочери соседа, состоятельного помещика Петухова. Произошло это после того, как отъявленный холостяк, заехав как-то в имение, увидел, что дела его пошатнулись и что без выгодной женитьбы поправить их невозможно. Наибольшее приданое можно было получить за Мари Петуховой, долговязой и кроткой девушкой. Два месяца Ипполит Матвеевич складывал к подножию Мари белые розы, а на третий сделал предложение, женился и был избран уездным предводителем дворянства.

— Ну, как твой скелетик? — нежно спрашивала Елена Станиславовна, у которой Ипполит Матвеевич после женитьбы стал бывать чаще прежнего.

Ипполит Матвеевич весело ощеривался, заливаясь смехом.

— Нет, честное слово, она очень милая, но до чего наивна... А теща, Клавдия Ивановна!.. Ты знаешь, она называет меня «Эполет». Ей кажется, что так произносят в Париже! Замечательно!

С годами жизнь Ипполита Матвеевича заметно менялась. Он рано и красиво поседел. У него появились маленькие привычки. Просыпаясь по утрам, он говорил себе: «Гут морген» или «Бонжур». Его одолевали детские страсти. Он начал собирать земские марки, ухлопал на это большие деньги, скоро оказался владельцем лучшей коллекции в России и завел оживленную переписку с англичанином Энфильдом, обладавшим самым полным собранием русских земских марок. Превосходство англичанина в области коллекционирования марок подобного рода сильно волновало Ипполита Матвеевича. Положение предводителя и большие связи помогли ему в деле одоления соперника из Глазго. Ипполит Матвеевич подбил председателя земской управы на выпуск новых марок Старгородского губернского земства, чего уже не было лет десять. Председатель, смешливый старик, введенный Ипполитом Матвеевичем в суть дела, долго хохотал и согласился на предложение Воробьянинова. Новые марки были выпущены в двух экземплярах и включены в

каталог за 1912 год. Клише Воробьянинов собственноручно разбил молотком. Через три месяца Ипполит Матвеевич получил от Энфильда учтивое письмо, в котором англичанин просил продать ему одну из тех редчайших марок по цене, какую будет угодно назначить мистеру Воробьянинову.

От радости на глазах у мистера Воробьянинова выступили слезы. Он немедленно сел писать ответное письмо мистеру Энфильду. В письме он написал латинскими буквами только два слова: «Накося выкуси».

После этого деловая связь с мистером Энфильдом навсегда прекратилась и удовлетворенная страсть Ипполита Матвеевича к маркам значительно ослабела.

К этому времени Воробьянинова стали звать бонвиваном. Да он и в самом деле любил хорошо пожить. Жил он, к удивлению тещи, доходами от имения своей жены. Клавдия Ивановна однажды даже пыталась поделиться с ним своими взглядами на жизнь и обязанности примерного мужа, но зять внезапно затрясся, сбросил на пол сахарницу и крикнул:

— Замечательно! Меня учат жить! Это просто замечательно!

Вслед за этим бушующий зять укатил в Москву на банкет, затеянный охотничьим клубом в честь умерщвления известным охотником г. Шарабариным двухтысячного, со времени основания клуба, волка.

Столы были расставлены полумесяцем. В центре на сахарной скатерти, среди поросят, заливных и вспотевших графинчиков с водками и коньяками лежала шкура юбиляра. Г. Шарабарин в коричневой визитке и котелке, клюнувший уже с утра и ослепленный магнией бесчисленных фотографов, стоял, дико поглядывая по сторонам, и слушал речи.

Ипполиту Матвеевичу слово было предоставлено поздно, когда он уже основательно развеселился. Он быстро накинул на себя шкуру волка и, позабыв о семейных делах, торжественно сказал:

— Милостивые государи, господа члены охотничьего клуба! Позвольте вас поздравить от имени старгородских любителей ружейной охоты с таким знаменательным событием. Очень, очень приятно

видеть таких почтенных любителей ружейной охоты, как господин Шарабарин, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов! Очень, очень приятно!

Сказав этот спич, Ипполит Матвеевич сбросил на пол юбилейную шкуру, поставил на нее сопротивляющегося господина Шарабарина и троекратно с ним расцеловался.

В этот свой наезд Ипполит Матвеевич пробыл в Москве две недели и вернулся веселый и злой. Теща дулась. И Ипполит Матвеевич в пику ей совершил поступок, который дал такую обильную пищу злоязычию Принца Датского.

Был 1913 год.

Французский авиатор Бранденжон де Мулинэ совершил свой знаменитый перелет из Парижа в Варшаву на приз Помери. Дамы в корзинных шляпах, с кружевными белыми зонтиками и гимназисты старших классов встретили победителя воздуха восторженными криками. Победитель, несмотря на перенесенное испытание, чувствовал себя довольно бодро и охотно пил русскую водку.

Жизнь била ключом.

На Александровском вокзале в Москве толпа курсисток, носильщиков и членов общества «Свободной эстетики» встречала вернувшегося из Полинезии К. Д. Бальмонта. Толстощекая барышня первая кинула в трубадура с козлиной бородкой мокрую розу. Поэта осыпали цветами весны — ландышами. Началась первая приветственная речь:

— Дорогой Константин, семь лет ты не был в Москве...

После речей к поэту прорвался почитатель из присяжных поверенных и, передавая букет поэту, сказал вытверженный наизусть экспромт:

Из-за туч
Солнца луч —
Гений твой.
Ты могуч,
Ты певуч,
Ты живой.

Вечером в обществе «Свободной эстетики» торжество чествования поэта было омрачено выступлением неофутуриста Маяковского, допытывавшегося у прославленного барда, «не удивляет ли его то, что все приветствия исходят от лиц, ему близко знакомых». Шиканье и свистки покрыли речь неофутуриста.

Два молодых человека — двадцатилетний барон Гейсмар и сын видного чиновника министерства иностранных дел Далматов познакомились в иллюзионе с женой прапорщика запаса Марианной Тиме и убили ее, чтобы ограбить.

В кинематографах, на морщинистых экранах, шла сильная драма в трех частях из русской жизни: «Княгиня Бутырская», хроника мировых событий «Эклер — журнал» и комическая «Талантливый полицейский» с участием Поксона (гомерический хохот).

Из Спасских ворот Кремля выходил на Красную площадь крестный ход, и протодиакон Розов, десятипудовый верзила, читал устрашающим голосом высочайший манифест.

В Старгородской газете «Ведомости градоначальства» появился ликующий стишок, принадлежащий перу местного цензора Плаксина:

Скажи, дорогая мамаша,
Какой нынче праздник у нас,—
В блестящем мундире папаша,
Не ходит брат Митенька в класс?

Брат Митенька не ходил в класс по случаю трехсотлетия дома Романовых. И папаши действительно в блестящих мундирах и просторных треуголках катили в пролетках к стрельбищенскому полю, на котором назначен был парад частей гарнизона, кадетского корпуса и казенных гимназий.

На джутовой фабрике и в железнодорожных мастерских рабочим раздавали билеты на романовские гуляния в саду трезвости, а вечером несколько штатских выхватили из толпы гуляющих двух рабочих и отвезли их на извозчиках в жандармское управление. В темном небе блистал, сокращался и, раздуваемый ветром, снова пылал фейерверочный императорский вензель.

В эту же ночь Ипполит Матвеевич, от которого еще пахло духами, переваривал торжественный ужин, сидя на балконе своего особняка. Ему было только тридцать восемь лет. Тело он имел чистое, полное и доброкачественное. Зубы все были на месте. В голове, как ребенок во чреве матери, мягко шевелился свежий армянский анекдот. Жизнь казалась ему прекрасной. Теща была побеждена, денег было много, на будущий год он замышлял новое путешествие за границу.

Но не знал Ипполит Матвеевич, что через год, в мае, умрет его жена, а в июле возникнет война с Германией. Он считал, что к пятидесяти годам будет губернским предводителем, не зная того, что в восемнадцатом году его выгонят из собственного дома, и он, привыкший к удобному и сытому безделью, покинет потухший Старгород, чтобы в товарно-пассажирском поезде бежать куда глаза глядят.

Ипполит Матвеевич, сидя на балконе, видел в своем воображении мелкую рябь остендского взморья, кровли Парижа, темный лик и сиянье медных кнопок международного вагона, но не воображал себе Ипполит Матвеевич (а если бы и вообразил, то все равно не понял бы) хлебных очередей, замерзшей постели, масляного «каганца», сыпнотифозного бреда и лозунга «Сделал свое дело и уходи» в канцелярии загса уездного города N.

Не знал Ипполит Матвеевич, сидя на балконе, и того, что через четырнадцать лет еще крепким мужчиной он вернется в Старгород и снова войдет в те самые ворота, над которыми он сейчас сидит, войдет чужим человеком, чтобы искать клад своей тещи, сдуру запрятанный ею в гамбсовский стул, на котором ему так удобно сейчас сидеть, и, глядя на полыхающий фейерверк с горящим в центре императорским гербом, мечтать о том, как прекрасна жизнь.

ПРИМЕЧАНИЯ

ДВОЙНАЯ АВТОБИОГРАФИЯ[1]

Впервые опубликована 2 августа 1929 года в популярном французском журнале — литературном еженедельнике «Le merle».

На русском языке «Двойная автобиография» впервые опубликована в журнале «Советская Украина», 1957, № 1. 13 апреля того же года перепечатана в «Литературной газете».

Кроме «Двойной автобиографии», известна автобиография Ильфа и Петрова «Соавторы», опубликованная в сборнике «Кажется смешно» (к 10-летию Московского театра сатиры), издание Московского театра сатиры, М. 1935. В статью «Из воспоминаний об Ильфе» (В книге: И. Ильф, Записные книжки, «Советский писатель», М. 1939) Е. Петров включил текст «Соавторов».

Печатается по тексту рукописи (ЦГАЛИ, 1821, 7) [2].

«Великий комбинатор» — первое название романа «Золотой теленок».

«Летучий голландец».— Повесть не была написана. Планы и наброски ее опубликованы в журнале «Молодая гвардия», 1956, № 1.

«Клуб чудаков» — так называли себя литераторы, сотрудничавшие в журнале «Чудак».

ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ

Роман «Двенадцать стульев» впервые был опубликован в журнале «30 дней», 1928, №№ 1—7, с иллюстрациями художника М. Черемных. В том же году вышел отдельной книгой в издательстве «Земля и фабрика».

---

[1] Примечания к «Двойной автобиографии» и роману «Двенадцать стульев» написаны Б. Е. Галановым.

[2] (ЦГАЛИ, 1821, 7) — Центральный государственный архив литературы и искусства, фонд 1821, единица хранения 7. Далее для краткости везде будет принято такое обозначение.

Работать над романом Ильф и Петров начали в августе — сентябре 1927 года. Евгений Петров рассказывал в статье «Из воспоминаний об Ильфе», что сюжет романа был подсказан В. П. Катаевым. Это произошло в редакции газеты «Гудок», где все они в то время работали. Ильфа и Петрова увлекла тема романа. Тогда же у них возникла мысль писать его вдвоем, «артелью», как шутливо предлагал Катаев. «В этот день,— вспоминает Петров,— мы пообедали в столовой Дворца Труда и вернулись в редакцию, чтобы сочинять план романа... Сколько должно быть стульев? Очевидно, полный комплект — двенадцать штук. Название нам понравилось. «Двенадцать стульев». Мы стали импровизировать. Мы быстро сошлись на том, что сюжет со стульями не должен быть основой романа, а только причиной, поводом к тому, чтобы показать жизнь» (И. Ильф. Записные книжки, «Советский писатель», М. 1957, стр. 21—22).

Вся первая часть была написана за месяц и одобрена Катаевым. Вторая и третья части тоже были закончены в короткие сроки. В январе весь роман был завершен. Однако нельзя сказать, что «Двенадцать стульев» писались легко. «Мы работали в газете и в юмористических журналах очень добросовестно. Мы знали с детства, что такое труд. Но никогда не представляли себе, как трудно писать роман. Если бы я не боялся показаться банальным,— вспоминал Петров,— я сказал бы, что мы писали кровью» (И. Ильф, Записные книжки, «Советский писатель», М. 1957, стр. 23—24).

Остапу Бендеру в первоначальный период работы над романом отводилась эпизодическая роль. Более отчетливо авторы представляли себе Воробьянинова. Ему решено было придать черты двоюродного дяди Петрова — председателя уездной земской управы. «Остап Бендер был задуман как второстепенная фигура,— писал Петров в набросках к плану книги «Мой друг Ильф».— Для него у нас была одна фраза: «Ключ от квартиры, где деньги лежат» (ЦГАЛИ, 1821, 43). При такой расстановке сил борьбу за сокровища могли вести Воробьянинов с отцом Федором Востриковым. Остап должен был исполнять обязанности бойкого компаньона, расторопного помощника при бывшем предводителе дворянства. Не случайно в начальных эпизодах романа он кажется нам и проще и грубей: то щедро сыплет рассказами о своих знакомых, причем на все случаи жизни у него оказывается в запасе подходящая поучительная история, то уснащает свою речь крепкими словечками из лексикона жуликов и босяков.

По мере того как образ бойкого и развязного молодого человека обретал черты «великого комбинатора», речь Остапа тоже заметно менялась, приобретая фельетонный блеск и остроумие. Напротив, репортер Персицкий занял в романе более скромное место, чем это можно было предположить, читая «Двенадцать стульев» в рукописи, в журнале и в первом отдельном издании. Судя по главе «Могучая ручка. Золотоискатели», в дальнейшем исключенной авторами из романа, стулья, выпотрошенные в комнате Никифора Ляписа-Трубецкого, в редакции газеты «Станок» и в театре Колумба, наводили Персицкого на мысль, что за ними кто-то специально охотился, что тут действовала какая-то «секта похитителей стульев».

Если бы писатели наделили Персицкого способностями удачливого детектива, в конце концов разгадывающего тайну стульев,— вероятно, действие романа пошло бы по иному пути. Но этого не случилось. Впоследствии сюжет и композиция романа тоже не претерпевали изменений. Однако, сравнивая рукописный вариант с журнальным, публиковавшимся в «30 днях», и первое отдельное издание книги с последующими, отмечаешь некоторые существенные разночтения. Дело в том, что при публикации романа в журнале авторы сделали ряд сокращений и поправок, учтя, по-видимому, замечания одного из тогдашних редакторов «30 дней» В. А. Регинина. Об этом упоминает Петров в своих записях «Мой друг Ильф»: «Регинин, который всегда требовал вычеркнуть одну строчку и приписать одну страницу». Готовя роман для отдельного издания (ЗИФ, 1928), авторы восстановили многие купюры, возвратив, однако, в книгу наряду с существенным и малозначимое — некоторые непритязательные остроты и шутки. Для второго издания (ЗИФ, 1929) Ильф и Петров уже более взыскательно «почистили» текст. Не случайно именно этот отредактированный авторами текст воспроизводился в последующих изданиях «Двенадцати стульев» без существенных изменений. Перечислять все исправления и сокращения, делавшиеся авторами для журнала и для отдельных изданий романа, нет необходимости. Важно уяснить самый характер поправок. Восстанавливая или сокращая, Ильф и Петров заботились об усилении сатирического звучания книги, устраняли длинноты и повторы, которые только замедляли действие и ослабляли художественную целостность романа.

В главе «Безенчук и «нимфы» был эпизод с переписчиком Сапежниковым, сослуживцем Ипполита Матвеевича по загсу. Во

время обычного получасового перерыва на завтрак Сапежников непременно начинал всем уже досконально известный цикл охотничьих рассказов, смысл которых сводился к тому, что на охоте не только приятно, но и необходимо пить водку. История Сапежникова есть в рукописи романа, исчезает в «30 днях», снова появляется в первом издании книги и окончательно исключается во всех последующих. Писатели вычеркнули ее из романа, найдя юмор легковесным. Это был тот «комический орнамент», от которого Ильф и Петров решительно отказывались, по мере того как возрастала их требовательность к своему творчеству. По тем же мотивам из главы «Алфавит «Зеркало жизни» во втором издании была снята история 102-летней бабушки архивариуса Коробейникова, исключенная при публикации романа в журнале и восстановленная по рукописи в первом издании книги. Понадеявшись обогатиться «за счет госстраха», Варфоломеич застраховал бабушку на крупную сумму, а она умерла в тот самый год, когда Варфоломеич, отчаявшись, перестал платить за нее взносы.

Начиная со второго издания романа, из главы «Автор «Гаврилиады» исключается история несчастной любви голубоглазой девушки Клотильды и халтурщика скульптора Васи. Снимается и следовавшая за этим рассказом глава «Могучая ручка. Золотоискатели». В ней говорилось о том, как Никифор Ляпис, услышав от Персицкого рассказ о «секте похитителей стульев», немедленно принялся сочинять с двумя другими халтурщиками оперу «Луч смерти» — о таинственном изобретении, чертежи которого запрятаны в стулья. В опере по ходу действия должны были появляться «фашисты, самогонщики, капелланы, солдаты, мажордомы, техники, сицилийцы, лаборанты, тень тов. Митина (изобретателя луча смерти.— *Б. Г.*), пионеры и др.». Не в пример предыдущим эти эпизоды остросатиричны. Они были в рукописи, в журнале и в первом издании книги. Почему же в таком случае они не выдержали строгой проверки при подготовке второго издания романа? По-видимому, писатели нашли, что рассказы о невежественных халтурщиках заняли много места в «Двенадцати стульях» и порой начали даже повторять друг друга.

Описание рабочего дня сотрудников газеты «Станок» (глава «Курочка и тихоокеанский петушок») со второго издания печатается без сцены мистификации редакционного фотографа. Осталась только фраза: «Репортер Персицкий деятельно готовился к двухсотлетнему юбилею великого математика Исаака Ньютона». Вслед за этим в рукописи, в журнальном варианте и в первом

отдельном издании романа следовал рассказ, как весельчак Персицкий с серьезным видом поручал фотографу заснять Ньютона: «И, пожалуйста, не за работой. Все у вас сидят за столом и читают бумажки. На ходу снимайте. Или в кругу семьи». На что обидчивый фотограф отвечал: «Когда мне дадут заграничные пластинки, тогда и на ходу буду снимать». Однако эта сцена ослабляла комический эффект другой сцены, в которой Персицкий высмеивает Никифора Ляписа. Один и тот же прием «работал» дважды. Вероятно, поэтому проходной для романа эпизод с невежественным фотографом писатели сняли.

Но есть в рукописи романа страницы, отсутствовавшие в журнальном варианте. Ильф и Петров восстановили их в первом отдельном издании и сохранили при всех последующих публикациях «Двенадцати стульев». Это рассказ Остапа о гусаре-схимнике. Это глава «Зерцало грешного», знакомящая нас с биографией отца Федора Вострикова. Для характеристики священника церкви Фрола и Лавра важно и существенно, что на всех этапах его гражданской и духовной карьеры в «зерцале» неизменно отражался стяжатель.

В главе «Где ваши локоны?» авторы восстановили описание прогулки Ипполита Матвеевича по улицам Старгорода. Отсутствовала в журнальном варианте также и глава «Дышите глубже: вы взволнованы!»

Не удивительно, что без таких эпизодов журнальная публикация романа выглядела бледнее всех последующих.

Быстрота, с которой писался первый роман Ильфа и Петрова, свидетельство того, что молодые авторы были достаточно хорошо подготовлены для трудной работы писателей-сатириков. В записных книжках Ильфа и в юмористических рассказах Петрова уже были намечены некоторые темы и образы «Двенадцати стульев». Роман еще не был написан и еще не существовала как литературный тип Эллочка-людоедка, а в записной книжке Ильфа в 1925 году была сделана запись: «Двое молодых. На все жизненные явления отвечают только восклицаниями. Первый говорит — «жуть», второй — «красота» (ЦГАЛИ, 1821, 123). И в ранней юмореске Петрова «Даровитая девушка» («Смехач», 1927, № 35) Кусичка Крант, девица «с малообещающим лобиком», решившая непременно стать кинозвездой, разговаривала с окружающими на Эллочкином людоедском жаргоне. Еще до того как в «Двенадцати стульях» Никифор Ляпис нашел «кратчайшие пути к оазисам, где брызжут светлые ключи гонорара», Ильф и Петров

обличали сочинителей таких «Гаврилиад», занятых перекрашиванием и перекраиванием всевозможных халтурных изделий и наведением на них соответствующего «полит-лоска». Ильф высмеял халтурщиков такого рода в фельетоне «Красные романсы» (ЦГАЛИ, 1821, 80). Петров в 1927 году напечатал в «специально детском» номере журнала «Смехач» (№ 32) рассказ «Всеобъемлющий зайчик», который представляет собой как бы черновой набросок одной из глав будущего романа. Герой этого рассказа, некий самонадеянный поэт, сочинивший нижеследующий краткий стишок:

Ходит зайчик по лесу
К Северному полюсу,—

подобно Никифору Ляпису обходит редакции, поочередно приспосабливая своего зайчика для издательства «Детские утехи», для журналов «Неудержимый охотник», «Лес, как он есть» и даже для солидного еженедельника «Вестник южной оконечности Северного полюса». Ловкий сочинитель «всеобъемлющего зайчика» — это предшественник Никифора Ляписа, только лишенный тех сатирических красок, которые сделали Ляписа нарицательной фигурой.

Сатира «Двенадцати стульев» остра и необычайно злободневна. Так, например, образ людоедки Эллочки появился на страницах «Двенадцати стульев» в то время, когда комсомольская печать развернула борьбу против пережитков буржуазных нэпманских настроений в среде советской молодежи. В этой борьбе активно участвовал Маяковский. В 1927 году, выступая с докладами «Даешь изящную жизнь!», он высмеивал нелепое подражание заграничной «моде», которая проникала «уродливыми потеками в советский быт» (В. М а я к о в с к и й, Полн. собр. соч., т. 12, Гослитиздат, М. 1959, стр. 500). В сценарии «Позабудь про камин», в стихотворении «Маруся отравилась», в комедии «Клоп» и в ряде других произведений Маяковский широко использовал факты низкопоклонства перед заграницей, о которых писала в своих фельетонах «Комсомольская правда». В «Двенадцати стульях» мы не найдем такой прямой переклички с комсомольской печатью. Но огонь своей сатиры Ильф и Петров направляли по тем же мишеням. Один и тот же «микроб разложения» (если воспользоваться выражением Маяковского) сидел в людоедке Эллочке и в «монтере Ване» из стихотворения «Маруся отравилась», который «в духе парижан себе присвоил званье электротехник Жан». И так же, как для Маяковского, борьба с «молодыми людоедами»

не была для Ильфа и Петрова случайной, временной. К этим образам они не раз еще возвращались в своих произведениях.

Впрочем, Ильф и Петров не считали, что и с другими персонажами «Двенадцати стульев» они уже полностью разделались в своем первом романе. Обывательский, мещанский мирок, который в «Золотом теленке» Ильф и Петров называли «маленьким миром», не так-то легко сдавал позиции.

Первый роман Ильфа и Петрова, по свидетельству современников, сразу был замечен читателями. Однако критика долгое время обходила его молчанием. Набрасывая план книги «Мой друг Ильф», Петров записал: «Первая рецензия в «вечорке». Потом рецензий вообще не было». 17 июня 1929 года, через год после выхода романа, «Литературная газета» поместила небольшую статью о «Двенадцати стульях» Ан. Тарасенкова, полемически озаглавленную: «Книга, о которой не пишут». В редакционном примечании говорилось: «Под этой рубрикой «Литературная газета» будет давать оценку книгам, которые несправедливо замолчала критика». Анализируя роман Ильфа и Петрова и отмечая успех молодых авторов, Тарасенков подчеркивал, что, пользуясь сюжетными приемами «трафаретного авантюрного романа», они сумели наполнить повествование «насыщенным, острым, сатирическим содержанием». В таком же духе говорилось о «Двенадцати стульях» и на страницах журнала «Октябрь», который тогда редактировал А. Серафимович. Безыменный рецензент журнала отмечал, что «Ильф и Петров, взяв от авантюрного романа чисто композиционные качества, ввели в повествование яркие, типически бытовые фигуры... дали целую галерею заостренно сатирических портретов» («Октябрь», 1929, № 7, стр. 215). Однако едва ли не первым литератором, который публично поддержал «Двенадцать стульев», был Маяковский. Выступая 22 декабря 1928 года на собрании федерации объединений советских писателей, он говорил о «классическом Гавриле», а роман назвал «замечательным» (В. Маяковский, Полн. собр. соч., т. 12, Гослитиздат, М. 1959, стр. 367).

Последующие отклики на роман были далеко не столь положительными и в значительной степени отражали отношение рапповской критики к творчеству Ильфа и Петрова. В 1929 году в журналах «На литературном посту» (№ 18), «Молодая гвардия» (№ 18), «Звезда» (№ 10) критики с поразительным единодушием твердили, что в «Двенадцати стульях» подлинной сатиры не получилось, что в романе преобладает «довольно безобид-

ный журнально-юмористический тон». Особенно резкая оценка была дана роману на страницах журнала «Книга и революция». И. Ситков в обзоре журнала «30 дней» безапелляционно заявил, что, за исключением нескольких страниц, где авторам удалось подняться до подлинной сатиры (история Ляписа), роман Ильфа и Петрова — «серенькая посредственность», «зарядки глубокой ненависти к классовому врагу нет вовсе; выстрел оказался холостым» («Книга и революция», 1929, № 8, стр. 38).

С трибуны Первого Всесоюзного съезда советских писателей Михаил Кольцов говорил, что чуть ли не за месяц до ликвидации РАПП ему пришлось на одном из ее последних заседаний доказывать, при весьма неодобрительных возгласах, «право на существование в советской литературе писателей такого рода, как Ильф и Петров, и персонально их» («Советский фельетон», Госполитиздат, М. 1959, стр. 446).

Можно сказать, что серьезное изучение творчества Ильфа и Петрова начато было статьей А. В. Луначарского. Она предназначалась как предисловие для американского издания романа «Золотой теленок». Как бы предостерегая зарубежных читателей от неверных выводов и толкований сатиры Ильфа и Петрова, Луначарский в своей статье писал, что, читая романы Ильфа и Петрова, «иностранцу не следует упускать из виду перспективы. Было бы огромной ошибкой либо принять картины Ильфа и Петрова всерьез, как характеристику нашей жизни, или принять беззаботный смех Ильфа и Петрова за действительную готовность нашу примириться со всей этой разноцветной грязью» («30 дней», 1931, № 8, стр. 65). Вслед за статьей Луначарского назовем статьи в «Литературной газете» критиков А. Селивановского («Смех Ильфа и Петрова», 1932, № 38, 23 августа), К. Зелинского («Фиолетовый смех», 1933, № 18—19, 23 апреля), Е. Трощенко («Последние приключения анархического индивидуума», «Красная новь», 1933, № 9).

За последние годы в критической литературе появился ряд новых работ, свидетельствующих об углубленном и всестороннем изучении советскими критиками и литературоведами наследия Ильфа и Петрова. В 1960 году в издательстве Академии наук вышла книга Л. Ершова «Советская сатирическая проза 20-х годов», в которой много внимания уделено творчеству Ильфа и Петрова. В Гослитиздате напечатана монография об Ильфе и Петрове А. Вулиса. В различное время публиковались статьи Дм. Молдавского («Заметки о творчестве И. Ильфа и Е. Петрова», «Нева»,

1956, № 5, «Товарищ смех», «Звезда», 1956, № 8), Л. Гурович («И. Ильф и Е. Петров — сатирики», «Вопросы литературы», 1957, № 4), А. Меньшутина («И. Ильф и Е. Петров», «История русской советской литературы», т. 2, 1960) и ряд других.

На русском языке при жизни Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» выдержали десять изданий. Неоднократно роман переиздавался на языках народов СССР. Первый зарубежный его перевод вышел во Франции в 1929 году (в парижском издательстве Альбэн Мишель). В дальнейшем он много раз переводился на английский, немецкий, испанский, польский, голландский, норвежский, чешский, венгерский, китайский, шведский, сербский, болгарский, румынский, греческий, финский, датский, словацкий, итальянский и другие языки.

Лион Фейхтвангер, познакомившись с романами Ильфа и Петрова, сказал: «В истории литературы было много случаев творческого содружества: Гонкуры, Поль и Виктор Маргерит и др. Мне и самому приходилось привлекать соавторов для работы над пьесами. Но никогда еще я не видел, чтобы содружество переросло в такое творческое единство» («Литературная газета», 1937, № 21, 20 апреля). По свидетельству Людмила Стоянова «книги замечательных сатириков Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», «Золотой теленок» и «Одноэтажная Америка» имели в Болгарии исключительный успех» («Интернациональная литература», 1940, № 1, стр. 190).

В послевоенные годы «Двенадцать стульев» снова с успехом переиздавались в ряде стран, в частности в странах народной демократии.

Интересно отметить, что в 30-е годы за рубежом предпринимались попытки экранизации романа и переделки его для театра. Объединенная чешско-польская кинофирма в 1933 году выпустила фильм «Двенадцать стульев», причем действие романа было перенесено в Польшу и Чехию. Роль Бендера играл известный польский актер Адольф Дымша. Его воспоминания об участии в этом фильме и о встречах с Ильфом и Петровым были опубликованы 2 августа 1960 года на страницах «Литературной газеты».

Надо сказать, что сатирики, озабоченные тем, чтобы художественная и политическая целостность их произведений не искажалась и чтобы из их сатиры не делались преднамеренно ложные выводы, отрицательно относились к всевозможным попыткам бесконтрольных зарубежных переделок романа. Свою точку зрения на этот счет они решительно выразили в письме к перевод-

чику В. Бинштоку, сообщившему им о намерении одной французской кинофирмы переделать «Двенадцать стульев» в звуковой фильм. «В целях сохранения художественной и политической целостности нашего произведения,— писали они,— а также для того, чтобы предохранить его от искажений («развесистая клюква») и от неверного изображения советской действительности, мы ставим необходимым условием нашу личную консультацию при съемках этого фильма... Если фирма не собирается выпускать халтуры, то ей наша консультация может быть только весьма желательна. Мы настолько заинтересованы в том, чтобы наш фильм не исказил советской действительности, что согласны принять расходы по поездке на себя» (Письмо В. Бинштоку от 3 мая 1931 года, ЦГАЛИ, 1821, 133).

Печатается по тексту Собрания сочинений в четырех томах, т. I, «Советский писатель», М. 1938, сверенному со всеми предшествующими публикациями. Текстологическая подготовка романа «Двенадцать стульев» проведена Е. М. Шуб. Иллюстрации к роману сделаны художником М. Черемных в 1928 году.

СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ[1]

Повесть впервые опубликована в журнале «Огонек», 1928, №№ 28—39 (10 июля — 16 сентября) с иллюстрациями художников Б. Ефимова, М. Черемных, В. Козлинского, А. Дейнеки, К. Елисеева, Н. Радлова, В. Сварога, Н. Кочергина, В. Белкина.

«Светлая личность» была написана по заказу «Огонька», как вспоминает В. Ардов («Знамя», 1945, № 7, стр. 119). В набросках к книге «Мой друг Ильф» Петров сообщает, что над новым произведением они работали всего шесть дней. 10 июня 1928 года в «Огоньке» (№ 24) появился анонс: «Светлая личность» — сатирическая повесть Ильи Ильфа и Евг. Петрова — с ближайших номеров...»

В «Светлой личности» изображаемые в гротескной форме явления как бы выведены из сферы советской действительности. Авторы переносят своих героев в условный город Пищеслав, где представлены многие уродливые явления эпохи нэпа. Таким образом, пережитки прошлого предстают в повести «в чистом виде», во всем их отталкивающем безобразии и неприглядности.

---

[1] Примечания к повести «Светлая личность» и циклу новелл «1001 день, или Новая Шахерезада» написаны А. З. Вулисом.

Само заглавие «Светлая личность» (в первом из публиковавшихся в журнале отрывков взятое авторами в кавычки) служит средством иронической характеристики центрального ее персонажа. Прозрачный герой повести является представителем той же среды, пороки которой высмеиваются авторами. Активным действующим лицом, разоблачителем зла он быть не может и служит в произведении лишь своеобразным проявителем недостатков. В каждом номере «Огонька», где печаталось продолжение повести, в пересказе содержания предыдущих глав авторы называли Филюрина «сереньким канцеляристом», «ничем не примечательным регистратором».

В «Светлой личности» намечаются некоторые темы и характеры романа «Золотой теленок». Пищ-Ка-Ха, например, это прообраз «Геркулеса». В Иванопольском есть отдельные черты Корейко и т. д.

Повесть не переиздавалась. Печатается по первой публикации.

1001 ДЕНЬ, ИЛИ НОВАЯ ШАХЕРЕЗАДА

Цикл сатирических новелл впервые опубликован в журнале «Чудак», 1929, №№ 12—22 под псевдонимом Ф. Толстоевский, иллюстрации художника К. Ротова. В «Двойной автобиографии» авторы называют это произведение «серией гротескных новелл».

Публикации предшествовало напечатанное в 10-м номере того же журнала объявление: «В одном из ближайших номеров «Чудака» начнут печататься сказки советской Шахерезады, сочинения Ф. Толстоевского. Читатель узнает обо всем: о новых Али-Бабе и 40 счетоводах, об истории Синдбада-управдела, об электрическом фонарике Алладина, о комиссии по сокращению штата шейхов и о многом другом, в том числе о цветниках ума, садах любезности, о шести молодых девушках разных типов, о желтолицем юноше и о веселых чудаках, не соблюдающих приличий».

Программа «Новой Шахерезады», хотя и обещала читателю изображение реальных жизненных явлений, была несколько условной, авторы намеревались использовать мотивы и образы «Тысячи и одной ночи», сатирически их переосмысляя и модернизируя. Главы произведения писались от номера к номеру, и план его менялся на ходу. Содержание «Новой Шахерезады» было расширено за счет более актуальных тем, более злободневного материала, а сказочный колорит постепенно исчезал. Герои и их судьбы, несомненно, связывались читателем с действительными

событиями того времени: «Выдвиженец на час», «Гелиотроп» — с борьбой против бюрократов и бездельников, новеллы «Рассказ о товарище Алладинове и его волшебном билете» и «Двойная жизнь Портищева» — с борьбой против приспособленцев и карьеристов, которых исключали из партии во время «чисток». «Рассказ о «Золотом Лете» был напечатан в специальном номере журнала, посвященном 10-летию Госиздата («Чудак», 1929, № 18). Там же критиковалась работа этого издательства, которое выпускало большими тиражами произведения третьестепенных авторов и задерживало издание Собрания сочинений Чехова из-за отсутствия бумаги.

В «Золотом теленке» писатели вновь обращаются к темам и образам этого гротескного цикла. Ливреинов и Фанатюк являются предшественниками «геркулесовского» Полыхаева, а образ Корейко наметился в общих чертах в новелле «Двойная жизнь Портищева».

Сами писатели, по-видимому, рассматривали «1001 день, или Новую Шахерезаду» как произведение переходное. Они искали новые темы, новые более действенные формы и средства сатирического отображения действительности. «Мы пишем историю Колоколамска. Шахерезаду. Творческие мучения. Мы чувствуем, что надо писать что-то другое. Но что?» — вспоминал Е. Петров («Мой друг Ильф»). Результатом этих исканий явился роман «Золотой теленок».

«Новая Шахерезада» в полном ее составе не переиздавалась. Новеллы «Гелиотроп» и «Процедуры Трикартова» включались авторами в сборники рассказов и фельетонов.

Печатается по первой публикации с иллюстрациями художника К. Ротова, сделанными в 1929 году.

Приложение

Прошлое регистратора загса. — Впервые опубликовано в журнале «30 дней», 1929, № 10, как самостоятельный рассказ. В примечании от редакции говорилось, что «Прошлое регистратора загса» является неизданной главой из романа «Двенадцать стульев».

В текст романа эта глава авторами не включалась и при их жизни не переиздавалась.

Вторая публикация — в журнале «Крокодил», 1957, № 24.

Печатается по тексту журнала «30 дней».

СОДЕРЖАНИЕ

ИЛЬЯ АРНОЛЬДОВИЧ ИЛЬФ,
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ ПЕТРОВ

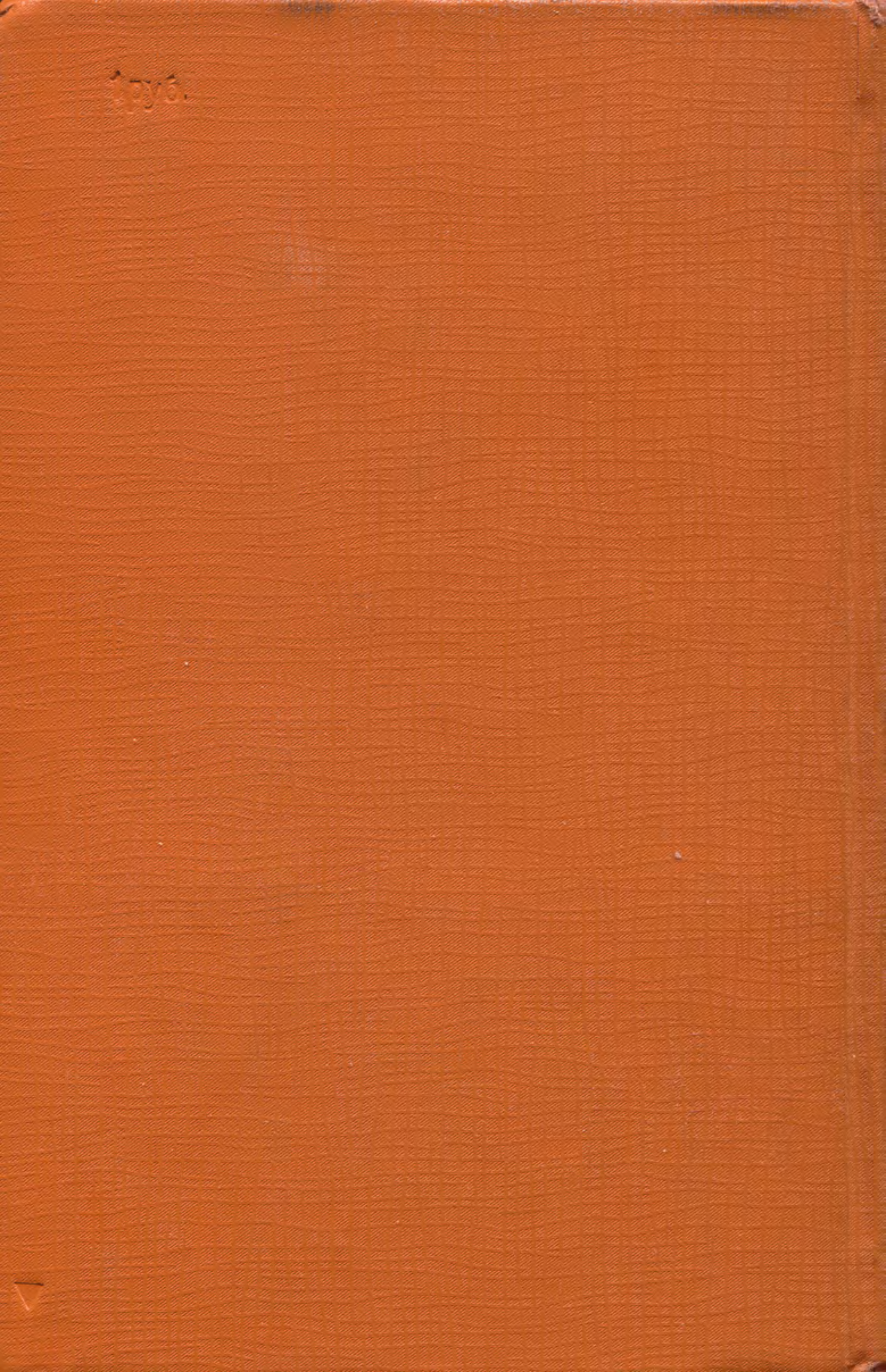
Собрание сочинений, т. I

Редактор *И. Израильская*
Художественный редактор *Ю. Васильев*
Технический редактор *Л. Сутина*
Корректор *М. Фридкина*

Сдано в набор 18/II 1961 г.
Подписано в печать 30/VI 1961 г. А 07416.
Бумага 84 × 108 $^{1}/_{32}$. 17,63 печ. л.
28,9 усл. печ. л., 26,51 + 1 вклейка =
= 26,56 уч.-изд. л. Тираж 300000 (1—150000) эк
Заказ № 2432.
Цена 1 руб.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Типография «Красный пролетарий»
Госполитиздата
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.


1 руб.

И. ИЛЬФ
Е. ПЕТРОВ
1